

А.С. Пушкин

А.С.
Пушкин

5



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

Т А.С.
рин

ТОМ 5

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1965

**Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
Вл. Россельса.**

**Иллюстрации
художника С. Г. Бродского.**

Бегущая по волнам

Эта Дезирада...
О Дезирада, как мало мы обрадовались
тебе, когда из моря выросли твои склоны,
поросшие манцениловыми лесами.

Л. Шадурн

ГЛАВА I

Мне рассказали, что я очутился в Лиссе благодаря одному из тех резких заболеваний, какие наступают внезапно. Это произошло в пути. Я был снят с поезда при беспамятстве, высокой температуре и помещен в госпиталь.

Когда опасность прошла, доктор Филатр, дружески развлекавший меня все последнее время перед тем, как я покинул палату,— позаботился приискать мне квартиру и даже нашел женщину для услуг. Я был очень признателен ему, тем более, что окна этой квартиры выходили на море.

Однажды Филатр сказал:

— Дорогой Гарвей, мне кажется, что я невольно удерживаю вас в нашем городе. Вы могли бы уехать, когда поправитесь, без всякого стеснения из-за того, что я нанял для вас квартиру. Все же, перед тем как путешествовать дальше, вам необходим некоторый уют,— остановка внутри себя.

Он явно намекал, и я вспомнил мои разговоры с ним о власти Несбывшегося. Эта власть несколько ослабела благодаря острой болезни, но я все еще слышал иногда, в душе, ее стальное движение, не обещающее исчезнуть.

Переезжая из города в город, из страны в страну, я повиновался силе более повелительной, чем страсть или мания.

Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, Несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватываясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, всем существом стараясь разглядеть, не начинается ли сбываться Несбывшееся? Не ясен ли его образ? Не нужно ли теперь только протянуть руку, чтобы схватить и удержать его слабо мелькающие черты?

Между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких, туманных берегов Несбывшегося, толкуя о делах дня.

На эту тему я много раз говорил с Филатром. Но этот симпатичный человек не был еще тронут прощальной рукой Несбывшегося, а потому мои объяснения не волновали его. Он спрашивал меня обо всем этом и слушал довольно спокойно, но с глубоким вниманием, признавая мою тревогу и пытаясь ее усвоить.

Я почти оправился, но испытывал реакцию, вызванную перерывом в движении, и нашел совет Филатра полезным; поэтому, по выходе из госпиталя, я поселился в квартире правого уголовного дома улицы Амилего, одной из красивейших улиц Лисса. Дом стоял в нижнем конце улицы, близ гавани, за доком, — место корабельного хлама и тишины, разрушаемой, не слишком назойливо, смягченным, по расстоянию, зыком портового дня.

Я занял две большие комнаты: одна — с огромным окном на море; вторая была раза в два более первой. В третьей, куда вела вниз лестница, — помещалась прислуга. Старинная, чопорная и чистая мебель, старый дом и прихотливое устройство квартиры соответствовали относительной тишине этой части города. Из комнат, расположенных под углом к востоку и югу, весь день не уходили солнечные лучи, отчего этот ветхозаветный покой был полон светлого примирения давно прошедших лет с неиссякаемым, вечно новым солнечным пульсом.

Я видел хозяина всего один раз, когда платил деньги. То был грузный человек с лицом кавалериста и тихими, вы-

толкнутыми на собеседника голубыми глазами. Зайдя получить плату, он не проявил ни любопытства, ни оживления, как если бы видел меня каждый день.

Прислуга, женщина лет тридцати пяти, медлительная и настороженная, носила мне из ресторана обеды и ужины, прибирала комнаты и уходила к себе, зная уже, что я не потребую ничего особенного и не пушусь в разговоры, закупаемые большей частью лишь для того, чтобы, болтая и ковыряя в зубах, отдаваться рассеянному течению мыслей.

Итак, я начал там жить; и прожил я всего — двадцать шесть дней; несколько раз приходил доктор Филатр.

ГЛАВА II

Чем больше я говорил с ним о жизни, сплине, путешествиях и впечатлениях, тем более уяснял сущность и тип своего Несбывшегося. Не скрою, что оно было громадно и — может быть — потому так неотвязно. Его стройность, его почти архитектурная острота выросли из оттенков параллелизма. Я называю так двойную игру, которую мы ведем с явлениями обихода и чувств. С одной стороны, они естественно терпимы в силу необходимости: терпимы условно, как ассигнация, за которую следует получить золотом, но с ними нет соглашения, так как мы видим и чувствуем их возможное преобразование. Картины, музыка, книги давно утвердили эту особость, и хотя пример стар, я беру его за неимением лучшего. В его морщинах скрыта вся тоска мира. Такова нервность идеалиста, которого отчаяние часто заставляет опускаться ниже, чем он стоял, — единственно из страсти к эмоциям.

Среди уродливых отражений жизненного закона и его тяжбы с духом моим я искал, сам долго не подозревая того, — внезапное отчетливое создание: рисунок или веноч событий, естественно свитых и столь же неуязвимых подозрительному взгляду духовной ревности, как четыре наиболее глубоко поразившие нас строчки любимого стихотворения. Таких строчек всегда — только четыре.

Разумеется, я узнавал свои желания постепенно и часто не замечал их, тем упустив время вырвать корни этих опас-

ных растений. Они разрослись и скрыли меня под своей теннистой листвой. Случалось неоднократно, что мои встречи, мои положения звучали как обманчивое начало мелодии, которую так свойственно человеку желать выслушать прежде, чем он закроет глаза. Города, страны время от времени приближали к моим эрачкам уже начинающий восхищать свет едва намеченного огнями, странного, далекого транспаранта,— но все это развивалось в ничто; рвалось, подобно гнилой пряже, натянутой стремительным челноком. Несбывшееся, которому я протянул руки, могло состоять только само, иначе я не узнал бы его и, действуя по примерному образцу, рисковал наверняка создать бездушные декорации. В другом роде, но совершенно точно, можно видеть это на искусственных парках, по сравнению с случайными лесными видениями, как бы бережно вынутыми солнцем из драгоценного ящика.

Таким образом я понял свое Несбывшееся и покорился ему.

Обо всем этом и еще много о чем — на тему о человеческих желаниях вообще — протекали мои беседы с Филатром, если он затрагивал этот вопрос.

Как я заметил, он не переставал интересоваться моим скрытым возбуждением, направленным на предметы воображения. Я был для него словно разновидность тюльпана, наделенная ароматом, и если такое сравнение может показаться тщеславным, оно все же верно по существу.

Тем временем Филатр познакомил меня со Стерсом, дом которого я стал посещать. В ожидании денег, о чем написал своему поверенному Лерху, я утолял жажду движения вечерами у Стерса да прогулками в гавань, где под тенью огромных корм, нависших над набережной, рассматривал волнующие слова, знаки Несбывшегося: «Сидней»,— «Лондон»,— «Амстердам»,— «Тулон»... Я был или мог быть в городах этих, но имена гаваней означали для меня другой «Тулон» и вовсе не тот «Сидней», какие существовали действительно; надписи золотых букв хранили неоткрытую истину.

Утро всегда обещает...

говорит Монс,—

После долготерпения дня
Вечер грустит и прощает...

Так же, как «утро» Монса,— гавань обещает всегда; ее мир полон необнаруженного значения, опускающегося с гигантских кранов пирамидами тюков, рассеянного среди мачт, стиснутого у набережных железными боками судов, где в глубоких щелях меж тесно сомкнутыми бортами молчаливо, как закрытая книга, лежит в тени зеленая морская вода. Не зная — взвиться или упасть, клубятся тучи дыма огромных труб; напряжена и удержана цепями сила машин, одного движения которых довольно, чтобы спокойная под кормой вода рванулась бугром.

Войдя в порт, я, кажется мне, различаю на горизонте, за мысом, берега стран, куда направлены бугшприты кораблей, ждущих своего часа; гул, крики, песня, демонический вопль сирены — все полно страсти и обещания. А над гаванью — в стране стран, в пустынях и лесах сердца, в небесах мыслей — сверкает Несбывшееся — таинственный и чудный олень вечной охоты.

ГЛАВА III

Не знаю, что произошло с Лерхом, но я не получил от него столь быстрого ответа, как ожидал. Лишь к концу пребывания моего в Лиссе Лерх ответил, по своему обыкновению, сотней фунтов, не объяснив замедления.

Я навещал Стерса и находил в этих посещениях невинное удовольствие, сродни прохладе компресса, приложенного на больной глаз. Стерс любил игру в карты, я — тоже, а так как почти каждый вечер к нему кто-нибудь приходил, то я был от души рад перенести часть остроты своего состояния на угадывание карт противника.

Накануне дня, с которого началось многое, ради чего сел я написать эти страницы, моя утренняя прогулка по набережным несколько затянулась, потому что, внезапно проголодавшись, я сел у обыкновенной харчевни, перед ее дверью, на террасе, обвитой растениями типа плюща с белыми и голубыми цветами. Я ел жареного мерлана, запивая кушанье легким красным вином.

Лишь утолив голод, я заметил, что против харчевни швартуется пароход, и, обождав, когда пассажиры его начали сходить по трапу, я погрузился в созерцание сутоло-

ки, вызванной желанием скорее очутиться дома или в гостинице. Я наблюдал смесь сцен, подмечая черты усталости, раздражения, сдерживаемых или явных неистовств, какие составляют душу толпы, когда резко меняется характер ее движения. Среди экипажей, родственников, носильщиков, негров, китайцев, пассажиров, комиссионеров и попрошайек, гор багажа и треска колес я увидел акт величайшей неторопливости, верности себе до последней мелочи, спокойствие, принимая во внимание обстоятельства, почти развратное, — так неподражаемо, безупречно и картинно произошло сошествие по трапу неизвестной молодой девушки. по-видимому небогатой, но, казалось, одаренной тайнами подчинять себе место, людей и вещи.

Я заметил ее лицо, когда оно появилось над бортом среди саквояжей и сбитых на сторону шляп. Она сошла медленно, с задумчивым интересом к происходящему вокруг нее. Благодаря гибкому сложению, или иной причине, она совершенно избежала толчков. Она ничего не несла, ни на кого не оглядывалась и никого не искала в толпе глазами. Так спускаются по лестнице роскошного дома к почтительно распахнутой двери. Ее два чемодана плыли за ней на головах смуглых носильщиков. Коротким движением тихо протянутой руки, указывающей, как поступить, чемоданы были водружены прямо на мостовой, поодаль от парохода, и она села на них, смотря перед собой разумно и спокойно, как человек, вполне уверенный, что совершающееся должно совершаться и впредь согласно ее желанию, но без какого бы то ни было утомительного с ее стороны участия.

Эта тенденция, гибельная для многих, тотчас оправдала себя. К девушке подбежали комиссионеры и несколько других личностей как потрепанного, так и благопристойного вида, создав атмосферу нестерпимого гвалта. Казалось, с девушкой произойдет то же, чему подвергается платье, если его — чистое, отглаженное, спокойно висящее на вешалке — срывают торопливой рукой.

Отнюдь... Ничем не изменив себе, с достоинством переводя взгляд от одной фигуры к другой, девушка сказала что-то всем понемногу, раз рассмеялась, раз нахмурилась, медленно протянула руку, взяла карточку одного из комиссионеров, прочла, вернула бесстрастно и, мило наклонив голову, стала читать другую. Ее взгляд упал на подсунутый уличным торговцем стакан прохладительного питья; так как было действительно жарко, она, подумав, взяла стакан,

напилась и вернула его с тем же видом присутствия у себя дома, как во всем, что делала. Несколько волосатых рук, вытянувшись над ее чемоданами, бродили по воздуху, ожидая момента схватить и помчаться, но все это, по-видимому, мало ее касалось, раз не был еще решен вопрос о гостинице. Вокруг нее образовалась группа услужливых, корыстных и любопытных, которой, как по приказу, сообщилось ленивое спокойствие девушки.

Люди суетливого, рвущего день на клочки мира стояли, ворочая глазами, она же по-прежнему сидела на чемоданах, окруженная незримой защитой, какую дает чувство собственного достоинства, если оно врожденное и так слилось с нами, что сам человек не замечает его, подобно дыханию.

Я наблюдал эту сцену не отрываясь. Вокруг девушки постепенно утих шум; стало так почтительно и прилично, как будто на берег сошла дочь некоего фантастического начальника всех гаваней мира. Между тем на ней были (мысль невольно соединяет власть с пышностью) простая батистовая шляпа, такая же блузка с матросским воротником и шелковая синяя юбка. Ее потертые чемоданы казались блестящими потому, что она сидела на них. Привлекательное, с твердым выражением лицо девушки, длинные ресницы покойно-веселых темных глаз заставляли думать по направлению чувств, вызываемых ее внешностью. Благосклонная маленькая рука, опущенная на голову лохматого пса, — такое напрашивалось сравнение к этой сцене, где чувствовался глухой шум Несбывшегося.

Едва я понял это, как она встала; вся ее свита с возгласами и чемоданами кинулась к экипажу, на задке которого была надпись «Отель Дувр». Подойдя, девушка раздала мелочь и уселась с улыбкой полного удовлетворения. Казалось, ее занимает решительно все, что происходит вокруг.

Комиссионер вскочил на сиденье рядом с возницей, экипаж тронулся, побежавшие сзади оборванцы отстали, и, проводив взглядом умчавшуюся по мостовой пыль, я подумал, как думал неоднократно, что передо мной, может быть, снова мелькнул конец нити, ведущей к запрятанному клубку.

Не скрою, — я был расстроен, и не оттого только, что в лице неизвестной девушки увидел привлекательную ясность существа, отмеченного гармонической цельностью, как вывел из впечатления. Ее краткое пребывание на чемоданах тронуло старую тоску о венке событий, о ветре, поющем мелодии, о прекрасном камне, найденном среди гальки. Я

думал, что ее существо, может быть, отмечено особым законом, перебирающим жизнь с властью сознательного процесса, и что, став в тень подобной судьбы, я наконец мог бы увидеть Несбывшееся. Но печальнее этих мыслей—печальных потому, что они были болезненны, как старая рана в непогоду,—явилось воспоминание многих подобных случаев, о которых следовало сказать, что их по-настоящему не было. Да, неоднократно повторялся обман, принимаемый жестом, словом, лицом, пейзажем, замыслом, сновидением и надеждой, и, как закон, оставлял по себе тлен. При желании я мог бы разыскать девушку очень легко. Я сумел бы найти общий интерес, естественный повод не упустить ее из поля своего зрения и так или иначе встретить желаемое течение неоткрытой реки. Самым тонким движениям насущного души нашей я смог бы придать как вразумительную, так и приличную форму. Но я не доверял уже ни себе, ни другим, ни какой бы то ни было громкой видимости внезапного обещания.

По всем этим основаниям я отверг действие и возвратился к себе, где провел остаток дня среди книг. Я читал невнимательно, испытывая смуту, нахлынувшую с силой сквозного ветра. Наступила ночь, когда, усталый, я задремал в кресле.

Меж явью и сном встало воспоминание о тех минутах в вагоне, когда я начал уже плохо сознавать свое положение. Я помню, как закат махал красным платком в окно, проносившееся среди песчаных степей. Я сидел, полузакрыв глаза, и видел странно меняющиеся профили спутников, выступающие один из-за другого, как на медали. Вдруг разговор стал громким, переходя, казалось мне, в крик; после того губы беседующих стали шевелиться беззвучно, глаза сверкали, но я перестал соображать. Вагон поплыл вверх и исчез.

Больше я ничего не помнил,— жар помрачил мозг.

Не знаю, почему в тот вечер так назойливо представилось мне это воспоминание; но я готов был признать, что его тон необъяснимо связан со сценой на набережной. Дремота вила сумеречный узор. Я стал думать о девушке, на этот раз с поздним раскаянием.

Уместны ли в той игре, какую я вел сам с собой,— банальная осторожность? бесцельное самолюбие? даже — сомнение? Не отказался ли я от входа в уже раскрытую дверь только потому, что слишком хорошо помнил большие

и маленькие лжи прошлого? Был полный звук, верный тон,— я слышал его, но заткнул уши, мнительно вспоминая прежние какофонии. Что, если мелодия была предложена истинным на сей раз оркестром?!

Через несколько столетних переходов желания человека достигнут отчетливости художественного синтеза. Желание избегнет муки смотреть на образы своего мира сквозь неясное, слабо озаренное полотно нервной смуты. Оно станет отчетливо, как насекомое в янтаре. Я, по сравнению, имел предстать таким людям, как «Дюранда» Летьерри предстит стальному Левиафану Трансатлантической линии. Несбывшееся скрывалось среди гор, и я должен был принять в расчет все дороги в направлении этой стороны горизонта. Мне следовало ловить все намеки, пользоваться каждым лучом среди туч и лесов. Во многом — ради многого — я должен был действовать наудачу.

Едва я закрепил некоторое решение, вызванное таким оборотом мыслей, как прозвонил телефон, и, отогнав полусон, я стал слушать. Это был Филатр. Он задал мне несколько вопросов относительно моего состояния. Он приглашал также встретиться завтра у Стерса, и я обещал.

Когда этот разговор кончился, я, в странной толчее чувств, стеснительной, как сдержанное дыхание, позвонил в отель «Дувр». Делаю такого рода обычна мысль, что все, даже посторонние, знают секрет вашего настроения. Ответы, самые безучастные, звучат как улика. Ничто не может так внезапно приблизить к чужой жизни, как телефон, оставляя нас невидимыми, и тотчас, по желанию нашему, — отстранить, как если бы мы не говорили совсем. Эти бесцельные для факта соображения отметят, может быть, слегка то беспокойное состояние, с каким начал я разговор.

Он был краток. Я попросил вызвать Анну Макферсон, приехавшую сегодня с пароходом «Гранвилль». После незначительного молчания деловой голос служащего объявил мне, что в гостинице нет упомянутой дамы, и я, зная, что получу такой ответ, помог недоразумению точным описанием костюма и всей наружности неизвестной девушки.

Мой собеседник молчаливо соображал. Наконец он сказал:

— Вы говорите, следовательно, о барышне, недавно уехавшей от нас на вокзал. Она записалась — «Биче Се-ниэль».

С большей, чем ожидал, досадой я послал замечание:
— Отлично. Я спутал имя, выполняя некое поручение.
Меня просили также узнать...

Я оборвал фразу и водрузил трубку на место. Это было внезапным мозговым отвлечением к бесцельным словам, какие начал я произносить по инерции. Что переменилось бы, узнай я, куда уехала Биче Сениэль? Итак, она продолжала свой путь — наверное в духе безмятежного приказа жизни, как это было на набережной, — а я опустился в кресло, внутренне застегнувшись и пытаюсь увлечься книгой, по первым строкам которой видел уже, что предстоит скука счетом из пятисот страниц.

Я был один, в тишине, отмериваемой стуком часов. Тишина мчалась, и я ушел в область спутанных очертаний. Два раза подходил сон, а затем я уже не слышал и не помнил его приближения.

Так, незаметно уснув, я пробудился с восходом солнца. Первым чувством моим была улыбка. Я приподнялся и уселся в порыве глубокого восхищения, — несравненного, чистого удовольствия, вызванного эффектной неожиданностью.

Я спал в комнате, о которой упоминал, что ее стена, обращенная к морю, была, по существу, огромным окном. Оно шло от потолочного карниза до рамы в полу, а по сторонам на фут не достигало стен. Его створки можно было раздвинуть так, что стекла скрывались. За окном, внизу, был узкий выступ, засаженный цветами.

Я проснулся при таком положении восходящего над чертой моря солнца, когда его лучи проходили внутрь комнаты вместе с отражением волн, сыпавшихся на экране задней стены.

На потолке и стенах неслись танцы солнечных привидений. Вихрь золотой сети сиял таинственными рисунками. Лучистые веера, скачущие овалы и кидающиеся из угла в угол огневые черты были, как полет в стены стремительной золотой стаи, видимой лишь в момент прикосновения к плоскости. Эти пестрые ковры солнечных фей, мечущийся трепет которых, не прекращая ни на мгновение ткать ослепительный арабеск, достиг неистовой быстроты, были везде — вокруг, под ногами, над головой. Невидимая рука чертила странные письмена, понять значение которых было нельзя, как в музыке, когда она говорит. Комната ожила. Казалось, не устоя пред нашествием отскакивающего с воды солнца, она вот-вот начнет тихо кружиться. Даже на моих

руках и коленях беспрерывно соскальзывали яркие пятна. Все это менялось неуловимо, как будто в встряхиваемой искристой сети бились прозрачные мотыльки. Я был очарован и неподвижно сидел среди голубого света моря и золотого — по комнате. Мне было отрадно. Я встал и, с легкой душой, с тонкой и безотчетной уверенностью, сказал все му: «Вам, знаки и фигуры, вбежавшие с значением неизвестным и все же развеселившие меня серьезным одиноким весельем, — пока вы еще не скрылись — уверяю я ржавчину своего Несбывшегося. Озарите и сотрите ее!»

Едва я окончил говорить, зная, что вспомню потом эту полусонную выходку с улыбкой, как золотая сеть смеркла; лишь в нижнем углу, у двери, дрожало еще некоторое время подобие изогнутого окна, открытого на поток искр, но исчезло и это. Исчезло также то настроение, каким началось утро, хотя его след не стерся до сего дня.

ГЛАВА IV

Вечером я отправился к Стерсу. В тот вечер у него собрались трое: я, Андерсон и Филатр.

Прежде чем прийти к Стерсу, я прошел по набережной до того места, где останавливался вчера пароход. Теперь на этом участке набережной не было судов, а там, где сидела неизвестная мне Биче Сениэль, стояли грузовые катки.

Итак, — это ушло, возникло и ушло, как если бы его не было. Воскрешая впечатление, я создал фигуры из воздуха, расположив их группой вчерашней сцены: сквозь них блестели вечерняя вода и звезды огней рейда. Сосредоточенное усилие помогло мне увидеть девушку почти ясно; сделав это, я почувствовал еще бóльшую неудовлетворенность, так как точнее очертил впечатление. По-видимому, началась своего рода «сердечная мигрень» — чувство, которое я хорошо знал и хотя не придавал ему особенного значения, все же нашел, что такое направление мыслей действует как любимый мотив. Действительно — это был мотив, и я, отчасти развивая его, остался под его влиянием на неопределенное время.

Раздумывая, я был теперь крайне недоволен собой за то, что оборвал разговор с гостиницей. Эта торопливость — стремление заменить ускользающее положительным действием — часто вредила мне. Но я не мог снова узнавать то, чего уже не захотел узнавать, как бы ни сожалел об этом теперь. Кроме того, прелестное утро, прогулка, возвращение сил и привычное отчисление на волю случая всего, что не совершенно определено желанием, перевесили этот недочет вчерашнего дня. Я мысленно подсчитал остатки сумм, которыми мог располагать и которые ждал от Лерха: около четырех тысяч. В тот день я получил письмо: Лерх извещал, что лишь недавно вернувшись из поездки по делам, он, не ожидая скорого требования денег, упустил сделать распоряжение, а возвратясь, послал — как я и просил — тысячу. Таким образом, я не беспокоился о деньгах.

С набережной я отправился к Стерсу, куда пришел, уже застав Филатра и Андерсона.

Стерс, секретарь ирригационного комитета, был высок и белокур. Красивая голова, спокойная курчавая борода, громкий голос и истинно мужская улыбка, изредка пошевеливающаяся в изгибе усов, — отличались впечатлением силы.

Круглые очки, имеющие сходство с глазами птицы, и красные скулы Андерсона, инспектора технической школы, соответствовали коротким вихрам волос на его голове; он был статен и мал ростом.

Доктор Филатр, нормально сложенный человек, с спокойными движениями, одетый всегда просто и хорошо, увидев меня, внимательно улыбнулся и, крепко пожав руку, сказал:

— Вы хорошо выглядите, очень хорошо, Гарвей.

Мы уселись на террасе. Дом стоял отдельно, среди сада, на краю города.

Стерс выиграл три раза подряд, затем я получил карты, достаточно сильные, чтобы обойтись без прикупки.

В столовой, накрывая стол и расставляя приборы, прислуга Стерса разговаривала с сестрой хозяина относительно ужина.

Я был заинтересован своими картами, однако начинал хотеть есть и потому с удовольствием слышал, как Дэлиа Стерс назначила подавать в одиннадцать, следовательно — через час. Я соображал также, будут ли на этот раз

пирожки с ветчиной, которые я очень любил и не ел нигде таких вкусных, как здесь, причем Дэлия уверяла, что это выходит случайно.

— Ну,— сказал мне Стерс, сдавая карты,—вы покупаете? Ничего?! Хорошо.— Он дал карты другим, посмотрел свои и объявил: — Я тоже не покупаю.

Андерсон, затем Филатр прикупили и спасовали.

— Сражайтесь,— сказал доктор,— а мы посмотрим, что сделает на этот раз Гарвей.

Ставки по условию разыгрывались небольшие, но мне не везло, и я был несколько раздражен тем, что проигрывал подряд. Но на ту ставку у меня было сносное каре: четыре десятки и шестерка; джокер мог быть у Стерса, поэтому следовало держать ухо востро.

Итак, мы повели обычный торг: я — медленно и беспечно, Стерс — кратко и сухо, но с торжественностью двух слепых, ведущих друг друга к яме, причем каждый старается обмануть жертву.

Андерсон, смотря на нас, забавлялся, так были мы все увлечены ожиданием финала; Филатр собирал карты.

Вошла Дэлия, девушка с поблекшим лицом, загорелым и скептическим, такая же белокурая, как ее брат, и стала смотреть, как я с Стерсом, вперив взгляд во лбы друг другу, старались увеличить — выигрыш или проигрыш? — никто не знал, что.

Я чувствовал у Стерса сильную карту — по едва приметным особенностям манеры держать себя; но сильнее ли моей? Может быть, он просто меня пугал? Наверное, то же самое думал он обо мне.

Дэлию окликнули из столовой, и она ушла, бросив:

— Гарвей, смотрите не проиграйте.

Я повысил ставку. Стерс молчал, раздумывая — согласиться на нее или накинуть еще. Я был в отличном настроении, но тщательно скрывал это.

— Принимаю,— ответил наконец Стерс.— Что у вас?

Он пригласил открыть карты. Одновременно с звуком его слов мое сознание, вдруг выйдя из круга игры, наполнилось повелительной тишиной, и я услышал особенный женский голос, сказавший с ударением: «...Бегущая по волнам». Это было, как звонок ночью. Но более ничего не было слышно, кроме шума в ушах, поднявшегося от резких ударов сердца да треска карт, по ребру которых провел пальцами доктор Филатр.

Изумленный явлением, которое, так очевидно, не имело никакой связи с происходящим, я спросил Андерсона:

— Вы сказали что-нибудь в этот момент?

— О нет! — ответил Андерсон. — Я никогда не мешаю игроку думать.

Недоумевающее лицо Стерса было передо мной, и я видел, что он сидит молча. Я и Стерс, занятые схваткой, могли только называть цифры. Пока это пробегало в уме, впечатление полного жизни женского голоса оставалось непоколебленным.

Я открыл карты без всякого интереса к игре, проиграл пяти трефам Стерса и отказался играть дальше. Галлюцинация — или то, что это было, — выключила меня из настроения игры. Андерсон обратил внимание на мой вид, сказав:

— С вами что-то случилось?!

— Случилась интересная вещь, — ответил я, желая узнать, что скажут другие. — Когда я играл, я был исключительно поглощен соображениями игры. Как вы знаете, невозможны посторонние рассуждения, если в руках каре. В это время я услышал — сказанные вне или внутри меня — слова: «Бегущая по волнам». Их произнес незнакомый женский голос. Поэтому мое настроение слетело.

— Вы слышали, Филатр? — сказал Стерс.

— Да. Что вы слышали?

— «Бегущая по волнам», — повторил я с недоумением. — Слова ясные, как ваши слова.

Все были заинтересованы. Вскоре, сев ужинать, мы продолжали обсуждать случай. О таких вещах отлично говорится вечером, когда нервы настороже. Дэлиа, сделав несколько обычных замечаний иронически-серьезным тоном, явно указывающим, что она не подсмеивается только из вежливости, умолкла и стала слушать, критически приподняв брови.

— Попробуем установить, — сказал Стерс, — не было ли вспомогательных агентов вашей галлюцинации. Так, я однажды задремал и услышал разговор. Это было похоже на разговор за стеной, когда слова неразборчивы. Смысл разговора можно было понять по интонациям, как упреки и оправдания. Слышались ворчливые, жалобные и гневные ноты. Я прошел в спальню, где из умывального крана быстро капала вода, так как его неплотно завернули. В трубе шипел и бурлил, всхлипывая, воздух. Таким образом, по-

няв, что происходит, я рассеял внушение. Поэтому зададим вопрос: не проходил ли кто-нибудь мимо террасы?

Во время игры Андерсон сидел спиной к дому, лицом к саду; он сказал, что никого не видел и ничего не слышал. То же сказал Филатр, и, так как никто, кроме меня, не слышал никаких слов, происшествие это осталось замкнутым во мне. На вопросы, как я отнесся к нему, я ответил, что был, правда, взволнован, но теперь лишь стараюсь понять.

— В самом деле, — сказал Филатр, — фраза, которую услышал Гарвей, может быть объяснена только глубоко за- таенным ходом наших психических часов, где не видно ни стрелок, ни колесец. Что было сказано перед тем, как вы слышали голос?

— Что? Стерс спрашивал, что у меня на картах, приглашая открыть.

— Так. — Филатр подумал немного. — Заметьте, как это выходит: «Что у вас?» Ответ слышал один Гарвей, и ответ был: «Бегущая по волнам».

— Но вопрос относился ко мне, — сказал я.

— Да. Только вы были предупреждены в ответе. Ответ прозвучал за вас, и вы нам повторили его.

— Это не объяснение, — возразил Андерсон после того, как все улыбнулись.

— Конечно, не объяснение. Я делаю простое сопоставление, которое мне кажется интересным. Согласен, можно объяснить происшествие двойным сознанием Рибо, или частичным бездействием некоторой доли мозга, подобным уголку сна в нас, бодрствующих как целое. Так утверждает Бишер. Но сопоставление очевидно. Оно напрашивается само, и, как ответ ни загадочен, — если допустить, что это — ответ, — скрытый интерес Гарвея дан таинственными словами, хотя их прикладной смысл утерян. Как ни поглощено внимание игрока картами, оно связано в центре, но свободно по периферии. Оно там в тени, среди явлений, скрытых тенью. Слова Стерса: «Что у вас?» могли вызвать разряд из области тени раньше, чем, соответственно, блеснул центр внимания. Ассоциация с чем бы то ни было могла быть мгновенной, дав неожиданные слова, подобные трещинам на стекле от попавшего в него камня. Направление, рисунок, число и длина трещин не могут быть высчитаны заранее, ни сведены обратным путем к зависимости от сопротивления стекла камню. Таинственные слова Гарвея есть причудливая трещина бессознательной сферы.

Действительно — так могло быть, но, несмотря на сложность психической картины, которую набросал Филатр, я был странно задет. Я сказал:

— Почему именно слова Стерса вызвали трещину?

— Так чьи же?

Я хотел сказать, что, допуская действие чужой мысли, он самым детским образом считается с расстоянием, как будто такое действие безрезультатно за пределами четырех футов стола, разделяющих игроков, но, не желая более затягивать спор, заметил только, что объяснения этого рода сами нуждаются в объяснениях.

— Конечно,— подтвердил Стерс.— Если недостоверно, что мой обычный вопрос извлек из подсознательной сферы Гарвея представление необычное, то надо все решать снова. А это недостоверно, следовательно, недостоверно и остальное.

Разговор в таком роде продолжался еще некоторое время, крайне раздражая Дэлию, которая потребовала, наконец, переменить тему или принять успокоительных капель. Вскоре после этого я распрощался с хозяевами и ушел; со мной вышел Филатр.

Шагая в ногу, как солдаты, мы обогнули в молчании несколько углов и вышли на площадь. Филатр пригласил зайти в кафе. Это было так странно для моего состояния, что я согласился. Мы заняли стол у эстрады и потребовали вина. На эстраде сменялись певицы и танцовщицы. Филатр стал снова развивать тему о трещине на стекле, затем перешел к случаю с натуралистом Вайторном, который, сидя в саду, услышал разговор пчел. Я слушал довольно внимательно.

Стук упавшего стула и чье-то требование за спиной слились в эту минуту с настойчивым тактом танца. Я запомнил этот момент потому, что начал испытывать сильнейшее желание немедленно удалиться. Оно было непроизвольным. Не могло быть ничего хуже такого состояния, ничего томительнее и тревожнее среди веселой музыки и яркого света. Еще не вставая, я заглянул в себя, пытаюсь найти причину и спрашивая, не утомлен ли я Филатром. Однако было желание сидеть — именно с ним — в этом кафе, которое мне понравилось. Но я уже не мог оставаться. Должен заметить, что я повиновался своему странному чувству с досадой, обычной при всякой несвоевременной по-

мехе. Я взглянул на часы, сказал, что разболелась голова, и ушел, оставив доктора допивать вино.

Выйдя на тротуар, я остановился в недоумении, как оставливается человек, стараясь угадать нужную ему дверь, и, подумав, отправился в гавань, куда неизменно попадал вообще, если гулял бесцельно. Я решил теперь, что ушел из кафе по причине простой нервности, но больше не жалел уже, что ушел.

«Бегущая по волнам»... Никогда еще я не размышлял так упорно о причуде сознания, имеющей относительный смысл,— смысл шелеста за спиной, по звуку которого невозможно угадать, какая шелестит ткань. Легкий ночной ветер, сомнительно умеряя духоту, кружил среди белого света электрических фонарей тополевыи белый пух. В гавани его намело по угольной пыли у каменных столбов и стен так много, что казалось, что север смешался с югом в фантастической и знойной зиме. Я шел между двух моллов, когда за вторым от меня увидел стройное парусное судно с корпусом, напоминающим яхту. Его водоизмещение могло быть около ста пятидесяти тонн. Оно было погружено в сон.

Ни души я не заметил на его палубе, но, подходя ближе, увидел с левого борта вахтенного матроса. Сидел он на складном стуле и спал, прислонясь к борту.

Я остановился неподалеку. Было пустынно и тихо. Звук города сливались в один монотонный неясный шум, подобный шуму отдаленно едущего экипажа; вблизи меня — плеск воды и тихое поскрипывание каната единственно отмечали тишину. Я продолжал смотреть на корабль. Его коричневый корпус, белая палуба, высокие мачты, общаа пропорциональность всех частей и изящество основной линии внушали почтение. Это было судно-джентльмен. Свет дугового фонаря мола ставил его отчетливые очертания на границе сумерек, в дали которых виднелись черные корпуса и трубы пароходов. Корма корабля выдавалась над низкой в этом месте набережной, образуя меж двумя канатами и водой внизу навесный угол.

Мне так понравилось это красивое судно, что я представил его своим. Я мысленно вошел по его трапу к себе, в свою каюту, и я был — так мне представилось — с той девушкой. Не было ничего известно, почему это так, но я некоторое время удерживал представление.

Я отметил, что воспоминание о той девушке не уходило; оно напоминало всякое другое воспоминание, удержанное

душой, но с верным живым оттенком. Я время от времени взглядывал на него, как на привлекательную картину. На этот раз оно возникло и отошло отчетливее, чем всегда. Наконец мысли переменялись. Желая узнать название корабля, я обошел его, став против кормы, и, всмотревшись, прочел полукруг рельефных золотых букв:

Б Е Г У Щ А Я П О В О Л Н А М

ГЛАВА V

Я вздрогнул,— так стукнула в виски кровь. Вдох — не одного изумления,— бóльшего, сложнейшего чувства,— задержал во мне биение громко затем заговорившего сердца. Два раза я перевел дыхание, прежде чем смог еще раз прочесть и понять эти удивительные слова, бросившиеся в мой мозг, как залп стрел. Этот внезапный удар действительности по возникшим за игрой странным словам был так внезапен, как если человек схвачен сзади. Я был закружен в мгновенно обессилевших мыслях. Так кружится на затерянном следу пес, обнюхивая последний отпечаток ноги.

Наконец, настойчиво отведя эти чувства, как отводят рукой упругую, мешающую смотреть листву, я стал одной ногой на кормовой канат, чтобы ближе нагнуться к надписи. Она притягивала меня. Я свесился над водой, тронутый отдаленным светом. Надпись находилась от меня на расстоянии шести-семи футов. Прекрасно была озарена она скользившим лучом. Слово «Бегущая» лежало в тени, «по» было на границе тени и света, и заключительное «волнам» сияло так ярко, что заметны были трещины в позолоте.

Убедившись, что имею дело с действительностью, я отошел и сел на чугунный столб собрать мысли. Они развевались в такой связи между собой, что требовался более мощный пресс воли, чем тогда мой, чтобы охватить их все одной, главной мыслью; ее не было. Я смотрел в тьму, в ее глубокие синие пятна, где мерцали отражения огней

рейда. Я ничего не решал, но знал, что сделаю, и мне это казалось совершенно естественным. Я был уверен в неопределенном и точен среди неизвестности.

Встав, я подошел к трапу и громко сказал:

— Эй, на корабле!

Вахтенный матрос спал или, быть может, слышал мое обращение, но оставил его без ответа.

Я не повторил окрика. В этот момент я не чувствовал запрета, обычного, хотя и незримого, перед самовольным входом в чужое владение. Видя, что часовой неподвижен, я ступил на трап и очутился на палубе.

Действительно, часовой спал, опустив голову на руки, протянутые по крышке бортового ящика. Я никогда не видел, чтобы простой матрос был одет так, как этот неизвестный человек. Его дорогой костюм из тонкого серого шелка, воротник безукоризненно белой рубашки с синим галстуком и крупным бриллиантом булавки, шелковое белое кепи, щегольские ботинки и кольца на смуглой руке, изобличающие возможность платить большие деньги за украшения,— все эти вещи были несвойственны простой службе матроса. Кроме того — смуглые, чистые руки, без шершавости и мозолей, и упрямое, дергающееся во сне, худое лицо с черной, заботливо расчесанной бородой являли без других доказательств, прямым внушением черт, что этот человек не из низшей команды судна. Колеблясь разбудить его, я медленно прошел к трапу кормовой рубки, так как из ее приподнятых люков шел свет. Я надеялся застать там людей. Уже я занес ногу, как меня удержало и остановило легкое невидимое движение. Я повернулся и очутился лицом к лицу с вахтенным.

Он только что кончил зевать. Его левая рука была засунута в карман брюк, а правая, отгоняя сон, прошла по глазам и опустилась, потирая большим пальцем концы других. Это был высокий, плечистый человек, выше меня, с наклоном вперед. Хотя его опущенные веки играли в невозмутимость, под ними светилось плохо скрытое удовольствие — ожидание моего смущения. Но я не был ни смущен, ни сбит и взглянул ему прямо в глаза. Я поклонился.

— Что вы здесь делаете? — строго спросил он, медленно произнося эти слова и как бы рассматривая их перед собой. — Как вы попали на палубу?

— Я взшел по трапу, — ответил я дружелюбно, без внимания к возможным недоразумениям с его стороны,

так как полагал, что моя внешность достаточно красноречива в любой час и в любом месте.— Я вас окликнул, вы спали. Я поднялся и, почему-то не решившись разбудить вас, хотел пойти вниз.

— Зачем?

— Я рассчитывал найти там кого-нибудь. Как я вижу,— прибавил я с ударением,— мне следует назвать себя: Томас Гарвей.

Вахтенный вытащил руку из кармана. Его тяжелые глаза совершенно проснулись, и в них отметилась нерешительность чувств — помесь флегмы и бешенства. Должно быть, первая взяла верх, так как, сжав губы, он неохотно наклонил голову и сухо ответил:

— Очень хорошо. Я — капитан Вильям Гез. Какому обстоятельству обязан я таким р а н н и м визитом?

Но и более неприветливый тон не мог бы обескуражить меня теперь. Я был на линии быстро восходящего равновесия, под защитой всего этого случая, во всем объеме его еще не установленного значения.

— Капитан Гез,— сказал я с улыбкой,— если считать третий час ночи началом дня,— я, конечно, явился безумно рано. Боюсь, что вы сочтете повод неуважительным. Однако необходимо объяснить, почему я взошел на палубу. Некоторое время я был болен, и мое состояние, по мнению врачей, станет еще лучше, чем теперь, если я немного попутешествую. Было признано, что плавание на парусном судне, несложное существование, лишенное даже некоторых удобств, явится, так сказать, грубой физиологической правдой, необходимой телу иногда точно так, как грубая правда подчас излечивает недуг моральный. Сегодня, прогуливаясь, я увидел этот корабль. Он, сознаюсь, меня пленил. Откладывать свое дело я не решился, так как не знаю, когда вы поднимете якорь, и подумал, что завтра могу уже не застать вас. Во всяком случае — прошу меня извинить. Я в состоянии заплатить, сколько надо, и с этой стороны у вас не было бы причины остаться недовольным. Мне также совершенно безразлично, куда вы направитесь. Затем, надеюсь, что вы меня поняли,— я думаю, что устранил досадное недоразумение. Остальное зависит теперь от вас.

Пока я говорил это, Гез уже мне ответил. Ответ заключался в смене выражений его лица, значение которой я мог определить как сопротивление. Но разговор только что начался, и я не терял надежды.

— Я почти уверен, что откажу вам,— сказал Гез,— тем более, что это судно не принадлежит мне. Его владелец — Браун, компания «Арматор и Груз». Прошу вас сойти вниз, где нам будет удобнее говорить.

Он произнес это вежливым ледяным тоном вынужденного усилия. Его жест рукой по направлению к трапу был точен и сух.

Я спустился в ярко озаренное помещение, где, кроме нас двух, никого не было. Беглый взгляд, брошенный мной на обстановку, не дал впечатления, противоречащего моему настроению, но и не разъяснил ничего, хотя казалось мне, когда я спускался, что будет иначе. Я увидел комфорт и беспорядок. Я шел по замечательному ковру. Отделка помещения обнаруживала богатство строителя корабля... Мы сели на небольшой диван, и в полном свете я окончательно рассмотрел Геза.

Его внешность можно было изучать долго и остаться при запутанном результате. При передаче лица авторы, как правило, бывают поглощены фасом, но никто не хочет признать значения профиля. Между тем профиль замечателен потому, что он есть основа силуэта — одного из наиболее резких графических решений целого. Не раз профиль указывал мне второго человека в одном,— как бы два входа с разных сторон в одно помещение. Я отвожу профилю значение комментария и только в том случае не вспоминаю о нем, если профиль и фас, со всеми промежуточными сечениями, уравнены духовным балансом. Но это встречается так редко, что является исключением. Равно нельзя было присоединить к исключениям лицо Геза. Его профиль шел от корней волос откинутым, нервным лбом — почти отвесной линией длинного носа, тоскливой верхней и упрямо выдающейся нижней губой — к тяжелому, круто завернутому подбородку. Линия обрюзгшей щеки, подпирая глаз, внизу была соединена с мрачным усом. Согласно языку лица, оно выказывалось в подавленно-настойчивом выражении. Но этому лицу, когда оно было обращено прямо,— широкое, насуспенное, с нервной игрой складок широкого лба — нельзя было отказать в привлекательной и оригинальной сложности. Его черные красивые глаза внушительно двигались под изломом низких бровей. Я не понимал, как могло согласоваться это сильное и страстное лицо с флегматическим тоном Геза — настолько, что даже ощущаемый в его словах ход мыслей казался невозмутимым. Не без основа-

ния ожидал я, в силу противоречия этого, неприятного, по его смыслу, эффекта, что подтвердилось немедленно.

— Итак,— сказал Гез, когда мы уселись,— я мог бы взять пассажира только с разрешения Брауна. Но, признаюсь, я против пассажира на грузовом судне. С этим всегда выходят какие-нибудь неприятности или хлопоты. Кроме того, моя команда получила вчера расчет, и я не знаю, скоро ли соберу новый комплект. Возможно, что «Бегущая» простоят месяц, прежде чем удастся наладить рейс. Советую вам обратиться к другому капитану.

Он умолк и ничем не выразил желаний продолжать разговор. Я обдумывал, что сказать, как на палубе раздались шаги и возглас: «Ха-ха!», сопровождаемый, должно быть, пьяным широким жестом.

Видя, что я не встаю, Гез пошевелил бровью, пристально осмотрел меня с головы до ног и сказал:

— Это вернулся наконец Бутлер. Прошу вас не беспокоиться. Я немедленно возвращусь.

Он вышел, шагая тяжело и широко, наклонив голову, как если бы боялся стукнуться лбом. Оставшись один, я осмотрелся внимательно. Я плавал на различных судах, а потому был убежден, что этот корабль, по крайней мере при его постройке, не предназначался перевозить кофе или хлопок. О том говорили как его внешний вид, так и внутренность салона. Большие круглые окна — «иллюминаторы», диаметром более двух футов, какие никогда не делаются на грузовых кораблях, должны были ясно и элегантно озарять днем. Их винты, рамы, весь медный прибор отличался тонкой художественной работой. Венецианское зеркало в массивной раме из серебра; небольшие диваны, обитые дорогим серо-зеленым шелком; палисандровая отделка стен; карнизы, штофные портьеры, индийский ковер и три электрических лампы с матовыми колпаками в фигурной бронзовой сетке были предметами подлинной роскоши — в том виде, как это технически уместно на корабле. На хорошо отполированном, отражающем лампы столе — дымчатая хрустальная ваза со свежими розами. Вокруг нее, среди смятых салфеток и стаканов с недопитым вином, стояли грязные тарелки. На ковре валялись окурки. Из приоткрытых дверей буфета свешивалась грязная тряпка.

Услышав шаги, я встал и, не желая затягивать разговора, спросил Геза по его возвращении,— будет ли он про-

тив, если Браун даст мне согласие плыть на «Бегущей» в отдельной каюте и за приличную плату.

— Вы считаете, что бесполезно говорить об этом со мной?

— Мне показалось,— заметил я,— что ваше мнение связано не в мою пользу такими соображениями, которые являются уважительными для вас.

Гез медлил. Я видел, что мое намерение снестись с Брауном задело его. Я проявил вежливую настойчивость и изъявил желание поступить наперекор Гезу.

— Как вам будет угодно,— сказал Гез.— Я остаюсь при своем, о чем говорил.

— Не спорю.— Мое дружелюбное оживление прошло, сменяясь досадой.— Проиграв дело в одной инстанции, следует обратиться к другой.

Сознаюсь, я сказал лишнее, но не раскаялся в том: поведение Геза мне очень не нравилось.

— Проиграв дело в н и з ш е й инстанции! — ответил он, вдруг вспыхнув. Его флегма исчезла, как взвившаяся от ветра занавеска; лицо неприятно и дерзко оживилось.— Кой черт все эти разговоры? Я капитан, а потому пока что хозяин этого судна. Вы можете поступать, как хотите.

Это была уже непростительная резкость, и в другое время я, вероятно, успокоил бы его одним внимательным взглядом, но почему-то я был уверен, что, минуя все, мне предстоит в скором времени плыть с Гезом на его корабле «Бегущая по волнам», а потому решил не давать более повода для обиды. Я приподнял шляпу и покачал головой.

— Надеюсь, мы уладим как-нибудь этот вопрос,— сказал я, протягивая ему руку, которую он пожал весьма сухо.— Самые невинные обстоятельства толкают меня сломать лед. Может быть, вы не будете сердиться впоследствии, если мы встретимся.

«Разговор кончен, и я хочу, чтобы ты убрался отсюда»,— сказали его глаза. Я вышел на палубу, где увидел пожилого, рябого от оспы человека с трубкой в зубах. Он стоял, прислонясь к мачте. Осмотрев меня замкнутым взглядом, этот человек сказал вышедшему со мной Гезу:

— Все-таки мне надо пойти; я, может быть, отыграюсь. Что вы на это скажете?

— Я не дам денег,— сказал Гез круто и зло.

— Вы отдадите мне мое жалованье,— мрачно продолжал человек с трубкой,— иначе мы расстаемся.

— Бутлер, вы получите жалованье завтра, когда про-
трезвитесь, иначе у вас не останется ни гроша.

— Хорошо! — вскричал Бутлер, бывший, как я угадал,
старшим помощником Геза. — Прекрасные вы говорите сло-
ва! Вам ли выступать в роли опекуна, когда даже околева-
шая кошка знает, что вы представляете собой по всем каба-
кам — настоящим, прошлым и будущим?! Могу тратить
свои деньги, как я желаю.

Гез не ответил, но проклятия, которые он сдержал, от-
печатались на его лице. Энергия этого заряда вылилась
в его обращении ко мне. Неприязненный, но хладнокровный
джентльмен исчез. Тон обращения Геза напоминал брань.

— Ну как, — сказал он, стоя у трапа, когда я начал и-
ти по нему, — правда, «Бегущая по волнам» красива, как
«Гентская кружевница»? («Гентская кружевница» было
судно, потопленное лет сто назад пиратом Киддом Вторым
за его удивительную красоту, которой все восхищались.)
Да, это многие признают. Если бы я рассказал вам его ис-
торию, его стоимость, если бы вы увидели его на ходу и по-
были на нем один день, — вы еще не так просили бы меня
взять вас в плавание. У вас губа не дура.

— Капитан Гез! — вскричал я, разгневанный тем бо-
лее, что Бутлер, подойдя, усмехнулся. — Если мне действи-
тельно придется плыть на корабле этом и вы зайдете в мою
каюту, я постараюсь загладить вашу грубость, во всяком
случае, более ровным обращением с вами.

Он взглянул на меня насмешливо, но тотчас его лицо
приняло растерянный вид. Страшно удивив меня, Гез по-
спешно и взволнованно произнес:

— Да, я виноват, простите! Я расстроен! Я взбешен!
Вы не пожалеете в случае неудачи у Брауна. Впрочем, об-
стоятельства складываются так, что нам с вами не по пути.
Желаю вам всего лучшего!

Не знаю, что подействовало неприятнее, — грубость
Геза или этот его странный порыв. Пожав плечами, я спу-
стился на берег и, значительно отойдя, обернулся, еще раз
увидев высокие мачты «Бегущей по волнам», с уверенностью,
что Гез, или Браун, или оба вместе, должны будут отнес-
ться к моему намерению самым положительным образом.

Я направился домой, не замечая, где иду, потеряв
чувство места и времени. Потрясение еще не улеглось. Ход
предчувствий, неуловимых, как только я начинал подробно
разбирать их, был слышен в глубине сердца, не даваясь

сознанию. Ряд никогда не испытанных состояний, из которых я не выбрал бы ни одного, отмечался в мыслях моих редкими сочетаниями слов, подобных разговору во сне, и я был не властен прогнать их. Одно, противу рассудка, я чувствовал, без всяких объяснений и доказательств,—это, что корабль Геза и неизвестная девушка Биче Сениэль должны иметь связь. Будь я спокоен, я отнесся бы к своей идее о сближении корабля с девушкой как к дикому суеверию, но теперь было иначе,—представления возникали с той убедительностью, как бывает при горе или испуге.

Ночь прошла скверно. Я видел сны,—много тяжелых и затейливых снов. Меня мучила жажда. Я просыпался, пил воду и засыпал снова, преследуемый нашествием мыслей, утомительных, как неправильная задача с ускользнувшей ошибкой. Это были расчеты чувств между собой после события, расстроившего их естественное течение.

В девять часов утра я был на ногах и поехал к Филатру в наемном автомобиле. Только с ним мог я говорить о делах этой ночи, и мне было необходимо, существенно важно знать, что думает он о таком повороте «трещины на стекле».

ГЛАВА VI

Хотя было рано, Филатр заставил ждать себя очень недолго. Через три минуты, как я сел в его кабинете, он вошел, уже одетый к выходу, и предупредил, что должен быть к десяти часам в госпитале. Тотчас он обратил внимание на мой вид, сказав:

— Мне кажется, что с вами что-то произошло!

— Между конторой Угольного синдиката и углом набережной,—сказал я,—стоит замечательное парусное судно. Я увидел его ночью, когда мы расстались. Название этого корабля — «Бегущая по волнам».

— Как! — сказал Филатр, изумленный более, чем даже я ожидал.—Это не шутка?! Но... позвольте... Ничего, я слушаю вас.

— Оно стоит и теперь.

Мы взглянули друг на друга и некоторое время сидели молча. Филатр опустил глаза, медленно приподняв брови; по выразительному его лицу прошел нервный ток. Он снова посмотрел на меня.

— Да, это бьет,— заметил он.— Но есть продолжение, конечно?

Предупреждая его невысказанное подозрение, что я мог видеть «Бегущую по волнам» раньше, чем пришел вчера к Стерсу, я сказал о том отрицательно и передал разговор с Гезом.

— Вы согласитесь,— прибавил я при конце своего рассказа,— что у меня могло быть только это желание. Никакое иное действие не подходит. По-видимому, я должен ехать, если не хочу остаться на всю жизнь с беспомощным и глупым раскаянием.

— Да,— сказал Филатр, протягивая сигару в воздух к воображаемой пепельнице.— Все так, положение, как ни верти, щекотливое. Впрочем, это — часто вопрос денег. Мне кажется, я вам помогу. Дело в том, что я лечил жену Брауна, когда, по мнению других врачей, не было уже смысла ее лечить. Назло им или из любезности ко мне, но она спаслась. Как я вижу, Гез ссылается на Брауна, сам будучи против вас, и это верная примета, что Браун сошлется на Геза. Поэтому я попрошу вас передать Брауну письмо, которое сейчас напишу.

Договаривая последние слова, Филатр быстро уселся за стол и взял перо.

— С трудом соображаю, что писать,— сказал он, обращаясь ко мне виском и углом глаза.

Он потер лоб и начал писать, произнося написанное вслух по мере того, как оно заполняло лист бумаги.

— Заметьте,— сказал Филатр, останавливаясь,— что Браун — человек дела, выгоды, далекий от нас с вами, и все, что, по его мнению, напоминает причуду, тотчас замыкает его. Теперь дальше. «Когда-то, в счастливый для вас и меня день, вы сказали, что исполните мое любое желание. От всей души я надеялся, что такая минута не наступит; затруднить вас я считал непростительным эгоизмом. Однако случилось, что мой пациент и родственник...»

— Эта дипломатическая неточность или, короче говоря, безвредная ложь, надеюсь, не имеет значения? — спросил Филатр; затем продолжал писать и читать: «...родственник, Томас Гарвей, вручитель сего письма, нуждается в путешествии на обыкновенном парусном судне. Это ему полезно и необходимо после болезни. Подробности он сообщит лично. Как я его понял, он не прочь был бы сделать рейс-другой в каюте...»

— Как странно произносить эти слова,— перебил себя Филатр.— А я их даже пишу: «...каюте корабля «Бегущая по волнам», который принадлежит вам. Вы крайне обяжете меня содействием Гарвею. Надеюсь, что здоровье вашей глубоко симпатичной супруги продолжает не внушать беспокойства. Прошу вас...»

— ...и так далее,— прикончил Филатр, покрывая конверт размашистыми строками адреса.

Он вручил мне письмо и пересел рядом со мной.

Пока он писал, меня начал мучить страх, что судно Геза ушло.

— Простите, Филатр,— сказал я, объяснив ему это.— Нетерпение мое велико!

Я встал. Пристально, с глубокой задумчивостью смотря на меня, встал и доктор. Он сделал рукой полуудерживающий жест, коснувшись моего плеча; медленно отвел руку, начал ходить по комнате, остановился у стола, рассеянно опустил взгляд и потер руки.

— Как будто следует нам еще что-то сказать друг другу, не правда ли?

— Да, но что? — ответил я.— Я не знаю. Я, как вы, любитель догадываться. Заниматься этим теперь было бы то же, что рисовать в темноте с натуры.

— Вы правы, к сожалению. Да. Со мной никогда не было ничего подобного. Уверяю вас, я встревожен и поглощен всем этим. Но вы напишете мне с дороги? Я узнаю, что произошло с вами?

Я обещал ему и прибавил:

— А не уложите ли и вы свой чемодан, Филатр?! Вместе со мной?!

Филатр развел руками и улыбнулся.

— Это заманчиво,— сказал он,— но... но... но...— Его взгляд одно мгновение задержался на небольшом портрете, стоявшем среди бронзовых вещей письменного стола. Только теперь увидел и я этот портрет — фотографию красивой молодой женщины, смотрящей в упор, чуть наклонив голову.

— Ничто не вознаградит меня,— сказал Филатр, закуривая и резко бросая спичку.— Как ни своеобразен, как ни аскетичен, по-своему, конечно, ваш внутренний мир,— вы, дорогой Гарвей, хотите увидеть смеющееся лицо счастья. Не отрицайте. Но на этой дороге я не получу ничего, потому что мое желание не может быть выполнено никем. Оно

просто и точно, но оно не сбудется никогда. Я вылечил много людей, но не сумел вылечить свою жену. Она жива, но все равно что умерла. Это ее портрет. Она не вернется сюда. Все остальное не имеет для меня никакого смысла.

Сказав так и предупреждая мои слова, даже мое молчание, которые, при всей их искренности, должны были только затруднить этот внезапный момент взгляда на открывшееся чужое сердце, Филатр позвонил и сказал слуге, чтобы подали экипаж. Не прощаясь окончательно, мы условились, что я сообщу ему о посещении мной Брауна.

Мы вышли вместе и расстались у подъезда. Вспрыгнув на сиденье, Филатр отъехал и обернулся, крикнув:

— Да, я этим не...— Остальное я не расслышал.

ГЛАВА VII

Контора Брауна «Арматор и Груз», как большинство контор такого типа, помещалась на набережной, очень недалеко, так что не стоило брать автомобиль. Я отпустил шофера и, едва вошел в гавань, бросил тревожный взгляд к молу, где видел вчера «Бегущую по волнам». Хотя она была теперь сравнительно далеко от меня, я немедленно увидел ее мачты и бугшприт на том же месте, где они были ночью. Я испытал полное облегчение.

День был горяч, душен, как воздух над раскаленной плитой. Несколько утомясь, я задержал шаг и вошел под полотняный навес портовой таверны утолить жажду.

Среди немногих посетителей я увидел взволнованного матроса, который, размахивая забытым, в возбуждении, стаканом вина и не раз собираясь его выпить, но опять забывая, крепил свою речь резкой жестикующей, обращаясь к компании моряков, занимавших угловой стол. Пока я задерживался у стойки, стукнуло мне в слух слово «Гез», отчего я, также забыв свой стакан, немедленно повернулся и вслушался.

— Я его не забуду,— говорил матрос.— Я плаваю двадцать лет. Я видел столько капитанов, что если их сразу сюда впустить, не хватит места всем стать на одной ноге. Я понимаю так, что Гез сущий дьявол. Не приведи бог служить под его командой. Если ему кто не понравится, он вы-

мотает из него все жилы. Я вам скажу: это бешеный человек. Однажды он так хватил плотника по уху, что тот обмер и не мог встать более часа: только стонал. Мне самому попало; больше за мои ответы. Я отвечать люблю так, чтобы человек весь позеленел, а придраться не мог. Но пусть он бешеный, это еще с полгоря. Он вредный, мерзавец. Ничего не угадаешь по его роже, когда он подзывает тебя. Может быть, даст стакан водки, а может быть — собьет с ног. Это у него — вдруг. Бывает, что говорит тихо и разумно, как человек, но если не так взглянул или промолчал — «понимай, мол, как знаешь, отчего я молчу» — и готово. Мы все измучились и сообща решили уйти. Ходит слух, что уж не первый раз команда бросала его посреди рейса. Что же? На его век дураков хватит!

Он умолк, оставшись с открытым ртом и смотря на свой стакан в злобном недоумении, как будто видел там ненавистного капитана; потом разом осушил стакан и стал сердито набивать трубку. Все это касалось меня.

— О каком Гезе вы говорите? — спросил я. — Не о том ли, чье судно называется «Бегущая по волнам»?

— Он самый, сударь, — ответил матрос, тревожно посмотрев мне в лицо. — Вы, значит, знаете, что это за человек, если только он человек, а не бешеная собака!

— Я слышал о нем, — сказал я, поддерживая разговор с целью узнать как можно больше о человеке, в обществе которого намеревался пробыть неопределенное время. — Но я не встречался с ним. Действительно ли он изверг и негодяй?

— Совершенная... — начал матрос, поперхнувшись и побагровев, с торжественной медленностью присяги, должно быть, намереваясь прибавить — «истина», как за моей спиной, перебивая ответ матроса, вылетел неожиданный, резкий возглас: «Чепуха!» Человек подошел к нам. Это был тоже матрос, опрятно одетый, грубого и толкового вида.

— Совершенная чепуха, — сказал он, обращаясь ко мне, но смотря на первого матроса. — Я не знаю, какое вам дело до капитана Геза, но я — а вы видите, что я не начальник, что я такой же матрос, как этот горлан, — он презрительно уставил взгляд в лицо опешившему оратору, — и я утверждаю, что капитан Гез, во-первых, настоящий моряк, а во-вторых, отличнейший и добрейшей души человек. Я служил у него с января по апрель. Почему я ушел — это мое дело, и Гез в том не виноват. Мы сделали два рейса в Гор-

Сайн. Из всей команды он не сказал никому дурного слова, а наш брат — что там вилять — сами знаете, народ пестрый. Теперь этот человек говорит, что Гез избил плотника. Из остальных сделал котлеты. Кто же поверит такому вранью? Мы получали порцион лучший, чем на военных судах. По воскресеньям нам выдавали бутылку виски на троих. Боцману и скорому на расправу Бутлеру, старшему помощнику, капитан при мне задал здоровенный нагоняй за то, что тот погрозил повару кулаком. Тогда же Бутлер сказал: «Черт вас поймет!» Капитан Гез собирал нас, бывало, и читал вслух такие истории, о каких мы никогда не слышивали. И если промеж нас случалась ссора, Гез говорил одно: «Будьте добры друг к другу. От зла происходит зло».

Кончив, но, видимо, имея еще много чего сказать в пользу капитана Геза, матрос осмотрел всех присутствующих, махнул рукой и, с выражением терпеливого неодобрения, стал слушать взбешенного хулителя Геза. Я видел, что оба они вполне искренни и что речь заступника возмутила обвинителя до совершенного неистовства. В одну минуту проревел он не менее десятка имен, взывая к их свидетельскому отсутствию. Он клялся, предлагал идти с ним на какое-то судно, где есть люди, пострадавшие от Геза еще в прошлом году, и закончил ехидным вопросом: отчего защитник так мало служил на «Бегущей по волнам»? Тот с достоинством, но с не меньшей запальчивостью рассказал, как он заболел, отчего взял расчет по прибытии в Лисс. Запутавшись в крике, оба стали ссылаться на одних и тех же лиц, так как выяснилось, что хулитель и защитник знают многих из тех, кто служил у Геза в разное время. Начались бесконечные попреки и оценки, брань и ярость фактов, сопровождаемых биением кулака в грудь. Как ни был я поглощен этим столкновением, я все же должен был спешить к Брауну.

Вывеска конторы «Арматор и Груз» была отсюда через три дома. Я вошел в прохладное помещение с опущенными на солнечной стороне занавесями, где среди деловых столов, перестрелки пишущих машин и сдержанных разговоров служащих ко мне вышел угрюмый человек в золотых очках.

Прошло несколько минут ожидания, пока он, доложив обо мне, появился из кабинета Брауна; уже не угрюмо, а приветливо поклонясь, он открыл дверь, и я, войдя в кабинет, увидел одного из главных хозяев, с которым мне следовало теперь говорить.

Я был очень рад, что вижу дельца, настоящего дельца, один вид которого создавал ясное настроение дела и точных ощущений текущей минуты. Так как я разговаривал с ним первый раз в жизни, а он меня совершенно не знал,— не было опасений, что наш разговор выйдет из делового тона в сомнительный, сочувствующий тон, почти неизбежный, если дело касается лечебной морской прогулки. В противном случае, по обстоятельствам дела, я мог возбудить подозрение в сумасбродстве, вызывающее натянутость. Но Браун едва ли любил рассматривать яйцо на свет. Как собеседник, это был человек хронически несвободной минуты, пожертвованной ближнему ради морально обязывающего пойти навстречу письма.

Рыжие остриженные волосы Брауна торчали с правильностью щетины на щетке. Сухая, высокая голова с гладким затылком, как бы намеренно крепко сжатые губы и так же крепко, цепко направленный прямо в лицо взгляд черных прищуренных глаз производили впечатление точного математического прибора. Он был долговяз, нескладен, уверен и внезапен в движениях; одет элегантно; разговаривая, он держал карандаш, глядя его концами пальцев. Он гладил его то быстрее, то тише, как бы дирижируя порядок и появление слов. Прочтя письмо бесстрастным движением глаз, он согнул угол бритого рта в заученную улыбку, откинулся на кресло и громким, хорошо поставленным голосом объявил мне, что ему всегда приятно сделать что-нибудь для Филатра или его друзей.

— Но,— прибавил Браун, скользнув пальцами по карандашу вверх,— возникла неточность. Судно это не принадлежит мне; она собственность Геза, и хотя он, как я думаю,— тут, повертев карандаш, Браун устал его конец в подбородок,— не откажет мне в просьбе уступить вам каюту, вы все же сделали бы хорошо, потолковав с капитаном.

Я ответил, что разговор был и что капитан Гез не согласился взять меня пассажиром на борт «Бегущей по волнам». Я прибавил, что говорю с ним, Брауном, единственно по указанию Геза о принадлежности корабля ему.

Это положение дела я представил без всех его странностей, как обычный случай или естественную помеху.

У Брауна мелькнуло в глазах неизвестное мне соображение. Он сделал по карандашу три задумчивые скольжения, как бы сосчитывая главные свои мысли, и дернул бровью так, что не было сомнения в его замешательстве. Наконец, приняв прежний вид, он посвятил меня в суть дела.

— Относительно капитана Геза,— задумчиво сказал Браун,— я должен вам сообщить, что этот человек почти навязал мне свое судно. Гез некогда служил у меня. Да, юридически я являюсь собственником этого крайне мне надоевшего корабля; и так произошло оттого, что Вильям Гез обладает воистину змеиным даром горячего, толкового убеждения,— правильное, способности закружить голову человеку тем, что ему совершенно не нужно. Однажды он задолжал крупную сумму. Спасая корабль от ареста, Гез сумел вытащить от меня согласие внести корабль в мой реестр. По запродажным документам, не стоившим мне ни гроша, оно значится моим, но не более. Когда-то я знал отца Геза. Сын ухитрился привести с собою тень покойника — очень хорошего, неглупого человека — и яростно умолял меня спасти «Бегущую по волнам». Как вы видите,— Браун показал через плечо карандашом на стену, где в щегольских рамках красовались фотографии пароходов, числом более десяти, — никакой особой выгоды извлечь из такой сделки я не мог бы при всем желании, а потому не вижу греха, что рассказал вам. Итак, у нас есть козырь против капризов Геза. Он лежит в моих с ним взаимных отношениях. Вы едете; это решено, и я напишу Гезу записку, содержание которой даст ему случай оказать вам любезный прием. Гез — сложный, очень тяжелый человек. Советую вам быть с ним настороже, так как никогда нельзя знать, как он поступит.

Я выслушал Брауна без смущения. В моей душе накрепко была закрыта та дверь, за которой тщетно билось и не могло выбиться ощущение щекотливости, даже, строго говоря, насилия, к которому я прибегал среди этих особых обстоятельств действия и места.

Окончив речь, Браун повернулся к столу и покрыл размашистым почерком лист блокнота, запечатав его в конверт резким, успокоительным движением. Я спро-

сил, не знает ли он истории корабля, на что, несколько помедлив, Браун ответил:

— Оно приобретено Гезом от частного лица. Но не могу вам точно сказать, от кого и за какую сумму. Красивое судно, согласен. Теперь оно отчасти приспособлено для грузовых целей, но его тип — парусный особняк. Оно очень быстроходно, и, отправляясь завтра, вы, как любитель, испытаете удовольствие скользить как бы на огромном коньке, если будет хороший ветер.— Браун взглянул на барометр.— Должен быть ветер.

— Гез сказал мне, что простит месяц.

— Это ему мгновенно пришло в голову. Он уже был сегодня и говорил про завтрашний день. Я знаю даже его маршрут: Гель-Гью, Тоуз, Кассет, Зурбаган. Вы еще зайдете в Дагон за грузом железных изделий. Но это лишь несколько часов расстояния.

— Однако у него не осталось ни одного матроса.

— О, не беспокойтесь об этом. Такие для других трудности — для Геза все равно, что снять шляпу с гвоздя. Уверен, что он уже набил кубрик головорезами, которым только мигни, как их явится легион.

Я поблагодарил Брауна и, получив крепкое напутственное рукопожатие, вышел с намерением употребить все усилия, чтобы смягчить Гезу явную неловкость его положения.

ГЛАВА IX

Не зная еще, как взяться за это, я подошел к судну и увидел, что Браун прав: на палубе виднелись матросы. Но это не был отборный, красивый народ хорошо поставленных корабельных хозяйств. По-видимому, Гез взял первых попавшихся под руку.

Справясь, я разыскал Геза в капитанской каюте. Он сидел за столом с Бутлером, проверяя бумаги и отсчитывая на счетах.

— Очень рад вас видеть,— сказал Гез после того, как я поздоровался и уселся. Бутлер слегка улыбнулся, и мне показалось, что его улыбка относится к Гезу.— Вы были у Брауна?

Я отдал ему письмо. Он распечатал, прочел, взглянул на меня, на Бутлера, который смотрел в сторону, и откашлялся.

— Следовательно, вы устроились,— сказал Гез, улыбаясь и засовывая письмо в жилетный карман.— Я искренно рад за вас. Мне неприятно вспоминать ночной разговор, так как я боюсь, не поняли ли вы меня превратно. Я считаю большой честью знакомство с вами. Но мои правила действительно против присутствия пассажиров на грузовом судне. Это надо понимать в порядке дисциплины, и ни в каком более. Впрочем, я уверен, что у нас с вами установятся хорошие отношения. Я вижу, вы любите море. Море! Когда произнесешь это слово, кажется, что вышел гулять, поглядывая на горизонт. Море...— Он задумался, потом продолжал: — Если Браун так сильно желает, я искренно уступаю и перехожу в другой галс. Завтра чуть свет мы снимаемся. Первый заход в Дагон. Оттуда повезем груз в Гель-Гью. Когда вам будет угодно перебраться на судно?

Я сказал, что мое желание — перевезти вещи немедленно. Почти приятельский тон Геза, его нежное отношение к морю, вчерашняя брань и сегодняшняя учтивость заставили меня думать, что, по всей видимости, я имею дело с человеком неуравновешенным, импульсивным, однако умеющим обуздать себя. Итак, я захотел узнать размер платы, а также, если есть время, взглянуть на свою каюту.

— Вычтите из итога и накиньте комиссионные,— сказал, вставая, Гез Бутлеру. Затем он провел меня по коридору и, открыв дверь, стал на пороге, сделав рукой широкий, приглашающий жест.

— Это одна из лучших кают,— сказал Гез, входя за мной.— Вот умывальник, шкаф для книг и несколько еще мелких шкафчиков и полок для разных вещей. Стол — общий, а впрочем, по вашему желанию, слуга доставит сюда все, что вы пожелаете. Матросами я не могу похвастаться. Я взял их на один рейс. Но слуга попался хороший, славный такой мулат; он служил у меня раньше, на «Эригоне».

Я был — смешно сказать — тронут: так теперешнее обращение капитана звучало непохоже на его дрянной, искусственно флегматичный и — потом — зверский тон сегодняшней ночи. Неоспоримо-хозяйские права Геза начали меня смущать; вздумай он категорически заявить их,

я, по всей вероятности, счел бы нужным извиниться за свое вторжение, замаскированное мнимыми правами Брауна. Но отступить, то есть отказаться от плавания, я теперь не мог. Я надеялся, что Гез передумает сам, желая извлечь выгоду. К великому моему удовольствию, он заговорил о плате, одним из наилучших регуляторов всех запутанных положений.

— Относительно денег я решил так,— сказал Гез, выходя из каюты,— вы уплачиваете за стол, помещение и проезд двести фунтов. Впрочем, если это для вас дорого, мы можем потолковать впоследствии.

Мне показалось, что из глаза в глаз Геза, когда он умолк, перелетела острая искра удовольствия назвать такую сумасшедшую цифру. Взмешенный, я пристально всмотрелся в него, но не выдал ничем великого своего удивления. Я быстро сообразил, что это мой козырь. Уплатив Гезу двести фунтов, я мог более не считать себя обязанным ему ввиду того, как обдуманно он оценил свою уступчивость.

— Хорошо,— сказал я,— я нахожу сумму незатруднительной. Она справедлива.

— Так,— ответил Гез тоном испорченного вдруг настроения. Возникла натянутость, но он тотчас ее замял, начав жаловаться на уменьшение фрахтов; потом, как бы спохватываясь, попросился: — Накануне отплытия всегда много хлопот. Итак, это дело решенное.

Мы расстались, и я отправился к себе, где немедленно позвонил Филатру. Он был рад услышать, что дело слажено, и мы условились встретиться в четыре часа дня на «Бегущей по волнам», куда я рассчитывал приехать значительно раньше. После этого мое время прошло в сборах. Я позавтракал и уложил вещи, устав от мыслей, за которые ни один дельный человек не дал бы ломаного гроша; затем велел вынести багаж и приехал к кораблю в то время, когда Гез сходил на набережную. Его сопровождали Бутлер и второй помощник — Синкрайт, молодой человек с хитрым, неприятным лицом. Увидев меня, Бутлер вежливо поклонился, а Гез, небрежно кивнув, отвернулся, взял под руку Синкрайта и стал говорить с ним. Он оглянулся на меня, затем все трое скрылись в арке Трехмильного проезда.

На корабле меня, по-видимому, ждали. Из дверей кухни выглянула голова в колпаке, скрылась, и немедлен-

но явился расторопный мулат, который взял мои вещи, поместив их в приготовленную каюту.

Пока он разбирал багаж, а я, сев в кресло, делал ему указания, мы понемногу разговорились. Слугу звали Гораций, что развеселило меня, как уместное напоминание о Шекспире в одном из наиболее часто цитируемых его текстов. Гораций подтвердил указанное Брауном направление рейса, как сам слышал это, но в его болтовне я не отметил ничего странного или особенного по отношению к кораблю. Особенное было только во мне. «Бегущая по волнам» шла без груза в Дагон, где предстояло грузить ее тремястами ящиков железных изделий. Наивно и представительно красуясь здоровенной грудью, обтянутой кокосовой сеткой, выпячивая ее, как петух, и скаля на каждом слове крепкие зубы, Гораций, наконец, проговорился. Эта интимность возникла вследствие золотой монеты и разрешения докурить потухшую сигару. Его сообщение встревожило меня больше, чем предсказание шторма.

— Я должен вам сказать, господин,— проговорил Гораций, потирая ладони,— что будет очень, очень весело. Вы не будете скучать, если правда то, что я подслушал. В Дагоне капитан хочет посадить девиц, дам — прекрасных синьор. Это его знакомые. Уже приготовлены две каюты. Там уже поставлены: духи, хорошее мыло, одеколон, зеркала; послано тонкое белье. А также закуплено много вина. Вино будет всем — и мне и матросам.

— Недурно,— сказал я, начиная понимать, какого рода дам намерен пригласить Гез в Дагоне.— Надеюсь, они не его родственницы?

В выразительном лице Горация перемигнулось все, от подбородка до вывернутых белков глаз. Он шелкнул языком, покачал головой, увел ее в плечи и стал хохотать.

— Я не приму участия в вашем веселье,— сказал я.— Но Гез может, конечно, развлекаться, как ему нравится.

С этим я отослал мулата и запер дверь, размышляя о слышанном.

Зная свойство слуг всячески раздувать сплетню, а также, в ожидании наживы, присочинять небылицы, которыми надеются угодить, я ограничился тем, что принял пока к сведению веселые планы Геза, и так как вскоре после того был подан обед в каюту (капитан отправился обедать в гостиницу), я съел его, очень довольный оди-

ночеством и кушаньями. Я докуривал сигару, когда Гораций постучал в дверь, впустив изнемогающего от зноя Филатра. Доктор положил на койку коробку и сверток. Он взял мою руку левой рукой и сверху дружески прикрыл правой.

— Что же это? — сказал он. — Я поверил по-настоящему, только когда увидел на корме в аши слова и — теперь — вас; я окончательно убедился. Но трудно сказать, в чем сущность моего убеждения. В этой коробке лежат карты для пасьянсов и шоколад, более ничего. Я знаю, что вы любите пасьянсы, как сами говорили об этом: «Пирамида» и «Красное-черное».

Я был тронут. По молчаливому взаимному соглашению мы больше не говорили о впечатлении случая с «Бегущей по волнам», как бы опасаясь повредить его странно наметившееся хрупкое очертание. Разговор был о Гезе. После моего свидания с Брауном Филатр говорил с ним в телефон, получив более полную характеристику капитана.

— По-видимому, ему нельзя верить, — сказал Филатр. — Он вас, разумеется, возненавидел, но деньги ему тоже нужны; так что хотя ругать вас он остережется, но я боюсь, что его ненависть вы почувствуете. Браун настаивал, чтобы я вас предупредил. Ссоры Геза многочисленны и ужасны. Он легко приходит в бешенство, редко бывает трезв, а к чужим деньгам относится как к своим. Знайте также, что, насколько я мог понять из намеков Брауна, «Бегущая по волнам» присвоена Гезом одним из тех наглых способов, в отношении которых закон терзается, но молчит. Как вы относитесь ко всему этому?

— У меня два строя мыслей теперь, — ответил я. — Их можно сравнить с положением человека, которому вручена шкатулка с условием: отомкнуть ее по приезде на место. Мысли о том, что может быть в шкатулке, — это один строй. А второй — обычное чувство путешественника, озабоченного вдобавок душевным скрипом отношений к тем, с кем придется жить.

Филатр пробыл у меня около часа. Вскоре разговор перешел к интригам, которые велись в госпитале против него, и обещаниям моим написать Филатру о том, что будет со мной, но в этих обыкновенных речах неотступно присутствовали слова: «Бегущая по волнам», хотя мы и не произносили их. Наш внутренний разговор был другой. След утреннего признания Филатра еще мелькал в его возбуж-

дении. Я думал о неизвестном. И сквозь слова каждый понимал другого в его тайном полнее, чем это возможно в разительном, увлекающем признании.

Я проводил его и вышел с ним на набережную. Расставаясь, Филатр сказал:

— Будьте с легкой душой и хорошим ветром!

Но по ощущению его крепкой, горячей руки и взгляду я услышал больше, как раз то, что хотел слышать. Надеюсь, что он также услышал невысказанное пожелание мое в моем ответе:

— Что бы ни случилось, я всегда буду помнить о вас.

Когда Филатр скрылся, я поднялся на палубу и сел в тени кормового тента. Взглянув на звук шагов, я увидел Синкрайта, остановившегося неподалеку и сделавшего нерешительное движение подойти. Ничего не имея против разговора с ним, я повернулся, давая понять улыбкой, что угадал его намерение. Тогда он подошел, и лишь теперь я заметил, что Синкрайт сильно навеселе, сам чувствует это, но хочет держаться твердо. Он представился, пробормотал о погоде и, думая, может быть, что для меня самое важное — обрести чувство устойчивости, заговорил о Гезе.

— Я слышал,— сказал он, присматриваясь ко мне,— что вы не поладили с капитаном. Верно, поладить с ним трудно, но, если уж вы с ним поладили,— этот человек делает все. Я всей душой на его стороне; скажу прямо: это — моряк. Может быть, вы слышали о нем плохие вещи; смею вас уверить,— все клевета. Он вспыльчив и самолюбив,— о, очень горяч! Замечательный человек! Стоит вам пожелать — и Гез составит партию в карты хоть с самим чертом. Велик в работе и маху не даст в баре: три ночи может не спать. У нас есть также библиотека. Хотите, я покажу ее вам? Капитан много читает. Он и сам покупает книги. Да, это образованный человек. С ним стоит поговорить.

Я согласился посмотреть библиотеку и пошел с Синкрайтом. Остановясь у одной двери, Синкрайт вынул ключи и открыл ее. Это была большая каюта, обтянутая узорным китайским шелком. В углу стоял мраморный умывальник с серебряным зеркалом и туалетным прибором. На столе черного дерева, замечательной работы, были бронзовые изделия, морские карты, бинокль, часы в хрустальном столбе; на стенах — атмосферические приборы. Хороший ковер и койка с тонким бельем, с шелковым

одеялом, — все отмечало любовь к красивым вещам, а также понимание их тонкого действия. Из полуоткрытого стеного углубления с дверцей виднелась аккуратно уложенная стопа книг; несколько книг валялось на небольшом диване. Ящик с книгами стоял между стеной и койкой.

Я осматривался с недоумением, так как это помещение не могло быть библиотекой. Действительно, Синкрайт тотчас сказал:

— Каково живет капитан? Это его каюта. Я ее показал затем, что здесь во всем самый тонкий вкус. Вот сколько книг! Он очень много читает. Видите, все это книги, и самые разные.

Не сдержав досады, я ответил ему, что мои правила против залезания в чужое жилье без ведома и согласия хозяина.

— Это вы виноваты, — прибавил я. — Я не знал, куда иду. Разве это библиотека?

Синкрайт озадаченно помолчал: так, видимо, изумили его мои слова.

— Хорошо, — сказал он угасшим тоном. — Вы сделали мне замечание. Оно, допустим, правильное замечание, однако у меня вторые ключи от всех помещений, и... — Не зная, что еще сказать, он закончил: — Я думаю, это пустяки. Да, это пустяки, — уверенно повторил Синкрайт. — Мы здесь все — свои люди.

— Пройдем в библиотеку, — предложил я, не желая останавливаться на его запутанных объяснениях.

Синкрайт запер каюту и провел меня за салон, где открыл дверь помещения, окруженного по стенам рядами полок. Я определил на глаз количество томов тысячи в три. Вдоль полки, поперек корешков книг, были укреплены сдвижные медные полосы, чтобы книги не выпадали во время качки. Кроме дубового стола с письменным прибором и складного стула, здесь были ящики, набитые журналами и брошюрами.

Синкрайт объяснил, что библиотека устроена прежним владельцем судна, но за год, что служит Синкрайт, Гез закупил еще томов триста.

— Браун не ездит с вами? — спросил я. — Или он временно передал корабль Гезу?

На мою хитрость, цель которой была заставить Синкрайта разговориться, штурман ответил уклончиво, так

что, оставив эту тему, я занялся книгами. За моим плечом Синкрайт восклицал: «Смотрите, совсем новая книга, и уже листы разрезаны!» или: «Впору университету такая библиотека». Вместе с тем завел он разговор обо мне, но я, сообразив, что люди этого сорта каждое излишне сказанное слово обращают для своих целей, ограничился внешним положением дела, пожаловавшись, для разнобразия, на переутомление.

Я люблю книги, люблю держать их в руках, пробагая заглавия, которые звучат как голос за таинственным входом или наивно открывают содержание текста. Я нашел книги на испанском, английском, французском и немецком языках и даже на русском. Содержание их было различное: история, математика, философия, редкие издания с описаниями старинных путешествий, морских битв, книги по мореходству и справочники, но более всего — романы, где рядом с Теккереем и Мопассаном пестрели бесстыдные обложки парижской альковной макулатуры.

Между тем смеркалось; я взял несколько книг и пошел к себе. Расставшись с Синкрайтом, провел в своей отличной каюте часа два, рассматривая карты — подарок Филатра. Я улыбнулся, взглянув на крап: одна колода была с миниатюрой корабля, плывущего на всех парусах в резком ветре, крап другой колоды был великолепный натюрморт — золотой кубок, полный до краев алым вином, среди бархата и цветов. Филатр думал, какие колоды купить, ставя себя на мое место. Немедленно я разложил трудный пасьянс, и, хотя он вышел, я подозреваю, что только по невольной в чем-то ошибке.

В половине восьмого Гораций возвестил, что капитан просит меня к столу — ужинать.

Когда я вошел, Гез, Бутлер, Синкрайт уже были за столом в общем салоне.

ГЛАВА X

Гез кратко приветствовал меня, и я заметил, что он не в духе, так как избегал моего взгляда.

Бутлер, наиболее симпатичный человек в этой компании, откашлявшись, сделал попытку завязать общий раз-

говор путем рассуждения о предстоящем рейсе, но Гез перебил его хозяйственными замечаниями касательно провизии и портовых сборов. На мои вопросы, относящиеся к плаванью, Гез кратко отвечал: «Да», «нет», «увидим». В течение ужина он ни разу сам не обратился ко мне.

Перед ним стоял большой графин с водкой, которую он пил методически, медленно и уверенно, пока не осушил весь графин. Его разговор с помощниками показал мне, что новая, наспех нанятая команда — лишь наполовину кое-что стоящие матросы; остальные были просто портовый сброд, требующий неусыпного надзора. Они говорили еще о людях и отношениях, которые мне были неизвестны. Бутлер с Синкрайтом пили если и не так круто, как Гез, то все же порядочно. Никто не настаивал, чтобы я пил больше, чем хочу сам. Я выпил немного. Прислуживая, Гораций возился с моим прибором несколько тщательно, чем у других, желая, должно быть, показать, как надо обходиться с гостями. Гез, приметив это, косо посмотрел на него, но ничего не сказал.

Из всего, что было сказано за этой неловкой и мрачной трапезой, меня заинтересовали следующие слова Синкрайта:

— Луиза пишет, что она пригласила Мари, а та, должно быть, никак не сможет расстаться с Юлией, почему придется дать им две каюты.

Все расхотались своим, имеющим, конечно, особое значение, мыслям.

— У нас будут дамы, — сказал, вставая из-за стола и взглядом наблюдая меня, Гез. — Вас это не беспокоит?

Я ответил, что мне все равно.

— Тем лучше, — заявил Гез.

Наверху раздался крик, но не крик драки, а крик делового замешательства, какие часто бывают на корабле. Бутлер отправился узнать, в чем дело; за ним вскоре вышел Синкрайт. Капитан, стоя, курил, и я воспользовался уходом помощников, чтобы передать ему деньги. Он взял ассигнации особым надменным жестом, очень тщательно пересчитал и подчеркнуто поклонился. В его глазах появился значительный и веселый блеск.

— Партию в шахматы? — сказал он учтиво. — Если вам угодно.

Я согласился. Мы поставили шахматный столик и сели. Фигуры были отличной слоновой кости, хорошей

художественной работы. Я выразил удивление, что вижу на грузовом судне много красивых вещей.

Хотя Гез был наверняка пьян, пьян привычно и естественно для него,— он не выказал своего опьянения ничем, кроме голоса, ставшего отрывистым, так как он боролся с желудком.

— Да,— сказал Гез,— были ухлопаны деньги. Как вы, конечно, заметили, «Бегущая по волнам» — бригантина, но на особый лад. Она выстроена согласно личному вкусу одного... он потом разорился. Итак,— Гез повертел королеву,— с женщинами входит шум, трепет, крики; конечно — беспокойство. Что вы скажете о путешествии с женщинами?

— Я не составил взгляда на такое обстоятельство,— ответил я, делая ход.

— Вам это должно нравиться,— продолжал Гез, делая соответствующий ход так рассеянно, что я увидел всю партию.— Должно, потому, что вы — я говорю это без мысли обидеть вас — появились на корабле более чем оригинально. Я угадываю дух человека.

— Надеюсь, вы пригласили женщин не для меня?

Он молчал, трудясь над задачей, которую я поставил ему ферязью и конем. Внезапно он смешал фигуры и объявил, что проиграл партию. Так повторилось два раза; наконец я обманул его ложной надеждой и объявил мат в семь ходов. Гез был красен от раздражения. Когда он ссыпал шахматы в ящик стола, его руки дрожали.

— Вы сильный игрок,— объявил Гез.— Истинное наслаждение было мне играть с вами. Теперь поговорим о деле. Мы выходим утром в Дагон, там берем груз и плывем в Гель-Гью. Вы не были в Гель-Гью? Он лежит по курсу на Зурбаган, но в Зурбагане мы будем не раньше как через двадцать — двадцать пять дней.

Разговор кончился, и я ушел к себе, думая, что общество капитана несколько утомительно.

Остаток вечера я просидел за книгой, уступая время от времени нашествию мыслей, после чего забывал, что читаю. Я заснул поздно. Эта первая ночь на судне прошла хорошо. Изредка просыпаясь, чтобы повернуться на другой бок или поправить подушки, я чувствовал едва заметное покачивание своего жилища и засыпал опять, думая о чужом, новом, неясном.

Я еще не совсем выспался, когда, пробудясь на рассвете, понял, что «Бегущая по волнам» больше не стоит у мола. Каюта опускалась и поднималась в медленном темпе крутой волны. Начало звякать и скрипеть по углам; было то всегда невидимое соотношение вещей, которому обязаны мы бываем ощущением движения. Шарахающийся плеск вдоль борта, неровное сотрясение, неустойчивость тяжести собственного тела, делающегося то грузнее, то легче, отмечали каждый размах судна.

На палубе раздавались шаги, как когда ходят по крыше над головой. Встав, я посмотрел в иллюминатор на море и увидел, что оно омрачено ветром с мелким дождем. По радости, охватившей меня, я понял, как бессознательно еще вчера испытывал неуверенность, неуверенность бессвязную, выразить которую ясной причиной сознание не может по отсутствию материала. Я оделся и позвонил, чтобы принесли кофе. Скоро пришел Гораций, объявив, что повар только начал топить плиту, почему предложил вина, но я решил обождать кофе, а от вина отказался, ограничиваясь полустаканом холодного пунша, который держал всегда в дороге и дома. Спросив, где мы находимся, я узнал, что, не будь дождя, Лисс был бы виден на расстоянии часа пути.

— Хороший ветер, — прибавил Гораций. — Капитан Гез держит вахту, так что вам завтракать без него.

При этом он посмотрел на меня просто, как бы без умысла, но я понял, что этот человек подмечает все отхождения.

Первые часы отплытия всегда праздничны и напряженны, при солнце или дожде, — все равно; поэтому я с нетерпением вышел на палубу. Меня охватило хорошо знакомое, любимое мною чувство полного хода, не лишенное беспричинной гордости и сознания живописного соучастия. Я был всегда плохим знатоком парусной техники как по бегучему, так и по стоячему такелажу, но зрелище развернутых парусов над закинутым, если смотреть вверх, лицом таково, что видеть их, двигаясь с ними, — одно из бескорыстнейших удовольствий, не требующих специального знания. Просвечивающие, стянутые к

концам рей острыми углами, великолепные парусные изгибы нагромождены вверх и вокруг. Их полет заключен среди резко неподвижных снастей. Паруса мчат медленно ныряющий корпус, а в них, давя вперед, нагнетая и выпирая, запутался ветер.

«Бегущая по волнам» шла на резком попутном ветре со скоростью, как я взглянул на лаг, пятнадцати морских миль. В серых пеленах неба таилось неопределенное обещание солнечного луча. У компаса ходил Гез. Увидев меня, он сделал вид, что не заметил, и отвернулся, говоря с рулевым.

Пробыв на палубе более получаса, я сошел вниз, где застал Бутлера, ожидающего завтрака; и мы повели разговор. Я ожидал расспросов с его стороны, но этот человек вел себя так, как если бы давно знал меня; мне такая манера нравилась. Вскоре явился Синкрайт, отсыревший и просвеженный; вчерашний хмель сказывался у него бледностью; руки дрожали. В то время как сумрачный Бутлер говорил мало, Синкрайт говорил много и надоедливо. Так, он подробно, мелочно ругал каждого из матросов, обращаясь ко мне с разъяснениями, которых я не спрашивал. Потом он начал напоминать Бутлеру подробности вчерашнего обеда в гостинице, копаясь в отношениях с неизвестными мне людьми. Им овладела похмельная нервность. Между тем, желая точно узнать направление и все заходы корабля, я обратился к Бутлеру с просьбой рассказать течение рейса, так как не полагался на слова Геза.

Не дав ничего сказать Бутлеру, которому было, пожалуй, все равно,—говорить или не говорить, Синкрайт тотчас предложил сходить вместе с ним в каюту Геза, где есть подробная карта. Мне не хотелось лезть к Гезу, относительно которого следовало, даже в мелочах, держаться настороже, тем более — с Синкрайтом, сильно не нравящимся мне всей своей повадкой, и я колебался, но, подумав, решил, что идти все-таки лучше, чем просить Синкрайта об одолжении принести карту. Я встал, и мы прошли в каюту Геза, где Синкрайт вынул из клеенчатой папки несколько морских карт, разыскав ту, которая требовалась.

— Я слышал,—сказал Синкрайт,—что вам все равно, куда мы плывем, поэтому вначале я удивился, услышав ваше желание.

— Мне это действительно все равно,— ответил я, морщась от его угодливой улыбки,— но такое отношение не мешает законному любопытству.

Синкрайт ненатурально и без нужды захохотал, вызвав тем у меня желание хлопнуть его по плечу, сказав:

«Вы подделываетесь ко мне на всякий случай, но, милый мой, я это отлично вижу».

Я стоял у стола, склоняясь над картой. Раскладывая ее, Синкрайт отвел верхний угол карты рукой, сделав движение вправо от меня, и, машинально взглянув по этому направлению, я увидел сбоку чернильного прибора фотографию под стеклом. Это было изображение девушки, сидевшей на чемоданах.

ГЛАВА XII

Я узнал ее сразу благодаря искусству фотографа и особенности некоторых лиц быть узнаваемыми без колебания на любом, даже плохом изображении, так как их черты вырезаны твердой рукой сильного впечатления, возникшего при особых условиях. Но это было не плохое изображение. Неизвестная сидела, облокотясь правой рукой; левая рука лежала на сдвинутых коленях. Особый, интимный наклон головы к плечу смягчал чинность позы. На девушке было темное платье с кружевным вырезом. Снимаясь, она улыбнулась, и след улыбки остался на ее светлом лице.

Главной моей заботой было теперь, чтобы Синкрайт не заметил, куда я смотрю. Узнав девушку, я тотчас опустил взгляд, продолжая видеть портрет среди меридианов и параллелей, и перестал понимать слова штурмана. Соединить мысли с мыслями Синкрайта хотя бы мгновением на этом портрете — казалось мне нестерпимо.

Хотя я видел девушку всего раз, на расстоянии, и не говорил с ней,— это воспоминание стояло в особом порядке. Увидеть ее портрет среди вещей Геза было для меня словно живая встреча. Впечатление повторилось, но теперь — резко и тяжело; оно неестественно соединялось с личностью Геза. В это время Синкрайт сказал:

-- Отсюда идет течение; даже при слабом ветре можно сделать...

— От десяти до двенадцати миль,— сказал Гез позади меня. Я не слышал, как он вошел.— Синкрайт,— продолжал Гез,— ваша вахта началась четыре минуты назад. Ступайте, я покажу карту.

Синкрайт, спохватясь, ринулся и исчез.

Обветренное лицо Геза носило следы плохо проведенной ночи. Он курил сигару. Не снимая дождевого плаща и сдвинув на затылок фуражку, Гез оперся рукой о карту, водя по ней дымящимся концом сигары и говоря о значении пунктиров, красных линий, сигналов. Я понял лишь, что он рассчитывает быть в Гель-Гью дней через пять-шесть. Затем он скинул кожаный плащ, фуражку и сел, вытянув ноги. Я сел к портрету затылком, чтобы избежать случайного, щекотливого для меня разговора. Я чувствовал, что мой интерес к Биче Сениэль еще слишком живо всколыхнут, чтобы пройти незамеченным такому прохождению, как Гез,— навязчивое самовнушение, обычно приводящее к результату, которого стремишься избежать.

Взгляд Геза был устремлен на пуговицы моего жилета. Он медленно поднимал голову; встретясь наконец с моим взглядом, капитан, прокашлявшись, стал протирать глаза, отгоняя рукой дым сигары.

— Как вам нравится Синкрайт? — сказал он, протягивая руку к столу — стряхнуть пепел. При этом, не поворачиваясь, я знал, что, взглянув мельком на стол, он посмотрел на портрет. Этот рассеянный взгляд ничего не сказал мне. Я рассматривал Геза по-новому. Он предстал теперь на фоне потаенного, внезапно установленного мной отношения к той девушке, и от сильного желания понять суть отношения — но понять без расспросов — я придал его взгляду на портрет разнообразное значение. Как бы там ни было, Филатр оказался прав, когда заметил, что «обозначается действие», а он сказал это. Я сам, открыв портрет, был уже твердо, окончательно убежден, что события приведут к действию.

Итак, я ответил на вопрос о Синкрайте:

— Синкрайт, как всякий человек первого дня пути,— человек, похожий на всех: с руками и головой.

— Дрянь человек,— сказал Гез. Его несколько злобное утомление исчезло; он погасил окурок, стал вдруг улыбаться.

ся и тщательно расспросил меня, как я себя чувствую — во всех отношениях жизни на корабле. Ответив, как надо, то есть бессмысленно по существу и прилично-разумно по форме, я встал, полагая, что Гез отправится завтракать. Но на мое о том замечание Гез отрицательно покачал головой, выпрямился, хлопнул руками по коленям и вынул из нижнего ящика стола скрипку.

Увидев это, я поддался соблазну сесть снова. Задумчиво рассматривая меня, как если бы я был нотный лист, капитан Гез тронул струны, подвинул колки и наладил смычок, говоря:

— Если будет очень противно, скажите немедленно.

Я молча ждал. Зрелище человека с желтым лицом, с опухшими глазами, сунувшего скрипку под бороду и делающего головой движения, чтобы удобнее пристроить инструмент, вызвало у меня улыбку, которую Гез заметил, немедленно улыбнувшись сам, снисходительно и застенчиво. Я не ожидал хорошей игры от его больших рук и был удивлен, когда первый же такт показал значительное искусство. Это был этюд Шопена. Играя, Гез встал, смотря в угол, за мою спину; затем его взгляд, блуждая, остановился на портрете. Он снова перевел его на меня и, доигрывая, опустил глаза.

Спенсер советует устраивать скрипичные концерты в помещениях, обитых тонкими сосновыми досками на полуфута от основной стены, чтобы извлечь резонанс, необходимый, по его мнению, для ограниченной силы звука скрипки. Но не для всякой композиции хорош этот рецепт, и есть вещи, сила которых в их содержании. Шепот на ухо может иногда потрясти, как гром, а гром — вызвать взрыв смеха. Этот страстный этюд и порывистая манера Геза вызвали все напряжение, какое мы отдаем оркестру. Два раза Гез покачнулся при колебании судна, но с нетерпением возобновлял прерванную игру. Я услышал резкие и гордые стоны, жалобу и призыв; затем несколько ворчаний, улыбок, смолкающий напев о былом — Гез, отняв скрипку, стал сумрачно ее настраивать, причем сел, вопросительно взглядывая на меня.

Я похвалил его игру. Он, если и был польщен, ничем не показал этого. Снова взяв инструмент, Гез принялся выводить дикие фиоритуры, томительные скрипучие

диссонансы — и так, притворно, увлекся этим, что я понял необходимость уйти. Он меня выпроваживал.

Видя, что я решительно встал, Гез опустил смычок и пожелал приятно провести день — несколько насмешливым тоном, на который теперь я уже не обращал внимания. И я сам хотел быть один, чтобы подумать о прошедшем.

ГЛАВА XIII

Ища случая разрешить загадку портрета, хотя и не имел для этого ни определенных надежд, ни обдуманного, готового плана, я перебрался на палубу и уселся в шезлонг.

Единственным человеком, которого без особого морального насилия над собой я мог бы вовлечь в интересующий меня разговор, был Бутлер. Куря, я стал ожидать его появления. У меня было предчувствие, что Бутлер придет.

Меж тем погода улучшилась; ветер утратил резкость, сырость исчезла, и солнечный свет окреп; хотя ярко он еще не вырывался из туч, но стал теплее тоном. Прошло четверть часа, и Бутлер действительно появился, если не навеселе, то прогнав тяжкий вчерашний хмель стаканчиком полезных размеров.

Мне показалось, что он доволен, увидев меня. Не теряя времени, я пригласил его выкурить сигару, взял бодрый, живой тон, рассказал анекдот и, когда увидел, что он изменил несколько напряженную позу на неприужденную и стал связно произносить довольно длинные фразы,—сказал ему, что «Бегущая по волнам» — самое великопное парусное судно, какое мне приходилось видеть.

— Оно было бы еще лучше,—сказал Бутлер,— для нас, конечно, если бы могло брать больше груза. Один трюм. Но и тот рассчитан не для грузовых операций. Мы кое-что сделали, сломав внутренние перегородки, и тем увеличили емкость, но все же грузить более двухсот тонн немисливо. Теперь, при высокой цене фрахта, еще можно существовать, а вот в прошлом году Гез наделал немало долгов.

Я узнал также, что судно построено Нэдом Сениэль четырнадцать лет назад. При имени «Сениэль» воздух

сошелся в моем горле. Я сохранил внимательную неподвижность лица.

— Оно выстроено для прогулок,— говорил Бутлер,— и было раз в кругосветном плавании. Дело, видите ли, в том, что род ныне умершей жены Сениэля в родстве с первыми поселенцами, основателями Гель-Гью; те были выкинуты, очень давно, на берег с брига, называвшегося, как и наше судно, «Бегущая по волнам». Значит, эта история отчасти фамильная, и жена Сениэля выбрала для корабля тоже такое название. Лет пять назад Нэд Сениэль разорился, когда цена на хлопок пошла вниз. Продал корабль Гезу. Гез с самого начала капитаном «Бегущей»; я здесь недавно. Вся история мне известна от Геза.

— Следовательно,— спросил я,— Гез купил судно после разорения Сениэля?

Смутясь, Бутлер стал молча заклеивать слюной отставший сигарный лист. Он неловко вышел из положения, сказав:

— Теперь, кажется, оно перешло к Брауну. Да, оно так. Впрочем, денежные дела — не моя забота.

Рассчитывая, что на днях мы поговорим подробнее, я не стал больше спрашивать его о корабле. Кто сказал «А», тот скажет и «Б», если его не мучить. Я перешел к Гезу, выразив сожаление, крайне смягченное по остроте своего существа, что капитан бездетен, так как его жизнь, по-видимому, довольно беспутна; она лишена правильных семейных забот.

— Детей?! — сказал Бутлер, делая круглые глаза. Он был невероятно изумлен. Мысль иметь детей Гезу крайне поразила Бутлера.— Да он никогда не был женат. Что это вам пришло в голову?

— Простая самонадеянность. Я был уверен, что капитан Гез женат.

— Никогда. Может быть, вы подумали это потому, что увидели на его столе портрет барышни; ну, так это дочь Сениэля.

Я молчал. Бутлер стал смотреть на носок своего сапога. Я внимательно наблюдал за ним. На его крутом, замкнутом лице выступила улыбка — начало улыбки.

Я не ожидал решительных конфиденций, так как чувствовал, что подошел вплотную к разгадке того обстоятельства, о котором, как о несомненно интимном, Бут-

лер навряд ли стал бы распространяться подробнее мало-знакомому человеку. После улыбки, которая начала возникать в лице Бутлера, я сам признал бы подобные разъяснения предательством.

Бутлер усиленно затянулся сигарой, стряхнул пепел с колен и ушел, сославшись на дела.

Я остался. Я думал, не следовало ли рассказать Бутлеру о моей встрече на берегу с Биче Сениэль, но вспомнил, что мне, в сущности, ничего не известно об отношениях Геза и Бутлера. Он мог передать этот разговор капитану, вызвав тем новые осложнения. Кроме того, почти одновременное прибытие девушки и корабля в Лисс — не произошло ли с ведома и согласия обеих сторон? Разговор с Бутлером как бы подвел меня к запертой двери, но не дал ключа от замка; узнав кое-что, я, как и раньше, знал очень немного о том, почему фотография Биче Сениэль украшает стол Геза. Человеческие отношения бесконечно разнообразны; я встречал случаи, когда громадный интерес к темному положению распыливался простейшим решением, иногда — пустяком. С другой стороны, надо было признать, что портрет дочери Сениэля, очень красивой и на редкость привлекательной девушки, не мог быть храним Гезом безотносительно к его чувствам. Со всем тем странно было бы допустить взаимную близость этих двух, столь непохожих людей.

Не делая решительных выводов, то есть представляя их, но оставляя в сомнении, я заметил, как мои размышления о Биче Сениэль стали пристрастны и беспокойны. Воспоминание о ней вызывало тревогу; если мимолетное впечатление ее личности было так пристально, то прямое знакомство могло вызвать чувство еще более сильное и, вероятно, тяжелое, как болезнь. Не один раз наблюдал я это совершенное поглощение одного существа другим — женщиной или девушкой. Мне случалось быть в положении, требующем точного взгляда на свое состояние, и я никогда не мог установить, где подлинное начало этой мучительной приверженности, столь сильной, что нет даже стремления к обладанию; встреча, взгляд, рука, голос, смех, шутка — уже являются облегчением, таким мощным среди остановившей всю жизнь одержимости единственным существом, что радость равна спасению. Но я был на большом расстоянии от прекрасной опасности, и я был спокоен, если можно назвать спокойствием упор-

ное размышление, лишенное терзающего стремления к встрече.

Меж тем солнце пробилось наконец сквозь туманные облачные пласты; по яркому морю кружилась пена. Вскоре я отправился к себе вниз, где, никем не потревоженный, провел в чтении около трех часов. Я читал две книги — одна была в душе, другая в руках.

Приближалось время обеда, который, по корабельным правилам, подавался в час дня. Качать стало медленнее и не так сильно, как утром. Я решил обедать один по той причине, что обед приходился на вахтенные часы Бутлера и мне предстояло, следовательно, сидеть с Гезом и Синкрайтом. Я никогда не чувствовал себя хорошо в обществе людей, относительно которых ломал голову над каким-либо обстоятельством их жизни, не имея возможности прямо о том сказать. Это о Гезе; что касается Синкрайта, — его ползающая улыбка и сальный взгляд были мне нестерпимы.

Вызвав Горація, я сговорился с ним, узнав, что обед будет несколько раньше часа, потому что близок Дагон, где, как известно, Гез должен погрузить железо.

Скоро мне в каюту подали обед. Я отобедал и, заслышав на палубе оживление, вышел наверх.

ГЛАВА XIV

«Бегущая по волнам» приближалась к бухте, раскинутой широким охватом отступившего в глубину берега. Оттуда шел смутный перебой гула. Гез, Бутлер и Синкрайт стояли у бота. Команда тянула фалы и брасы, переходя от мачты к мачте.

Берег развертывался мрачной перспективой фабричных труб, опоясанных слоями черного дыма. Береговая линия, где угрюмые фасады, акведуки, мосты, каналы, цистерны и склады теснились среди рельсовых путей, напоминала затейливый силуэт: так было здесь все черно от угля и копоти. Стон ударов по железу набрасывался со всех концов зрелища; грохот паровых молотов, цикады маленьких молотков, пронзительный визг пил, обморочное дребезжание подвод — все это, если слушать,

не разделяя звуков, составляло один крик. Среди рева металлов, отстукивая и частя, выбрасывали гнилой пар сотни всяческих труб. У молов, покрытых складами и сооружениями, вид которых напоминал орудия пытки,— так много крюков и цепей болталось среди этих подобий Эйфелевой башни,— стояли баржи и пароходы, пыля выгружаемым каменным углем.

«Бегущая по волнам» опустила якорь. Паруса упали, потом исчезли. Встретив Бутлера, я спросил, долго ли мы пробудем в Дагоне. Он сказал, что скоро начнут грузить, и действительно, прошло около получаса, как буксир подвел к нам четырехугольный тяжелый баркас, из трюма которого носильщики стали таскать по трапу крепкие деревянные ящики. Чистая палуба «Бегущей» покрылась грязью и пылью. Я ушел к себе, где некоторое время слышал однообразную звуковую картину: топот босых ног, стук брошенного на скат ящика и хриплые голоса. Так продолжалось часа два. Наконец установилась относительная тишина. Все рабочие, как я видел это в иллюминатор, сошли на шаланду, и буксир потащил ее в порт.

Вскоре после этого к навесному трапу, опущенному по той стороне корабля, где находилась моя каюта, подплыла лодка, управляемая наемным лодочником. Шлюпка прошла так близко от иллюминатора, что я бегло рассматривал ее пассажиров. Это были три женщины: рыжая, худенькая, с сжатым ртом и прищуренными глазами; крупная, заносчивого вида, блондинка, и третья — бледная, черноволосая, нервного, угловатого сложения. Махая руками, эти три женщины встали, смотря вверх и выкрикивая какие-то отчаянные приветствия. На их плечах были кружевные накидки; волосы подобраны с грубой пышностью, какой принято поражать в известных местах; сильно напудренная, театрально подбоченясь, в шелковых платьях, кольцах и ожерельях, компания эта быстро пересекла круглый экран пространства, открываемого иллюминатором. Я заметил картонки и чемоданы. Гез получил гостей.

Даже не поднимаясь на палубу, я мог отлично представить сцену встречи женщин. Для этого не требовалось изучения нравов. Пока я мысленно видел плохую игру в хорошие манеры, а также ненатурально подчеркнутую галантность,— в отдалении послышалось, как весь отряд

бредет вниз. Частые шаги женщин и тяжелая походка мужчин проследовали мимо моей двери, причем на слова, сказанные кем-то вполголоса, раздался взрыв смеха.

В каюте Геза стоял портрет неизвестной девушки. Участники оргии собрались в полном составе. Яплыл на корабле с темной историей и подозрительным капитаном, ожидая должных случиться событий, ради цели неясной и начинающей оборачиваться голосом чувства, так же странного при этих обстоятельствах, как ревнивое желание разобрать, о чем шепчутся за стеной.

Во всем крылся великий и опасный сарказм, зародивший тревогу. Я ждал, что Гез сохранит в распутстве своем, по крайней мере, возможную элегантность,— так я думал по некоторым его личным чертам; но поведение Геза заставило ожидать худших вещей, а потому я утвердился в намерении совершенно уединиться. Сильнее всего мучила меня мысль, что, выходя на палубу днем, я рисковал, против воли, быть втянутым в удалую компанию. Мне оставались — раннее, еще дремотное утро и глухая ночь.

Пока я так рассуждал, стало смеркаться. Береговой шум раздавался теперь глуше; я слышал, как под окрики Бутлера ставят паруса, делаются приготовления плыть далее. Брашпиль начал выворачивать якорь, и погромыхающий треск якорной цепи некоторое время был главным звуком на корабле. Наконец произвели поворот. Я видел, как черный, в огнях берег уходит влево и океан расстилает чистый горизонт, озаренный закатом. Смотри в иллюминатор, я по движению волн, плывущих на меня, но отходящих по борту дальше, назад, минуя окно, заметил, что «Бегущая» идет довольно быстро.

Из столовой донесся торжествующий женский крик; потом долго хохотал Синкрайт. По коридору промчался Гораций, бренча посудой. Затем я слышал, как его распекали. После того неожиданно у моей двери раздались шаги, и подошедший стукнул. Я немедленно открыл дверь.

Это был надушенный и осмелевший Синкрайт, в первом заряде разгульного настроения. Когда дверь открылась,— из салона, сквозь громкий разговор, послышалось треньканье гитар.

Повинуясь моему взгляду, Синкрайт закрыл дверь и преувеличенно вежливо поклонился.

— Капитан Гез просит вас сделать честь пожаловать к столу,— заявил он.

— Передайте капитану мою искреннюю благодарность,— ответил я с досадой,— но скажите также, что я отказываюсь.

— Надеюсь, вас можно убедить,— продолжал Синкрайт,— тем более, что все мы будем очень огорчены.

— Едва ли вы убедите меня. Я намерен провести вечер один.

— Хорошо! — сказал он удивленно и вышел, повторяя: — Жаль, очень жаль!

Предчувствуя дальнейшие покушения, я взял перо, бумагу и сел к столу. Я начал писать Лерху, рассчитывая послать это письмо при первой остановке. Я хотел иметь крупную сумму.

На второй странице письма снова раздался настойчивый стук; не дожидаясь разрешения, в каюту вступил Гез.

ГЛАВА XV

Я повернулся с неприятным чувством зависимости, какое испытывает всякий, если хозяева делаются бесцеремонными.

Гез был в смокинге. Его безукоризненной, в смысле костюма, внешности дико противоречила пьяная судорога лица. Он был тяжело, головокружительно пьян. Подходя так близко, что я, встав, отодвинулся, опасаясь неустойчивости его тела, Гез оперся правой рукой о стол, а левой подбоченился. Он нервно дышал, стараясь стоять прямо, и сохранял равновесие при качке тем, что сгибал и распрямлял колено. На мою занятость письмом Гез даже не обратил внимания.

— Хотите повеселиться? — сказал он, значительно подмигивая, в то время как его острый, холодный взгляд безучастного к этой фразе лица внимательно изучал меня.— Я намерен установить простые, дружеские отношения. Нет смысла жить врозь.

— Синкрайт был,— заметил я, как мог, миролюбиво.— Он, конечно, передал вам мой ответ.

— Я не поверил Синкрайту, иначе я не был бы здесь,— объявил Гез.— Бросьте это! Я знаю, что вы сердитесь на меня, но всякая ссора должна иметь конец. У нас очень весело.

— Капитан Гез,— сказал я, тщательно подбирая слова и чувствуя приступ ярости; я не хотел поддаться гневу, но видел, что вынужден положить конец дерзкому вторжению, оборвать сцену, начинающую делать меня дураком в моих собственных глазах.— Капитан Гез, я прошу вас навсегда забыть обо мне как о компаньоне по увеселениям. Ваше времяпрепровождение для вас имеет, надо думать, и смысл и оправдание; более я не могу позволить себе рассуждать о ваших поступках. Вы хозяин, и вы у себя. Но я тоже свободный человек, и если вам это не совсем понятно, я берусь повторить свое утверждение и доказать, что я прав.

Сказав так, я ждал, что он пробурчит извинение и уйдет. Он не изменил позу, не шелохнулся, лишь стал еще бледнее, чем был. Откровенная, неистовая ненависть светилась в его глазах. Он вздохнул и засунул руки в карманы.

— Вы нанесли мне оскорбление,— медленно произнес Гез.— Еще никто... Вы выказали мне презрение, и я вас предупреждаю, что оно попало туда, куда вы метили. Этого я вам не прощу. Теперь я хочу знать: как вы представляете наши отношения дальше?! Хотел бы я знать, да! Не менее тридцати дней продлится мой рейс. Даю слово, что вы расклетесь.

— Наши отношения точно определены,— сказал я, не видя смысла уступать ему в тоне.— Вы получили двести фунтов, причем я с вами не торговался. Взамен я получил эту каюту, но ваше общество в придачу к ней — не слишком ли незавидная компенсация?

Был один момент, когда, следя за выражением лица Геза, я подумал, что придется выбросить его вон. Однако он сдержался. Пристально смотря мне в глаза, Гез засунул руку во внутренний карман, задержал там ее порывистое движение и торжественно произнес:

— Я тотчас швырну вам эти деньги назад!

Он вынул руку, оказавшуюся пустой, с гневом опустил ее и, повторив, что вернет деньги, добавил: «Вам не придется хвастаться своими деньгами»,— затем вышел, хлопнув дверью.

После этого я немедленно запер каюту ключом и стал у двери, прислушиваясь.

В столовой наступила относительная тишина; меланхолически звучала гитара. Там стали ходить, переговариваться; еще раз пронесся Горацкий, крича на ходу: «Готово, готово, готово!» Все показывало, что попойка не замирает, а разворачивается. Затем я услышал шум ссоры, женский горький плач и — после всего этого — хоровую песню.

Устав прислушиваться, я сел и погрузился в раздумье. Гез сказал правду: трудно было ждать впереди чего-нибудь хорошего при этих условиях. Я решил, что если ближайший день не переменит всей этой злобной нечистоты в хотя бы подобие спокойной жизни, — самое лучшее для меня будет высадиться на первой же остановке. Я был сильно обеспокоен поведением Геза. Хотя я не видел прямых причин его ненависти ко мне, все же сознавал, что так должно быть. Он был естествен в своей ненависти. Он не понимал меня, я — его. Поэтому, с его характером, образовалось военное положение, и с гневом, с тяжелым чувством безобразия минувшей сцены, я лег, но лег не раздеваясь, так как не знал, что еще может произойти.

Улегшись, я закрыл глаза, скоро опять открыв их. При моем этом состоянии сон был прекрасной, но наивной выдумкой. Я лежал так долго, еще раз обдумывая события вечера, а также объяснение с Гезом завтра утром, которое считал неизбежным. Я стал наконец надеяться, что когда Гез очнется — если только он сможет очнуться, — я сумею заставить его искупить дикую выходку, в которой он едва ли не раскаивается уже теперь. Увы, я мало знал этого человека!

ГЛАВА XVI

Прошло минут пятнадцать, как, несколько успокоясь, я представил эту возможность. Вдруг шум, слышный на расстоянии коридора, словно бы за стеной, перешел в коридор. Все или почти все вышли оттуда, возясь около моей двери с угрожающими и беспокойными криками. Было слышно каждое слово.

— Оставьте ее! — закричала женщина.

Вторая злобно твердила:

— Дура ты, дура! Зачем тебя черт понес с нами?

Послышались плач, возня; затем ужасный, истерический крик:

— Я не могу, не могу! Уйдите, уйдите к черту, оставьте меня!

— Замолчи! — крикнул Гез. По-видимому, он зажимал ей рот. — Иди сюда. Берите ее, Синкрайт!

Возня, молчание и трение о стену ногами, перемешиваясь с частым дыханием, показали, что упрямство или другой род сопротивления хотят сломить силой. Затем долгий, неистовый визг оборвался криком Геза: «Она кусается, дьявол!» — и позорный звук тяжелой пощечины прозвучал среди громких рыданий. Они перешли в вопль, и я открыл дверь.

Мое внезапное появление придало гнусной картине краткую неподвижность. На заднем плане, в дверях салона, стоял сумрачный Бутлер, держа за талию раскрасневшуюся блондинку и наблюдая происходящее с невозмутимостью уличного прохожего. Гез тащил в салон темноволосую девушку; тянул ее за руку. Ее лиф был расстегнут, платье сползло с плеч, и, совершенно ошалев, пьяная, с закрытыми глазами, она судорожно рыдала; пытаясь вырваться, она едва не падала на Синкрайта, который, увидев меня, выпустил другую руку жертвы. Рыжая женщина, презрительно подбоченясь, смотрела свысока на темноволосую и курила, отбрасывая руку от рта резким движением хмельной твари.

— Пора прекратить скандал, — сказал я твердо. — Довольно этого безобразия. Вы, Гез, ударили эту женщину.

— Прочь! — крикнул он, наклонив голову.

Одновременно с тем он опустил руку так, что не ожидавшая этого женщина повернулась вокруг себя и хлопнулась спиной о стену. Ее глаза дико открылись. Она была жалка и мутно, синевато бледна.

— Скотина! — Она говорила, задыхаясь и хрипя, указывая на Геза пальцем. — Это он! Негодяй ты! Послушайте, что было, — обратилась она ко мне. — Было пари. Я проиграла. Проигравший должен выпить бутылку. Я больше пить не могу. Мне худо. Я выпила столько, что и не угнаться этим соплякам. Насильно со мной ничего не делаешь. Я больна.

— Идешь ты? — сказал Гез, хватая ее за шею.

Она вскрикнула и плюнула ему в лицо. Я успел поймать занесенную руку капитана, так как его кулак мелькнул мимо меня.

— Ступайте, ступайте! — испуганно закричал Синкрайт. — Это не ваше дело!

Я боролся с Гезом. Видя, что я заступился, женщина вывернулась и отбежала за мою спину. Изогнувшись, Гез отчаянным усилием вырвал от меня свою руку. Он был в слепом бешенстве. Дрожали его плечи, руки; тряслось и кривилось лицо. Он размахнулся; удар пришелся мне по локтю левой руки, которой я прикрывал голову. Тогда, с искренним сожалением о невозможности сохранять далее мирную позицию, я измерил расстояние и нанес ему прямой удар в рот, после чего Гез грохнулся во весь рост, стукнув затылком.

— Довольно! Довольно! — закричал Бутлер.

Женщины, взвизгнув, исчезли. Бутлер встал между мной и поверженным капитаном, которого, приподняв под мышки, Синкрайт пытался прислонить к стенке. Наконец Гез открыл глаза и подобрал ногу; видя, что он жив, я вошел в каюту и повернул ключ.

Все трое говорили за дверью промеж себя, и я время от времени слышал отчетливые ругательства. Разговор перешел в подозрительный шепот; потом кто-то из них выразил удивление коротким восклицанием и ушел наверх довольно поспешно. Мне показалось, что это Синкрайт. В то же время я приготовил револьвер, так как следовало ожидать продолжения. Хотя нельзя было допустить избиения женщины — безотносительно к ее репутации, — в чувствах моих образовалась скверная муть, подобная оскомине.

Послышались шаги возвратившегося Синкрайта. Это был он, так как, придя, он громко сказал:

— Однако наш пассажир молодец! И то правду сказать, вы первый начали!

— Да, я погорячился, — ответил, вздохнув, Гез. — Ну, что же, я наказан — и за дело; мне нельзя так распускаться. Да, я вел себя безобразно. Как вы думаете, что теперь сделать?

— Станный вопрос. На вашем месте я немедленно уладил бы всю историю.

— Смотрите, Гез! — сказал Бутлер; понизив голос, он прибавил: — Мне все равно, но — знайте, что я сказал. И не забудьте.

Гез медленно рассмеялся.

— В самом деле! — сказал он. — Я сделаю это немедленно.

Капитан подошел к моей двери и постучал кулаком с решимостью нервной, прямой натуры.

— Кто стучит? — спросил я, поддерживая нелепую игру.

— Это я, Гез. Не бойтесь открыть. Я жалею о том, что произошло.

— Если вы действительно раскаиваетесь, — возразил я, мало веря его заявлению, — то скажете мне то же самое, что теперь, но только утром.

Раздался странный скрип, напоминающий скрежет.

— Вы слушаете? — сказал Гез сумрачно, подавленным тоном. — Я клянусь вам. Вы можете мне поверить. Я стыжусь себя. Я готов сделать что угодно, только чтобы иметь возможность немедленно пожать вашу руку.

Я знал, что битые часто проникаются уважением и — как это ни странно — иногда даже симпатией к тем, кто их физически образумил. Судя по тону и смыслу настоячивых заявлений Геза, я решил, что сопротивляться будет напрасной жестокостью. Я открыл дверь и, не выпуская револьвера, стал на пороге.

Взгляд Геза объяснял все, но было уже поздно. Синкрайт захватил дверь. Пять или шесть матросов, по-видимому сошедших вниз крадучись, так как я шагов не слышал, стояли наготове, ожидая приказа. Гез вытирал платком распухшую губу.

— Кажется, я имел глупость вам поверить, — сказал я.

— Держите его, — обратился Гез к матросам. — Отнимите револьвер!

Прежде чем несколько рук успели поймать мою руку, я увернулся и выстрелил два раза, но Гез отделался только тем, что согнулся, отскочив в сторону. Прицелу помешали толчки. После этого я был обезоружен и притиснут к стене. Меня держали так крепко, что я мог только поворачивать голову.

— Вы меня ударили, — сказал Гез. — Вы все время оскорбляли меня. Вы дали мне понять, что я вас ограбил. Вы держали себя так, как будто я ваш слуга. Вы

сели мне на шею, а теперь пытались убить. Я вас не трону. Я мог бы заковать вас и бросить в трюм, но не делаю этого. Вы немедленно покинете судно. Не головой вниз,— я не так жесток, как болтают обо мне разные дураки. Вам дадут шлюпку и весла. Но я больше не хочу видеть вас здесь.

Этого я не ожидал, и хотя был сильно встревожен, мой гнев дошел до предела, за которым я предпочитал все опасности моря и суши дальнейшим издевательствам Геза.

— Вы затеваете убийство,— сказал я.— Но помните, что до Дагона никак не более ста миль, и, если я попаду на берег, вы дадите ответ суду.

— Сколько угодно,— ответил Гез.— За такое редкое удовольствие я согласен заплатить головой. Вспомните, однако, при каких странных условиях вы появились на корабле! Этому есть свидетели. Покинуть «Бегущую по волнам» тайно — в вашем духе. Этому будут свидетели.

Он декламировал, наслаждаясь грозной ролью и закусив удила. Я оглядел матросов. То был подвыпивший, мрачный сброд, ничего не терявший, если бы ему даже приказали меня повесить. Лишь молчавший до сего Бутлер решился возразить:

— Не будет ли немного много, капитан?

Гез так посмотрел на него, что тот плюнул и ушел. Капитан был совершенно невменяем. Как ни странно, именно эти слова Бутлера подстегнули мою решимость спокойно сойти в шлюпку. Теперь я не остался бы ни при каких просьбах. Мое негодование было безмерно и перешагнуло всякий расчет.

— Давай шлюпку, подлец! — сказал я.

Все мы быстро поднялись вверх. Стоял мрак, но скоро принесли фонарь. «Бегущая» легла в дрейф. Все это совершалось безмолвно,— так казалось мне, потому что я был в состоянии напряженной, болезненной отрешенности. Матросы принесли мои вещи. Я не считал их и не проверял. Значение совершающегося смутно маячило в далеком углу сознания. Были приспущены тали, и я вошел в шлюпку, повисшую над водой. Со мной вошел матрос, испуганно твердя: «Смотрите, вот весла». Затем неизвестные руки перебросили мои вещи. Фигур на борту я не различал. «К дьяволу!» — сказал Гез. Матрос, двигая фонарем, яркое пятно которого создавало в шлюпке странный

уют, держался за борт, ожидая, когда меня спустят вниз. Наконец шлюпка двинулась и встряхнулась на поддавшей ровной волне. Стало качать. Матрос отцепил тали и исчез, карабкаясь по ним вверх.

Все было кончено. Волны уже отнесли шлюпку от корабля так, что я видел, как бы через мостовую, ряд круглых освещенных окон низкого дома.

ГЛАВА XVII

Я вставил весла, но продолжал неподвижно сидеть, с невольным и бесцельным ожиданием. Вдруг на палубе раздались возгласы, крики, спор и шум — так внезапно и громко, что я не разобрал, в чем дело. Наконец послышался требовательный женский голос, проговоривший резко и холодно:

— Это мое дело, капитан Гез. Довольно, что я так хочу!

Все дальнейшее, что я услышал, звучало изумлением и яростью. Гез крикнул:

— Эй вы, на шлюпке! Забирайте ее! — Он прибавил, обращаясь неизвестно к кому: — Не знаю, где он ее прятал!

Второе его обращение ко мне было, как и первое, без имени:

— Эй вы, на шлюпке!

Я не удостоил его ответом.

— Скажите ему сами, черт побери! — крикнул Гез.

— Гарвей! — раздался свежий, как будто бы знакомый голос неизвестной и невидимой женщины. — Подайте шлюпку к трапу, он будет спущен сейчас. Я еду с вами.

Ничего не понимая, я между тем сообразил, что, судя по голосу, это не могла быть кто-нибудь из компании Геза. Я не колебался, так как предпочесть шлюпку безопасному кораблю возможно лишь в невыносимых, может быть, угрожающих для жизни условиях. Трап стукнул; отвалился и наискось упав вниз, он коснулся воды. Я подвинул шлюпку и ухватился за трап, всматриваясь наверх до боли в глазах, но не различая фигур.

— Забирайте вашу подругу! — сказал Гез. — Вы, я вижу, ловкач.

— Черт его разорви, если я пойму, как он ухитрился это проделать! — воскликнул Синкрайт.

Шагов я не слышал. Внизу трапа появилась стройная закутанная фигура, махнула рукой и перескочила в шлюпку точным движением. Внизу было светлее, чем смотреть вверх, на палубу. Пристально взглянув на меня, женщина нервно двинула руками под скрывавшим ее плащом и села на скамейку рядом с той, которую занимал я. Ее лица, скрытого кружевной отделкой темного покрывала, я не видел, лишь поймал блеск черных глаз. Она отвернулась, смотря на корабль. Я все еще удерживался за трап.

— Как это произошло? — спросил я, теряясь от изумления.

— Какова наглость! — сказал Гез сверху. — Плывите, куда хотите, и от души желаю вам накормить акул!

— Убийца! — закричал я. — Ты еще ответишь за эту двойную гнусность! Я желаю тебе как можно скорее получить пулю в лоб!

— Он получит пулю, — спокойно, почти рассеянно сказала неизвестная женщина, и я вздрогнул. Ее появление начинало меня мучить, — особенно эти беспечные, твердые глаза.

— Прочь от корабля! — сказала она вдруг и повернулась ко мне. — Оттолкните его веслом.

Я оттолкнулся, и нас отнесло волной. Град насмешек полетел с палубы. Они были слишком гнусны, чтобы их повторять здесь. Голоса и корабельные огни отдалились. Я машинально греб, смотря, как судно, установив паруса, взяло ход. Скоро его огни уменьшились, напоминая ряд искр.

Ветер дул в спину. По моему расчету, через два часа должен был наступить рассвет. Взглянув на свои часы с светящимся циферблатом, я увидел, именно, без пяти минут четыре. Ровное волнение не представляло опасности. Я надеялся, что приключение окончится все же благополучно, так как из разговоров на «Бегущей» можно было понять, что эта часть океана между Гарибой и полуостровом весьма судоходна. Но больше всего меня занимал теперь вопрос, кто и почему сел со мной в дикую ночь.

Между тем стало если не светлеть, то яснее видно. Волны отсвечивали темным стеклом. Уже я хотел обратиться с целым рядом естественных и законных вопросов, как женщина спросила:

— Что вы теперь чувствуете, Гарвей?

— Вы меня знаете?

— Я знаю, как вас зовут; скажу вам и свое имя: Фрези Грант.

— Скорее мне следовало бы спросить вас,— сказал я, снова удивясь ее спокойному тону,— да, именно спросить, как чувствуете себя вы— после своего отчаянного поступка, бросившего нас лицом к лицу в этой проклятой шлюпке посреди океана? Я был потрясен; теперь я, к этому, еще оглушен. Я вас не видел на корабле. Позвоительно ли мне думать, что вас удерживали насильно?

— Насильно?! — сказала она, тихо и лукаво смеясь.— О нет, нет! Никто никогда не мог удержать меня насильно, где бы то ни было. Разве вы не слышали, что кричали вам с палубы? Они считают вас хитрецом, который спрятал меня в трюме или еще где-нибудь, и поняли так, что я не хочу бросить вас одного.

— Я не могу знать что-нибудь о вас против вашей воли. Если вы захотите, вы мне расскажете.

— О, это неизбежно, Гарвей. Но только подождем. Хорошо?

Предполагая, что она взволнована, хотя удивительно владеет собой, я спросил, не выпьет ли она немного вина, которое у меня было в баулах,— чтобы укрепить нервы.

— Нет,— сказала она.— Я не нуждаюсь в этом. Но вы, конечно, хотели бы увидеть, кто эта, непрощенная, сидит с вами. Здесь есть фонарь.

Она перегнулась назад и вынула из кормового камбуза фонарь, в котором была свеча. Редко я так волновался, как в ту минуту, когда, подав ей спички, ждал света.

Пока она это делала, я видел тонкую руку и железный переплет фонаря, оживающий внутри ярким огнем. Тени, колеблясь, перебежали в лодке. Тогда Фрези Грант захлопнула крышку фонаря, поставила его между нами и сбросила покрывало. Я никогда не забуду ее — такой, как видел теперь.

Вокруг нее стоял отсвет, теряясь среди перекатов волн. Правильное, почти круглое лицо с красивой, нежной улыбкой было полно прелестной, нервной игры, выразившей

в данный момент, что она забавляется моим возрастающим изумлением. Но в ее черных глазах стояла неподвижная точка; глаза, если присмотреться к ним, вносили впечатление грозного и томительного упорства; необъяснимую сжатость, молчание,— большее, чем молчание сжатых губ. В черных ее волосах блестел жемчуг гребней. Кружевное платье оттенка слоновой кости, с открытыми гибкими плечами, так же безупречно белыми, как лицо, легло вокруг стана широким опрокинутым веером, из пены которого выступила, покачиваясь, маленькая нога в золотой туфельке. Она сидела, опираясь отставленными руками о палубу кормы, нагнувшись ко мне слегка, словно хотела дать лучше рассмотреть свою внезапную красоту. Казалось, не среди опасностей морской ночи, а в дальнем углу дворца присела, устав от музыки и толпы, эта удивительная фигура.

Я смотрел, дивясь, что не ищу объяснения. Все перелетело, изменилось во мне, и хотя чувства правильно отвечали действию, их острота превозмогла всякую мысль. Я слышал стук своего сердца в груди, шее, висках; оно стучало все быстрее и тише, быстрее и тише. Вдруг меня охватил страх; он рванул и исчез.

— Не бойтесь,— сказала она. Голос ее изменился, он стал мне знаком, и я вспомнил, когда слышал его.— Я вас оставляю, а вы слушайте, что скажу. Как станет светать, держите на юг и гребите так скоро, как хватит сил. С восходом солнца встретится вам парусное судно, и оно возьмет вас на борт. Судно идет в Гель-Гью, и, как вы туда прибудете, мы там увидимся. Никто не должен знать, что я была с вами,— кроме одной, которая пока скрыта. Вы очень хотите увидеть Биче Сениэль, и вы встретите ее, но помните, что ей нельзя сказать обо мне. Я была с вами потому, чтобы вам не было жутко и одиноко.

— Ночь темна,— сказал я, с трудом поднимая взгляд, так как утомился смотреть.— Волны, одни волны кругом! Она встала и положила руку на мою голову. Как мрамор в луче, сверкала ее рука.

— Для меня там,— был тихий ответ,— одни волны, и среди них один остров; он сияет все дальше, все ярче. Я тороплюсь, я спешу; я увижу его с рассветом. Прощайте! Все ли еще собираете свой венок? Блестят ли его цветы? Не скучно ли на темной дороге?

— Что мне сказать вам? — ответил я. — Вы здесь, это и есть мой ответ. Где остров, о котором вы говорите? Почему вы одна? Что вам угрожает? Что хранит вас?

— О, — сказала она печально, — не задумывайтесь о мраке. Я повинуюсь себе и знаю, чего хочу. Но об этом говорить нельзя.

Пламя свечи сияло; так был резок его блеск, что я снова отвел глаза. Я видел черные плавники, пересекающие волну, подобно буям; их хищные движения вокруг шляпки, их беспокойное снование взад и вперед отдавало угрозой.

— Кто это? — сказал я. — Кто эти чудовища вокруг нас?

— Не обращайтесь внимания и не бойтесь за меня, — ответила она. — Кто бы ни были они в своей жадной надежде, ни тронуть меня, ни повредить мне они больше не могут.

В то время, как она говорила это, я поднял глаза.

— Фрези Грант! — вскричал я с тоской, потому что жалость охватила меня. — Назад!..

Она была на воде, невдалеке, с правой стороны, и ее медленно относил волной. Она отступала, полуоборотясь ко мне, и, приподняв руку, всматривалась, как если бы уходила от постели уснувшего человека, опасаясь разбудить его неосторожным движением. Видя, что я смотрю, она кивнула и улыбнулась.

Уже не совсем ясно видел я, как быстро и легко она бежит прочь, — совсем как девушка в темной, огромной зале.

И тотчас дьявольские плавники акул или других мертвящих нервы созданий, которые показывались, как прорыв снизу черным резцом, повернули стремглав в ту сторону, куда скрылась Фрези Грант, бегущая по волнам, и, скользнув отрывисто, скачками, исчезли.

Я был один; покачивался среди волн и смотрел на фонарь; свеча его догорала.

Хор мыслей пролетел и утих. Прошло некоторое время, в течение которого я не сознавал, что делаю и где нахожусь; затем такое сознание стало появляться отрывками. Иногда я старался понять, вспомнить — с кем и когда сидела в лодке молодая женщина в кружевном платье.

Понемногу я начал грести, так как океан изменился. Я мог определить юг. Неясно стал виден простор волн; вдали над ними тронулась светлая лавина востока, устре-

мив яркие копы наступающего огня, скрытого облаками. Они пронеслись мимо восходящего солнца, как паруса. Волны начали блестеть; теплый ветер боролся со свежестью; наконец утренние лучи согнали призрачный мир рассвета, и начался день.

Теперь не было у меня уже той живой связи с ночной сценой, как в момент действия, и каждая следующая минута несла новое расстояние, — как между поездом и сверкнувшим в его окне прелестным пейзажем, летящим — едва возник — прочь, в горизонтальную бездну. Казалось мне, что прошло несколько дней, и я только помнил. Впечатление было разорвано собственной своей силой. Это наступление громадного расстояния произошло быстрее, чем ветер вырывает из рук платок. Тогда я не был способен правильно судить о своем состоянии. Оно прошло сложный, трудный путь, не повторимый ни при каком возбуждении мысли. Я был один в шлюпке, греб на юг и, задумчиво улыбаясь, присматривался к воде, как будто ожидал действительно заметить след маленьких ног Фрези Грант.

Я захотел пить и, так как бочонок для воды оказался пуст, осушил бутылку вина. На этот раз оно не произвело обыкновенного действия. Мое состояние было ни нормально, ни эксцессивно — особое состояние, которое не с чем сравнить, разве лишь с выходом из темных пещер на приветливую траву. Я греб к югу, пристально рассматривая горизонт.

В одиннадцать двадцать утра на горизонте показались косые паруса с кливерами, стало быть, небольшое судно, шедшее, как указывало положение парусов, к юго-западу, при половинном ветре. Рассмотрев судно в бинокль, я определил, что, взяв под нижний угол к линчи его курса, могу встретить его не позднее, чем через тридцать — сорок минут. Судно было изрядно нагружено, шло ровно, с небольшим креном.

Вскоре я заметил, что меня увидели с его палубы. Судно сделало поворот и стало двигаться на меня, в то время как я сам греб изо всех сил. На расстоянии далеко хватающего крика я мог уже различить без бинокля несколько человек, всматривающихся в мою сторону. Один из них смотрел в зрительную трубу, причем схватил за плечо своего соседа, указывая ему на меня движением трубы. Появление судна некоторое время казалось мне нереаль-

ным; лишь начав различать лица, я вострепнулся, поняв свое положение. Судно легло в дрейф, готовясь меня принять; я был от него на расстоянии десяти минут поспешной гребли. Подплывая, я увидел восемь человек, считая женщину, сидевшую на борту боком, держась за ванту, и понял по выражению лиц, что все они крайне изумлены.

Когда между мной и шкуной оказалось расстояние, незатруднительное для разговора, мне не пришлось начать первому. Едва я открыл рот, как с палубы закричали, чтобы я скорее подплывал. После того, среди сочувственных восклицаний, на дно шлюпки упал брошенный матросом причал, и я продел его в носовое кольцо.

— Все потонули, кроме вас? — сказал долговязый шкипер, в то время как я ступал на спущенный веревочный трап.

— Сколько дней в море? — спросил матрос.

— Не набрасывайтесь на пищу! — испуганно заявила женщина. Она оказалась молодой девушкой; ее левый глаз был завязан черным платком. Здоровый голубой глаз смотрел на меня с ужасом и упоением.

Я ответил, когда ступил на палубу, причем случайно пошатнулся и был немедленно подхвачен.

— Мой случай — совершенно особый, — сказал я. — Позвольте мне сесть. — Я сел на быстро подставленное опрокинутое ведро. — Куда вы плывете?

— Он не так слаб! — заметил шкипер.

— Мы держим в Гель-Гью, — сообщил одинокий голубой глаз. — Теперь вы в безопасности. Я принесу виски.

Я осмотрел этих славных людей. Они переживали событие. Лишь спустя некоторое время они освоились с моим присутствием, сильно их волновавшим, и мы начали объясняться.

ГЛАВА XVIII

Судно, взявшее меня на борт, называлось «Нырок». Оно шло в Гель-Гью из Сан-Риоля с грузом черепахи. Шкипер, он же хозяин судна, Финеас Проктор, имел шесть человек команды; шестой из них был помощник Проктора, Нэд Тоббоган, на редкость неразговорчивый

человек лет под тридцать, красивый и смуглый. Девушка с завязанным глазом была двоюродной племянницей Проктора и пошла в рейс потому, что трудно было расстаться с ней Тоббогану, ее признанному жениху; как я узнал впоследствии, не менее важной причиной была надежда Тоббогана обвенчаться с Дэзи в Гель-Гью. Словом, причины ясные и благие. По случаю присутствия женщины, хотя бы и родственницы, Проктор сохранил в кармане жалование повара, рассчитав его под благовидным предлогом; пищу варила Дэзи. Сказав это, я возвращаюсь к прерванному рассказу.

Пока я объяснялся с командой шкуны, моя шлюпка была подведена к корме, взята на тали и поставлена рядом с шлюпкой «Нырка». Мой багаж уже лежал на палубе, у моих ног. Меж тем паруса взяли ветер, и шкуна пошла своим путем.

— Ну,— сказал Проктор, едва установилось подобие внутреннего равновесия у всех нас,— выкладывайте, почему мы остановились ради вас и кто вы такой.

— Это история, которая вас удивит,— ответил я после того, как выразил свою благодарность, крепко пожав его руку.— Меня зовут Гарвей. Я плыл туда же, куда вы плывете теперь, в Гель-Гью, на судне «Бегущая по волнам», под командой капитана Геза, и был ссажен им вчера вечером на шлюпку после крупной ссоры.

В моем положении следовало быть откровенным, не касаясь внутренних сторон дела. Таким образом все предстало в естественном и простом виде: я сел за плату (не называя цифры, я намекнул, что она была прилична и уплачена своевременно). Я должен был также сочинить цель, с какой пустился в этот рейс, чтобы быть правдивым для наступившего положения. В другом месте и другому человеку мне пришлось рассказать истину, когда я думал, что... Словом, экипаж «Нырка» только изредка набивал трубки, чтобы воодушевленной следить за моим рассказом. Мне поверили, потому что я не скрывал той правды, какую ждали они.

У меня (так я объяснил) было желание познакомиться с торговой практикой парусного судна, а также разузнать требования и условия рынка в живом коммерческом действии. Выдумка имела успех. Проктор, длинный,

полуседой человек с спокойным мускулисто-гладким лицом, тотчас сказал:

— Вот это правильная была мысль. Я всегда говорил, что, сидя на месте и читая биржевые газеты, как раз купишь хлопок вместо пеньки или патоки.

Остальное в моем рассказе не требовало искажения, отчего характер Геза, после того как я посвятил слушателей в историю с пьяной женщиной, немедленно стал предметом азартного обсуждения.

— Его надо было просто убить,— сказал Проктор.— И вы не отвечали бы за это.

— Он не успел...— заметил один матрос.

— Никогда бы я не сошел в шлюпку; только силой,— продолжал Проктор.

— Он был один,— вмешалась стоявшая тут же Дэзи. Платок мешал ей смотреть, и она вертела головкой.— А ты, Тоббоган, разве остался бы насильно?

— Это сказал дядя,— возразил Тоббоган.

— Ну, хотя бы и дядя.

— Что с тобой, Дэзи?— спросил Проктор.— Экая у тебя прыть в чужом деле!

— Вы правильно поступили,— обратилась она ко мне.— Лучше умереть, чем быть избитым и выброшенным за борт, раз такое злодейство. Отчего же вы не дадите виски? Смотри, он ее зажал!

Она взяла из рассеянной руки Проктора бутылку, которую, в увлечении всей этой историей, шкипер держал между колен, и налила половину жестяной кружки, долив водой. Я поблагодарил, заметив, что не болен от изнурения.

— Ну, все-таки,— заметила она критическим тоном, означавшим, что мое положение требует обряда.— И вам будет лучше.

Я выпил, сколько мог.

— О, это не по-нашему! — сказал Проктор, опрокидывая остаток в рот.

Тем временем я рассмотрел девушку. Она была темно-волосая, небольшого роста, крепкого, но нервного, трепетного сложения, что следует понимать в смысле порывистости движений. Когда она улыбалась, походила на снежок в розе. У нее были маленькие загорелые руки и босые тонкие ноги, производившие под краем юбки впечатление

чатление отдельных живых существ, потому что она беспрерывно переминалась или скрещивала их, шевеля пальцами. Я заметил также, как взгляды на нее Тоббоган. Это был выразительный взгляд влюбленного на божество, из снисхождения научившееся приносить виски и делать вид, что болит глаз. Тоббоган был серьезный человек с правильным, мужественным лицом задумчивого склада. Его движения несколько противоречили его внешности, так, например, он делал жесты к себе, а не от себя, и когда сидел, то имел привычку охватывать колени руками. Вообще он производил впечатление замкнутого человека. Четыре матроса «Нырка» были пожилые люди, хозяйственного и тихого поведения; в свободное время один из них крошил листовой табак или пришивал к куртке отпоротый воротник; другой писал письмо, третий устраивал в широкой бутылке пейзаж из песка и стружек, действуя, как японец, тончайшими палочками. Пятый, моложе их и более живой, чем остальные, часто играл в карты сам с собой, тщетно соблазняя других принять неразорительное участие. Его звали Болт. Я все это подметил, так как провел на шкуне три дня, и мой первый день окончился глубоким сном внезапно наступившей усталости. Мне отвели койку в кубрике. После виски я съел немного вареной солонины и уснул, открыв глаза, когда уже над столом раскачивалась зажженная лампа.

Пока я курил и думал, пришел Тоббоган. Он обратился ко мне, сказав, что Проктор просит меня зайти к нему в каюту, если я сносно себя чувствую. Я вышел. Волнение стало заметно сильнее к ночи. Шкуна, прилегая с размаха, поскрипывала на перевалах. Спустясь через тесный люк по крутой лестнице, я прошел за Тоббоганом в каюту Проктора. Это было чистое помещение сурового типа и так невелико, что между столом и койкой мог поместиться только мат для вытирания ног. Каюту была основательно прокурена.

Тоббоган вошел со мной, затем он открыл дверь и исчез, надо быть, по своим делам, так как послышался где-то вблизи его разговор с Дэзи. Едва войдя, я понял, что Проктор нуждается в собеседнике: на столе был нарезанный, на опрятной тарелке, копченый язык, и стояла бутылка. Шкипер не обманул меня тем, что начал с торговли, сказав: «Не слышали ли вы что-нибудь от-

носительно хлопковых семян?» Но скоро выяснилась вся моя невинность, а затем Проктор перешел к самому интересному: разговору снова о моей истории. Теперь он выражался тщательнее, чем утром, метя, очевидно, на должную оценку с моей стороны.

— Нам надо сговориться, — сказал Проктор, — как действовать против капитана Геза. Я — свидетель, я подобрал вас, и хотя это случилось единственный раз в моей жизни, один такой раз стоит многих других. Мои люди тоже будут свидетелями. Как вы говорили, что «Бегущая по волнам» идет в Гель-Гью, вы должны будете встретиться с негодяем очень скоро. Не думаю, чтобы он изменил курс, если даже, протрезвясь, струсит. У него нет оснований думать, что вы попадете на мою шкуру. В таком случае надо условиться, что вы дадите мне знать, если разбирательство дела произойдет, когда «Нырок» уже покинет Гель-Гью. Это — уголовное дело.

Он стал соображать вслух, рассчитывая дни, и так как из этого ничего не вышло, потому что трудно предусмотреть случайности, я предложил ему говорить об этом в Гель-Гью.

— Ну вот, это еще лучше, — сказал Проктор. — Но вы должны знать, что я за вас, потому что это неслыханно. Бывало, что людей бросали за борт, но не ссаживали, по крайней мере — как на сушу — за сто миль от берега. Будьте уверены, что ваша история прогремит всюду, где ставят паруса и бросают якорь. Гез — конченный человек, я говорю правду. Он лишился рассудка, если смог поступить так. Однако нам следует теперь выпить, без чего спасение неполное. Теперь вы — как новорожденный и примете морское крещение. Удивляюсь вам, — заметил он, наливая в стаканы. — Я удивлен, что вы так спокойны. Клянусь, у меня было впечатление, что вы подымаетесь на «Нырок», как в собственную квартиру! Хорошо иметь крепкие нервы. А то...

Он поставил стакан и пристально посмотрел на меня.

— Слушаю вас, — сказал я. — Не бойтесь говорить, о чем вам будет угодно.

— Вы видели девушку, — сказал Проктор. — Конечно, нельзя подумать ничего, за что... Одним словом, надо сказать, что женщина на парусном судне — исключительное явление. Я это знаю.

Он не смутился и, как я правильно понял, считал неприятной необходимостью затронуть этот вопрос после истории с компанией Геза. Поэтому я ответил немедленно:

— Славная девушка; она, может быть, ваша дочь?

— Почти что дочь, если она не брыкается,— сказал Проктор.— Моя племянница. Сами понимаете, таскать девушку на шкуне,— это значит править двумя рулями, но тут она не одна. Кроме того, у нее очень хороший характер. Тоббоган за одну копейку получил капитал, так можно сказать про них; и меня, понимаете, бесит, что они, как ни верти, женятся рано или поздно; с этим ничего не поделаешь.

Я спросил, почему ему не нравится Тоббоган.

— Я сам себя спрашивал,— отвечал Проктор,— и простите за откровенность в семейных делах, для вас, конечно, скучных... Но иногда... гм... хочется поговорить. Да, я себя спрашивал и раздражался. Правильного ответа не получается. Откровенно говоря, мне отвратительно, что он ходит вокруг нее, как глухой и слепой, а если она скажет: «Тоббоган, влезь на мачту и спустись головой вниз»,— то он это немедленно сделает в любую погоду. По-моему, нужен ей другой муж. Это между прочим, а все пусть идет, как идет.

К тому времени ром в бутылке стал на уровне ярлыка, и оттого казалось, что качка усилилась. Я двигался вместе со стулом и каютой, как на качелях, иногда разставляя ноги, чтобы не свернуться в пустоту. Вдруг дверь открылась, пропустив Дэзи, которая, казалось, упала к нам сквозь наклонившуюся на меня стену, но, поймав рукой стол, остановилась в позе канатоходца. Она была в башмаках, с брошкой на серой блузе и в черной юбке. Ее повязка лежала аккуратнее, ровно зачеркивая левую часть лица.

— Тоббоган просил вам передать,— сказала Дэзи, тотчас же вперяя в меня одинокий голубой глаз,— что он простоит на вахте сколько нужно, если вам некогда.— Затем она просияла и улыбнулась.

— Вот это хорошо,— ответил Проктор,— а я уж думал, что он ссадит меня, благо есть теперь запасная шляпка.

— Итак, вы очутились у нас,— молвила Дэзи, смотря на меня с стеснением.— Как подумаешь, чего только не случается в море!

— Случается также,— начал Проктор и, обождав, когда из бесконечного запаса улыбок на лице девушки распустилась новая, выжидательная, закончил:— случается, что она уходит, а они остаются.

Дэзи смутилась. Ее улыбка стала исчезать, и я, понимая, как должно быть ей любопытно остаться, сказал:

— Если вы имеете в виду только меня, то, кроме удовольствия, присутствие вашей племянницы ничего не даст.

Заметно довольный моим ответом, Проктор сказал:

— Присядь, если хочешь.

Она села у двери в ногах койки и прижала руку к повязке.

— Все еще болит,— сказала Дэзи.— Такая досада! Очень глупо чувствуешь себя с перекошенной физиономией.

Нельзя было не спросить, и я спросил, чем поврежден глаз.

— Ей надуло,— ответил за нее Проктор.— Но нет ничего такого вроде лекарства.

— Не верьте ему,— возразила Дэзи.— Дело было проще. Я подралась с Больтом, и он наставил мне фонарей...

Я недоверчиво улыбнулся.

— Нет,— сказала она,— никто не дрался. Просто от угля, я засорила глаз углем.

Я посоветовал примачивать крепким чаем.

Она подробно расспросила, как это делают.

— Хотя о д и н глаз, но я первая вас увидела,— сказала Дэзи.— Я увидела лодку и вас. Это меня так поразило, что показалось, будто лодка висит в воздухе. Там есть холодный чай,— прибавила она, вставая.— Я пойду и сделаю, как вы научили. Дать вам еще бутылку?

— Н-нет,— сказал Проктор и посмотрел на меня сложным, как бы ожидая повода сказать «да». Я не хотел пить, поэтому промолчал.

— Да, не надо,— сказал Проктор уверенно.— И завтра такой же день, как сегодня, а этих бутылок всего три. Так вот, она первая увидела вас, и когда я принес трубу, мы рассмотрели, как вы стояли в лодке, опустив руки. Потом вы сели и стали быстро грести.

Разговор еще несколько раз возвращался к моей истории, затем Дэзи ушла, и минут через пять после того я встал. Проктор проводил меня в кубрик.

— Мы не можем предложить вам лучшего помещения,— сказал он.— У нас тесно. Потерпите как-нибудь, немного уже осталось плыть до Гель-Гью. Мы будем, думаю я, вечером послезавтра или же к вечеру.

В кубрике было двое матросов. Один спал, другой обматывал рукоятку ножа тонким, как шнурок, ремнем. На мое счастье, это был неразговорчивый человек. Засыпая, я слышал, как он напевает низким, густым голосом:

Волна бесконечна,
Всю землю обходит она,
Не зная беспечно
Ни неба, ни дна!

ГЛАВА XIX

Утром ветер утих, но оставался попутным, при ясном небе. «Нырок» делал одиннадцать узлов в час на ровной килевой качке. Я встал с тихой душой и, умываясь на палубе из ведра, чувствовал запах моря. Высунувшись из кормового люка, Тоббоган махнул рукой, крикнув:

— Идите сюда, ваш кофе готов!

Я оделся и, проходя мимо кухни, увидел Дэзи, которая, засучив рукава, жарила рыбу. Повязка отсутствовала, а от опухоли, как она сообщила, осталось легкое утолщение внутри нижнего века.

— Я вся отсырела,— сказала Дэзи,— так я усердно лечилась чаем!

Выразив удовольствие, что случайно дал полезный совет, я спустился в небольшую каюту с маленьким окном в стене кормы, служившую столовой, и сел на скамью к деревянному простому столу, где уже сидел Тоббоган. Он смотрел на меня с приязнью и несколько раз откашлялся, но не находил слов или не считал нужным говорить, а потому молчал, изредка оглядываясь. По-видимому, он ждал рыбу или невесту, вернее то и другое. Я спросил, что делает Проктор. «Он спит»,— сказал Тоббоган; затем начал сгребать крошки со стола ребром

ладони и оглянулся опять, так как послышалось шипение. Дэзи внесла шипящую сковородку с поджаренной рыбой. Неожиданно Тоббоган обрел дар слова. Он стал хвалить рыбу и спросил, почему девушка — босиком.

— В прошлый раз она наступила на гвоздь, — сказал Тоббоган, подвигая мне сковородку и начиная есть сам. — Она, знаете, неосторожна; как-то чуть не упала за борт.

— Мне нравится ходить босиком, — отвечала Дэзи, наливая нам кофе в толстые стеклянные стаканы; потом села и продолжала: — Мы плыли по месту, где пять миль глубины. Я перегнулась и смотрела в воду: может быть, ничего не увижу, а может, увижу, как это глубоко...

— К северу от Покета, — сказал Тоббоган.

— Вот именно, там. Вдруг закружилась голова, и я повисла; меня тянет упасть. Тоббоган зверски схватил меня и поволок, как канат. Ты был очень бледен, Тоббоган, в эту минуту!

Он посмотрел на нее; голод здоровяка и нежность влюбленного образовали на его лице нервную тень.

— Упасть недолго, — сказал он.

— Вам было страшно на лодке? — спросила меня девушка, постукивая ножом.

— Положи нож, — сказал с беспокойством Тоббоган. — Если упадет на ногу, будешь опять скакать на одной ноге.

— Ты несносен сегодня, — заметила Дэзи, улыбаясь и демонстративно втыкая нож возле его локтя. Воткнувшись, нож задрожал, как бы стремясь вырваться. — Вот так ты трепещешь! У вас, верно, есть книги? Мне иногда скучно без книг.

Я пообещал, думая, что разыщу подходящее для нее чтение. «Кроме того, — сказал я, желая сделать приятное человеку, заметившему меня среди моря одним глазом, — я ожидаю в Гель-Гью присылки книг, и вы сможете взять несколько новых романов». На самом деле я солгал, рассчитывая купить ей несколько томов по своему выбору.

Дэзи застеснялась и немного скокетничала, медленно подняв опущенные глаза. Это у нее вышло удачно: в каюте разлился голубой свет. Тоббоган стал смущенно благодарить, и я видел, что он искренно рад невинному удовольствию девушки.

День проходит быстро на корабле. Он кажется долгим вначале: при восходе солнца над океаном смешиваешь пространство с временем. Когда-то еще наступит вечер! Однако, забывая о часах, видишь, что подан обед, а там набегают ночь. После обеда, то есть картофеля с солониной, компота и кофе, я увидел карты и предложил Тоббогану сыграть в покер. У меня была цель: отдать десять — двадцать фунтов, но так, чтобы это считалось выигрышем. Эти люди, конечно, отказались бы взять деньги, я же не хотел уйти, не оставив им некоторую сумму из чувства благодарности. По случайным, отдельным словам можно было догадаться, что дела Проктора не блестящи.

Когда я сделал такое предложение, Дэзи превратилась в вопросительный знак, а Проктор, взяв карты, отбросил их со вздохом и заявил:

— Эта проклятая картонная шайка дорого стоила мне в свое время, а потому дал я клятву и сдержу ее — не играть даже впустую.

Меж тем Тоббоган согласился сыграть — из вежливости, как я думал, — но когда оба мы выложили на стол по несколько золотых, его глаза выдали игрока.

— Игратьте, — сказала Дэзи, упирая в стол белые локти с ямочками и положив меж ладоней лицо, — а я буду смотреть. — Так просидела она, затаив дыхание или раздражаясь смехом при проигрыше одного из нас, все время. Как прикованный, сидел Проктор, забывая о своей трубке; лишь по его нервному дыханию можно было судить, что старая игрецкая жила ходит в нем подобно тугой леске. Наконец он ушел, так как били его вахтенные часы.

Таким образом я погрузился в бой, обнажив грудь и сломав конец своей шпаги. Я мог безнаказанно мошенничать против себя потому, что идея нарочитого проигрыша меньше всего могла прийти в голову Тоббогану. Когда играют двое, покер весьма часто дает крупные комбинации. Мне ничего не стоило бросать свои карты, заявляя, что проиграл, если Тоббоган объявлял значительную для него сумму. Иногда, если мои карты действительно оказывались слабее, я открывал их, чтобы не возникло подозрений. Мы начали играть с мелочи. Тут Тоббоган оказался словоохотлив. Он смеялся, разговаривал

сам с собой, выигрывая, критиковал мою тактику. По моей милости ему везло, отчего он приходил во все большее возбуждение. Уже восемнадцать фунтов лежало перед ним, и я соразмерял обстоятельства, чтобы устроить ровно двадцать. Как вдруг, при новой моей сдаче, он сбросил все карты, прикупил новых пять и объявил двадцать фунтов.

Как ни была крупна его карта или просто решимость пугнуть, случилось, что моя сдача себе составила пять червей необыкновенной красоты: десятка, валет, дама, король и туз. С этой-то картой я должен был платить ему свой собственный, по существу, выигрыш!

— Идет, — сказал я. — Открывайте карты.

Трясущейся рукой Тоббоган выложил каре и посмотрел на меня, ослепленный удачей. Каково было бы ему видеть моих червей! Я бросил карты вверх крапом и подвинул ему горсть золотых монет.

— Здорово я вас обчистил! — вскричал Тоббоган, сжимая деньги.

Случайно взглянув на Дэзи, я увидел, что она смешивает брошенные мной карты с остальной колодой. С ее красного от смущения лица медленно схлынула кровь, исчезая вместе с улыбкой, которая не вернулась.

— Что у него было? — спросил Тоббоган.

— Три дамы, две девятки, — сказала девушка. — Сколько ты выиграл, Тоббоган?

— Тридцать восемь фунтов, — сказал Тоббоган, хохоча. — А ведь я думал, что у вас тоже каре!

— Верни деньги.

— Не понимаю, что ты хочешь сказать, — ответил Тоббоган. — Но, если вы желаете...

— Мое желание совершенно обратное, — сказал я. — Дэзи не должна говорить так, потому что это обидно всякому игроку, а значит, и мне.

— Вот видишь, — заметил Тоббоган с облегчением, — и потому удержи язык.

Дэзи загадочно рассмеялась.

— Вы плохо играете, — с сердцем объявила она, смотря на меня трогательно гневным взглядом, на что я мог только сказать:

— Простите, в следующий раз сыграю лучше.

Должно быть, мой ответ был для нее очень забавен, так как теперь она уже искренно и звонко расхохоталась.

Шутливо, но так, что можно было понять, о чем прошу, я сказал:

— Не говорите никому, Дэзи, как я плохо играю, потому что, говорят, если сказать,— всю жизнь игрок будет только платить.

Ничего не понимая, Тоббоган, все еще в огне выигрыша, сказал:

— Уж на меня положитесь. Всем буду говорить, что вы играли великолепно!

— Так и быть,— ответила девушка,— скажу всем то же и я.

Я был чрезвычайно смущен, хотя скрывал это, и ушел под предлогом выбрать для Дэзи книги. Разыскав два романа, я передал их матросу с просьбой отнести девушке.

Остаток дня я провел наверху, сидя среди канатов.

Около кухни появлялась и исчезала Дэзи; она стирала.

«Нырок» шел теперь при среднем ветре и умеренной качке. Я сидел и смотрел на море.

Кто сказал, что море без берегов — скучное, однообразное зрелище? Это сказал многой, лишенный имени. Нет берегов,— правда, но такая правда прекрасна. Горизонт чист, правилен и глубок. Строгая чистота круга, полного одних волн, подробно ясных вблизи; на отдалении они скрываются одна за другой; на горизонте же лишь едва трогают отчетливую линию неба, как если смотреть туда в неправильное стекло. Огромной мерой отпущены пространство и глубина, которую, постепенно начав чувствовать, видишь под собой без помощи глаз. В этой безответственности морских сил, недоступных ни учету, ни ясному сознанию их действительного могущества, явленного вечной картиной, есть заразительная тревога. Она подобна творческому инстинкту при его пробуждении.

Услышав шаги, я обернулся и увидел Дэзи, подходившую ко мне с стесненным лицом, но она тотчас же улыбнулась и, пристально всмотревшись в меня, села на канат.

— Нам надо поговорить,— сказала Дэзи, опустив руку в карман передника.

Хотя я догадывался, в чем дело, однако притворился, что не понимаю. Я спросил:

— Что-нибудь серьезное?

Она взяла мою руку, вспыхнула и сунула в нее — так быстро, что я не успел сообразить ее намерение, — тяже-

лый сверток. Я развернул его. Это были деньги — те тридцать восемь фунтов, которые я проиграл Тоббогану. Дэзи вскочила и хотела убежать, но я ее удержал. Я чувствовал себя весьма глупо и хотел, чтобы она успокоилась.

— Вот это весь разговор,— сказала она, покорно возвращаясь на свой канат. В ее глазах блестели слезы смущения, на которое она досадовала сама.— Спрячьте деньги, чтобы я их больше не видела. Ну зачем это было подстроено? Вы мне испортили весь день. Прежде всего, как я могла объяснить Тоббогану? Он даже не поверил бы. Я побилась с ним и доказала, что деньги следует возвратить.

— Милая Дэзи, — сказал я, тронутый ее гордостью,— если я виноват, то, конечно, только в том, что не смешал карты. А если бы этого не случилось, то есть не было бы доказательства,— как бы вы тогда отнеслись?

— Никак, разумеется; проигрыш есть проигрыш. Но я все равно была бы очень огорчена. Вы думаете — я не понимаю, что вы хотели? Оттого, что нам нельзя предложить деньги, вы вознамерились их проиграть, в виде, так сказать, благодарности, а этого ничего не нужно. И я не принуждена была бы делать вам выговор. Теперь поняли?

— Отлично понял. Как вам понравились книги?

Она помолчала, еще не в силах сразу перейти на мирные рельсы.

— Заглавия интересные. Я посмотрела только заглавия — все было некогда. Вечером сяду и почитаю. Вы меня извините, что погорячилась. Мне теперь совестно самой, но что же делать? Теперь скажите, что вы не сердитесь и не обиделись на меня.

— Я не сержусь, не сердился и не буду сердиться.

— Тогда все хорошо, и я пойду. Но есть еще разговор...

— Говорите сейчас, иначе вы раздумаете.

— Нет, это я не могу раздумать, это очень важно. А почему важно? Не потому, что особенное что-нибудь, однако я хожу и думаю: угадала или не угадала? При случае поговорим. Надо вас покормить, а у меня еще не готово, приходите через полчаса.

Она поднялась, кивнула и поспешила к себе на кухню или еще в другое место, связанное с ее деловым днем.

Сцена эта заставила меня устыдиться: девушка показала себя настоящей хозяйкой, тогда как — надо признаться — я вознамерился сыграть роль хозяина. Но что она хотела еще подвергнуть обсуждению? Я мало думал и скоро

забыл об этом; как стемнело, все сели ужинать, по случаю духоты, наверху, перед кухней. Тоббоган встретил меня немного сухо, но так как о происшествии с картами все молчаливо условились не поднимать разговора, то скоро отошел; лишь иногда взглядывал на меня задумчиво, как бы говоря: «Она права, но от денег трудно отказаться, черт побери». Проктор, однако, обращался ко мне с усиленным радушием, и если он знал что-нибудь от Дэзи, то ему был, верно, приятен ее поступок; он на что-то хотел намекнуть, сказав: «Человек предполагает, а Дэзи располагает!» Так как в это время люди ели, а девушка убирала и подавала, то один матрос заметил:

— Я предполагал бы, понимаете, съесть индейку. А она расположила солонину.

— Молчи,— ответил другой,— завтра я поведу тебя в ресторан.

На «Нырке» питались однообразно, как питаются вообще на небольших парусниках, которым за десять-двадцать дней плавания негде достать свежей провизии и негде хранить ее. Консервы, солонина, макароны, компот и кофе — больше есть было нечего, но все поглощалось огромными порциями. В знак душевного мира, а может быть, и различных надежд, какие чаще бывают мухами, чем пчелами, Проктор налил всем по стакану рома. Солнце давно село. Нам светила керосиновая лампа, поставленная на крыше кухни.

Баковый матрос закричал:

— Слева огонь!

Проктор пошел к рулю. Я увидел впереди «Нырка» многочисленные огни огромного парохода. Он прошел так близко, что слышен был стук винтового вала. В пространствах под палубами среди света сидели и расхаживали пассажиры. Эта трехтрубная высокая громада, когда мы разминулись с ней, отошла, поворотившись кормой, усеянной огненными отверстиями, и расстилая колеблющуюся, озагоревшую пелену пены.

«Нырок» сделал маневр, отчего при парусах заняты были все, а я и Дэзи стояли, наблюдая удаление парохода.

— Вам следовало бы попасть на такой пароход,— сказала девушка.— Там так отлично. Все удобно, все есть, как в большой гостинице. Там даже танцуют. Но я никогда не бывала на роскошных пароходах. Мне даже слышалось, что играет музыка.

— Вы любите танцы?

— Люблю конфеты и танцы.

В это время подошел Тоббоган и встал сзади, засунув руки в карманы.

— Лучше бы ты научила меня,—сказал он,— как танцевать.

— Это ты так теперь говоришь. Ты не можешь: уже я учила тебя.

— Не знаю, отчего,—согласился Тоббоган,— но, когда держу девушку за талию, а музыка вдруг раздастся, ноги делают, точно мешки. Стою: ни взад, ни вперед.

Постепенно собрались опять все, но ужин был кончен, и разговор начался о пароходе, в котором Проктор узнал «Лео».

— Он из Австралии; это рейсовый пароход Тихоокеанской компании. В нем двадцать тысяч тонн.

— Я говорю, что на «Лео» лучше, чем у нас,—сказала Дэзи.

— Я рад, что попал к вам,—возразил я,— хотя бы уж потому, что мне с тем пароходом не по пути.

Проктор рассказал случай, когда пароход не остановился принять с шлюпки потерпевших крушение. Отсюда пошли рассказы о разных происшествиях в океане. Создалось словоохотливое настроение, как бывает в теплые вечера, при хорошей погоде и при сознании, что близок конец пути.

Но как ни искушены были эти моряки в историях о плавающих бутылках, встречаемых ночью ледяных горах, бунтах экипажей и потрясающих шквалах, я увидел, что им неизвестна история «Марии Целесты», а также пятимесячное блуждание в шлюпке шести человек, о котором писал М. Твен, положив тем начало своей известности.

Как только я кончил говорить о «Целесте», богатое воображение Дэзи закружило меня и всех самыми неожиданными догадками. Она была чрезвычайно взволнована и обнаружила такую изобретательность сыска, что я не успевал придумать, что ей отвечать.

— Но может ли быть,—говорила она,— что это произошло так...

— Люди думали пятьдесят лет,—возражал Проктор, но, кто бы ни возражал, в ответ слышалось одно:

— Не перебивайте меня! Вы понимаете: обед стоял на столе, в кухне топилась плита! Я говорю, что на них напала болезнь! Или, может быть, не болезнь, а они увидели ми-

раж! Красивый берег, остров или снежные горы! Они поехали на него все...

— А дети? — сказал Проктор. — Разве не оставила бы ты детей, да при них, скажем, ну хотя двух матросов?

— Ну что же! — Она не смущалась ничем. — Дети хотели больше всего. Пусть мне объяснят в таком случае!

Она сидела, подобрав ноги, и, упираясь руками в палубу, поджала от возбуждения взад-вперед.

— Раз ничего не известно, понимаешь? — ответил Тобоган.

— Если не чума и мираж, — объявила Дэзи без малейшего смущения, — значит, в подводной части была дыра. Ну да, вы заткнули ее языком; хорошо. Представьте, что они хотели сделать загадку...

Среди ее бесчисленных версий, которыми она сыпала без конца, так что я многие позабыл, слова о «загадке» показались мне интересны; я попросил объяснить.

— Понимаете — они ушли, — сказала Дэзи, махнув рукой, чтобы показать, как ушли, — а зачем это было нужно, вы видите по себе. Как вы ни думайте, решить эту задачу бессильны и вы, и я, и он, и все на свете. Так вот, — они сделали это нарочно. Среди них, верно, был такой человек, который, может быть, любил придумывать штуки. Это — капитан. «Пусть о нас останется память, легенда, и никогда чтобы ее не объяснить никому!» Так он сказал. По пути попало им судно. Они сговорились с ним, чтобы переселиться на него, и пересели, а свое бросили.

— А дальше? — сказал я, после того как все усталились на девушку, ничего не понимая.

— Дальше не знаю. — Она засмеялась с усталым видом, вдруг остыв, и слегка хлопнула себя по щекам, наивно раскрыв рот.

— Все знала, а теперь вдруг забыла, — сказал Проктор. — Никто тебя не понял, что ты хотела сказать.

— Мне все равно, — объявила Дэзи. — Но вы — поняли? Я сказал «да» и прибавил:

— Случай этот так поразителен, что всякое объяснение, как бы оно ни было правдоподобно, остается бездоказательным.

— Темная история, — сказал Проктор. — Слышал я много басен, да и теперь еще люблю слушать. Однако над иными из них задумаешься. Слышали вы о Фрези Грант?

— Нет, — сказал я, вздрогнув от неожиданности.

— Нет?

— Нет? — подхватила Дэзи тоном выше. — Давайте расскажем Гарвею о Фрезе Грант. Ну, Больт, — обратилась она к матросу, стоявшему у борта, — это по твоей специальности. Никто не умеет так рассказать, как ты, историю Фрезе Грант. Сколько раз ты ее рассказывал?

— Тысячу пятьсот два, — сказал Больт, крепкий человек с черными глазами и ироническим ртом, спрятанным в курчавой бороде скифа.

— Уже врешь, но тем лучше. Ну, Больт, мы сидим в обществе, в гостиной, у нас гости. Смотри отличись.

Пока длилось это вступление, я заставил себя слушать, как посторонний, не знающий ничего.

Больт сел на складной стул. У него были приемы рассказчика, который ценит себя. Он прочесал бороду пятерней вверх, открыл рот, слегка свесив язык, обвел всех отсутствующим взглядом, провел огромной ладонью по лицу вниз, крикнул и подсел ближе.

— Лет сто пятьдесят назад, — сказал Больт, — из Бостона в Индию шел фрегат «Адмирал Фосс». Среди других пассажиров был на этом корабле генерал Грант, и с ним ехала его дочь, замечательная красавица, которую звали Фрезе. Надо вам сказать, что Фрезе была обручена с одним джентльменом, который года два уже служил в Индии и занимал важную должность. Какая была должность, — стоит ли говорить? Если вы скажете — «стоит», вы проиграли, так как я этого не знаю. Надо вам сказать, что когда я раньше излагал эту занимательную историю, Дэзи всячески старалась узнать, в какой должности был жених-джентльмен, и если не спрашивает теперь...

— То тебе нет до того никакого дела, — перебила Дэзи. — Если забыл, что дальше, — спроси меня, я тебе расскажу.

— Хорошо, — сказал Больт. — Обращаю внимание на то, что она сердится. Как бы то ни было, «Адмирал Фосс» был в пути полтора месяца, когда на рассвете вахта заметила огромную волну, шедшую при спокойном море и умеренном ветре с юго-востока. Шла она с быстротой бельевого катка. Конечно, все испугались, и были приняты меры, чтобы утонуть, так сказать, красиво, с видимостью, что погибают не бестолковые моряки, которые никогда не видали вала высотой метров в сто. Однако ничего не случилось. «Адмирал Фосс» пополз вверх, стал на высоте колокольни св. Петра

и пошел вниз так, что, когда опустился, быстрота его хода была тридцать миль в час. Само собою, что паруса успели убрать, иначе встречный, от движения, ветер перевернул бы фрегат волчком.

Волна прошла, ушла и больше другой такой волны не было. Когда солнце стало садиться, увидели остров, который ни на каких картах не значился; по пути «Фосса» не мог быть на этой широте остров. Рассмотрев его в подзорные трубы, капитан увидел, что на нем не заметно ни одного дерева. Но был он прекрасен, как драгоценная вещь, если положить ее на синий бархат и смотреть снаружи, через окно: так и хочется взять. Он был из желтых скал и голубых гор, замечательной красоты.

Капитан тотчас записал в корабельный журнал, что произошло, но к острову не стал подходить, потому что увидел множество рифов, а по берегу отвес, без бухты и отмели. В то время как на мостике собралась толпа и толковала с офицерами о странном явлении, явилась Фрези Грант и стала просить капитана, чтобы он пристал к острову — посмотреть, какая это земля. «Мисс,— сказал капитан,— я могу открыть новую Америку и сделать вас королевой, но нет возможности подойти к острову при глубокой посадке фрегата, потому что мешают буруны и рифы. Если же снарядить шлюпку, это нас может задержать, а так как возникло опасение быть застигнутыми штилем, то надобно спешить нам к югу, где есть воздушное течение».

Фрези Грант, хотя была доброй девушкой,— вот, скажем, как наша Дэзи... Обратите внимание, джентльмены, на ее лицо при этих моих словах. Так я говорю о Фрези. Ее все любили на корабле. Однако в ней сидел женский черт, и если она что-нибудь задумывала, удержать ее являлось задачей.

— Слушайте! Слушайте! — вскричала Дэзи, подпирая подбородок рукой и расширяя глаза. — Сейчас начинается!

— Совершенно верно, Дэзи,— сказал Болт, обкусывая свой грязный ноготь. — Вот оно и началось, как это бывает у барышень. Иначе говоря, Фрези стояла, закусив губу. В это время, как на грех, молодой лейтенант вздумал ей сказать комплимент. «Вы так легки,— сказал он,— что при желании могли бы пробежать к острову по воде и вернуться обратно, не замочив ног». Что же вы думаете? «Пусть будет по-вашему, сэр,— сказала она. — Я уже дала себе слово быть там, и я сдержу его или умру». И вот, прежде

чем успели протянуть руку, вскочила она на поручни, задумалась, поблднела и всем махнула рукой. «Прощайте! — сказала Фрезе. — Не знаю, что делается со мной, но отступить уже не могу». С этими словами она спрыгнула и, вскрикнув, остановилась на волне, как цветок. Никто, даже ее отец, не мог сказать слова, так все были поражены. Она обернулась и, улыбнувшись, сказала: «Это не так трудно, как я думала. Передайте моему жениху, что он меня более не увидит. Прощай и ты, милый отец! Прощай, моя родина!»

Пока это происходило, все стояли, как связанные. И вот, с волны на волну, прыгая и перескакивая, Фрезе Грант побежала к тому острову. Тогда опустился туман, вода дрогнула, и, когда туман рассеялся, не видно было ни девушки, ни того острова: как он поднялся из моря, так и опустился снова на дно. Дэзи, возьми платок и вытри глаза.

— Всегда плачу, когда доходит до этого места, — сказала Дэзи, сердито сморкаясь в вытасченный ею из кармана Тоббогана платок.

— Вот и вся история, — закончил Больт. — Что было на корабле потом, конечно, не интересно, а с тех пор пошел слух, что Фрезе Грант иногда видели то тут, то там, ночью или на рассвете. Ее считают заботящейся о потерпевших крушение, между прочим; и тот, кто ее увидит, говорят, будет думать о ней до конца жизни.

Больт не подозревал, что у него не было никогда такого внимательного слушателя, как я. Но это заметила Дэзи и сказала:

— Вы слушали, как кошка мышь. Не встретили ли вы ее, бедную Фрезе Грант? Признайтесь!

Как ни был шутив вопрос, все моряки немедленно повернули головы и стали смотреть мне в рот.

— Если это была та девушка, — сказал я, естественно, не рискуя ничем, — девушка в кружевном платье и золотых туфлях, с которой я говорил на рассвете, — то, значит, это она и была.

— Однако! — воскликнул Проктор. — Что, Дэзи, вот тебе задача.

— Именно так она и была одета, — сказал Больт. — Вы раньше слышали эту сказку?

— Нет, я не слышал ее, — сказал я, охваченный порывом встать и уйти. — Но мне почему-то казалось, что это так.

На этом разговор кончился, и все разошлись. Я долго не мог заснуть: лежа в кубрике, прислушиваясь к плеску воды и храпу матросов, я уснул около четырех, когда вахта сменилась. В это утро все проспало несколько дольше, чем всегда. День прошел без происшествий, которые стоило бы отметить в их полном развитии. Мы шли при отличном ветре, так что Болът сказал мне:

— Мы решили, что вы нам принесли счастье. Честное слово. Еще не было за весь год такого ровного рейса.

С утра уже овладело мной нетерпение быть на берегу. Я знал, что этот день — последний день плавания, и потому тянулся он дольше других дней, как всегда бывает в конце пути. Кому не знаком зуд в спине? Чувство быстроты в неподвижных ногах? Расстояние получает враждебный оттенок. Существо наше усиливается придать скорость кораблю; мысль, множество раз побывав на воображаемом берегу, должна неохотно возвращаться в медлительно ползущее тело. Солнце всячески уклоняется подняться к зениту, а достигнув его, начинает опускаться со скоростью человека, старательно метущего лестницу.

После обеда, то уходя на палубу, то в кубрик, я увидел Дэзи, вышедшую из кухни вылить ведро с водой за борт.

— Вот, вы мне нужны,— сказала она, застенчиво улыбаясь, а затем стала серьезной.— Зайдите в кухню, как я вылью это ведро, у борта нам говорить неудобно, хотя, кроме глупостей, вы от меня ничего не услышите. Мы ведь не договорили вчера. Тоббоган не любит, когда я разговариваю с мужчинами, а он стоит у руля и делает вид, что закуривает.

Согласившись, я посидел на трюме, затем прошел в кухню за крылом паруса.

Дэзи сидела на табурете и сказала: «Сядьте», причем хлопнула по коленям руками. Я сел на бочонок и приготовился слушать.

— Хотя это невежливо,— сказала девушка,— но меня почему-то заботит, что я не все знаю. Не все вы рассказали нам о себе. Я вчера думала. Знаете, есть что-то загадочное. Вернее, вы сказали правду, но об одном умолчали. А что это такое — о д н о? С вами в море что-то случилось. Отчего-то мне вас жаль. Отчего это?

— О том, что вы не договорили вчера?

— Вот именно. Имею ли я право знать? Решительно — никакого. Так вы и не отвечайте тогда.

— Дэзи,—сказал я, доверяясь ее наивному любопытству, обнаружить которое она могла, конечно, только по невозможности его укротить, а также — ее пронизательности,— вы не ошиблись. Но я сейчас в особом состоянии, совершенно особом, таком, что не мог бы сказать так, сразу. Я только обещаю вам не скрыть ничего, что было на море, и сделаю это в Гель-Гью.

— Вас испугало что-нибудь? — сказала Дэзи и, помолчав, прибавила: — Не сердитесь на меня. На меня иногда и а х о д и т, так что все поражаются; я вот все время думаю о вашей истории, и я не хочу, чтобы у вас осталась обо мне память, как о любопытной девчонке.

Я был тронут. Она подала мне обе руки, встряхнула мои и сказала:

— Вот и все. Было ли вам хорошо здесь?

— А вы как думаете?

— Никак. Судно маленькое, довольно грязное, и никакого веселья. Кормеж тоже оставляет желать многого. А почему вы сказали вчера о кружевном платье и золотых туфлях?

— Чтобы у вас стали круглые глаза,— смеясь, ответил я ей.— Дэзи, есть у вас отец, мать?

— Были, конечно, как у всякого порядочного человека. Отца звали Ричард Бенсон. Он пропал без вести в Красном море. А моя мать простудилась насмерть лет пять назад. Зато у меня хороший дядя; кислотат, правда, но за меня пойдет в огонь и воду. У него нет больше племяншей. А вы верите, что была Фрези Грант?

— А вы?

— Это мне нравится! Вы, вы, вы! — верите или нет?! Я безусловно верю и скажу — почему.

— Я думаю, что это могло быть,— сказал я.

— Нет, вы опять шутите. Я верю потому, что от этой истории хочется что-то сделать. Например, стукнуть кулаком и сказать: «Да, человека не понимают».

— Кто не понимает?

— Все. И он сам не понимает себя.

Разговор был прерван появлением матроса, пришедшего за огнем для трубки. «Скоро ваш отдых»,— сказал он мне и стал копать в углях. Я вышел, заметив, как пристально смотрела на меня девушка, когда я уходил. Что это было? Отчего так занимала ее история, одна половина которой лежала в тени дня, а другая — в свете ночи?

Перед прибытием в Гель-Гью я сидел с матросами и узнал от них, что никто из моих спасителей ранее в этом городе не был. В судьбе малых судов типа «Нырка» случаются одиссеи в тысячу и даже в две и три тысячи миль — выход в большой свет. Прежний капитан «Нырка» был арестован за меткую стрельбу в казино «Фортуна». Проктор был владельцем «Нырка» и половины шкуны «Химена». После ареста капитана он сел править «Нырком» и взял фрахт в Гель-Гью, не смущаясь расстоянием, так как хотел поправить свои денежные обстоятельства.

ГЛАВА XXI

В десять часов вечера показался маячный огонь; мы подходили к Гель-Гью.

Я стоял у штирборта с Проктором и Больтом, наблюдая странное явление. По мере того как усиливалась яркость огня маяка, верхняя черта длинного мыса, отделяющего гавань от океана, становилась явственно видной, так как за ней плавал золотистый туман — обширный световой слой. Явление это, свойственное лишь большим городам, показалось мне чрезмерным для сравнительно небольшого Гель-Гью, о котором я слышал, что в нем пятьдесят тысяч жителей. За мысом было нечто вроде желтой зари. Проктор принес трубу, но не рассмотрел ничего, кроме построек на мысе, и высказал предположение, не есть ли это отсвет большого пожара.

— Однако нет дыма, — сказала подошедшая Дэзи. — Вы видите, что свет чист; он почти прозрачен.

В тишине вечера я начал различать звук, неопределенный, как бормотание; звук с припевом, с гулом труб, и я вдруг понял что это — музыка. Лишь я открыл рот сказать о догадке, как послышались далекие выстрелы, на что все тотчас обратили внимание.

— Стреляют и играют! — сказал Больт. — Стреляют довольно бойко.

В это время мы начали проходить маяк.

— Скоро узнаем, что оно значит, — сказал Проктор, отправляясь к рулю, чтобы ввести судно на рейд. Он

сменил Тоббогана, который немедленно подошел к нам, тоже выражая удивление относительно яркого света и стрельбы.

Судно сделало поворот, причем паруса заслонили открывшуюся гавань. Все мы поспешили на бак, ничего не понимая, так были удивлены и восхищены развернувшимся зрелищем, острым и прекрасным во тьме, полной звезд.

Половина горизонта предстала нашим глазам в блеске иллюминации. В воздухе висела яркая золотая сеть; сверкающие гирлянды, созвездия, огненные розы и шары электрических фонарей были, как крупный жемчуг среди золотых украшений. Казалось, стеклись сюда огни всего мира. Корабли рейда сияли, осыпанные белыми лучистыми точками. На барке, черной внизу, с освещенной, как при пожаре, палубой вертелось, рассыпая искры, огненное алмазное колесо, и несколько ракет выбежали из-за крыш на черное небо, где, медленно завернув вниз, потухли, вырвав зеленые и голубые падучие звезды. В то же время стала явственно слышна музыка; дневной гул толпы, доносившийся с набережной, иногда заглушал ее, оставляя один лишь стук барабана, а потом отпускал снова, и она отчетливо раздавалась по воде,— то, что называется: «играет в ушах». Играл не один оркестр, а два, три... может быть, больше, так как иногда наступало толкущееся на месте смешение звуков, где только барабан знал, что ему делать. Рейд и гавань были усеяны шлюпками, полными пассажиров и фонарей. Снова началась яростная пальба. С шлюпок звенели гитары; были слышны смех и крики.

— Вот так Гель-Гью,— сказал Тоббоган.— Какая нам, можно сказать, встреча!

Береговой ответ был так силен, что я видел лицо Дэзи. Оно, сияющее и пораженное, слегка вздрагивало. Она старалась поспеть увидеть всюду; едва ли замечала, с кем говорит, была так возбуждена, что болтала не переставая.

— Я никогда не видала таких вещей,— говорила она.— Как бы это узнать? Впрочем... О! о! о! Смотрите, еще ракета! И там; а вот — сразу две. Три! Четвертая! Ура! — вдруг закричала она, засмеялась, утерла влажные глаза и села с окаменелым лицом.

Фок упал. Мы подошли с приспущенным гротом, и «Нырок» бросил якорь вблизи железного буя, в кольцо которого был поспешно продед кормовой канат. Я бродил среди

суматохи, встречая иногда Дэзи, которая появлялась у всех бортов, жадно оглядывая сверкающий рейд.

Все мы были в несколько приподнятом, припадочном состоянии.

— Сейчас решили,— сказала Дэзи, сталкиваясь со мной.— Все едем; останется один матрос. Конечно, и вы стремитесь попасть скорее на берег?

— Само собой.

— Ничего другого не остается,— сказал Проктор.— Конечно, все поедем немедленно. Если приходишь на темный рейд и слышишь, что бьет три склянки, ясно — торопиться некуда, но в таком деле и я играю ногами.

— Я умираю от любопытства! Я иду одеваться! А! О! — Дэзи поспешила, споткнулась и бросилась к борту.— Кричите им! Давайте кричать! Эй! Эй! Эй!

Это относилось к большому катеру, на корме и носу которого развевались флаги, а борты и тент были увешаны цветными фонариками.

— Эй! на катере!— крикнул Больт так громко, что гребцы и дамы, сидевшие там веселой компанией, перестали грести.— Приблизьтесь, если не трудно, и объясните, отчего вы не можете спать!

Катер подошел к «Нырку»; на нем кричали и хохотали.

Как он подошел, на палубе нашей стало совсем светло, мы ясно видели их, они — нас.

— Да это карнавал! — сказал я, отвечая возгласам Дэзи.— Они в масках; вы видите, что женщины в масках!

Действительно, часть мужчин представляла театральное собрание индейцев, маркизов, шутов; на женщинах были шелковые и атласные костюмы различных национальностей. Их полумаски, лукавые маленькие подбородки и обнаженные руки несли веселую маскарадную жуть.

На шлюпке встал человек, одетый в красный камзол с серебряными пуговицами и высокую шляпу, украшенную зеленым пером.

— Джентльмены! — сказал он, неистово скрежеща зубами, и, показав нож, потряс им.— Как смее вы явиться сюда, подобно грязным трубочистам к ослепительным булочникам? Скорее зажигайте все, что горит. Зажгите ваше судно! Что вы хотите от нас?

— Скажите,— крикнула, смеясь и смущаясь, Дэзи,— почему у вас так ярко и весело? Что такое произошло?

— Дети, откуда вы? — печально сказал пьяный толстяк в белом балахоне с голубыми помпонами.

— Мы из Риоля, — ответил Проктор. — Соболаговолите сказать что-либо дельное.

— Они действительно ничего не знают! — закричала женщина в полумаске. — У нас карнавал, понимаете?! Настоящий карнавал и все удовольствия, какие хотите!

— Карнавал! — тихо и торжественно произнесла Дэзи. — Господи, прости и помилуй!

— Это карнавал, джентльмены, — повторил красный камзол. Он был в экстазе. — Нигде нет; только у нас по случаю столетия основания города. Поняли? Девушка недурна. Давайте ее сюда, она споет и станцует. Бедняжка, как пылают ее глазенки! А что, вы не украли ее? Я вижу, что она намерена прокатиться.

— Нет, нет! — закричала Дэзи.

— Жаль, что нас разъединяет вода, — сказал Тоббоган, — я бы показал вам новую красивую маску.

— Вы, что же, не понимаете карнавалых шуток? — спросил пьяный толстяк. — Ведь это шутка!

— Я... я... понимаю карнавалы шутки, — ответил Тоббоган нетвердо, после некоторого молчания, — но понимаю еще, что слышал такие вещи без всякого карнавала, или как там оно называется.

— От души вас жалею! — закричали женщины. — Так вы присматривайте за своей душечкой!

— На память! — вскричал красный камзол. Он размахнулся, и серпантинная лента длинной спиралью опустилась на руку Дэзи, схватившей ее с восторгом. Она повернулась, сжав в кулаке ленту, и залилась смехом.

Меж тем компания на шлюпке удалилась, осыпая нас причудливыми шуточными проклятиями и советуя поспешить на берег.

— Вот какое дело! — сказал Проктор, скребя лоб.

Дэзи уже не было с нами.

— Конечно. Пошла одеваться, — заметил Больт. — А вы, Тоббоган?

— Я тоже поеду, — медленно сказал Тоббоган, размышляя о чем-то. — Надо ехать. Должно быть, весело; а уж ей будет совсем хорошо.

— Отправляйтесь, — решил Проктор, — а я с ребятами тоже посижу в баре. Надеюсь, вы с нами? Помните о ночлеге. Вы можете ночевать на «Нырке», если хотите.

— Если будет надобность,— ответил я, не зная еще, что может быть,— я воспользуюсь вашей добротой. Вещи я оставляю пока у вас.

— Располагайтесь, как дома,— сказал Проктор.— Места хватит.

После того все весело и с нетерпением разошлись одеваться. Я понимал, что неожиданно создавшееся, после многих дней затерянного пути в океане, торжественное настроение ночного праздника требовало выхода, а потому не удивился единогласию этой поездки. Я видел карнавал в Риме и Ницце, но карнавал поблизости тропиков, перед лицом океана, интересовал и меня. Главное же, я знал и был совершенно убежден в том, что встречу Биче Сениэль, девушку, память о которой лежала во мне все эти дни светлым и неясным движением мыслей.

Мне пришлось собираться среди матросов, а потому мы взаимно мешали друг другу. В тесном кубрике, среди раскрытых сундуков, едва было где повернуться. Болът взял взаймы у Перлина. Чеккер у Смита. Они считали деньги и брились наспех, пеня лицо куском мыла. Кто зашнуровывал ботинки, кто считал деньги. Болът поздравил меня с прибытием, и я, отозвав его, дал ему пять золотых на всех. Он сжал мою руку, подмигнул, обещал удивить товарищей громким заказом в гостинице и лишь после того открыть, в чем секрет.

Напутствуемый пожеланиями веселой ночи, я вышел на палубу, где застал Дэзи в новом кисейном платье и кружевном золотисто-сером платке, под руку с Тоббоганом, на котором мешковато сидел синий костюм с малиновым галстуком; между тем его правильному, загорелому лицу так шел раскрытый ворот просмоленной парусиновой блузы. Фуражка с ремнем и золотым якорем окончательно противоречила галстуку, но он так счастливо улыбался, что мне не следовало ничего замечать. Гремя каблуками, выполз из каюты и Проктор; старик остался верен своей поношенной чесучовой куртке и голубому платку вокруг шеи; только его белая фуражка с черным прямым козырьком дышала свежестью материнской заботы Дэзи.

Дэзи волновалась, что я заметил по ее стесненному вздоху, с каким оправила она рукав, и нетвердой улыбке. Глаза ее блестели. Она была не совсем уверена, что все хорошо на ней. Я сказал:

— Ваше платье очень красиво.

Она засмеялась и кокетливо перекинула платок ближе к тонким бровям.

— Действительно вы так думаете? — спросила она.— А знаете, я его шила сама.

— Она все шьет сама,— сказал Тоббоган.

— Если, как хвастается, будет ему женой, то...— Проктор договорил странно: — такую жену никто не выдумает, она родилась сама.

— Пошли, пошли! — закричала Дэзи, счастливо оглядываясь на подошедших матросов.— Вы зачем долго копались?

— Просим прощения, Дэзи,—сказал Больт.—Спрыскивались духами и запасались сувенирами для здешних барышень.

— Все врешь,— сказала она.— Я знаю, что ты женат. А вы, что вы будете делать в городе?

— Я буду ходить в толпе, смотреть; зайду поужинать и — или найду пристанище, или вернусь переночевать на «Нырок».

В то время матросы попрыгали в шлюпку, стоявшую на воде у кормы. Шлюпка «Бегущей» была подвешена к таям, и Дэзи стукнула по ней рукой, сказав:

— Ваша берлога, в которой вы разъезжали. Как думаете,— обратилась она к Проктору,— могло уже явиться судно: «Бегущая по волнам»?

— Уверен, что Гез здесь,— ответил Проктор на ее вопрос мне.— Завтра, я думаю, вы займетесь этим делом, и вы можете рассчитывать на меня.

Я сам ожидал встречи с Гезом и не раз думал, как это произойдет, но я знал также, что случай имеет теперь иное значение, чем простое уголовное преследование. Поэтому, благодаря Проктора за его сочувствие и за справедливый гнев, я не намеревался ни торопиться, ни заявлять о своем рвении.

— Сегодня не день дел,—сказал я,— а завтра я все обдумаю.

Наконец мы уселись; толчки весел, понесших нас прочь от «Нырка» с его одиноким мачтовым фонарем, ввели наше внутреннее нетерпеливое движение в круг общего движения ночи. Среди теней волн плескался, рассыпаясь подводными искрами, блеск огней. Огненные извивы струились от набережной к тьме, и музыка стала слышна, как в зале. Мы встретили несколько богато разукрашенных шлю-

пок и паровых катеров, казавшихся веселыми призраками, так ярко были они озарены среди сумеречной волны. Иногда нас окликали хором, так что нельзя было разобрать слов, но я понимал, что катающиеся бранят нас за мрачность нашей поездки. Мы проехали мимо парохода, превращенного в люстру, и стали приближаться к набережной. Там шла, бежала и перебегала толпа. Среди яркого света увидел я восемь лошадей в султанах из перьев, кативших огромное сооружение из башенок и ковров, увитое апельсинным цветом. На платформе этого сооружения плясали люди в зеленых цилиндрах и оранжевых сюртуках; вместо лиц были комические, толстошекие маски и чудовищные очки. Там же вертелись дамы в коротких голубых юбках и полумасках; они, махая длинными шарфами, отплясывали, подбочаясь весьма лихо. Вокруг несли факелы.

— Что они делают? — вскричала Дэзи. — Это кто же такие?

Я объяснил ей, что такое маскарадные выезды и как их устраивают на юге Европы. Тоббоган задумчиво произнес:

— Подумать только, какие деньги брошены на пустяки!

— Это не пустяки, Тоббоган, — живо отозвалась девушка. — Это праздник. Людям нужен праздник хоть изредка. Это ведь хорошо — праздник! Да еще какой!

Тоббоган, помолчав, ответил:

— Так или не так, а я думаю, что если бы мне дать одну тысячную часть этих загубленных денег, — я построил бы дом и основал бы неплохое хозяйство.

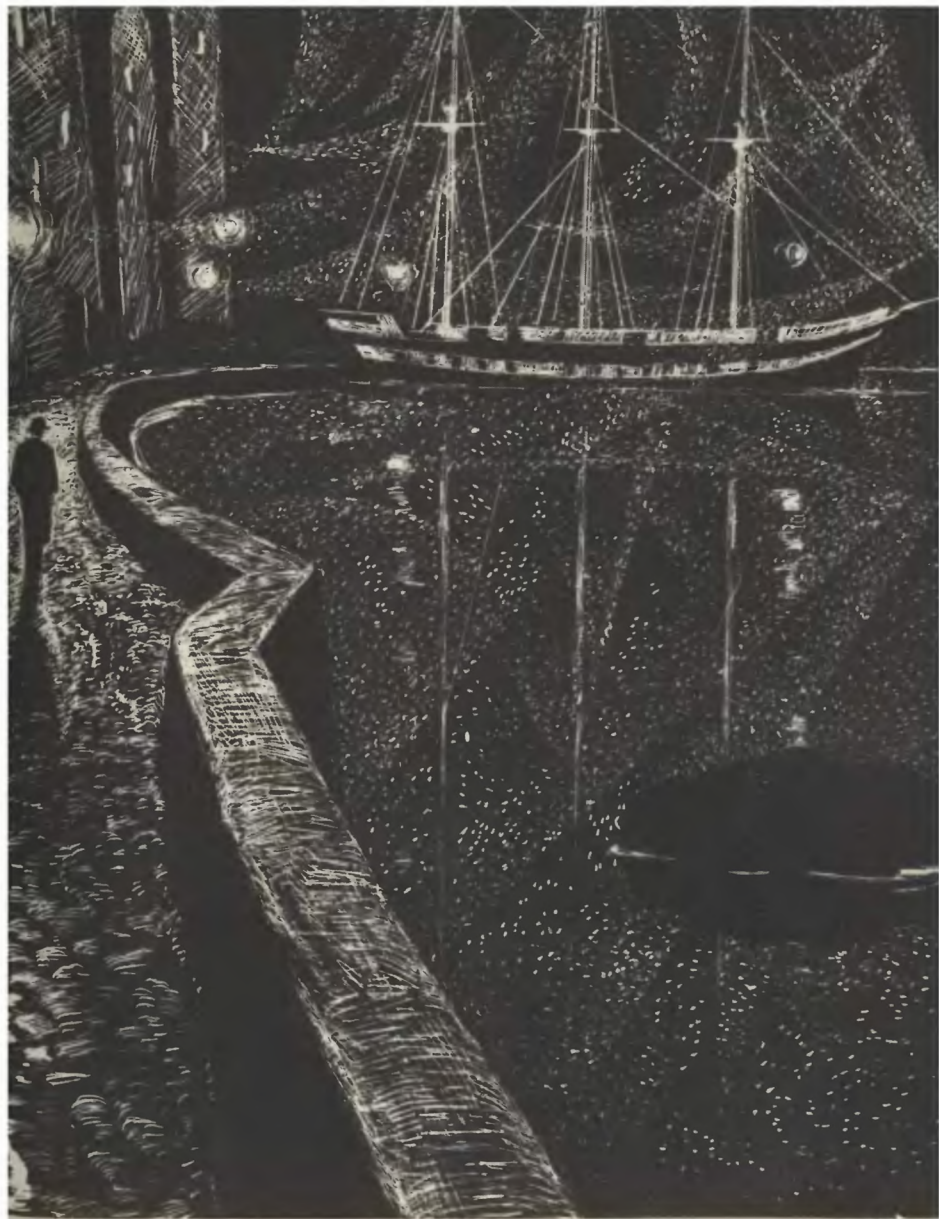
— Может быть, — рассеянно сказала Дэзи. — Я не буду спорить, только мы тогда, после двадцати шести дней пустынного океана, не увидели бы всей этой красоты. А сколько еще впереди!

— Держи к лестнице! — закричал Проктор матросу. — Убирай весла!

Шлюпка подошла к намеченному месту — каменной лестнице, спускающейся к квадратной площадке, и была привязана к кольцу, ввинченному в плиту. Все повысыпали наверх. Проктор запер вокруг весел цепь, повесил замок, и мы разделились. Как раз неподалеку была гостиница.

— Вот мы пока и пришли, — сказал Проктор, отходя с матросами, — а вы решайте, как быть с дамой, нам с вами не по пути.

— До свидания, Дэзи, — сказал я танцующей от нетерпения девушке.



«БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ»



«БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ»

— А...— начала она и посмотрела мельком на Тоббогана.

— Желаю вам веселиться,— сказал моряк.— Ну, Дэзи, идем.

Она оглянулась на меня, помахала поднятой вверх рукой, и я почти сразу потерял их из вида в пронсящейся ураганом толпе, затем осмотрелся, с волнением ожидания и с именем, впервые, после трех дней, снова зазвучавшим, как отчетливо сказанное вблизи: «Биче Сениэль». И я увидел ее незабываемое лицо.

С этой минуты мысль о ней не покидала уже меня, и я пошел в направлении главного движения, которое заворачивало от набережной через открытую с одной стороны площадь. Я был в неизвестном городе,— чувство, которое я особенно люблю. Но, кроме того, он предстал мне в свете неизвестного торжества, и, погрузясь в заразительно яркую суету, я стал рассматривать, что происходит вокруг; шел я не торопясь и никого не расспрашивал, так же, как никогда не хотел знать названия поразивших меня своей прелестью и оригинальностью цветов. Впоследствии я узнавал эти названия. Но разве они прибавляли красок и лепестков? Нет, лишь на цветок как бы садился жук, которого уже не стряхнешь.

ГЛАВА XXII

Я знал, что утром увижу другой город — город, как он есть, отличный от того, какой вижу сейчас,— выложенный, под мраком, листовым золотом света, озаряющего фасады. Это были по большей части двухэтажные каменные постройки, обнесенные навесами веранд и балконов. Они стояли тесно, сияя распахнутыми окнами и дверями. Иногда за углом крыши чернели веера пальм; в другом месте их ярко-зеленый блеск, более сильный внизу, указывал невидимую за стенами иллюминацию. Изобилие бумажных фонарей всех цветов, форм и рисунков мешало различить подлинные черты города. Фонари свешивались поперек улиц, пылали на перилах балконов, среди ковров; фестонами тянулись вдаль. Иногда перспектива улицы напоминала балет, где огни, цветы, лошади и живописная теснота людей,

вышедших из тысячи сказок, в масках и без масок, смешивали шум карнавала с играющей по всему городу музыкой.

Чем более я наблюдал окружающее, два раза перейдя прибрежную площадь, прежде чем окончательно избрал направление, тем яснее видел, что карнавал не был искусственным весельем, ни весельем по обязанности или приказу,— горожане были действительно одержимы размахом, какой получила затая, и теперь размах этот бесконечно увлекал их, утоляя, может быть, давно нараставшую жажду всеобщего пестрого оглушения.

Я двинулся, наконец, по длинной улице в правом углу площади и попал так удачно, что иногда должен был останавливаться, чтобы пропустить процессию всадников — каких-нибудь средневековых бандитов в латах или чертей в красных трико, восседающих на мулах, украшенных бубенчиками и лентами. Я выбрал эту улицу из-за выгоды ее восхождения в глубь и в верх города, расположенного рядом террас, так как здесь, в конце каждого квартала, находилось несколько ступеней из плитняка, отчего автомобили и громоздкие карнавальные экипажи не могли двигаться; но не один я искал такого преимущества. Толпа была так густа, что народ шел прямо по мостовой. Это было бесцельное движение ради движения и зрелища. Меня обгоняли домино, шуты, черти, индейцы, негры, «так и е» и настоящие, которых с трудом можно было отличить от «так и х»; женщины, окутанные газом, в лентах и перьях; развлекались короткие и длинные цветные юбки, усеянные блестками или обшитые белым мехом. Блеск глаз, лукавая таинственность полумасок, отряды матросов, прокладывающих дорогу взмахами бутылок, ловя кого-то в толпе с хохотом и визгом; пьяные ораторы на тумбах, которых никто не слушал или сталкивал невзначай локтем; звон колокольчиков, кавалькады принцесс и гризеток, восседающих на атласных пополах породистых скакунов; скопления у дверей, где в тумане мелькали бешеные лица и сжатые кулаки; пьяные врастяжку на мостовой; трусливо пробирающиеся домой кошки; нежные голоса и хриплые возгласы, песни и струны; звук поцелуя и хоры криков вдали,— таково было настроение Гель-Гью этого вечера. Под фантастическим флагом тянулось грязное полотно навесов торговых ларей, где продавали лимонад, фисташковую воду, воду со льдом, содовую и виски, пальмовое вино и орехи, конфеты и конфетти, серпантин и хлопушки, пе-

тарды и маски, шарики из липкого теста и колючие сухие орехи, вроде репья, выдрать шипы которых из волос или ткани являлось делом замысловатым. Время от времени среди толпы появлялся велосипедист, одетый медведем, мохом, обезьяной или Пьерро, на жабо которого тотчас приклеивались эти метко бросаемые цепкие колючие шарики. Появлялись великаны, пища резиновой куклой или гремя в огромные барабаны. На верандах танцевали; я наткнулся на бал среди мостовой и не без труда обошел его. Серпантин был так густо напущен по балконам и под ногами, что воздух шуршал. За время, что я шел, я получил несколько предложений самого разнообразного свойства: выпить, поцеловаться, играть в карты, проводить, танцевать, купить,—и женские руки непрерывно сновали передо мной, маня округленным взмахом поддаться общему увлечению. Видя, что чем дальше, тем идти труднее, я поспешил свернуть в переулок, где было меньше движения. Повернув еще раз, я очутился на улице, почти пустой. Справа от меня, загибая влево и восходя вверх, тянулась, сдерживая обрыв, наклонная стена из глыб дикого камня. Над ней, по невидимым снизу дорогам, непрерывно стучали колеса, мелькали фонари, огни сигар. Я не знал, какое я занимаю положение в отношении центра города; постояв, подумав и выбрав из своего фланелевого костюма все колючие шарики и обобрав шлепки липкого теста, которое следовало бы запретить, я пошел вверх, среди относительной темноты. Я прошел мимо веранды, где, подбежав к ее краю, полуосвещенная женщина перегнулась ко мне, тихо позвав: «Это вы, Сульт?»—с любовью и опасением в вздрогнувшем голосе. Я вышел на свет, и она, сконфуженно засмеяся, исчезла.

Поднявшись к пересекающей эту улицу мостовой, я снова попал в дневной гул и ночной свет и пошел влево, как бы сознавая, что должен прийти к вершине угла тех двух направлений, по которым шел вначале и после. Я был на широкой, залитой асфальтом улице. В ее конце, бывшем неподалеку, виднелась площадь. Туда стремилась толпа со всего переулка. Через головы, перемещавшиеся впереди меня с быстротой схватки, я увидел статую, возвышающуюся над движением. Это была мраморная фигура женщины с приподнятым лицом и протянутыми руками. Пока я проталкивался к ней среди толпы, ее поза и весь вид были мне не вполне ясны. Наконец, я подошел близко, так, что уви-

дел высеченную ниже ее ног надпись и прочитал ее. Она состояла из трех слов:

«БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ»

Когда я прочел эти слова, мир стал темнеть, и слово, одно слово могло бы объяснить все. Но его не было. Ничего не смогло бы отвлечь меня теперь от этой надписи. Она была во мне, и вместе с тем должно было пройти таинственное действие времени, чтобы внезапное стало доступно работе мысли. Я поднял голову и рассмотрел статую. Скульптор делал ее с любовью. Я видел это по безошибочному чувству художественной удачи. Все линии тела девушки, приподнявшей ногу, в то время как другая отталкивалась, были отчетливы и убедительны. Я видел, что ее дыхание участилось. Ее лицо было не тем, какое я знал, — не вполне тем, но уже то, что я сразу узнал его, показывало, как приблизил тему художник и как, среди множества представлявшихся ему лиц, сказал: «Вот это должно быть тем лицом, какое единственно может быть высечено». Он дал ей одежду незамечаемой формы, подобной возникающей в воображении, — без ощущения ткани; сделал ее складки прозрачными и пошевелил их. Они прильнули спереди, на ветру. Не было невозможных мраморных волн, но выражение стройной отталкивающей ноги передавалось ощущением, чуждым тяжести. Ее мраморные глаза, — эти условно видящие, но слепые при неумении изобразить их глаза статуи, казалось, смотрят сквозь мраморную тень. Ее лицо улыбалось. Тонкие руки, вытянутые с силой внутреннего порыва, которым хотят опередить самый бег, были прекрасны. Одна рука слегка пригнала пальцы ладонью вверх, другая складывала их нетерпеливым, восхитительным жестом душевной игры.

Действительно, это было так: она явилась, как рука, греющая и веселящая сердце. И как ни отделено от всего, на высоком пьедестале из мраморных морских див, стояла «Бегущая по волнам» — была она не одна. За ней грезился высоко поднятый волной бугшприт огромного корабля, несущего над водой эту фигуру, — прямо, вперед, рассекая город и ночь.

Настолько я владел чувствами, чтобы отличить независимое впечатление от впечатления, возникшего с большей силой лишь потому, что оно поднято обстоятельствами. Эта

статуя была центр — главное слово всех других впечатлений. Теперь мне кажется, что я слышал тогда, как стоял, шум толпы, но точно не могу утверждать. Я очнулся потому, что на мое плечо твердо и выразительно легла мужская рука. Я отступил, увидев внимательно смотрящего на меня человека в треугольной шляпе, с серебряным поясом вокруг талии, затянутой в старинный сюртук. Красное седое лицо с трепетавшей от удивления бровью тотчас изменило выражение, когда я спросил, чего он хочет.

— А! — сказал человек и, так как нас толкали герои и героини всех пьес всех времен, отошел ближе к памятнику, сделав мне знак приблизиться. С ним было еще несколько человек в разных костюмах и трое в масках, которые стояли, как бы тоже требуя или ожидая объяснений.

Человек, сказавший «А», продолжал:

— Кажется, ничего не случилось. Я тронул вас потому, что вы стоите уже около часа, не сходя с места и не шевелясь, и это показалось нам подозрительным. Я вижу, что ошибся, поэтому прошу извинения.

— Я охотно прощаю вас, — сказал я, — если вы так подозрительны, что внимание приезжего к этому замечательному памятнику внушает вам опасение, как бы я его не украл.

— Я говорил вам, что вы ошибаетесь, — вмешался молодой человек с ленивым лицом. — Но, — прибавил он, обращаясь ко мне, — действительно, мы стали ломать голову, как может кто-нибудь оставаться так погруженно-неподвижен среди трескучей карусели толпы.

Все эти люди хотя и не были пьяны, но видно было, что они провели день в разнообразном веселье.

— Это приезжий, — сказал третий из группы, драпируясь в огненно-желтый плащ, причем рыжее перо на его шляпе сделало хмельной жест. У него и лицо было рыжим: веснушчатое, белое, рыхлое лицо с полупечальным выражением рыжих бровей, хотя бесцветные блестящие глаза посмеивались. — Только у нас в Гель-Гью есть такой памятник.

Не желая упускать случая понять происходящее, я поклонился им и назвал себя. Тотчас протянулось ко мне несколько рук с именами и просьбами не вменить недоразумение ни в обиду, ни в нехороший умысел. Я начал с вопроса: подозрение чего могли возыметь они все?

— Вот что, — сказал Бавс, человек в треугольной шляпе, — может быть, вы не прочь посидеть с нами? Наш табор неподалеку: вот он.

Я оглянулся и увидел большой стол, вытасщенный, должно быть, из ресторана, бывшего прямо против нас, через мостовую. На скатерти, сползшей до камней мостовой, были цветы, тарелки, бутылки и бокалы, а также женские полумаски,— надо полагать — трофеи некоторых бесед. Гитары, банты, серпантин и маскарадные шпаги сталкивались на этом столе с локтями восседающих вокруг него десяти — двенадцати человек. Я подошел к столу с новыми своими знакомыми, но так как не хватало стульев, Бавс поймал пробегающего мимо мальчишку, дал ему пинка, серебряную монету, и награжденный притащил из ресторана три стула, после чего, вздохнув, шмыгнул носом и исчез.

— Мы привели новообращенного,— сказал Трайт, владец огненного плаща.— Вот он. Его имя Гарвей, он стоял у памятника, как на свидании, не отрываясь и созерцая.

— Я только что приехал,— сказал я, усаживаясь,— и действительно в восхищении от того, что вижу, чего не понимаю и что действует на меня самым необыкновенным образом. Кроме того, возбудил неясные подозрения.

Раздались восклицания, смысл которых был и дружелюбен и бестолков. Но выделился человек в маске: из тех словоохотливых, настойчиво расталкивающих своим ровным голосом все остальные, более горячие голоса людей, лицо которых благодаря этой черте разговорной настойчивости есть тип, видимый даже под маской.

Я слушал его более чем внимательно.

— Знаете ли вы,— сказал он,— о Вильямсе Гобсе и его странной судьбе? Сто лет назад был здесь пустой, как луна берег, и Вильямс Гобс, в силу предания, которому верит, кто хочет верить, плыл на корабле «Бегущая по волнам» из Европы в Бомбей. Какие у него были дела с Бомбеем — есть указания в городском архиве...

— Начнем с подозрений,— перебил Бавс.— Есть партия, или, если хотите, просто решительная компания, поставившая себе вопросом чести...

— У них нет чести,— сказал совершенно пьяный человек в зеленом домино,— я знаю эту змею, Парана; дух из него вон и дело с концом!

— Вот мы и думали,— ухватился Бавс за ничтожную паузу в разговоре,— что вы их сторонник, так как прошел час...

— ...есть указания в городском архиве,— поспешно вставил свое слово рассказчик.— Итак, я рассказываю леген-

ду об основании города. Первый дом построил Вильямс Гобс, когда был выброшен на отмели среди скал. Корабль бился в шторме, опасаясь неизвестного берега и не имея возможности пересечь круговращение ветра. Тогда капитан увидел прекрасную молодую девушку, взбежавшую на палубу вместе с гребнем волны. «Зюйд-зюйд-ост и три четверти румба!» — сказала она можно понять как чувствовашему себя капитану...

— Совсем не то, — перебил Бавс, — вернее, разговор был такой: «С вами говорит Фрези Грант; не пугайтесь и делайте, что скажу...»

— «Зюйд-зюйд-ост и три четверти румба», — быстро договорил человек в маске. — Но я уже сказал это. Так вот, все спаслись по ее указанию — выброситься на мель, и она, конечно, исчезла, едва капитан поверил, что надо слушаться. С Гобсом была жена, так напуганная происшествием, что наотрез отказалась плавать по морю. Через месяц сигналом с берега был остановлен бриг «Полина», и спасшиеся уехали с ним, но Гобс не захотел ехать, потому что не мог справиться с женой, — так она напугалась во время шторма. Им оставили припасов и одного человека, не желавшего покинуть Гобса, так как он был ему чем-то крупно обязан. Имя этого человека Нэд Хорт; и так началась жизнь первых колонистов, которые нашли здесь плодородную землю и прекрасный климат. Они умерли лет восемьдесят назад. Медленно идет время.

— Нет, очень быстро, — возразил Бавс.

— Конечно, я рассказал вам самую суть, — продолжал мой собеседник, — и только провел прямую линию, а обстоятельства и подробности этой легенды вы найдете в нашем архиве. Но — слушайте дальше.

— Известно ли вам, — сказал я, — что существует корабль с названием: «Бегущая по волнам»?

— О, как же! — ответил Бавс. — Это была прихоть старика Сениэля. Я его знал. Он из Гель-Гью, но лет десять назад разорился и уехал в Сан-Риоль. Его родственники и посейчас живут здесь.

— Я видел это судно в лисском порту, отчего и спросил вас.

— С ним была странная история, — сказал Бавс. — С судном, не с Сениэлем. Впрочем, может быть, он его продал.

— Да, но произошла следующая история, — нетерпеливо перебил человек в маске. — Однажды...

Вдруг один человек, сидевший за столом, вскочил и протянул сжатый кулак по направлению автомобиля, объехавшего памятник Бегущей и остановившегося в нескольких шагах от нас. Тотчас вскочили все.

Нарядный черный автомобиль среди того пестрого и оглушительного движения, какое происходило на площади, был резок, как неразгоревшийся, охваченный огнем уголь. В нем сидело пять мужчин, все неэкостюмированные, в вечерней черной одежде и цилиндрах, и две дамы — одна некрасивая, с поблекшим жестким лицом, другая молодая, бледная и высокомерная. Среди мужчин было два старика. Первый, напоминающий разжиревшего, оскаленного бульдога, широко расставив локти, курил, ворочая ртом огромную сигару; другой смеялся, и этот второй произвел на меня особенно неприятное впечатление. Он был широкоплеч, худ, с угрюмо запавшими щеками, высоким лбом и собранными под ним в едкую улыбку чертами маленького, мускулистого лица, сжатого напряжением и сарказмом.

— Вот они! — закричал Бавс. — Вот червонные вальты карнавала! Добс, Коутс, бегите к памятнику! Эти люди способны укусить камень!

Вокруг автомобиля и стола столпился народ. Все встали. Стулья попопрокидывались; с автомобиля отвечали криками угроз и насмешек.

— Что?! Караулите? — сказал толстый старик. — Смотрите, не прозевайте!

— С этим не прозеваешь! — вскричало зеленое домино, взмахивая револьвером. Можете кататься, уезжать, приезжать или разбить себе голову — как хотите!

Второй старик закричал, высунувшись из автомобиля:

— Мы отобьем вашей кукле руки и ноги! Это произойдет скоро! Вспомните мои слова, когда будете подбирать осколки для брежневых!

Вне себя, Бавс начал рыться в кармане и побежал к автомобилю. Машина затряслась, сделала поворот, отъехала и скрылась, сопровождаемая свистками и аплодисментами. Тотчас явились два полисмена в обрывках серпантинных лент, с нетвердыми жестами; они стали уговаривать Бавса, который, дав в воздух несколько выстрелов, остановил велосипедиста, желая отобрать у него велосипед для погони за неприятелем. Остолбеневший хозяин велосипеда уже

начал оглядываться, куда прислонить машину, чтобы, освободясь, дать выход своему гневу, но полисмен не допустил драки. Я слышал сквозь шум, как он кричал:

— Я все понимаю, но выберите другое место сводить счеты!

Во время этого столкновения, которое было улажено неизвестно как, я продолжал сидеть у покинутого стола. Ушли — вмешаться в происшествие или развлечься им — почти все; остались — я, хмельное зеленое домино, локоть которого неизменно срывался, как только он пытался его поставить на край стола, да словоохотливый и методический собеседник. Происшествие с автомобилем изменило направление его мыслей.

— Акулы, которых вы видели на автомобиле, — говорил он, следя, слушаю ли я его внимательно, — затеяли всю историю. Из-за них мы здесь и сидим. Один, худощавый, это Кабон, у него восемь паровых мельниц; с ним толстый — Тукар, фабрикант искусственного льда. Они хотели сорвать карнавал, но это не удалось. Таким образом...

Его перебило возвращение всей застольной группы, занявшей свои места с гневом и смехом. Дальнейший разговор был так нервен и непоследователен, — причем часть обращалась ко мне, поясняя происходящее, другая вставляла различные замечания, спорила и перебивала, — что я бессилен восстановить ход беседы. Я пил с ними, слушая то одного, то другого, пока мне не стало ясным положение дела.

Разумеется, под открытым небом, среди толпы, занятой увеселительными делами, сидение за этим столом разнообразилось всякими инцидентами. Знакомые моих хозяев появлялись с приветствиями, шептали им на ухо или, таинственно отведя их для секретной беседы, составляли беспокойный фон, на котором мелькал дождь конфетти, сыпавшийся из хорошеньких ручек. Покушение неизвестных масок взбесить нас танцами за нашей спиной, причем не прекращались разные веселые бедствия, вроде закрывания сзади рукой глаз или изымания стула из-под привставшего человека вместе с писком, треском, пальбой, топотом и чепуховыми выкриками, среди мелодий оркестров и яркого света, над которым, улыбаясь, неслась мраморная «Бегущая по волнам», — все это входило в наш разговор и определяло его.

Как ни прекрасен был вещественный повод вражды и ненависти, явленный одинокой статуей, — вульгарной оказа-

лась сущность ее между людьми. Основой ее были старые счета и материальные интересы. Еще пять лет назад часть городских дельцов требовала заменить изваяние какой-нибудь другой статуей или совсем очистить площадь от памятника, так как с ним связывался вопрос о расширении портовых складов. Большая часть намеченного под склад участка принадлежала Грасу Парану. Фамилия Парана была одной из самых старых фамилий города. Параны занимались торговлей и административной деятельностью. Это были удачливые и сильные люди, с тем выгодным для них знанием жизни, которое одно само по себе, употребленное для обогащения, верно приводит к цели. Богатство их увеличивалось по законам роста дерева; оно не особенно выделялось среди других состояний, пока в 1863 году Элевзий Паран, дед нынешнего Граса Парана, не увидел среди глыб обвала на своем участке, замкнутом с одной стороны горами, ртутной лужи и не зачерпнул в горсть этого тяжелого вещества.

— Стоит вам взглянуть на термометр,— сказал Бавс,— или на пятно зеркального стекла, чтобы вспомнили это имя: Грас Паран. Ему принадлежит треть портовых участков и сорок домов. Кроме капитала, заложенного по железным дорогам, шести фабрик, земель и плантаций, свободный оборотный капитал Парана составляет около ста двадцати миллионов!

Грас Паран развелся с женой, от которой у него не было детей, и усыновил племянника, сына младшей сестры, Георга Герда. Через несколько лет Паран снова женился на молодой девушке. Расстояние возрастов было таково: Парану—пятьдесят лет, его жене—восемнадцать и Герду—двадцать четыре. Против воли Парана Герд стал скульптором. Он провел в Италии пять лет, учился по мастерским Фарнези, Ависа, Гардуччи и, возвратясь, увидел хорошенькую молодую мачеху, с которой завязалась у него дружба, а дружба перешла в любовь. Оба были решительными людьми. Сначала уехала в Европу она, затем — он, и более не вернулись.

Когда в Гель-Гью был поднят вопрос о памятнике основанию города, Герд принял участие в конкурсе, и его модель, которую он прислал, необыкновенно понравилась. Она была хороша и привлекала надписью «Бегущая по волнам», напоминающей легенду, море, корабли; и в самой этой странной надписи было движение. Модель Герда (еще

не знали, что это Герд) воскресила пустынные берега и мужественные фигуры первых поселенцев. Заказ был послан, имя Герда открыто, статуя перевезена из Флоренции в Гель-Гью при отчаянном противодействии Парана, который, узнав, что память его позора увековечена его же приемным сыном, пустил в ход деньги, печать и шантаж, но ему не удалось добиться замены этого памятника другим. У Парана нашлись могущественные враги, поддержавшие решение города. В дело вмешались страсти и самолюбие. Памятник был поставлен. Лицо Бегущей ничем не напоминало жену Парана, но своеобразное искажение чувств, связанных неотступной мыслью об ее измене, привело к маниакальному внушению: Паран остался при убеждении, что Герд в этой статуе изобразил Химену Паран.

Одно время казалось — история остановилась у точки. Однако Грас Паран, выждав время, начал жестокую борьбу, поставив задачей жизни убрать памятник; и достиг того, что среди огромного числа родственников, зависящих от него людей и людей подкупленных был поднят вопрос о безнравственности памятника, чем привлек на свою сторону людей, бессознательность которых ноет от старых укулов, от мелких и больших обид, от злобы, ищущей лишь повода, — людей с темными, сырыми ходами души, чья внутренняя жизнь скрыта и обнаруживается иногда непонятным поступком, в основе которого, однако, лежит мировоззрение, мстящее другому мировоззрению — без ясной мысли о том, что оно делает. Приемы и обстоятельства этой борьбы привели к попыткам разбить ночью статую, но подкупленные для этой цели люди были схвачены группой случайных прохожих, заподозривших неладное в их поведении. Наконец, постановление города праздновать свое столетие карнавалом, которому также противодействовали Паран и его партия, довело этого человека до открытого бешенства. Были угрозы; их слышали и передавали по городу. Накануне карнавала, то есть третьего дня, в статую произвели выстрел разрывной пулей, но она отбила только верхний угол подножия памятника. Стрелявший скрылся; и с этого часа несколько решительных людей установили охрану, сев за тот самый стол, где я сидел с ними. Тем временем нападающая сторона, не скрывая уже своих намерений, открыто поклялась разбить статую и обратить общее веселье в торжество мрачного замысла.

Таков был наш разговор, внимать которому приходилось с тем бóльшим напряжением, что его течение часто нарушалось указанными выше вещественными и невестественными порывами.

Карнавалы, как я узнал тогда же, происходили в Гель-Гью и раньше благодаря французам и итальянцам, представленным значительным числом всего круга колонии. Но этот карнавал превзошел все прочие. Он был популярен. Его причина была красива. Взаимный яд двух газет и развитие борьбы за памятник, ставшей как бы нравственной борьбой, придали ему оттенок спортивный; неожиданно все приняло широкий размах. Город истратил на украшения и на торжество часть хозяйственных сумм,— что еще подлило масла в огонь, так как единодейственники Парана мгновенно оклеветали врагов; те же при взаимном наступательном громе вытащили из-под сукна старые, неправильно решенные в пользу Парана дела. Грузоотправители, нуждающиеся в портовой земле под склады, возненавидели защитников памятника, так как Паран объявил свое решение: не давать участка, пока на площади стоит, протянув руки, «Бегущая по волнам».

Как я видел по стычке с автомобилем, эта статуя, имеющая для меня теперь совершенно особое значение, действительно подвергалась опасности. Отвечая на вопрос Бавса, согласен ли я держать сторону его друзей, то есть присоединиться к охране, я, не задумываясь, сказал: «Да». Меня заинтересовало также отношение к своей роли Бавса и всех других. Как выяснилось, это были домовладельцы, таможенные чины, торговцы, один офицер; я не ожидал ни гимнов искусству, ни сладких или восторженных замечаний о глубине тщательно охраняемых впечатлений. Но меня удивили слова Бавса, сказавшего по этому поводу: «Нам всем пришлось так много думать о мраморной Фрези Грант, что она стала как бы наша знакомая. Но и то сказать, это — совершенство скульптуры. Городу не хватало точки, а теперь точка поставлена. Так многие думают, уверяю вас».

Так как подтвердилось, что гостиницы переполнены, я охотно принял приглашение одного крайне шумного человека без маски, одетого жокеем, полного, нервного, с надутым красным лицом. Его глаза катались в орбитах с удивительной быстротой, видя и подмечая все. Он напевал, бурчал, барабанил пальцами, возился шумно на стуле, ино-

гда врывался в разговор, не давая никому говорить, но так же внезапно умолкал, начиная, раскрыв рот, рассматривать лбы и брови говорунов. Сказав свое имя — «Ариногел Кук» — и сообщив, что живет за городом, а теперь заблаговременно получил номер в гостинице, Кук пригласил меня разделить его помещение.

— От всей души, — сказал он. — Я вижу джентльмена и рад помочь. Вы меня не стесните. Я вас стесню. Предупреждаю заранее. Бесстыдно сообщаю вам, что я — сплетник; сплетня — моя болезнь, я люблю сплетничать и, говорят, достиг в этом деле известного совершенства. Как видите, кругом — богатейший материал. Я любопытен и могу вас замучить вопросами. Особенно я нападаю на молчаливых людей вроде вас. Но я не обижусь, если вы припомните мне это признание с некоторым намеком, когда я вам надоем.

Я записал адрес гостиницы и едва отделался от Кука, желавшего немедленно показать мне, как я буду с ним жить. Еще некоторое время я не мог встать из-за стола, выслушивая кое-кого по этому же поводу, но, наконец, встал и обошел памятник. Я хотел взглянуть на то место, куда ударила разрывная пуля.

ГЛАВА XXIII

С правой стороны от стола и памятника движение развивалось меньше, так как по этой стороне две улицы были преграждены рогатками ради единства направления экипажей, отчего езда могла происходить через одну сторону площади, смыываясь на ней прямым углом, но не скрещиваясь, во избежание столкновений. С этой стороны я и обошел статую. Один угол мраморного подножия был действительно сбит, но, к счастью, эта порча являлась мало заметной для того, кто не знал о выстреле. С этой же стороны, внизу памятника, была вторая надпись: «Георг Герд. 5 декабря 1909 г.». Среди ночи за следом маленьких ног вырезали по волне мрачный зигзаг острые плавники. «Не скучно ли на темной дороге?» — вспомнил я приветливые слова. Две дамы в черных кружевах, с закрытыми лица-

ми, под руку, пробежали мимо меня и, заметив, что я рассматриваю последствия выстрела, воскликнули:

— Стрелять в женщину! — Это сказала одна из них; другая ответила:

— Должно быть, человек был сумасшедший!

— Просто дурак, — возразила первая. — Однако идем.

Она начала шептать, но я слышал:

— Вы знаете, есть примета. Надо ее попросить... — остатное прозвучало, как «...а?! о?! Неужели!»

Маски рассмеялись коротким, грудным смешком секрета и любви, затем тронулись по своим делам.

Я хотел вернуться к столу, как, оглядываясь на кого-то в толпе, ко мне быстро подошла женщина в пестром платье, отделанном позументами, и в полумаске.

— Вы тут были один? — торопливо проговорила она, возясь одной рукой возле уха, чтобы укрепить свою полумаску, а другую протянув мне, чтобы я не ушел. — Пойдите, я передаю поручение. Вам через меня одна особа желает сообщить... (Иду! — крикнула она на зов из толпы.) Сообщить, что она направилась в театр. Там вы ее и найдете по желтому платью с коричневой бахромой. Это ее подлинные слова. Надеюсь, — не перепутаете? — и женщина двинулась отбежать, но я ее задержал. Карнавал полон мистификаций. Я сам когда-то посылал многих простачков искать несуществующее лицо, но этот случай мне показался серьезным. Я ухватился за конец кисейного шарфа, держа натянувшую его всем телом женщину, как пойманную лесой рыбу.

— Кто вас послал?

— Не разорвите! — сказала женщина, оборачиваясь так, что шарф спал и остался в моей руке, а она подбежала за ним. — Отдайте шарф! Эта самая женщина и послала: сказала и ушла; ах, я потеряю своих! Иду! — закричала она на отдалившийся женский крик, звавший ее. — Я вас не обманываю. Всегда задержат вместо благодарности! Ну?! — она выхватила шарф, кивнула и убежала.

Может ли быть, что тайно от меня думал обо мне некто? О человеке, затерянном ночью среди толпы охваченного дурачествами и танцами чужого города? В моем волнении был смутный рисунок действия, совершающегося за моей спиной. Кто перешептывался, кто указывал на меня? Подготавливал встречу? Улыбался в тени? Неузнаваемый, замкнуто проходил при свете? «Да, это Биче Сениэль, —

сказал я,— и больше никто». В эту ночь я думал о ней, я ее искал, всматриваясь в прохожих. «Есть связь, о которой мне неизвестно, но я здесь, я слышал, и я должен идти!» Я был в том безрассудном, схватившем среди непонятного первый наивернувшийся смысл, состоянии, когда человек думает о себе как бы вне себя, с чувством душевной ошущи. Все становится закрыто и недоступно; указано одно действие. Осмотрясь и спросив прохожих, где театр, я увидел его вблизи, на углу площади и тесного переулочка. В здании стоял шум. Все окна были распахнуты и освещены. Там бушевал оркестр, притягивая нервное напряжение разлетающимся, как шлейф, мотивом. В вестибюле стоял ад; я пробивался среди плеч, спин и локтей, в духоте, запахе пудры и табаку, к лестнице, по которой сбегали и взбегали разряженные маски. Мелькали веера, цветы, туфли и шелк. Я поднимался, стиснутый в плечах, и получил некоторую свободу движений лишь наверху, где влево увидел завитую цветами арку большого фойе. Там танцевали. Я оглянулся и заметил желтое шелковое платье с коричневой бахромой.

Эта фигура безотчетно нравящегося сложения поднялась при моем появлении с дивана, стоявшего в левом от входа углу зала; минуя овальный стол, она задела его, отчего оглянулась на помеху и, скоро подбежав ко мне, остановилась, нежно покачивая головкой. Черная полумаска с остро прорезанными глазами, блестящими немо и выразительно, и стесненная улыбка полуоткрытого рта имели лукавый вид затейливого секрета. Ее костюм был что-то среднее между матинэ и маскарадной фантазией. Его контуры, широкие рукава и низ короткой юбки были отделаны длинной коричневой бахромой. Маска приложила палец к губам; другой рукой, растопырив ее пальцы, повертела в воздухе так и этак, сделала вид, что закручивает усы, коснулась моего рукава, затем объяснила, что знает меня, нарисовав в воздухе слово «Гарвей». Пока это происходило, я старался понять, каким образом она знает вообще, что я, Томас Гарвей,— есть я сам, пришедший по ее указанию. Уже я готов был признать ее действия требующими немедленного и серьезного объяснения. Между тем маска вновь покачала головой, на этот раз укоризненно, и, указав на себя в грудь, стала бить по губам пальцем, желая вразумить меня этим, что хочет услышать от меня, кто она.

— Я вас знаю, но я не слышал вашего голоса,— сказал я.— Я видел вас, но никогда не говорил с вами.

Она стала на момент неподвижной; лишь ее взгляд в черных прорезах маски выразил глубокое, горькое удивление. Вдруг она произнесла чрезвычайно смешным, тоненьким, искаженным голосом:

— Скажите, как мое имя?

— Вы послали за мной?

Множество усердных кивков было ответом.

Я более не спрашивал, но медлил. Мне казалось, что, произнеся ее имя, я как бы коснусь зеркально-гладкой воды, замутив отражение и спугнув образ. Мне было хорошо знать и не называть. Но уже маленькая рука схватила меня за рукав, тряся и требуя, чтобы я назвал имя.

— Биче Сениэль! — тихо сказал я, первый раз произнеся вслух эти слова.— Лисс, гостиница «Дувр». Там оставались вы дней восемь тому назад. Я в странном положении относительно вас, но верю, что вы примете мои объяснения просто, как все просто во мне. Не знаю,— прибавил я, видя, что она отступила, уронила руки и молчит, молчит всем существом своим,— следовало ли мне узнавать ваше имя в гостинице.

Ее рот дрогнул, полуоткрылся с намерением что-то сказать. Некоторое время она смотрела на меня прямо и тихо, закусив губу, потом быстрым движением откинула полумаску, и я увидел Дэзи. Сквозь ее заметное огорчение скользнула улыбка удовольствия явиться вместо другой.

— Не хочу больше прятаться,— сказала она, протягивая мне руку.— Вы не сердитесь на меня? Однако прощайте, я тороплюсь.

Она стала тянуть руку, которую я бессознательно задержал, и отвернула лицо. Когда ее рука освободилась, она отошла, и, стоя вполупорот, стала надевать полумаску.

Не понимая ее появления, я видел все же, что девушка намеревалась поразить меня костюмом и неожиданностью. Я испытал мерзкое угнетение.

— Я был уверен,— сказал я, следуя за ней,— что вы уже спите на «Нырке». Отчего вы не подошли, когда я стоял у памятника?

Дэзи повернулась. Ее лицо снова было скрыто. Платье это очень шло к ней: на нее оглядывались, проходя, мужчины, взглядывая затем на меня,— но я чувствовал ее

горькую растерянность. Дэзи проговорила, останавливаясь среди слов:

— Это верно, но я так задумала. Ну, что же вы смутились? Я не хочу и не буду вам мешать. Я пришла просто потому, что подвернулся недорого этот наряд, и хотела вас развеселить. Так вышло, что Тоббоган задержался в одном месте, и я немного помешалась среди всякого изобилия. Вас увидела случайно. Вы стояли у памятника, один. Неужели это действительно сделана Фрези Грант? Как странно! Меня всю исщипали, пока дошла. Ох, будет мне от Тоббогана! Побегу успокаивать его. Идите, идите, раз вам нужно, — прибавила она, направляясь к лестнице и видя, что я пошел за ней. — Я теперь знаю дорогу и сама разыщу своих. Всего хорошего!

Мне незачем и не надо было идти вместе, но, сам растерявшись, я остановился у лестницы, смотря, как она медленно спускается, слегка наклонив голову и перебирая бахромой на груди. В ее вдруг потерявших гибкость спине и плечах чувствовалось трогательное стеснение. Она не обернулась. Я стоял, пока Дэзи не затерялась среди толпы; потом вернулся в фойе, вздохнув и бесконечно жалея, что ответил на приветливую шалость девушки невольной обидой. Это произошло так скоро, что я не успел как следует ни пошутить, ни выразить удовольствие. Я выругал себя грубым животным, и хотя это было несправедливо, пробираясь среди толпы с бесполезным раскаянием, тягостно упрекая себя.

В эту минуту танцы прекратились, смолкла и музыка. Из противоположных дверей навстречу мне шли двое: высокий морской офицер с любезным крупным лицом, которого держала под руку только что ушедшая Дэзи. По крайней мере это была ее фигура, ее желтое с бахромой платье. Меня как бы охватило ветром, и перевернутые вдруг чувства остановились. Вздвогнув, я пошел им навстречу. Сомнения не было: маскарадный двойник Дэзи была Биче Сениэль, и я это знал теперь так же верно, как если бы прямо видел ее лицо. Еще приближаясь, я уже отличил все ее внутреннее скрытое от внутреннего скрытого Дэзи, по впечатлению основной черты этой новой и уже знакомой фигуры. Но я отметил все же изумительное сходство роста, цвета волос, сложения, телодвижений и, пока это пробегало в уме, сказал, кланяясь:

— Биче Сениэль, это вы. Я вас узнал.

Она вздрогнула.

Офицер взглянул на меня с улыбкой удивления. Я уже твердо владел собой и ждал ответа с совершенной уверенностью. Лицо девушки слегка покраснело, и она двинула вверх нижней губой, как будто полумаска мешала ей видеть, и рассмеялась, но неохотно.

— Биче Сениэль? — сказала она искусственно равнодушным голосом, чистым и протяжным. — Ах, извините, я не знаю ее. Я — не она.

Желая выйти из тона карнавальной забавы, я продолжал:

— Прошу меня извинить. Я не только вас знаю, но мы имеем общих знакомых. Капитан Гез, с которым я плыл сюда, вероятно прибыл на днях; может быть, даже вчера.

— О! А! — воскликнула она с серьезным недоумением. — Я не так самонадеянна, чтобы отрицать дальше. Увы, маска не защита. Я поражена, потому что вижу вас первый раз в жизни. И я должна увенчать ваш триумф.

Прикрыв этими словами тревогу, она сняла полумаску, и я увидел Биче Сениэль. Мгновение она рассматривала меня. Я поклонился и назвал себя.

— Мне кажется, что и вы поражены результатами вашей пронизательности, — заметила она. — Сознаю, что я ничего не понимаю.

Я стоял, показывая молчанием и взглядом, что объяснение предпочтительно без третьего лица. Она тотчас поняла это и, взглянув на офицера, сказала:

— Мой племянник, Ботвель. Да, так: я вижу, что надо поговорить.

Ботвель, стоявший сложив руки, переводя взгляд от Биче ко мне, заметил:

— Дорогая тетя, вы наказаны непостижимо уму. Вы утверждали, что даже я не узнал бы вас. Я схожу к Нуве-лю уговориться относительно поездки в Латорн.

Условившись, где разыщет нас, он кивнул и, круто повернувшись, осмотрел зал; потом щелкнул пальцами, направляясь к группе стоявших под руку женщин тяжелой, эластичной походкой. Подходя, он поднял руку, махая ею, и исчез среди пестрой толпы.

Биче смотрела на меня с усилием встревоженной мысли. Я сознавал всю трудность предстоящего разговора, почему медлил, но она первая спросила, когда мы сели в глубине цветочной беседки:

— Выплыли на «Бегущей»? — Сказав это, она всунула мизинец в прорез полумаски и стала ее раскачивать. Каждое ее движение мешало мне соображать, отчего я начал говорить сбивчиво. Я сбивался потому, что не хотел вначале говорить чужей, но когда понял, что иначе невозможно, порядок и простота выражений вернулись.

Я был очень благодарен Биче за внимание и спокойствие, с каким слушала она рассказ о сцене на набережной, то есть о себе самой. Она улыбнулась лишь, когда я прибавил, что звоня в «Дувр», вызвал Анну Макферсон.

— Я слушаю, слушаю, — сказала она; затем — очень серьезно: — Я поняла, что передали вы обо мне, я представляю это.

Вскоре после того Биче снова надела полумаску, отчего я почувствовал себя спокойнее и увереннее. Теперь лишь по движению губ Биче мог судить я о ее отношении к моему рассказу.

Как только я рассказал о набережной, стало возможным говорить о сегодняшнем вечере.

— Теперь вам придется мне верить, потому что я сам не понимаю многого; считаю многое незаслуженной удачей.

Мне не хотелось упоминать о Дэзи, но выхода не было. Я рассказал о ее шутке и о второй встрече с совершенно таким же, желтым, отделанным коричневой бахромой платьем, то есть с самой Биче. Я сказал еще, что лишь благодаря такому настойчивому повторению одного и того же костюма я подошел к ней с полной уверенностью.

— Следовательно, вы рассчитывали встретить меня? — спросила она. — О, действительно это сложно! Да, но еще — Гез. Конечно, он вам говорил обо мне?!

— Нет.

— Платье, этот костюм, — мы еще, пожалуй, пойдем. Было два таких платья. Я купила его сегодня в одной мастерской. — Она тронула бахрому на груди и продолжала: — Войдя туда, я увидела свой костюм среди нескольких других; в общем оставалось уже не много. Я указала этот. Хозяйка объяснила мне, что ей сделала заказ на два таких костюма неизвестная дама, но что можно продать их, так как заказчица не явилась. Тогда я взяла один. Второй, следовательно, попал к вашей знакомой совершенно случайно. Что же еще могло быть?

— Должно быть, так, — ответил я, стараясь не усложнять объяснения, которое, предполагая тройную разитель-

ную случайность, все же умещалось в уме.— Я хочу сказать теперь о Гезе и корабле.

— Здесь нет секрета,— ответила Биче, подумав.— Мы путаемся, но договоримся. Этот корабль наш, он принадлежал моему отцу. Гез присвоил его мошеннической проделкой. Да, что-то есть в нашей встрече, как во сне, хотя я не могу понять! Дело в том, что я в Гель-Гью только затем, чтобы заставить Геза вернуть нам «Бегущую». Вот почему я сразу назвала себя, когда вы упомянули о Гезе. Я его жду и думала получить сведения.

Снова начались музыка, танцы; пол содрогался. Слова Биче о «мошеннической проделке» Геза показали ее отношение к этому человеку настолько ясно, что присутствие в каюте капитана портрета девушки потеряло для меня свою темную сторону. В ее манере говорить и смотреть была мудрая простота и тонкая внимательность, сделавшие мой рассказ неполным; я чувствовал невозможность не только сказать, но даже намекнуть о связи особых причин с моими поступками. Я умолчал поэтому о происшествии в доме Стерса.

— За крупную сумму,— сказал я,— Гез согласился предоставить мне каюту на «Бегущей по волнам», и мы поплыли, но после скандала, разыгравшегося при недостойной обстановке с пьяными женщинами, когда я вынужден был попытаться прекратить безобразие, Гез выбросил меня на ходу в открытое море. Он был так разозлен, что пожертвовал шляпкой, лишь бы избавиться от меня. На мое счастье, утром я был взят небольшой шкуной, шедшей в Гель-Гью. Я прибыл сюда сегодня вечером.

Действие этого рассказа было таково, что Биче немедленно сняла полумаску и больше уже не надевала ее, как будто ей довольно было разделять нас. Но она не вскрикнула и не негодовала шумно, как это сделали бы на ее месте другие; лишь, сведя брови, стесненно вздохнула.

— Недурно! — сказала она с выражением, которое стоило многих восклицательных знаков.— Следовательно, Гез... Я знала, что он негодяй. Но я не знала, что он может быть страшен.

В увлечении я хотел было заговорить о Фрези Грант, и мне показалось, что в нервном блеске устремленных на меня глаз и бессознательном движении руки, легшей на край стола концами пальцев, есть внутреннее благоприятное указание, что рассказ о ночи на лодке теперь будет уместен. Я

вспомнил, что нельзя говорить, с болью подумав: «Почему?» В то же время я понимал — почему, но отгонял понимание. Оно еще было, пока, лишено слов.

Не упоминая, разумеется, о портрете, прибавив, сколько мог, прямо идущих к рассказу деталей, я развил подробнее свою историю с Гезом, после чего Биче, видимо, доверяя мне, посвятила меня в историю корабля и своего приезда.

«Бегущая по волнам» была выстроена ее отцом для матери Биче, впечатлительной, прихотливой женщины, умершей лет восемь назад. Капитаном поступил Гез; Бутлер и Синкрайт не были известны Биче; они начали служить, когда судно уже отошло к Гезу. После того как Сениэль разорился и остался только один платеж, по которому заплатить было нечем, Гез предложил Сениэлю спасти тщательно хранимое, как память о жене, судно, которое она очень любила и не раз путешествовала на нем, — фиктивной передачей его в собственность капитану. Гез выполнил все формальности; кроме того, он уплатил половину остатка долга Сениэля.

Затем, хотя ему было запрещено пользоваться судном для своих целей, Гез открыто заявил право собственности и отвел «Бегущую» в другой порт. Обстоятельства дела не позволяли обратиться к суду. В то время Сениэль надеялся, что получит значительную сумму по ликвидации одного чужого предприятия, бывшего с ним в деловых отношениях, но получение денег задержалось, и он не мог купить у Геза свой собственный корабль, как хотел. Он думал, что Гез желает денег.

— Но он не денег хотел, — сказала Биче, задумчиво рассматривая меня. — Здесь замешана я. Это тянулось долго и до крайности надоело. — Она снисходительно улыбнулась, давая понять мыслью, передавшей мне, что произошло. — Ну, так вот. Он не преследовал меня в том смысле, что я должна была бы прибегнуть к защите; лишь писал длинные письма, и в последних письмах его (я все читала) прямо было сказано, что он удерживает корабль по навязчивой мысли и предчувствию. Предчувствие в том, что если он не отдаст обратно «Бегущую» — моя судьба будет... сделаться, — да, да! — его, видите ли, женой. Да, он такой. Это странный человек, и то, что мы говорили о разных о нем мнениях, вполне возможно. Его может изменить на два-три дня какая-нибудь книга. Он поддается внушению и сам же вызывает его, прельстившись добродетельным, например, героем

или мелодраматическим негодяем с «искрой в душе». А? — Она рассмеялась. — Ну, вот видите теперь сами. Но его основа, — сказала она с убеждением, — это черт знает что! Вначале он, — по крайней мере, у нас, — был другим. Лишь изредка слышали о разных его подвигах, на что не обращали внимания.

Я молчал, она улыбнулась своему размышлению.

— «Бегущая по волнам»! — сказала Биче, откидываясь и трогая полумаску, лежащую у нее на коленях. — Отец очень стар. Не знаю, кто старше — он или его трость; он уже не ходит без трости. Но деньги мы получили. Теперь, на расстоянии всей огромной, долго, бурно, счастливо и содержательно прожитой им своей жизни, — образ моей матери все яснее, отчетливее ему, и память о том, что связано с ней, — остра. Я вижу, как он мучается, что «Бегущая по волнам» ходит туда-сюда с мешками, затасканная воровской рукой. Я взяла чек на семь тысяч... Вот-вот: читаю в ваших глазах: «Отважная, смелая»... Дело в том, что в Гезе есть, — так мне кажется, конечно, — известное уважение ко мне. Это не помешает ему взять деньги. Такое соединение чувств называется «психологией». Я навела справки и решила сделать моему старику сюрприз. В Лиссе, куда указывали мои справки, я разминувшись с Гезом всего на один день; не зная, зайдет он в Лисс или отправится прямо в Гель-Гью, — я приехала сюда в поезде, так как все равно он здесь должен быть, это мне верно передали. Писать ему бессмысленно и рискованно, мое письмо не должно быть в этих руках. Теперь я готова удивляться еще и еще, сначала, решительно всему, что столкнуло нас с вами. Я удивляюсь также своей откровенности — не потому, чтобы я не видела, что говорю с джентльменом, но... это не в моем характере. Я, кажется, взволновалась. Вы знаете легенду о Фрези Грант?

— Знаю.

— Ведь это — «Бегущая». Оригинальный город Гель-Гью. Я очень его люблю. Строго говоря, мы, Сениэли, — герои праздника: у нас есть корабль с этим названием «Бегущая по волнам»; кроме того, моя мать родом из Гель-Гью; она — прямой потомок Вильямса Гобса, одного из основателей города.

— Известно ли вам, — сказал я, — что корабль переуступлен Брауну так же мнимо, как ваш отец продал его Гезу?

— О да! Но Браун ни при чем в этом деле. Обязан сделать все Гез. Вот и Ботвель.

Приближаясь, Ботвель смотрел на нас между фигур толпы и, видя, что мы, смолкнув, выжидательно на него смотрим, поторопился дойти.

— Представьте, что случилось,— сказала ему Биче.— Наш новый знакомый, Томас Гарвей, плывал на «Бегущей» с Гезом. Гез здесь или скоро будет здесь.

Она не прибавила ничего больше об этой истории, представляя мне, если я хочу сам, сообщить о ссоре и преступлении Геза. Меня тронул ее такт; коротко подтвердив слова Биче, я умолчал Ботвелю о подробностях своего путешествия.

Биче сказала:

— Меня узнали случайно, но очень, очень сложным путем. Я вам расскажу. Тут мы пооткровенничали слегка.

Она объяснила, что я знаю ее задачу в подлинных обстоятельствах.

— Да,— сказал Ботвель,— мрачный пират преследует нашу Биче с кинжалом в зубах. Это уже все знают; настолько, что иногда даже говорят, если нет другой темы.

— Смейтесь! — воскликнула Биче.— А мне, без смеха, предстоит мучительный разговор!

— Мы вместе с Гарвеем войдем к Гезу,— сказал Ботвель,— и будем при разговоре.

— Тогда ничего не выйдет.— Биче вздохнула.— Гез отомстит нам всем ледяной вежливостью, и я останусь ни с чем.

— Вас не тревожит...— Я не сумел кончить вопроса, но девушка отлично поняла, что я хочу сказать.

— О-о! — заметила она, смерив меня ясным толчком взгляда.— Однако ночь чудес затянулась. Нам идти, Ботвель.— Вдруг оживясь, засмеявшись так, что стала совсем другой, она написала в маленькой записной книжке несколько слов и подала мне.

— Вы будете у нас? — сказала Биче.— Я даю вам свой адрес. Старая красивая улица, старый дом, два старых человека и я. Как нам поступить? Я вас приглашаю к обеду завтра.

Я поблагодарил, после чего Биче и Ботвель встали. Я прошел с ними до выходных дверей зала, теснясь среди маскарадной толпы. Биче подала руку.

— Итак, вы все помните? — сказала она, нежно приоткрыв рот и смотря с лукавством. — Даже то, что происходит на набережной? (Ботвель улыбался, не понимая.) Правда, память — ужасная вещь! Согласны?

— Но не в данном случае.

— А в каком? Ну, Ботвель, это все стоит рассказать Герде Торнстон. Ее надолго займет. Не гневайтесь, — обратилась ко мне девушка, — я должна шутить, чтобы не загрузить. Все сложно! Так все сложно. Вся жизнь! Я сильно задета в том, чего не понимаю, но очень хочу понять. Вы мне поможете завтра? Например, — эти два платья. Тут есть вопрос! До свиданья.

Когда она отвернулась, уходя с Ботвелем, ее лицо, — как я видел его профиль, — стало озабоченным и недоумевающим. Они прошли, тихо говоря между собой, в дверь, где оба одновременно обернулись взглянуть на меня; угадав это движение, я сам повернулся уйти. Я понял, как дорога мне эта, лишь теперь знакомая девушка. Она ушла, но все еще как бы была здесь.

Получив град толчков, так как шел всецело погруженный в свои мысли, я, наконец, опаматовался и вышел из зала по лестнице, к боковому выходу на улицу. Спускаясь по ней, я вспомнил, как всего час назад спускалась по этой лестнице Дэзи, задумчиво теребя бахромю платья, и смиренно, от всей души пожелал ей спокойной ночи.

ГЛАВА XXIV

Захотев есть, я усмотрел поблизости небольшой ресторан, и хотя трудно было пробиться в хмельной тесноте входа, я кое-как протиснулся внутрь. Все столы, проходы, места у буфета были заняты; яркий свет, табачный дым, песни среди шума и криков совершенно закружили мое внимание. Найти место присесть было так же легко, как продеть канат в игольное отверстие. Вскоре я отчаялся сесть, но была надежда, что освободится фут пространства возле буфета, куда я тотчас и устремился, когда это случилось, и начал есть стоя, сам наливая себе из наспех откупоренной бутылки. Обстановка не располагала задерживаться. В это время за спиной раздался шум спора. Незнаемый человек

расталкивал толпу, протискиваясь к буфету и отвечая наглым смехом на возмущение посетителей. Едва я всмотрелся в него, как, бросив есть, выбрался из толпы, охваченный внезапным гневом: этот человек был Синкрайт.

Пытаясь оттолкнуть и меня, Синкрайт бегло оглянулся; тогда, задержав его взгляд своим, я сказал:

— Добрый вечер! Мы еще раз встретились с вами!

Увидев меня, Синкрайт был так испуган, что попятился на толпу. Одно мгновение весь его вид выражал страстную, мучительную тоску, желание бежать, скрыться, — хотя в этой тесноте бежать смогла бы разве лишь кошка.

— Фу, фу! — сказал он наконец, отирая под козырьком лоб тылом руки. — Я весь дрожу! Как я рад, как счастлив, что вы живы! Я не виноват, клянусь! Это — Гез. Ради бога, выслушайте, и вы все узнаете! Какая это была безумная ночь! Будь проклят Гез; я первый буду вашим свидетелем, потому что я решительно ни при чем!

Я не сказал ему еще ничего. Я только смотрел, но Синкрайт, схватив меня за руку, говорил все испуганнее, все громче. Я отнял руку и сказал:

— Выйдем отсюда.

— Конечно... Я всегда...

Он ринулся за мной, как собака. Его потрясению можно было верить тем более, что на «Бегущей», как я узнал от него, ожидали и боялись моего возвращения в Дагон. Тогда мы были от Дагона на расстоянии всего пятидесяти с небольшим миль. Один Бутлер думал, что может случиться худшее.

Я повел его за поворот угла в переулок, где, сев на ступенях запертого подъезда, выбил из Синкрайта всю умственную и словесную пыль — относительно моего дела. Как я правильно ожидал, Синкрайт, видя, что его не ударили, скоро оправился, но говорил так почтительно, так подобострастно и внимательно выслушивал малейшее мое замечание, что эта пламенная бодрость дорого обошлась ему.

Произошло следующее.

С самого начала, когда я сел на корабль, Гез стал соображать, каким образом ему от меня отделаться, удержав деньги. Он строил разные планы. Так, например, план — объявить, что «Бегущая по волнам» отправится из Дагона в Сумат. Гез думал, что я не захочу далекого путешествия и высажусь в первом порту. Однако такой план мог сделать его смешным. Его настроение, после отплытия из

Лисса, стало очень скверным, раздражительным. Он постоянно твердил: «Будет неудача с этим проклятым Гарвеем».

— Я чувствовал его нежную любовь,— сказал я,— но не можете ли вы объяснить, отчего он так меня ненавидит?

— Клянусь вам, не знаю! — вскричал Синкрайт.— Может быть... трудно сказать. Он, видите ли, суеверен.

Хотя мне ничего не удалось выяснить, но я почувствовал умолчание. Затем Синкрайт перешел к скандалу. Гез поклялся женщинам, что я приду за стол, так как дамы во что бы то ни стало хотели видеть «таинственного», по их словам, пассажира и дразнили Геза моим презрением к его обществу. Та женщина, которую ударил Гез, держала пари, что я приду на вызов Синкрайта. Когда этого не случилось, Гез пришел в ярость на всех и на все. Женщины плали в Гель-Гью; теперь они покинули судно. «Бегущая» пришла вчера вечером. По словам Синкрайта, он видел их первый раз и не знает, кто они. После сражения Гез вначале хотел бросить меня за борт, и стоило больших трудов его удержать. Но в вопросе о шлюпке капитан рвал и метал. Он помешался от злости. Для успеха этой затеи он готов был убить сам себя.

— Здесь,— говорил Синкрайт,— то есть когда вы уже сели в лодку, Бутлер схватил Геза за плечи и стал трясти, говоря: «Опомнитесь! Еще не поздно. Верните его!» Гез стал как бы отходить. Он еще ничего не говорил, но уже стал слушать. Может быть, он это и сделал бы, если бы его крепче прижать. Но тут явилась дама,— вы знаете...

Синкрайт остановился, не зная, разрешено ли ему тронуть этот вопрос. Я кивнул. У меня был выбор спросить: «Откуда появилась она?»—и тем, конечно, дать повод счесть себя лжецом — или поддержать удобную простоту догадок Синкрайта. Чтобы покончить на втором, я заявил:

— Да. И вы не могли понять?!

— Ясно,— сказал Синкрайт,— она была с вами, но как? Этим мы все были поражены. Всего минуту она и была на палубе. Когда стало нам дурно от испуга,— что было думать обо всем этом? Гез снова сошел с ума. Он хотел ее задержать, но как-то произошло так, что она миновала его и стала у трапа. Мы окаменели. Гез велел спустить трап. Вы отъехали с ней. Тогда мы кинулись в вашу каюту, и Гез клялся, что она пришла к вам ночью в Лиссе. Иначе не было объяснения. Но после всего случившегося он стал так пить, как я еще не видал, и твердил, что вы все подстроили

с умыслом, который он узнает когда-нибудь. На другой день не было более жалкого труса под мачтами сего света, чем Гез. Он только и твердил что о тюрьме, каторжных работах и двадцать раз за сутки учил всех, что и как говорить, когда вы заявите на него. Матросам он раздавал деньги, поил их, обещал двойное жалованье, лишь бы они показали, что вы сами купили у него шлюпку.

— Синкрайт,— сказал я после молчания, в котором у меня наметился недурной план, полезный Биче,— вы крепко ухватились за дверь, когда я ее открыл...

— Клянусь!..— начал Синкрайт и умолк на первом моем движении.

Я продолжал:

— Это бы л о, а потому бесполезно извиваться. Последствия не требуют комментариев. Я не упомяну о вас на суде при одном условии.

— Говорите, ради бога; я сделаю все!

— Условие совсем не трудное. Вы ни слова не скажете Гезу о том, что видели меня здесь.

— Готов промолчать сто лет: простите меня!

— Так. Где Гез — на судне или на берегу?

— Он съехал в небольшую гостиницу на набережной. Она называется «Парус и Пар». Если вам угодно, я провожу вас к нему.

— Думаю, что разыщу сам. Ну, Синкрайт, пока что наш разговор кончен.

— Может быть, вам нужно еще что-нибудь от меня?

— Поменьше пейте,— сказал я, немного смягченный его испугом и рабством.— А также оставьте Геза.

— Клянусь...— начал он, но я уже встал. Не знаю, продолжал он сидеть на ступенях подъезда или ушел в кабак. Я оставил его в переулке и вышел на площадь, где у стола около памятника не застал никого из прежней компании. Я спросил Кука, на что получил указание, что Кук просил меня идти к нему в гостиницу.

Движение уменьшалось. Толпа расходилась; двери запирались. Из сумерек высоты смотрела на засыпающий город «Бегущая по волнам», и я простился с ней, как с живой.

Разыскав гостиницу, куда меня пригласил Кук, я был проведен к нему, застав его в постели. При шуме Кук открыл глаза, но они снова закрылись. Он опять открыл их. Но все равно он спал. По крайнему усилию этих спящих, тупо открытых глаз я видел, что он силится сказать нечто

любезное. Усталость, надо быть, была велика. Обессиленный Кук вздохнул, пролепетал, узнав меня: «Устраивайтесь», — и с треском завалился на другой бок.

Я лег на поставленную вторую кровать и тотчас закрыл глаза. Тьма стала валиться вниз; комната перевернулась, и я почти тотчас заснул.

ГЛАВА XXV

Ложась, я знал, что усну крепко, но встать хотел рано, и это желание — рано встать — бессознательно разбудило меня. Когда я открыл глаза, память была пуста, как после обморока. Я не мог поймать ни одной мысли до тех пор, пока не увидел выпяченную нижнюю губу спящего Кука. Тогда смутное прояснилось, и, мгновенно восставнив события, я взял со стула часы. На мое счастье, было всего половина десятого утра.

Я тихо оделся и, стараясь не разбудить своего хозяина, спустился в общий зал, где потребовал крепкого чаю и письменные принадлежности. Здесь я написал две записки: одну — Биче Сениэль, уведомляя ее, что Гез находится в Гель-Гью, с указанием его адреса; вторую — Проктору с просьбой вручить мои вещи посыльному. Не зная, будет ли удобно напоминать Дэзи о ее встрече со мной, я ограничился для нее в этом письме простым приветом. Отправив записки через двух комиссионеров, я вышел из гостиницы в парикмахерскую, где пробыл около получаса.

Время шло чрезвычайно быстро. Когда я направился искать Геза, было уже четверть одиннадцатого. Стоял знойный день. Не зная улиц, я потерял еще около двадцати минут, так как по ошибке вышел на набережную в ее дальнем конце и повернул обратно. Опасаясь, что Гез уйдет по своим делам или спрячется, если Синкрайт не сдержал клятвы, а более всего этого желая опередить Биче, ради придуманного мной плана ущемления Геза, сделав его уступчивым в деле корабля Сениэлей, — я нанял извозчика. Вскоре я был у гостиницы «Парус и Пар», белого грязного дома, с стеклянной галереей второго этажа, лавками и трактиром внизу. Вход вел через ворота, налево, по темной и крутой лестнице. Я остановился на минуту собрать мысли и ус-

лышал торопливые, догоняющие меня шаги. «Останьтесь!» — сказал запыхавшийся человек. Я обернулся.

Это был Бутлер с его тяжелой улыбкой.

— Войдемте на лестницу, — сказал он. — Я тоже иду к Гезу. Я видел, как вы ехали, и облегченно вздохнул. Можете мне не верить, если хотите. Побежал догонять вас. Страшное, гнусное дело, что говорить! Но нельзя было помешать ему. Если я в чем виноват, то в том, почему ему нельзя было помешать. Вы понимаете? Ну, все равно. Но я был на вашей стороне; это так. Впрочем, от вас зависит — знаться со мной или смотреть как на врага.

Не знаю, был я рад встретить его или нет. Гневное сомнение боролось во мне с бессознательным доверием к его словам. Я сказал: «Его рано судить». Слова Бутлера звучали правильно; в них были и горький упрек себе и искренняя радость видеть меня живым. Кроме того, Бутлер был совершенно трезв. Пока я молчал, за фасадом, в глубине огромного двора, слышались шум, крики, настойчивые приказания. Там что-то происходило. Не обратив на это особого внимания, я стал подниматься по лестнице, сказав Бутлеру:

— Я склонен вам верить; но не будем теперь говорить об этом. Мне нужен Гез. Будьте добры указать, где его комната, и уйдите, потому что мне предстоит очень серьезный разговор.

— Хорошо, — сказал он. — Вот идет женщина. Узнаем, проснулся ли капитан. Мне надо ему сказать всего два слова; потом я уйду.

В это время мы поднялись на второй этаж и шли по тесному коридору с выходом на стеклянную галерею слева. Направо я увидел ряд дверей, — четыре или пять, — разделенные неправильными промежутками. Я остановил женщину. Толстая крикливая особа лет сорока с повязанной платком головой и щеткой в руках, узнав, что мы справляемся, дома ли Гез, бешено показала на противоположную дверь в дальнем конце.

— Дома ли он — не хочу и не хочу знать! — объявила она, быстро заталкивая пальцами под платок выбившиеся грязные волосы и приходя в возбуждение. — Ступайте сами и узнавайте, но я к этому подлецу больше ни шагу. Как он на меня гаркнул вчера! Свинья и подлец ваш Гез! Я думала, он меня стукнет. «Ступай вон!» Это — мне! Дома, — закончила она, свирепо вздохнув, — уже стрелял. Я на

звонки не иду; черт с ним; так он теперь стреляет в потолок. Это он требует, чтобы пришли. Недавно опять пальнул. Идите, и если спросит, не видели ли меня, можете сказать, что я ему не слуга. Там женщина,— прибавила толстуха.— Развратник!

Она скрылась, махая щеткой. Я посмотрел на Бутлера. Он стоял, задумчиво разглядывая дверь. За ней было тихо.

Я начал стучать, вначале постучав негромко, потом с силой. Дверь шевельнулась, следовательно, была не на ключе, но нам никто не ответил.

— Стучите громче,— сказал Бутлер,— он, верно, снова заснул.

Вспомнив слова прислуги о женщине, я пожал плечами и постучал опять. Дверь открылась шире; теперь между ней и притолокой можно было просунуть руку. Я вдруг почувствовал, что там никого нет, и сообщил это Бутлеру.

— Там никого нет,— подтвердил он.— Странно, но правда. Ну что же, давайте откроем.

Тогда я, решившись, толкнул дверь, которая, отойдя, ударилась в большой шкаф, и вошел, крайне пораженный тем, что Гез лежит на полу.

ГЛАВА XXVI

— Да,— сказал Бутлер после молчания, установившего смерть,— можно было стучать громко или тихо — все равно. Пуля в лоб, точно так, как вы хотели.

Я подошел к труп, обойдя его издали, чтобы не ступить в кровь, подтекавшую к порогу из простреленной головы Геза.

Он лежал на спине, у стола, посредине комнаты, наискось к входу. На нем был белый костюм. Согнутая правая нога отвалилась коленом к двери; расставленные и тоже согнутые руки имели вид усилия приподняться. Один глаз был наполовину открыт, другой, казалось, высматривает из-под неподвижных ресниц. Растекшаяся по лицу и полу кровь не двигалась, отражая, как лужа, соседний стул; рана над переносицей слегка припухла. Гез умер не позже получаса, может быть — часа назад. Большая комната имела неубранный вид. На полу блестяли револьверные гильзы. Диван с

валяющимися на нем газетами, пустые бутылки по углам, стаканы и недопитая бутылка на столе, среди сигар, галстуков и перчаток; у двери — темный старинный шкаф, в бок которому упиралась железная койка с наспех наброшенным одеялом, — вот все, что я успел рассмотреть, оглянувшись несколько раз. За головой Геза лежал револьвер. В задней стене, за столом, было раскрытое окно.

Дверь, стукнувшись о шкаф, отскочила, начав медленно закрываться сама. Бутлер, заметив это, распахнул ее настежь и укрепил.

— Мы не должны закрываться, — резонно заметил он. — Ну что же, следует идти звать, объявить, что капитан Гез убит, — убит или застрелился. Он мертв.

Ни он, ни я не успели выйти. С двух сторон коридора раздался шум; справа кто-то бежал, слева торопливо шли несколько человек. Бежавший справа, дородный мужчина с двойным подбородком и угрюмым лицом, заглянул в дверь; его лицо дико скакнуло, и он пробежал мимо, махая рукой к себе; почти тотчас он вернулся и вошел первым. Благо-разумие требовало не проявлять суетливости, поэтому я остался, как стоял, у стола. Бутлер, походив, сел; он был сурово бледен и нервно потирал руки. Потом он встал снова.

Первым, как я упомянул, вбежал дородный человек. Он растерялся. Затем, среди разом нахлынувшей толпы, — человек пятнадцати, — появилась молодая женщина или девушка в светлом полосатом костюме и шляпе с цветами. Она была тесно окружена и внимательно, осторожно спокойна. Я заставил себя узнать ее. Это была Биче Сениэль, сказавшая, едва вошла и заметила, что я тут: «Эти люди мне неизвестны».

Я понял. Должно быть, это понял и Бутлер, видевший у Геза ее совершенно схожий портрет, так как испуганно взглянул на меня. Итак, поразившись, мы продолжали ее не знать. Она этого хотела, стало быть, имела к тому причины. Пока, среди шума и восклицаний, которыми еще более ужасали себя все эти ворвавшиеся и содрогнувшиеся люди, я спросил Биче взглядом. «Нет», — сказали ее ясные, строго покойные глаза, и я понял, что мой вопрос просто нелеп.

В то время как набившаяся толпа женщин и мужчин, часть которых стояла у двери, хором восклицала вокруг трупа, — Биче, отбросив с дивана газеты, села и слегка, стесненно вздохнула. Она держалась прямо и замкнуто. Она посту-

кивала пальцами о ручку дивана, потом, с выражением осторожно переходящей грязную улицу, взглянула на Геза и, поморщась, отвела взгляд.

— Мы задержали ее, когда она сходила по лестнице, — объявил высокий человек в жилете, без шляпы, с худым, жадным лицом. Он толкнул красную от страха жену. — Вот то же скажет жена. Эй, хозяин! Гарден! Мы оба задержали ее на лестнице!

— А вы кто такой? — осведомился Гарден, оглядывая меня. Это был дородный человек, вбежавший первым.

Женщина, встретившая нас в коридоре, все еще была со щеткой. Она выступила и показала на Бутлера, потом на меня.

— Бутлер и тот джентльмен пришли только что, они еще спрашивали — дома ли Гез. Ну, вот — только зайти сюда.

— Я помощник убитого, — сказал Бутлер. — Мы пришли вместе; постучали, вошли и увидели.

Теперь внимание всех было сосредоточено на Биче. Вошедшие объявили Гардену, что пробегавший по двору мальчик заметил соскочившую из окна на лестницу нарядную молодую даму. Эта лестница, которую я увидел, выглянув в окно, вела под крышу дома, проходя наискось вверх стены, и на небольшом расстоянии под окном имела площадку. Биче сделала движение сойти вниз, затем поднялась наверх и остановилась за выступом фасада. Мальчик сказал об этом вышедшей во двор женщине, та позвала мужа, работавшего в сарае, и когда они оба направились к лестнице, послышался выстрел. Он раздался в доме, но где, — свидетели не могли знать. Биче уже шла вниз, мимо стены, направляясь к воротам. Ее остановили. Еще несколько людей выбежали на шум. Биче пыталась уйти. Задержанная, она не хотела ничего говорить. Когда какой-то мужчина вознамерился схватить ее за руку, она перестала сопротивляться и объявила, что вышла от капитана Геза потому, что она была заперта в комнате. Затем все поднялись в коридор и теперь не сомневались, что поймали убийцу.

Пока происходили эти объяснения, я был так оглушен, сбит и противоречив в мыслях, что, хотя избегал подолгу смотреть на Биче, все еще раз спросил ее взглядом, незаметно для других, и тотчас же ее взгляд мне точно сказал: «Нет». Впрочем, довольно было видеть ее безыскусственную чуждость происходящему. Я подивился этому возвы-



«БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ»



«БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ»

шенному самообладанию в таком месте и при подавляющих обстоятельствах. Все, что говорилось вокруг, она выслушивала со вниманием, видимо, больше всего стараясь понять, как произошла неожиданная трагедия. Я подметил некоторые взгляды, которые как бы совестились останавливаться на ее лице, так было оно не похоже на то, чтобы ей быть здесь.

Среди общего волнения за стеной раздались шаги; люди, стоявшие в дверях, отступили, пропустив представителей власти. Вошел комиссар, высокий человек в очках, с длинным деловым лицом; за ним врач и два полисмена.

— Кем был обнаружен труп? — спросил комиссар, оглядывая толпу.

Я; а затем Бутлер сообщили ему о своем мрачном визите.

— Вы останетесь. Кто хозяин?

— Я. — Гарден принес к столу стул, и комиссар сел; расставив колена и опустив меж них сжатые руки, он некоторое время смотрел на Геза, в то время как врач, подняв тяжелую руку и помяв пальцами кожу лба убитого, констатировал смерть, последовавшую, по его мнению, не позднее получаса назад.

Худой человек в жилете снова выступил вперед и, указывая на Биче Сениэль, объяснил, как и почему она была задержана во дворе.

При появлении полиции Биче не изменила положения, лишь взглядом напонила мне, что я не знаю ее. Теперь она встала, ожидая вопросов; комиссар тоже встал, причем по выражению его лица было видно, что он признает редкость такого случая в своей практике.

— Прошу вас сесть, — сказал комиссар. — Я обязан составить предварительный протокол. Объявите ваше имя.

— Оно останется неизвестным, — ответила Биче, садясь на прежнее место. Она подняла голову и, начав было краснеть, прикусила губу.

Комиссар сказал:

— Хозяин, удалите всех, останутся — вы, дама и вот эти два джентльмена. Неизвестная, объясните ваше поведение и присутствие в этом доме.

— Я ничего не объясню вам, — сказала Биче так решительно, хотя мягким тоном, что комиссар с особым вниманием посмотрел на нее.

В это время все, кроме Биче, Гардена, меня и Бутлера, покинули комнату. Дверь закрылась. За ней слышны были шепот и осторожные шаги любопытных.

— Вы отказываетесь отвечать на вопрос? — спросил комиссар с той дозой официального сожаления к молодости и красоте главного лица сцены, какая была отпущена ему характером его службы.

— Да.— Биче кивнула.— Я отказываюсь отвечать. Но я желаю сделать заявление. Я считаю это необходимым. После того вы или прекратите допрос, или он будет продолжен у следователя.

— Я слушаю вас.

— Конечно, я не причастна к этому несчастью или преступлению. Ни здесь, ни в городе нет ни одного человека, кто знал бы меня.

— Это — все? — сказал комиссар, записывая ее слова.— Или, может быть, подумав, вы пожелаете что-нибудь прибавить? Как вы видите, произошло убийство или самоубийство; мы, пока что, не знаем. Вас видели прыгнувшей из окна комнаты на площадку наружной лестницы. Поставьте себя на мое место в смысле отношения к вашим действиям.

— Они подозрительны,— сказала девушка с видом человека, тщательно обдумывающего каждое слово.— С этим ничего не поделаешь. Но у меня есть свои соображения, есть причины, достаточные для того, чтобы скрыть имя и промолчать о происшедшем со мной. Если не будет открыт убийца, я, конечно, буду вынуждена дать свое — о! — очень несложное показание, но объявить — кто я, теперь, со всем тем, что вынудило меня явиться сюда, — мне нельзя. У меня есть отец, восьмидесятилетний старик. У него уже был удар. Если он прочтет в газетах мою фамилию, это может его убить.

— Вы боитесь огласки?

— Единственно. Кроме того, показание по существу связано с моим именем, и, объявив, в чем было дело, я, таким образом, все равно что назову себя.

— Так,— сказал комиссар, поддаваясь ее рассудительному, ставшему центром настроения всей сцены тону.— Но не кажется ли вам, что, отказываясь дать объяснение, вы уничтожаете существенную часть дознания, которая, конечно, отвечает вашему интересу?

— Не знаю. Может быть, даже — нет. В этом-то и горе.

Я должна ждать. С меня довольно сознания непричастности, если уж я не могу иначе помочь себе.

— Однако,— возразил комиссар,— не ждете же вы, что виновный явится и сам назовет себя?

— Это как раз единственное, на что я надеюсь пока. Откроет себя, или откроют его.

— У вас нет оружия?

— Я не ношу оружия.

— Начнем по порядку,— сказал комиссар, записывая, что услышал.

ГЛАВА XXVII

Пока происходил разговор, я, слушая его, обдумывал, как отвести это,— несмотря на отрицающие преступление внешность и манеру Биче,— яркое и сильное подозрение, полное противоречий. Я сидел между окном и столом, задумчиво вертя в руках нарезной болт с глухой гайкой. Я механически взял его с маленького стола у стены и, нажимая гайку, заметил, что она свинчивается. Бутлер сидел рядом. Рассеянный интерес к такому странному устройству глухого конца на болте заставил меня снять гайку. Тогда я увидел, что болт этот высверлен и набит до краев плотной темной массой, напоминающей засохшую краску. Я не успел ковырнуть странную начинку, как, быстро подвинувшись ко мне, Бутлер провел левую руку за моей спиной к этой вещи, которую я продолжал осматривать, и, дав мне понять взглядом, что болт следует скрыть, взял его у меня, проворно сунув в карман. При этом он кивнул. Никто не заметил его движений. Но я успел почувствовать легкий запах опиума, который тотчас рассеялся. Этого было довольно, чтобы я испытал обманный толчок мыслей, как бы бросивших вдруг свет на события утра, и второй, вслед за этим, более вразумительный, то есть сознание, что желание Бутлера скрыть тайный провоз яда ничего не объясняет в смысле убийства и ничем не спасает Биче. Мало того, по молчанию Бутлера относительно ее имени,— а как я уже говорил, портрет в каюте Геза не оставлял ему сомнений,— я думал, что хотя я и не понимаю ничего, но будет лучше, если болт исчезнет.

Оставив Биче в покое, комиссар занялся револьвером, который лежал на полу, когда мы вошли. В нем было семь гнезд, их пули оказались на месте.

— Можете вы сказать, чей это револьвер? — спросил Бутлера комиссар.

— Это его револьвер, капитана, — ответил моряк. — Гез никогда не расставался с револьвером.

— Точно ли это его револьвер?

— Это его револьвер, — сказал Бутлер. — Он мне знаком, как кофейник — повару.

Доктор осматривал рану. Пуля прошла сквозь голову и застряла в стене. Не было труда вытащить ее из штукурки, что комиссар сделал гвоздем. Она была помята, меньшего калибра и большей длины, чем пуля в револьвере Геза; кроме того — никелирована.

— Риверс-бульдог, — сказал комиссар, подбрасывая ее на ладони. Он опустил пулю в карман портфеля. — Убитый не воспользовался своим кольцом.

Обыск в вещах не дал никаких указаний. Из карманов Геза полицейские вытащили платок, портсигар, часы, несколько писем и толстую пачку ассигнаций, завернутых в газету. Пересчитав деньги, комиссар объявил значительную сумму: пять тысяч фунтов.

— Он не был ограблен, — сказал я, взволнованный этим обстоятельством, так как разрастающаяся сложность события оборачивалась все более в худшую сторону для Биче.

Комиссар посмотрел на меня, как в окно. Он ничего не сказал, но был крепко озадачен. После этого начался допрос хозяина, Гардена.

Рассказав, что Гез останавливается у него четвертый раз, платил хорошо, щедро давал прислуге, иногда не ночевал дома и был, в общем, беспокойным гостем, Гарден получил предложение перейти к делу по существу.

— В девять часов моя служанка Пегги пришла в буфет и сказала, что не пойдет на звонки Геза, так как он вчера обошелся с ней грубо. Вскоре спустился капитан; изругал меня, Пегги и выпил виски. Не желая с ним связываться, я обещал, что Пегги будет ему служить. Он успокоился и пошел наверх. Я был занят расчетом с поставщиком и, часов около десяти, услышал выстрелы, не помню — сколько. Гез угрожал, уходя, что звонить больше он не намерен, — будет стрелять. Не знаю, что было у него с Пегги, — пошла она к нему или нет. Вскоре снова пришла Пегги и стала рыдать.

Я спросил, что случилось. Оказалось, что к Гезу явилась дама, что ей страшно не идти и страшно идти, если Гез позвонит. Я выпытал все же у нее, что она идти не намерена, и, сами знаете, пригрозил. Тут меня еще рассердили механики со «Спринга»: они стали спрашивать, сколько трупов набирается к вечеру в моей гостинице. Я пошел сам и увидел капитана Геза стоящим на галерее с этой барышней. Я ожидал криков, но он повернулся и долго смотрел на меня с улыбкой. Я понял, что он меня просто не видит. Я стал говорить о стрельбе и пенять ему. Он сказал: «Какого черта вы здесь?» Я спросил, что он хочет. Гез сказал: «Пока ничего». И они оба прошли сюда. Поставщик ждал; я вернулся к нему. Затем прошло, должно быть, около получаса, как снова раздался выстрел. Меня это начало беспокоить, потому что Гез был теперь не один. Я побежал наверх и, представьте, увидел, что жильцы соседнего дома (у нас общий двор) спешат мне навстречу, а среди них эта неизвестная барышня. Дверь Геза была раскрыта настежь. Там стояли двое: Бутлер,— я знаю Бутлера,— и с ним вот они. Я заглянул, увидел, что Гез лежит на полу, потом вошел вместе с другими.

— Позовите женщину, Пегги,— сказал комиссар.

Не надо было далеко ходить за ней, так как она вертелась у комнаты; когда Гарден открыл дверь, Пегги поспешила вытереть передником нос и решительно подошла к столу.

— Расскажите, что вам известно,— предложил комиссар после обыкновенных вопросов: как зовут и сколько лет.

— Он умер, я не хочу говорить худого,— торжественно произнесла Пегги, кладя руку под грудь.— Но только вчера я была так обижена, как никогда. С этого все началось.

— Что началось?

— Я не то говорю. Он пришел вчера поздно; да,— Гез. Комнату он, уходя, запер, а ключ взял с собой, почему я не могла прибрать. Я еще не спала; я слышала, как он стучит наверху: идет, значит, домой. Я поднялась приготовить ему постель и стала делать тут, там — ну, что требуется. Он стоял все время спиной ко мне, пьяный, а руку держал в кармане, за пазухой. Он все поглядывал, когда я уйду, и вдруг закричал: «Ступай прочь отсюда!» Я возразила, конечно (Пегги с достоинством поджала губы, так что я представил ее лицо в момент окрика), я возразила насчет моих обязанностей. «А это ты видела?» — закричал он.

То есть видела ли я стул. Потому что он стал махать стулом над моей головой. Что мне было делать? Он мужчина и, конечно, сильнее меня. Я плюнула и ушла. Вот он утром звонит...

— Когда это было?

— Часов в восемь. Я бы и минуты заметила, знай кто-нибудь, что так будет. Я уже решила, что не пойду. Пусть лучше меня прогонят. Я свое дело знаю. Меня обвинять нечего и нечего.

— Вы невинны, Пегги,— сказал комиссар.— Что же было после звонка?

— Еще звонок. Но как все верхние ушли рано, то я знала, кто такой меня требует.

Биче, внимательно слушавшая рассказ горячего пятипудового женского сердца, улыбнулась. Я был рад видеть это доказательство ее нервной силы.

Пегги продолжала:

— ...стал звонить на разные манеры и все под чужой звонок; сам же он звонит коротко: раз, два. Пустил трель, потом начал позвякивать добродушно и — снова своим, коротким. Я ушла в буфет, куда он вскоре пришел и выпил, но меня не заметил. Крепко выругался. Как его тут не стало, хозяин начал выговаривать мне: «Ступайте к нему, Пегги; он грозит изрешетить потолок», — палить то есть начнет. Меня, знаете, этим не испугаешь. У нас и не то бывает. Господин комиссар помнит, как в прошлом году мексиканцы валожили дверь баррикадой и бились: на шестерых — три...

— Вы храбрая женщина, Пегги,— перебил комиссар,— но то дело прошедшее. Говорите об этом.

— Да, я не трус, это все скажут. Если мою жизнь рассказать,— будет роман. Так вот, начало стучать там, у Геза. Значит, всаживает в потолок пули. И вот, взгляните...

Действительно, поперечная толстая балка потолка имела такой вид, как если бы в нее дали залп. Комиссар сочитал дырки и сверил с числом найденных на полу патронов; эти числа сошлись. Пегги продолжала:

— Я пошла к нему; пошла не от страха, пошла я единственно от жалости. Человек, так сказать, не помнит себя. В то время я была на дворе, а потому поднялась с лестницы от ворот. Как я поднялась, слышу—меня окликнули. Вот эта барышня; извините, не знаю, как вас зовут. И сразу она мне понравилась. После всех неприятностей вижу челове-

ское лицо. «У вас остановился капитан Вильям Гез? — так она меня спросила. — В каком номере он живет?» Значит, опять он, не выйти ему у меня из головы и, тем более, от такого лица. Даже странно было мне слушать. Что ж! Каждый ходит, куда хочет. На одной веревке висит разное белье. Я ее провела, стукнула в дверь и отошла. Гез вышел. Вдруг стал он бледен, даже задрожал весь; потом покраснел и сказал: «Это вы! Это вы! Здесь!» Я стояла. Он повернулся ко мне, и я пошла прочь. Ноги тронулись сами, и все быстрее. Я думала: только бы не услышать при посторонних, как он заорет свои проклятия! Однако на лестнице я остановилась, — может быть, позовет подать или принести что-нибудь, но этого не случилось. Я услышала, что они, Гез и барышня, пошли в галерею, где начали говорить, но что — не знаю. Только слышно: «Гу-гу, гу-гу, гу-гу». Ну-с, утром без дела не сидишь. Каждый ходит, куда хочет. Я пошла вниз, а этак через полчаса принесли письмо маклеру из первого номера, и я пошла снова вверх кинуть их ему под дверь; постояла, послушала: все тихо. Гез не звонит. Вдруг — бац! Это у него выстрел. Вот он какой был выстрел! Но мне тогда стало только смешно. Надо звонить по-человечески. Ведь видел, что я постучала; значит приду и так. Тем более, это при посторонних. Пришла нижняя и сказала, что надо подмести буфет: ей некогда. Ну-с, так сказать, Лиззи всегда внизу, около хозяина; она — туда, она — сюда, и, значит, мне надо идти. Вот тут, как я поднялась за щеткой, вошли вверх Бутлер с джентльменом и опять насчет Геза: «Дома ли он?» В сердцах я наговорила лишнее и прошу меня извинить, если не так сказала, только показала на дверь, а сама скорее ушла, потому что, думаю, если ты меня позвонишь, так знай же, что я не вертелась у двери, как собака, а была по своим делам. Только уж работать в буфете не пришлось, потому что навстречу бежала толпа. Вели эту барышню. Вначале думала я, что она сама всех их ведет. Гарден тоже прибежал сам не свой. Вот когда вошли, — я и увидела... Гез готов.

Записав ее остальные, ничего не прибавившие к уже сказанному, различные мелкие показания, комиссар отпустил Пегги, которая вышла, пятясь и кланяясь. Наступила моя очередь, и я твердо решил, сколько будет возможно, отвлечь подозрение на себя, как это ни было трудно при обстоятельствах, сопровождавших задержание Биче Сениэля. Созна-

юсь, — я ничем, конечно, не рисковал, так как пришел с Бутлером, на глазах прислуги, когда Гез уже был в поверженном состоянии. Но я надеялся обратить подозрение комиссара в новую сторону, по кругу пережитого мною приключения, и рассказал откровенно, как поступил со мной Гез в море. О моем скрытом, о том, что имело значение лишь для меня, комиссар узнал столько же, сколько Браун и Гез, то есть ничего. Связанный теперь обещанием, которое дал Синкрайту, я умолчал об его активном участии. Бутлер подтвердил мое показание. Я умолчал также о некоторых вещах, например, о фотографии Биче в каюте Геза и запутанном положении корабля в руках капитана, с целью сосредоточить все происшествия на себе. Я говорил, тщательно обдумывая слова, так что заметное напряжение Биче при моем рассказе, вызванное вполне понятными опасениями, осталось напрасным. Когда я кончил, прямо заявив, что шел к Гезу с целью требовать удовлетворения, она, видимо, поняла, как я боюсь за нее, и в тени ее ресниц блеснуло выражение признательности.

Хотя флегматичен был комиссар, давно привыкший к допросам и трупам, мое сообщение о себе, в связи с Гезом, сильно поразило его. Он не однажды переспросил меня о существенных обстоятельствах, проверяя то, другое сопутствующими показаниями Бутлера. Бутлер, слыша, что я рассказываю, умалчивая о появлении неизвестной женщины, сам обошел этот вопрос, очевидно понимая, что у меня есть основательные причины молчать. Он стал очень нервен, и комиссару иногда приходилось направлять его ответы или вытаскивать их клещами дважды повторенных вопросов. Хотя и я не понимал его тревоги, так как оговорил роль Бутлера благоприятным для него упоминанием о, в сущности, пассивной, даже отчасти сдерживающей роли старшего помощника, — он, быть может, встревожился как виновный в недонесении. Так или иначе, Бутлер стал говорить мало и неохотно. Он потускнел, съежился. Лишь один раз в его лице появилось неведомое живое усилие, — какое бывает при незапном воспоминании. Но оно исчезло, ничем не выразив себя.

По ставшему чрезвычайно серьезным лицу комиссара и по количеству исписанных им страниц я начал понимать, что мы все трое не минуем ареста. Я сам поступил бы так же на месте полиции. Опасение это немедленно подтвердилось.

— Объявляю,— сказал комиссар, встав,— впредь до выяснения дела арестованными: неизвестную молодую женщину, отказавшуюся назвать себя, Томаса Гарвея и Элиаса Бутлера.

В этот момент раздался странный голос. Я не сразу его узнал: таким чужим, изменившимся голосом заговорил Бутлер. Он встал, тяжело, шумно вздохнул и с неловкой улыбкой, сразу побледнев, произнес:

— Одного Бутлера. Элиаса Бутлера.

— Что это значит? — спросил комиссар.

— Я убил Геза.

ГЛАВА XXVIII

К тому времени чувства мои были уже оглушены и захвачены так сильно, что даже объявление ареста явилось развитием одной и той же неприятности; но неожиданное признание Бутлера хватило по оцепеневшим нервам, как новое преступление, совершенное на глазах всех. Биче Сениэль рассматривала убийцу расширенными глазами и, взведя брови, следила с пристальностью глубокого облегчения за каждым его движением. Комиссар перешел из одного состояния в другое,— из состояния запутанности к состоянию иметь здесь, против себя, подлинного преступника, которого считал туповатым свидетелем,— с апломбом чиновника, приписывающего каждый, даже невольный успех влиянию своих личных качеств.

— Этого надо было ожидать,— сказал он так значительно, что, должно быть, сам поверил своим словам.— Элиас Бутлер, сознавшийся при свидетелях,— садитесь и изложите, как было совершено преступление.

— Я решил,— начал Бутлер, когда сам несколько освоился с перенесением тяжести сцены, целиком обрушенной на него и бесповоротно очертившей тюрьму,— я решил рассказать все, так как иначе не будет понятен случай с убийством Геза. Это — случай; я не хотел его убивать. Я молчал потому, что надеялся для барышни на благополучный исход ее задержания. Оказалось иначе. Я увидел, как сплелось подозрение вокруг невинного человека. Объяснения она не дала, следовательно, ее надо арестовать. Так, это правильно. Но я не мог остаться подлецом. Надо было сказать.

Я слышал, что она выразила надежду на совесть самого преступника. Эти слова я обдумывал, пока вы допрашивали других, и не нашел никакого другого выхода, чем этот,— встать и сказать: Геза застрелил я.

— Благодарю вас,— сказала Биче с участием,— вы честный человек, и я, если понадобится, помогу вам.

— Должно быть, понадобится,— ответил Бутлер, подавленно улыбаясь.— Ну-с, надо говорить все. Итак, мы прибыли в Гель-Гью с контрабандой из Дагона. Четыреста ящиков нарезных железных болтов. Желаете посмотреть?

Он вытащил предмет, который тайно отобрал от меня, и передал его комиссару, отвинтив гайку.

— Заказные формы,— сказал комиссар, осмотрев начинку болта.— Кто же изобрел такую уловку?

— Должен заявить,— пояснил Бутлер,— что все дело вел Гез. Это его связи, и я участвовал в операции лишь деньгами. Мои отложенные за десять лет триста пятьдесят фунтов пошли как пай. Я должен был верить Гезу на слово. Гез обещал купить дешево, продать дорого. Мне приходилось, по нашим расчетам, приблизительно тысяча двести фунтов. Стоило рискнуть. Знали обо всем лишь я, Гез и Синкрайт. Женщины, которые плыли с нами сюда, не имели отношения к этой погрузке и ничего не подозревали. Гез был против Гарвея, так как по крайней мнительности опасался всего. Не очень был доволен, откровенно сказать, и я, потому что, как-никак, чувствуешь себя спокойнее, если нет посторонних. После того как произошел скандал, о котором вы уже знаете, и несмотря на мои уговоры человека бросили в шлюпку миль за пятьдесят от Дагона, а вмешаться как следует — значило потерять все потому, что Гез, взбесившись, способен на открытый грабеж,— я за остальные дни плавания начал подозревать капитана в намерении увильнуть от честной расплаты. Он жаловался, что опиум обошелся вдвое дороже, чем он рассчитывал, что он узнал в Дагоне о понижении цен, так что прибыль может оказаться значительно меньше. Таким образом капитан подготовил почву и очень этим меня тревожил. Синкрайту было просто обещано пятьдесят фунтов, и он был спокоен, зная, должно быть, что все пронюхает и добьется своего в большем раз-
мере, чем надеется Гез. Я ничего не говорил, ожидая, что будет в Гель-Гью. Еще висела эта история с Гарвеем, которую мы думали миновать, пробыв здесь не более двух дней, а потом уйти в Сан-Губерт или еще дальше, где и отстоять-

ся, пока не замрет дело. Впрочем, важно было прежде всего продать опий.

Гез утверждал, что переговоры с агентом по продаже ему партии железных болтов будут происходить в моем присутствии, но когда мы прибыли, он устроил, конечно, все самостоятельно. Он исчез вскоре после того, как мы ошвартовались, и явился веселый, только стараясь казаться озабоченным. Он показал деньги. «Вот все, что удалось получить,— так он заявил мне.— Всего три тысячи пятьсот. Цена товара упала, наши приказчики предложили ждать улучшения условий сбыта или согласиться на три тысячи пятьсот фунтов за тысячу сто килограммов».

Мне приходилось, по расчету моих и его денег,— причем он уверял, что болты стали ему по три гинеи за сотню,— проверенные остатки. Я выделился, таким образом, из расчета пятьсот за триста пятьдесят, и между нами произошла смена. Однако доказать ничего было нельзя, поэтому я вчера же направился к одному сведущему по этим делам человеку, имя которого называть не буду, и я узнал от него, что наша партия меньше, как за пять тысяч, не может быть продана, что цена держится крепко.

Обдумав, как уличить Геза, мы отправились в один склад, где мой знакомый усадил меня за перегородку, сзади конторы, чтобы я слышал разговор. Человек, которого я не видел, так как он был отделен от меня перегородкой, в ответ на мнимое предложение моего знакомого сразу же предложил ему четыре с половиной фунта за килограмм, а когда тот начал торговаться,— накинул пять и даже пять с четвертью. С меня было довольно. Угостив человека за услугу, я отправился на корабль и, как Гез уже переселился сюда, в гостиницу, намереваясь широко пожить,— пошел к нему, но его не застал. Был я еще вечером,— раз, два, три раза — и безуспешно. Наконец сегодня утром, около десяти часов, я поднялся по лестнице со двора и, никого не встретив, постучал к Гезу. Ответа я не получил, а тронув за ручку двери, увидел, что она не заперта, и вошел. Может быть, Гез в это время ходил вниз жаловаться на Пегги.

Так или иначе, но я был здесь один в комнате, с неприятным стеснением, не зная, оставаться ждать или выйти разыскивать капитана. Вдруг я услышал шаги Геза, который сказал кому-то: «Она должна явиться немедленно».

Так как я напряженно думал несколько дней о продаже опия, то подумал, что слова Геза относятся к одной

пожилой даме, с которой он имел эти дела. Не могло представиться лучшего случая узнать все. Сообразив свои выгоды, я быстро проник в шкаф, который стоит у двери, и прикрыл его изнутри, решаясь на все. Я дополнил свой план, уже стоя в шкапу. План был очень прост: услышать, что говорит Гез с дамой-агентом, и, разузнав точные цифры, если они будут произнесены, явиться в благоприятный момент. Ничего другого не оставалось. Гез вошел, хлопнув дверью. Он метался по комнате, бормоча: «Я вам покажу! Вы меня мало знаете, подлецы».

Некоторое время было тихо. Гез, как я видел его в щель, стоял задумчиво, напевая, потом вздохнул и сказал: «Проклятая жизнь!»

Тогда кто-то постучал в дверь, и, быстро кинувшись ее открыть, он закричал: «Как?! Может ли быть?! Входите же скорее и докажите мне, что я не сплю!»

Я говорю о барышне, которая сидит здесь. Она отказалась войти и сообщила, что приехала уговориться о месте для переговоров; каких,— не имею права сказать.

Бутлер замолчал, предоставляя комиссару обойти это положение вопросом о том, что произошло дальше, или обратиться за разъяснением к Биче, которая заявила:

— Мне нет больше причины скрывать свое имя. Меня зовут Биче Сениэль. Я пришла к Гезу условиться, где встретиться с ним относительно выкупа корабля «Бегущая по волнам». Это судно принадлежит моему отцу. Подробности я расскажу после.

— Я вижу уже,— ответил комиссар с некоторой поспешностью, позволяющей сделать благоприятное для девушки заключение,— что вы будете допрошены как свидетельница.

Бутлер продолжал:

— Она отказалась войти, и я слышал, как Гез говорил в коридоре, получая такие же тихие ответы. Не знаю, сколько прошло времени. Я был разозлен тем, что напрасно засел в шкаф, но выйти не мог, пока не будет никого в коридоре и комнате. Даже если бы Гез запер помещение на ключ, наружная лестница, которая находится под самым окном, оставалась в моем распоряжении. Это меня несколько успокоило.

Пока я соображал так, Гез возвратился с дамой, и разговор возобновился. Барышня сама расскажет, что произошло между ними. Я чувствовал себя так гнусно, что забыл о деньгах. Два раза я хотел ринуться из шкапа, чтобы прекра-

тить безобразие. Гез бросился к двери и запер ее на ключ. Когда барышня вскочила на окно и прыгнула вниз, на ту лестницу, что я видел в свою щель, Гез сказал: «О мука! Лучше умереть!» Подлая мысль двинула меня открыто выйти из шкапа. Я рассчитывал на его смущение и расстройство. Я решился на шантаж и не боялся нападения, так как со мной был мой револьвер.

Гез был убит быстрее, чем я вышел из шкапа. Увидев меня, должно быть, взволнованного и бледного, он сначала отбежал в угол, потом кинулся на меня, как отраженный от стены мяч. Никаких объяснений он не спрашивал. Слезы текли по его лицу; он крикнул: «Убью, как собаку!» — и схватил со стола револьвер. Тут бы мне и конец. Вся его дикая радость немедленной расправы передалась мне. Я закричал, как он, и увидел его лоб. Не знаю, кажется мне это или я где-то слышал действительно, — я вспомнил странные слова: «Он получит пулю в лоб...» — и мою руку, без прицела, вместе с движением и выстрелом, повело куда надо, как магнитом. Выстрела я не слышал. Гез уронил револьвер, согнулся и стал качать головой. Потом он ухватился за стол, пополз вниз и растянулся. Некоторое время я не мог двинуться с места; но надо было уйти. Я открыл дверь и на носках побежал к лестнице, все время ожидая, что буду схвачен за руку или окликнут. Но я опять, как когда пришел, решительно никого не встретил и вскоре был на улице. С минуту я то уходил прочь, то поворачивал обратно, начав сомневаться, было ли то, что было. В душе и голове гул был такой, как если бы я лежал среди рельс под мчащимся поездом. Все звуки кричали, все было страшно и ослепительно. Тут я увидел Гарвея и очень обрадовался, но не мог радоваться по-настоящему. Мысли появлялись очень быстро и с силой. Так я, например, узнав, что Гарвей идет к Гезу — немедленно, с совершенным убеждением порешил, что если есть на меня какие-нибудь неведомые мне подозрения, лучше всего будет войти теперь же с Гарвеем. Я думал, что барышня уже далеко. Ничего подобного, такого, чем обернулось все это несчастье, мне не пришло даже в голову. Одно стояло в уме: «Я вошел и увидел, и я так же поражен, как и все». Пока я здесь сидел, я внутренне отошел, а потому не мог больше молчать.

На этих словах показание Бутлера отзвучало и смолкло. Он то вставал, то садился.

— Дайте вашу руку, Бутлер, — сказала Биче. Она взяла

его руку, протянутую медленно и тяжело, и крепко встряхнула ее.— Вы тоже не виноваты, а если и были виноваты, не виновны теперь.— Она обратилась к комиссару: — Должна говорить я.

— Желаете дать показания наедине?

— Только так.

— Элиас Бутлер, вы арестованы. Томас Гарвей — вы свободны и обязаны явиться свидетелем по вызову суда.

Полисмены, присутствие которых только теперь стало заметно, увели Бутлера. Я вышел, оставив Биче и условившись с ней, что буду ожидать ее в экипаже. Пройдя сквозь коридор, такой пустой утром и так полный теперь набившейся из всех щелей квартала толпой, разогнать которую не могли никакие усилия, я вышел через буфет на улицу. Неподалеку стоял каб; я нанял его и стал ожидать Биче, дополняя воображением немногие слова Бутлера, — те, что развертывались теперь в показание, тяжелое для женщины и в особенности для девушки. Но уже зная ее немного, я не мог представить, чтобы это показание было дано иначе, чем те движения женских рук, которые мы видим с улицы, когда они раскрывают окно в утренний сад.

ГЛАВА XXIX

Мне пришлось ждать почти час. Непрестанно оглядываясь или выходя из экипажа на тротуар, я был занят лишь одной навязчивой мыслью: «Ее еще нет». Ожидание утомило меня более, чем что-либо другое в этой мрачной истории. Наконец я увидел Биче. Она поспешно шла и, заметив меня, обрадованно кивнула. Я помог ей усесться и спросил, желает ли Биче ехать домой одна.

— Да и нет; хотя я утомлена, но по дороге мы поговорим. Я вас не приглашаю теперь, так как очень устала.

Она была бледна и досадовала. Прошло несколько минут молчаливой езды, пока Биче заговорила о Гезе.

— Он запер дверь. Произошла сцена, которую я постараюсь забыть. Я не испугалась, но была так зла, что сама могла бы убить его, если бы у меня было оружие. Он обхватил меня и, кажется, пытался поцеловать. Когда я вырвалась и подбежала к окну, я увидела, как могу избавиться

от него. Под окном проходила лестница, и я спрыгнула на площадку. Как хорошо, что вы тоже пришли туда!

— Увы, я не мог ничем вам помочь!

— Достаточно, что вы там были. К тому же вы старались если не обвинить себя, то внушить подозрение. Я вам очень благодарна, Гарвей. Вечером вы придете к нам? Я назначу теперь же, когда встретиться. Я предлагаю в семь. Я хочу вас видеть и говорить с вами. Что вы скажете о корабле?

— «Бегущая по волнам»,— ответил я,— едва ли может быть передана вам в ближайшее время, так как, вероятно, произойдет допрос остальной команды, Синкрайта, и судно не будет выпущено из порта, пока права Сениэлей не установит портовый суд, а для этого необходимо снести с Брауном.

— Я не понимаю,— сказала Биче, задумавшись,— каким образом получилось такое грозное и грязное противоречие. С любовью был построен этот корабль. Он возник из внимания и заботы. Он был чист. Едва ли можно будет забыть о его падении, о тех историях, какие произошли на нем, закончившись гибелью троих людей: Геза, Бутлера и Синкрайта, которого, конечно, арестуют.

— Вы были очень испуганы?

— Нет. Но тяжело видеть мертвого человека, который лишь несколько минут назад говорил как в бреду и, вероятно, искренне. Мы почти приехали, так как за этим поворотом, налево, тот дом, где я живу.

Я остановил экипаж у старых каменных ворот с фасадом внутри двора и простился. Девушка быстро пошла внутрь; я смотрел ей вслед. Она обернулась и, останавливаясь, пристально посмотрела на меня издали, но без улыбки. Потом, сделав неопределенное усталое движение, исчезла среди деревьев, и я поехал в гостиницу.

Было уже два часа. Меня встретил Кук, который при дневном свете выглядел теперь вялым. Цвет его лица далеко уступал розовому сиянию прошедшей ночи. Он был или озабочен, или в неудовольствии, по неизвестной причине. Кук сообщил, что привезли мои вещи. Действительно, они лежали здесь, в полном порядке, с письмом, засунутым в щель чемодана. Я распечатал конверт, оказавшийся запиской от Дэзи. Девушка извещала, что «Нырок» уходит в обратный путь послезавтра, что она надеется попрощаться со мной, благодарит за книги и просит еще раз извинить за

вчерашнюю выходку. «Но это было смешно,— стояло в конце.— Вы, значит, видели еще одно такое же платье, как у меня. Я хотела быть скромной, но не могу. Я очень любопытна. Мне нужно вам очень много сказать».

Как я ни был полон Биче, мое отношение к ней погрузилось в дым тревоги и нравственного бедствия, испытанного сегодня, разогнать которое могло только дальнейшее нормальное течение жизни, а поэтому эта милая и простая записка Дэзи была как ее улыбка. Я словно услышал еще раз звучный, горячий голос, меняющийся в выражении при каждом колебании настроения. Я решил отправиться на «Нырок» завтра утром. Тем временем состояние Кука начало меня беспокоить, так как он мрачно молчал и грыз ногти,— привычка, которую ненавижу. Встретившись глазами, мы довольно долго осматривали друг друга, пока Кук, наконец, не вышел из тягостного момента глубоким вздохом и кратким упоминанием о черте. Соболезнуя, я получил ответ, что у него припадок неврастения.

— Как я вам себя рекомендовал, это все верно,— говорил Кук, бешено разламывая спичечную коробку,— то есть что я сплетник, сплетник по убеждению, по призванию, наконец — по эстетическому уклону. Но я также и неврастеник. За завтраком был разговор об орехах. У одного человека червь погубил урожай. Что, если бы это случилось со мной? Мои сады! Мои замечательные орехи! Не могу представить в белом сердце ореха — червя, несущего пыль, горечь, пустоту. Мне стало грустно, и я должен отправиться домой, чтобы посмотреть, хороши ли мои орехи. Мне не дает покоя мысль, что их, может быть, грызут черви.

Я высказал надежду, что это пройдет у него к вечеру, когда среди толп, музыки, затей и цветов загремит карнавальное торжество, но Кук отнесся философически.

— Я смотрю мрачно,— сказал он, шагая по комнате, засунув руки за спину и смотря в пол.— Мне рисуется такая картина. В мраке расположены сильно озаренные круги, а между ними — черная тень. На свет из тени мчатся веселые простаки. Эти круги — ловушки. Там расставлены стулья, зажжены лампы, играет музыка и много хороших женщин. Томный вальс вежливо просит вас обнять гибкую талию. Талия за талией, рука за рукой наполняют круг звучным и упонительным вихрем. Огненные надписи вспыхивают под ногами танцующих; они гласят: «Любовь навсегда!» — «Ты муж, я жена!» — «Люблю и страдаю и верю в

невозможное счастье!» — «Жизнь так хороша!» — «Отдадимся веселью, а завтра — рука об руку, до гроба, вместе с тобой!». Пока это происходит, в тени едва можно различить силуэты тех же простаков, то есть их двойники. Прошло, скажем, десять лет. Я слышу там зевоту и брань, могильную плиту будней, попреки и свару, тайные низменные расчеты, хлопоты о детишках, бьющих, валяясь на полу, ногами в тщетном протесте против такой участи, которую предчувствуют они, наблюдая кислую мнительность когда-то обожавших друг друга родителей. Жена думает о другом, — он только что прошел мимо окна. «Когда-то я был свободен, — думает муж, — и я очень любил танцевать вальс...» — Кстати, — ввернул Кук, несколько отходя и втягивая воздух ноздрями, как прибежавшая на болото собака, — вы не слышали ничего о Флоре Салье? Маленькая актриса, приехавшая из Сан-Риоля? О, я вам расскажу! Ее содержит Чемпс, владелец бюро похоронных процессий. Оригинал Чемпс завоевал сердце Салье тем, что преподнес ей восхитительный бархатный гробик, наполненный ювелирными побрякушками. Его жена разузнала. И вот...

Видя, что Кук действительно сплетник, я уклонился от выслушивания подробностей этой истории просто тем, что взял шляпу и вышел, сославшись на неотложные дела, но он, выйдя со мной в коридор, кричал вслед окрепшим голосом:

— Когда вернетесь, я расскажу! Тут есть еще одна история, которая... Желаю успеха!

Я ушел под впечатлением его громкого свиста, выражавшего окончательное исчезновение неврастения. Моей целью было увидеть Дэзи, не откладывая это на завтра, но, сознаюсь, я пошел теперь только потому, что не хотел и не мог после утренней картины в портовой гостинице внимать болтовне Кука.

ГЛАВА XXX

Выйдя, я засел в ресторане, из окон которого видна была над крышами линия моря. Мне подали кушанье и вино. Я принадлежу к числу людей, обладающих хорошей памятью чувств, и, думая о Дэзи, я помнил раскаянное стеснение, — вчера, когда так растерянно отпустил ее, огор-

ценную неудачей своей затеи. Не тронул ли я чем-нибудь эту ласковую, милую девушку? Мне было горько опасаться, что она, по-видимому, думала обо мне больше, чем следовало в ее и моем положении. Позавтракав, я разыскал «Нырок», стоявший, как указала Дэзи в записке, неподалеку от здания таможни, кормой к берегу, в длинном ряду таких же небольших шкун, выстроенных борт к борту.

Увидев Болта, который красил кухню, сидя на ее крыше, я спросил его, есть ли кто-нибудь дома.

— Одна Дэзи,— сказал матрос.— Проктор и Тоббоган отправились по вашему делу, их позвала полиция. Пошли и другие с ними. Я уже все знаю,— прибавил он.— Замечательное происшествие! По крайней мере, вы избавлены от хлопот. Она внизу.

Я сошел по трапу во внутренность судна. Здесь было четыре двери; не зная, в которую постучать, я остановился.

— Это вы, Болт? — послышался голос девушки.— Кто там, войдите! — сказала она, помолчав.

Я постучал на голос; какота находилась против трапа, и я в ней не был ни разу.

— Не заперто! — воскликнула девушка.

Я вошел, очутившись в маленьком пространстве, где справа была занавешенная простыней койка. Дэзи сидела меж койкой и столиком. Она была одета и тщательно причесана, в том же кисейном платье, как вчера, и, взглянув на меня, сильно покраснела. Я увидел несколько иную Дэзи: она не смеялась, не вскочила порывисто, взгляд ее был приветлив и замкнут. На столике лежала раскрытая книга.

— Я знала, что вы придете,— сказала девушка.— Вот мы и уезжаем завтра. Сегодня утром разгрузились так рано, что я не выспалась, а вчера поздно заснула. Вы тоже утомлены, вид у вас не блестящий. Вы видели убитого капитана?

Усевшись, я рассказал ей, как я и убийца вошли вместе, но ничего не упомянул о Биче. Она слушала молча, подбрасывая пальцем страницу открытой книги.

— Вам было страшно? — сказала Дэзи, когда я кончил рассказывать.— Я представляю,— какой ужас!

— Это еще так свежо,— ответил я, невольно улыбнувшись, так как заметил висящее в углу желтое платье с коричневой бахромой,— что мне трудно сказать о своем чувстве. Но ужас... это был внешний ужас. Настоящего ужаса, я думаю, не было.

— Чему, чему вы улыбнулись?!— вскричала Дэзи, заметив, что я посмотрел на платье.— Вы вспомнили? О, как вы были поражены! Я дала слово никогда больше не шутить так. Я просто глупа. Надеюсь, вы простили меня?

— Разве можно на вас сердиться,— ответил я искренно.— Нет, я не сердился. Я сам чувствовал себя виноватым, хотя трудно сказать почему. Но вы понимаете.

— Я понимаю,— сказала девушка,— и я всегда знала, что вы добры. Но стоит рассказать. Вот, слушайте.

Она погрузила лицо в руки и сидела так, склонив голову, причем я заметил, что она, разведя пальцы, высматривает из-за них с задумчивым, невеселым вниманием. Отняв руки от лица, на котором заиграла ее неподражаемая улыбка, Дэзи поведала свои приключения. Оказалось, что Тоббоган пристал к толпе игроков, окружавших рулетку под навесом, у какой-то стены.

— Сначала,— говорила девушка, причем ее лицо очень выразительно жаловалось,— он пообещал мне, что сделает всего три ставки, и потом мы пойдем куда-нибудь, где танцуют; будем веселиться и есть, но, как ему повезло,— ему здорово вчера повезло,— он уже не мог отстать. Кончилось тем, что я назначила ему полчаса, а он усадил меня за столик в соседнем кафе, и я за выпитый там стакан шоколада выслушала столько любезностей, что этот шоколад был мне одно мучение. Жестоко оставлять меня одну в такой вечер,— ведь и мне хотелось повеселиться, не так ли? Я отсидела полчаса, потом пришла снова и попыталась увести Тоббогана, но на него было жалко смотреть. Он продолжал выигрывать. Он говорил так, что следовало просто махнуть рукой. Я не могла ждать всю ночь. Наконец кругом стали смеяться, и у него покраснели виски. Это плохой знак. «Дэзи, ступай домой,— сказал он, взглядом умоляя меня.— Ты видишь, как мне везет. Это ведь для тебя!» В то время возникло у меня одно очень ясное представление. У меня бывают такие представления, столь живые, что я как будто действую и вижу, что представляется. Я представила, что иду одна по разным освещенным улицам и где-то встречаю вас. Я решила наказать Тоббогана и, скрепя сердце, стала отходить от того места все дальше, дальше, а когда подумала, что, в сущности, никакого преступления с моей стороны нет, вступило мне в голову только одно: «Скорее, скорее, скорее!» Редко у меня бывает такая

храбрость... Я шла и присматривалась, какую бы мне купить маску. Увидев лавочку с вывеской и открытую дверь, я там кое-что примерила, но мне все было не по карману, наконец, хозяйка подала это платье и сказала, что уступит на нем. Таких было два. Первое уже продано, — как вы сами, вероятно, убедились на ком-нибудь другом, — вставила Дэзи. — Нет, я ничего не хочу знать! Мне просто не повезло. Надо же было так случиться! Ужас что такое, если порассудить! Тогда я ничего, конечно, не знала и была очень довольна. Там же купила я полумаску, а это платье, которое сейчас на мне, оставила в лавке. Я говорю вам, что помешалась. Потом — туда-сюда... Надо было спастись, потому что ко мне начали приставать. О-го-го! Я бежала, как на коньках. Дойдя до той площади, я стала остывать и уставать, как вдруг увидела вас. Вы стояли и смотрели на статую. Зачем я солгала? Я уже побывала в театре и малость, грешным делом, оттанцевала разка три. Одним словом — наш пострел везде поспел! — Дэзи расхохоталась. — Одна, так одна! Ну-с, сбегав от очень пылких кавалеров своих, я, как говорю, увидела вас, и тут мне одна женщина оказала услугу. Вы знаете какую. Я вернулась и стала представлять, что вы мне скажете. И-и-и... произошла неудача. Я так рассердилась на себя, что немедленно вернулась, разыскала гостиницу, где наши уже пели хором, — так они были хороши, и произвела фурор. Спасибо Проктору; он крепко рассердился на Тоббогана и тотчас послал матросов отвести меня на «Нырок». Представьте, Тоббоган явился под утро. Да, он выиграл. Было тут упреков и мне и ему. Но мы теперь помирились.

— Милая Дэзи, — сказал я, растроганный больше, чем ожидал, ее искусственно-шутливым рассказом, — я пришел с вами проститься. Когда мы встретимся, — а мы должны встретиться, — то будем друзьями. Вы не заставите меня забыть ваше участие.

— Никогда, — сказала она с важностью... — Вы тоже были ко мне очень, очень добры. Вы — такой...

— То есть — какой?

— Вы — добрый.

Вставая, я уронил шляпу, и Дэзи бросилась ее поднимать. Я опередил девушку; наши руки встретились на поднятой вместе шляпе.

— Зачем так? — сказал я мягко. — Я сам. Прощайте, Дэзи!

Я переложил ее руку с шляпы в свою правую и крепко пожал. Она, затуманясь, смотрела на меня прямо и строго; затем неожиданно бросилась мне на грудь и крепко охватила руками, вся прижавшись и трепеща.

Что не было мне понятно,— стало понятно теперь. Подняв за подбородок ее упрямо прячущееся лицо, сам тяжело и нежно взволнованный этим детским порывом, я посмотрел в ее влажные, отчаянные глаза, и у меня не хватило духа отделаться шуткой.

— Дэзи! — сказал я. — Дэзи!

— Ну да, Дэзи; что же еще? — шепнула она.

— Вы невеста.

— Боже мой, я знаю! Тогда уйдите скорей!

— Вы не должны,— продолжал я. — Не должны...

— Да. Что же теперь делать?

— Вы несчастны?

— О, я не знаю! Уходите!

Она, отталкивая меня одной рукой, крепко притягивала другой. Я усадил ее, ставшую покорной, с бледным и пристыженным лицом; последний взгляд свой она пыталась скрасить улыбкой. Не стерпев, в ужасе я поцеловал ее руку и поспешно вышел. Наверху я встретил поднимающихся по трапу Тоббогана и Проктора. Проктор посмотрел на меня внимательно и печально.

— Были у нас? — сказал он. — Мы от следователя. Вернитесь, я вам расскажу. Дело произвело шум. Третий ваш враг, Синкрайт, уже арестован; взяли и матросов; да, почти всех. Отчего вы уходите?

— Я занят,— ответил я,— занят так сильно, что у меня положительно нет свободной минуты. Надеюсь, вы зайдете ко мне. — Я дал адрес. — Я буду рад видеть вас.

— Этого я не могу обещать,— сказал Проктор, прищуриваясь на море и думая. — Но если вы будете свободны в... Впрочем,— прибавил он с неловким лицом,— подробностей особенных нет. Мы утром уходим.

Пока я разговаривал, Тоббоган стоял отвернувшись и смотрел в сторону; он хмурился. Рассерженный его очевидной враждой, выраженной к тому так наивно и грубо, которой он как бы вперед осуждал меня, я сказал:

— Тоббоган, я хочу пожать вашу руку и поблагодарить вас.

— Не знаю, нужно ли это,— неохотно ответил он, пытаясь заставить себя смотреть мне в глаза.— У меня на этот счет свое мнение.

Наступило молчание, довольно красноречивое, чтобы нарушать его бесполезными объяснениями. Мне стало еще тяжелее.

— Прощайте, Проктор! — сказал я шкиперу, пожимаю обе его руки, ответившие с горячим облегчением конца неприятной сцены. Тоббоган двинулся и ушел, не обернувшись.— Прощайте! Я только что прощался с Дэзи. Уношу о вас обоих самое теплое воспоминание и крепко благодарю за спасение.

— Странно вы говорите,— отвечал Проктор.— Разве за такие вещи благодарят? Всегда рад помочь человеку. Плюньте на Тоббогана. Он сам не знает, что говорит.

— Да, он не знает, что говорит.

— Ну, вот видите! — Должно быть, у Проктора были сомнения, так как мой ответ ему заметно понравился.— Люди встречаются и расходятся. Не так ли?

— Совершенно так.

Я еще раз пожал его руку и ушел. Меня догнал Болт.

— Со мной-то и забыли попрощаться,— весело сказал он, вытирая запачканную краской руку о колено штанов. Совершая обряд рукопожатия, он прибавил: — Я, извините, понял, что вам не по себе. Еще бы, такие события! Прощайте, желаю удачи!

Он махнул кепкой и побежал обратно.

Я шел прочь бесцельно, как изгнанный, никуда не стремясь, расстроенный и удрученный. Дэзи была существо, которое меньше всего в мире я хотел бы обидеть. Я припоминал, не было ли мной сказано нечаянных слов, о которых так важно размышляют девушки. Она нравилась мне, как теплый ветер в лицо; и я думал, что она могла бы войти в совет министров, добродушно осведомляясь, не мешает ли она им писать? Но, кроме сознания, что мир время от времени пускает бродить детей, даже не позаботившись обдернуть им рубашку, подол которой они суют в рот, красуясь торжественно и пугливо, не было у меня к этой девушке ничего пристального или знойного, что могло бы быть выражено вопреки воле и памяти. Я надеялся, что ее порыв случаен и что она сама улыбнется над ним, когда потекут привычные дни. Но я был благодарен ей за ее доверие, какое

она вложила в смутившую меня отчаянную выходку, полную безмолвной просьбы о сердечном, о пылком, о настоящем.

Я был мрачен и утомлен; устав ходить по еще почти пустым улицам, я отправился переодеться в гостиницу. Кук ушел. На столе он оставил записку, в которой перечислял места, достойные посещения этим вечером, указав, что я смогу разыскать его за тем же столом у памятника. Мне оставался час, и я употребил время с пользой, написав коротко Филатру о происшествии в Гель-Гью. Затем я вышел и, опустив письмо в ящик, был к семи, после заката солнца, у Биче Сениэль.

ГЛАВА XXXI

Я застал в гостинице Биче и Ботвеля. Увидев ее, я стал спокоен. Мне было довольно ее видеть и говорить с ней. Она была сдержанно оживлена, Ботвель озабочен и напряжен.

— Много удалось сделать,— заявил он.— Я был у следователя, и он обещал, что Биче будет выделена из дела, как материал для газет, а также в смысле ее личного присутствия на суде. Она пришлет свое показание письменно. Но я был еще кое-где и всюду оставлял деньги. Можно было подумать, что у меня карманы прорезаны. Биче, вы будете хоть еще раз покупать корабли?

— Всегда, как только мое право нарушит кто-нибудь. Но я действительно получила урок. Мне было не так весело,— обратилась она ко мне,— чтобы я захотела тронуть еще раз что-нибудь сыплющееся на голову. Но нельзя было подумать.

— Негодяй умер,— сказал Ботвель.— Я пошлю Бутлеру в тюрьму сигар, вина и цветов. Но вы, Гарвей, вы — неповинный и не замешанный ни в чем человек,— каково было вам высидеть около трупа эти часы?

— Мне было тяжело по другой причине,— ответил я, обращаясь к девушке, смотревшей на меня с раздумьем и интересом.— Потому, что я ненавидел положение, бросившее на вас свою терпкую тень. Что касается обстоятельств дела, то они хотя и просты по существу, но странны, как

встреча после ряда лет, хотя это всего лишь движение к одной точке.

После того были разобраны все моменты драмы в их отдельных, для каждого лица, условиях. Ботвель неясно представлял внутреннее расположение помещений гостиницы. Тогда Биче потребовала бумагу, которую Ботвель тотчас принес. Пока он ходил, Биче сказала:

— Как вы себя чувствуете теперь?

— Я думал, что приду к вам.

Она приподняла руку и хотела что-то быстро сказать, по-видимому, занимавшее ее мысли, но, изменив выражение лица, спокойно заметила:

— Это я знаю. Я стала размышлять обо всем старательнее, чем до приезда сюда. Вот что...

Я ждал, встревоженный ее спокойствием больше, чем то было бы вызвано холодностью или досадой. Она улыбнулась.

— Еще раз благодарю за участие, — сказала Биче. — Ботвель, вы принесли сломанный карандаш.

— Действительно, — ответил Ботвель. — Но эти дни повернулись такими чрезвычайными сторонами, что карандаш, я ожидаю, — вдруг очинится сам! Гарвей согласен со мной.

— В принципе — да!

— Однако возьмите ножик, — сказала Биче, смеясь и подавая мне ножик вместе с карандашом. — Это и есть нужный принцип.

Я очинил карандаш, довольный, что она не сердится. Биче недоверчиво пошатала его острый конец, затем стала чертить вход, выход, комнату, коридор и лестницу.

Я стоял, склонясь над ее плечом. В маленькой твердой руке карандаш двигался с такой правильностью и точностью, как в прорезах шаблона. Она словно лишь обводила видимые ей одной линии. Под этим чертежом Биче нарисовала контурные фигуры: мою, Бутлера, комиссара и Гардена. Все они были убедительны, как японский гротеск. Я выразил уверенность, что эти мастерство и легкость оставили более значительный след в ее жизни.

— Я не люблю рисовать, — сказала она и, забавляясь, провела быструю, ровную, как сделанную линейкой черту. — Нет. Это для меня очень легко. Если вы охотник, могли бы вы находить удовольствие в охоте на кур среди двора? Так же и я. Кроме того, я всегда предпочитаю ориги-

нал рисунку. Однако хочу с вами посоветоваться относительно Брауна. Вы знаете его, вы с ним говорили. Следует ли предлагать ему деньги?

— По всей щекотливости положения Брауна, в каком он находится теперь, я думаю, что это дело надо вести так, как если бы он действительно купил судно у Геза и действительно заплатил ему. Но я уверен, что он не возьмет денег, то есть возьмет их лишь на бумаге. На вашем месте я поручил бы это дело юристу.

— Я говорил,— сказал Ботвель.

— Но дело простое,— настаивала Биче,— Браун даже сообщил вам, что владеет кораблем мнимо, не в действительности.

— Да, между нас это так бы было,— без бумаг и формальностей. Но у дельца есть культ формы, а так как мы предполагаем, что Брауну нет ни нужды, ни охоты мошенничать, получив деньги за чужое имущество,— незачем отказывать ему в формальной деловой опрятности, которая составляет часть его жизни.

— Я еще подумаю,— сказала Биче, задумчиво смотря на свой рисунок и обводя мою фигуру овальной двойной линией.— Может быть, вам кажется странным, но уладить дело с покойным Гезом мне представлялось естественнее, чем сплести теперь эту официальную безделушку. Да, я не знаю. Могу ли я смутить Брауна, явившись к нему?

— Почти наверное,— ответил я.— Но почти наверное он выкажет смущение тем, что отправит к вам своего поверенного, какую-нибудь лису, мечтавшую о взятке, а поэтому не лучше ли сделать первый т а к о й шаг самой?

— Вы правы. Так будет приятнее и ему и мне. Хотя... Нет, вы действительно правы. У нас есть план,— продолжала Биче, устраняя озабоченную морщину, игравшую между ее тонких бровей, меняя позу и улыбаясь.— План вот в чем: оставить пока все дела и отправиться на «Бегущую». Я так давно не была на палубе, которую знаю с детства! Днем было жарко. Слышите, какой шум? Нам надо встряхнуться.

Действительно, в огромные окна гостиной проникали хоровые крики, музыка, весь праздничный гул собравшегося с новыми силами карнавала. Я немедленно согласился. Ботвель отправился распорядиться о выезде. Но я был лишь одну минуту с Биче, так как вошли ее родственники, хозяе-

ва дома — старичок и старушка, круглые, как два старательно одетых мяча, и я был представлен им девушкой, с облегчением убедаясь, что они ничего не знают о моей истории.

— Вы приехали повеселиться, посмотреть, как тут гуляют? — сказала хозяйка, причем ее сморщенное лицо извинялось за беспокойство и шум города. — Мы теперь не выходим, нет. Теперь все не так. И карнавал плох. В мое время один Бреденер запрягал двенадцать лошадей. Карльсон выпустил «Океанию» — замечательный павильон на колесах, и я была там главной Венерой. У Лакотта в саду фонтан бил вином... О, как мы танцевали!

— Все не то, — сказал старик, который, казалось, седел, пушился и уменьшался с каждой минутой, так он был дряхл. — Нет желания даже выехать посмотреть. В тысяча восьмьсот... ну, все равно, я дрался на дуэли с Осборном. Он был в костюме «Кот в сапогах». Из меня вынули три пули. Из него — семь. Он помер.

Старички стояли рядом, парой, погруженные в невидимый древний мох; стояли с трудом, и я попрощался с ними.

— Благодарю вас, — сказала старушка неожиданно твердым голосом, — вы помогли Биче устроить все это дело. Да, я говорю о пиратах. Что же, повесили их? Раньше здесь было много пиратов.

— Очень, очень много пиратов! — сказал старик, печально качая головой.

Они все перепутали. Я заметил намекающий взгляд Биче и, поклонясь, вышел вместе с ней, догоняемый старческим шепотом:

— Все не то... не то... Очень много пиратов!

ГЛАВА XXXII

Отъезжая с Биче и Ботвелем, я был стеснен, отлично понимая, что стесняет меня. Я был неясен Биче, ее отчетливому представлению о людях и положениях. Я вышел из карнавала в действие жизни, как бы просто открыв тайную дверь, сам храня в тени свою душевную линию, какая, переплетаясь с явной линией, образовала узы.

В экипаже я сидел рядом с Биче, имея перед собой Ботвеля, который, по многим приметам, был для Биче добрым

приятелем, как это случается между молодыми людьми разного пола, связанными родством, обоюдной симпатией и похожими вкусами. Мы начали разговаривать, но скоро должны были оставить это, так как, едва выехав, уже оказались в действии законов игры, — того самого карнавального перевоплощения, в каком я кружился вчера. Экипаж двигался с великим трудом, осыпанный цветным бумажным снегом, который почти весь приходился на долю Биче, так же как и серпантин, медленно опускающийся с балконов шуршащими лентами. Публика дурачилась, приплясывая, хохоча и крича. Свет был резок и бесноват, как в кругу пожара. Импровизированные оркестры с кастрюлями, тазами и бумажными трубами, издававшими дикий рев, шатались по перекресткам. Еще не было процессий и кортежей; задавала тон самая ликующая часть населения — мальчишки и подростки всех цветов кожи и компании на балконах, откуда нас старательно удили серпантином.

Выбравшись на набережную, Ботвель приказал вонизе ехать к тому месту, где стояла «Бегущая по волнам», но, попав туда, мы узнали от вахтенного с баркаса, что судно уведено на рейд, почему наняли шлюпку. Нам пришлось обогнуть несколько пароходов, оглашаемых музыкой и освещенных иллюминацией. Мы стали уходить от полосы берегового света, погружаясь в сумерки и затем в тьму, где, заметив неподвижный мачтовый огонь, один из лодочников сказал:

— Это она.

— Рады ли вы? — спросил я, наклоняясь к Биче.

— Едва ли. — Биче всматривалась. — У меня нет чувства приближения к той самой «Бегущей по волнам», о которой мне рассказывал отец, что ее выстроили на дне моря, пользуясь рыбой-пилой и рыбой-молотком, два поплевававших на руки молодца-гиганта: «Замысел» и «Секрет».

— Это пройдет, — заметил Ботвель. — Надо только приехать и осмотреться. Ступить на палубу ногой, топнуть. Вот и все.

— Она как бы больна, — сказала Биче. — Недуг формальностей... и довольно жалкое прошлое.

— Сбилась с пути, — подтвердил Ботвель, вызвав смех.

— Говорят, нашли труп, — сказал лодочник, присматриваясь к нам. Он, видимо, слышал обо всем этом деле. — У нас разное говорили...

— Вы ошибаетесь,— возразила Биче,— этого не могло быть.

Шлюпка стукнулась о борт. На корабле было тихо.

— Эй, на «Бегущей»! — закричал, вставая, Ботвель.

Над водой склонилась неясная фигура. Это был агент, который, после недолгих переговоров, приправленных интересующими его намеками благодарности, позвал матроса и спустил трап.

Тотчас прибежал еще один человек; за ним третий. Это были Гораций и повар. Мулат шумно приветствовал меня. Повар принес фонарь. При слабом, неверном свете фонаря мы поднялись на палубу.

— Наконец-то! — сказала Биче тоном удовольствия, когда прошла от борта вперед и обернулась.— В каком же положении экипаж?

Гораций объяснил, но так бестолково и суетливо, что мы, не дослушав, все перешли в салон. Электричество, вспыхнув в лампах, осветило углы и предметы, на которые я смотрел несколько дней назад. Я заметил, что прибрано и подметено плохо; видимо, еще не улеглось потрясение, вызванное катастрофой.

На корабле остались Гораций, повар, агент, выжидающий случая проследить ходы контрабандной торговли, и один матрос; все остальные были арестованы или получили расчет из денег, найденных при Гезе. Я не особо вникал в это, так как смотрел на Биче, стараясь уловить ее чувства.

Она еще не садилась. Пока Ботвель разговаривал с поваром и агентом, Биче обошла салон, рассматривая обстановку с таким вниманием, как если бы первый раз была здесь. Однажды ее взгляд расширился и затих, и, проследив его направление, я увидел, что она смотрит на сломанную женскую гребенку, лежавшую на буфете.

— Ну, так расскажите еще,— сказала Биче, видя, как я внимателен к этому ее взгляду на предмет незначительный и красноречивый.— Где вы помещались? Где была ваша каюта? Не первая ли слева от трапа? Да? Тогда пройдемте в нее.

Открыв дверь в эту каюту, я объяснил Биче положение действовавших лиц и как я попался, обманутый мнимым рассказием Геза.

— Начинаю представлять,— сказала Биче.— Очень все это печально. Очень грустно! Но я не намереваюсь долго быть здесь. Взойдемте наверх.

— То чувство не проходит?

— Нет. Я хожу, как по чужому дому, случайно оказавшемуся похожим. Разве не образовался привкус, невидимый след, с которым я так долго еще должна иметь дело внутри себя? О, я так хотела бы, чтобы этого ничего не было!

— Вы оскорблены?

— Да, это настоящее слово. Я оскорблена. Итак, взойдемте наверх.

Мы вышли. Я ждал, куда она поведет меня, с волнением — и не ошибся: Биче остановилась у трапа.

— Вот отсюда,— сказала она, показывая рукой вниз, за борт.— И — один! Я, кажется, никогда не почувствую, не представлю со всей силой переживания, как это могло быть. Один!

— Как — один?! — сказал я, забывшись. Вдруг вся кровь хлынула к сердцу. Я вспомнил, что сказала мне Фрези Грант. Но было уже поздно. Биче смотрела на меня с тягостным, суровым неудовольствием. Момент молчания предал меня. Я не сумел ни поправиться, ни твердостью взгляда отвести тайную мысль Биче, и это перешло к ней.

— Гарвей,— сказала она с нежной и прямой силой, впервые зазвучавшей в ее веселом, беспечном голосе,— Гарвей, скажите мне правду!

ГЛАВА XXXIII

— Я не лгал вам,— ответил я после нового молчания, во время которого чувствовал себя, как оступившийся во тьме и теряющий равновесие. Ничто нельзя было изменить в этом моменте. Биче дала тон. Я должен был ответить прямо или молчать. Она не заслуживала уверток. Не возмущение против запрета, но стремление к девушке, чувство обиды за нее и глубокая тоска вырвали у меня слова, взять обратно которые было уже нельзя.— Я не лгал, но я умол-

чал. Да, я не был один, Биче, я был свидетелем вещей, которые вас поразят. В лодку, неизвестно как появившись на палубе, вошла и села Фрези Грант, «Бегущая по волнам».

— Но, Гарвей! — сказала Биче. При слабом свете фонаря ее лицо выглядело бледно и смутно. — Говорите тише!.. Я слушаю.

Что-то в ее тоне напомнило мне случай детства, когда, сделав лук, я поддался увещаниям жестоких мальчишек — ударить выгибом дерева этого самодельного оружия по земле. Они не объяснили мне, зачем это нужно, только твердили: «Ты сам увидишь». Я смутно чувствовал, что дело неладно, но не мог удержаться от искушения и ударил. Тетива лопнула.

Это соскользнуло, как выпавшая на рукав искра. Замяв ее, я рассказал Биче о том, что сказала мне Фрези Грант; как она была и ушла... Я не умолчал также о запрещении говорить ей, Биче, причем мне не было дано объяснения. Девушка слушала, смотря в сторону, опустив локоть на борт, а подбородок в ладонь.

— Не говорить мне, — произнесла она задумчиво, улыбаясь голосом. — Это надо понять. Но отчего вы сказали?

— Вы должны знать отчего, Биче.

— С вами раньше никогда не случалось таких вещей?.. — спросила девушка, как бы не слыша моего ответа.

— Нет, никогда.

— А голос, голос, который вы слышали, играя в карты?

— Один-единственный раз.

— Слишком много для одного дня, — сказала Биче, вздохнув. Она взглянула на меня мельком, тепло, с легкой печалью; потом, застенчиво улыбнувшись, сказала: — Пройдемте вниз. Вызовем Ботвелю. Сегодня я должна раньше лечь, так как у меня болит голова. А та — другая девушка? Вы ее встретили?

— Не знаю, — сказал я совершенно искренне, так как такая мысль о Дэзи мне до того не приходила в голову, но теперь я подумал о ней с странным чувством нежной и тревожной помехи. — Биче, от вас зависит — я хочу думать так, — от вас зависит, чтобы нарушенное мною обещание не обратилось против меня!

— Я вас очень мало знаю, Гарвей, — ответила Биче серьезно и стесненно. — Я вижу даже, что я совсем вас

не знаю. Но я хочу знать и буду говорить о том завтра. Пока что, я — Биче Сениэль, и это мой вам ответ.

Не давая мне заговорить, она подошла к трапу и крикнула вниз:

— Ботвель! Мы едем!

Все вышли на палубу. Я попрощался с командой, отдельно поговорил с агентом, который сделал вид, что моя рука случайно очутилась в его быстро понимающих пальцах, и спустился к лодке, где Биче и Ботвель ждали меня. Мы направились в город. Ботвель рассказал, что, как он узнал сейчас, «Бегущую по волнам» предположено оставить в Гель-Гью до распоряжения Брауна, которого известили по телеграфу обо всех происшествиях.

Биче всю дорогу сидела молча. Когда лодка вошла в свет бесчисленных огней набережной, девушка тихо и решительно произнесла:

— Ботвель, я навалю на вас множество неприятных забот. Вы без меня продадите этот корабль с аукциона или... как придется.

— Что?! — крикнул Ботвель тоном веселого ужаса.

— Разве вы не поняли?

— Потом поговорим, — сказал Ботвель и, так как лодка остановилась у ступеней каменного схода набережной, прибавил: — Чертовски неприятная история — все это, вместе взятое. Но Биче неумолима. Я вас хорошо знаю, Биче!

— А вы? — спросила девушка, когда прощалась со мной. — Вы одобряете мое решение?

— Вы только так и могли поступить, — сказал я, отлично понимая ее припадок брезгливости.

— Что же другое? — Она задумалась. — Да, это так. Как ни горько, но зато стало легко. Спокойной ночи, Гарвей! Я завтра извещу вас.

Она протянула руку, весело и резко пожав мою, причем в ее взгляде таилась эта смущающая меня забота с примесью явного недовольства, — мной или собой? — я не знал. На сердце у меня было круто и тяжело.

Тотчас они уехали. Я посмотрел вслед экипажу и пошел к площади, думая о разговоре с Биче. Мне был нужен шум толпы. Заметя свободный кеб, я взял его и скоро был у того места, с какого вчера увидел статую Фрези Грант. Теперь я вновь увидел ее, стараясь убедить себя, что не виноват. Подавленный, я вышел из кеба. Вначале я тупо и ог-

лушенно стоял, — так было здесь тесно от движения и беспрерывных, следующих один другому в тыл, замечательных по разнообразию, богатству и прихотливости маскарадных сооружений. Но первый мой взгляд, первая слетевшая через всю толпу мысль — была: Фрези Грант. Памятник возвышался в цветах; его пьедестал образовал конус цветов, небывалый ворох, сползающий осыпями жасмина, роз и магнолий. С трудом рассмотрел я вчерашний стол; он теперь был обнесен рогатками и стоял ближе к памятнику, чем вчера, укрывшись под его цветущей скалой. Там было тесно, как в яме. При моем настроении, полном не меньшего гула, чем какой был вокруг, я не мог сделаться участником застольной болтовни. Я не пошел к столу. Но у меня явилось намерение пробиться к толпе зрителей, окружавшей подножие памятника, чтобы смотреть изнутри круга. Едва я отделился от стены дома, где стоял, прижатый движением, как, поддаваясь беспрерывному нажиму и толчкам, был отнесен далеко от первоначального направления и попал к памятнику со стороны, противоположной столу, за которым, наверное, так же, как вчера, сидели Бавс, Кук и другие, известные мне по вчерашней сцене.

Попад в центр, где движение, по точному физическому закону, совершается медленнее, я купил у продавца масок лиловую полумаску и, обезопасив себя таким простым способом от острых глаз Кука, стал на один из столбов, которые были соединены цепью вокруг «Бегущей». За это место, позволяющее избегать досадного перемещения, охраняющее от толчков и делающее человека выше толпы на две или на три головы, я заплатил его владельцу, который сообщил мне в порыве благодарности, что он занимает его с утра, — импровизированный промысел, наградивший пятнадцатилетнего сорванца золотой монетой.

Моя сосредоточенность была нарушена. Заразительная интимность происходящего — эта разгульная, легкомысленная и торжественная теснота, опахиваемая напевающим пристукиванием оркестров, размещенных в разных концах площади, — соскальзывала в самую печальную душу, как щекочущее перо. Оглядываясь, я видел подобие огромного здания, с которого снята крыша. На балконах, в окнах, на карнизах, на крышах, навесах подъездов, на стульях, поставленных в экипажах, было полно зрителей. Высоко над пло-

щадью вились сотни китайских фигурных змеев. Гуттаперчевые шары плавали над головами. По протянутым выше домов проволокам шумел длинный огонь ракет, скользящих горизонтально. Прямой угол двух свободных от экипажного движения сторон площади, вершина которого упиралась в центр, образовал цепь переезжающего сказочного населения; здесь было что посмотреть, и я отметил несколько выездов, достойных упоминания.

Медленно удаляясь, покачивалась старинная золотая карета, с ладеобразным низом и высоким сиденьем для кучера, — но такая огромная, что сидящие в ней взрослые казались детьми. Они были в костюмах эпохи Ватто. Экипажем управлял Дон-Кихот, погоняя четверку богато убранных золотой, спадающей до земли сеткой, лошадей огромным копьём. За каретой следовала длинная настоящая лодка, полная капитанов, матросов, юнг, пиратов и Робинзонов; они размахивали картонными топорами и стреляли из пистолетов, причем звук выстрела изображался голосом, а вместо пуль вылетали плоские суконные крысы. За лодкой, раскачивая хоботы, выступали слоны, на спинах которых сидели баядерки, гейши, распевая игривые шансонетки. Но более всех других затей привлекло мое внимание искусно сделанное двухсаженное сердце — из алого плюша. Оно было, как живое; вздрагивая, напрягаясь или падая, причем трепет проходил по его поверхности, оно медленно покачивалось среди обступившей его группы масок; роль амура исполнял человек с огромным пером, которым он ударял, как копьём, в ужасную плюшевую рану. Другой, с мордой летучей мыши, стирал губкой инициалы, которые писала на поверхности сердца девушка в белом хитоне и зеленом венке, но как ни быстро она писала и как ни быстро стирала их жадная рука, все же не удавалось стереть несколько букв. Из левой стороны сердца, прячась и кидаясь внезапно, извивалась отвратительная змея, жала протянутые вверх руки, полные цветов; с правой стороны высовывалась прекрасная голая рука женщины, сыплющая золотые монеты в шляпу старика-нищего. Перед сердцем стоял человек ученого вида, рассматривая его в огромную лупу, и что-то говорил барышне, которая проворно стучала клавишами пишущей машины.

Несмотря на наивность аллегории, она производила сильное впечатление; и я, следя за ней, еще долго видел дымящую

юся верхушку этого маскарадного сердца, пока не произошло замешательства, вызванного остановкой процессии. Не сразу можно было понять, что стряслось. Образовался прорыв, причем передние выезды отделились, продолжая свой путь, а задние, напирая под усиливающиеся крики нетерпения, замялись на месте, так как против памятника остановилось высокое, странного вида сооружение. Нельзя было сказать, что оно изображает. Это был как бы высокий ящик, с длинным навесом спереди; его внутренность была задрапирована опускающимися до колес тканями. Оно двигалось без людей; лишь на высоком передке сидел возница с закрытым маской лицом. Наблюдая за ним, я увидел, что он повернул лошадей, как бы намереваясь выйти из цепи, причем тыл его таинственной громады, которую он катил, был теперь повернут к памятнику по прямой линии. Очень быстро образовалась толпа; часть людей, намереваясь помочь, кинулась к лошадям; другая, размахивая кулаками перед лицом возницы, требовала убраться прочь. Сбежав с своего столба, я кинулся к задней стороне сооружения, еще ничего не подозревая, но смутно обеспокоенный, так как возница, соскочив с козел, погрузился в толпу и исчез. Задняя стена сооружения вдруг взвилась вверх; там, прижавшись в углу, стоял человек. Он был в маске и что-то делал с веревкой, опускавшей сверху. Он замешкался, потому что наступил на ее конец.

Мысль этого момента напоминала свистнувший мимо уха камень: так все стало мне ясно, без точек и запятых. Я успел кинуться к памятнику и, разбросав цветы, взобраться по выступам цоколя на высоту, где моя голова была выше колен «Бегущей». Внизу сбилась дико загремевшая толпа, я увидел направленные на меня револьверы и пустоту огромного ящика, верх которого приходился теперь на уровне моих глаз.

— Стегайте, бейте лошадей! — закричал я, ухватясь левой рукой за выступ подножия мраморной фигуры, а правую протянув вперед. Еще не зная, что произойдет, я чувствовал нависшую невдалеке тяжесть угрозы и готов был принять ее на себя.

Всеобщее оцепенение едва не помогло ужасной затее. В дальнем конце просвета сооружения оторвалась черная тень, с шумом махнула вниз и, взвившись перед самым моим лицом, повернулась. Это была продолговатая чугунная

штамба, весом пудов двадцать, пущенная, как маятник, на крепком канате. Она повернулась в тот момент, когда между ее слепой массой и моим лицом прошла тень женской руки, вытянутой жестом защиты. Удар плашмя уничтожил бы меня вместе со статуей, как топор — стеариновую свечу, но поворот штамбы сунул ее в воздухе концом мимо меня, на дюйм от плеча статуи. Она остановилась и, завертась, умчалась назад. Этот обратный удар был ужасен. Он снес боковой фасад ящика, раздробив его с громом, бросившим лошадей прочь. Сооружение качнулось и рухнуло. Две лошади упали, путаясь ногами в постромках; другие вставляли на дыбы и рвались, волоча развалины среди разбегающейся толпы. Весь дрожа от нервного потрясения, я сбежал вниз и прежде всего взглянул на статую Фрези Грант. Она была прекрасна и неувредима.

Между тем толпа хлынула со всех концов площади так густо, что, потеряв шляпу и оттесненный публикой от центра сцены, где разъяренное скопище уничтожало опрокинутую дьявольскую машину, я был затерян, как камень, упавший в воду. Некоторое время два-три человека вертелись вокруг меня, ощупывая и предлагая услуги свои, но, так как нас ежеминутно грозило сбить с ног стремительное возбуждение, я был естественно и очень скоро отделен от всяких доброхотов и мог бы, если бы хотел, присутствовать далее зрителем; но я поспешил выбраться. Повсюду раздавались крики, что нападение — дело Граса Парана и его сторонников. Таким образом карнавал был смят, превращен в чрезвычайное, центральное событие этого вечера; по всем улицам спешили на площадь группы, а некоторые мчались бегом. Устав от шума, я завернул в переулок и вскоре был дома.

Я пережил настроение, которое улеглось не сразу. Я сидел, но не мог сидеть и начинал ходить, все еще полный впечатлением мигнувшей мимо виска внезапной смерти, которую отвела маленькая таинственная рука. Я слышал треск опрокинутого обратным ударом сооружения. Вся тяжесть сцен прошедшего дня соединилась с этим последним воспоминанием. Чувствуя, что не засну, я оглушил себя такой порцией виски, какую сам счел бы в иное время чудовищной, и зарылся в постель, не имея более сил ни слышать, ни смотреть, как бьется огромное плюшевое сердце, исходя ядом и золотом, болью и смехом, желанием и проклятием.

Я проснулся один, в десять часов утра. Кука не было. Его постель стояла нетронутой. Следовательно, он не ночевал, и, так как был только рад случайному одиночеству, я более не тревожил себя мыслями о его судьбе.

Когда я оделся и освежил голову потоками ледяной воды, слуга доложил, что меня внизу ожидает дама. Он также передал карточку, на которой я прочел: «Густав Бреннер, корреспондент «Рифа». Догадываясь, что могу увидеть Биче Сениэль, я поспешно сошел вниз. Довольно мне было увидеть вуаль, чтобы нравственная и нервная ломота, благодаря которой я проснулся с неопределенной тревогой, исчезла, сменясь мгновенно чувством такой сильной радости, что я подошел к Биче с искренним, невольным возгласом:

— Слава богу, что это вы, Биче, а не другой кто-нибудь, кого я не знаю.

Она, внимательно всматриваясь, улыбнулась и подняла вуаль.

— Как вы бледны! — сказала, помолчав, девушка. — Да, я уезжаю; сегодня или завтра, еще неизвестно. Я пришла так рано потому, что... это необходимо.

Мы разговаривали, стоя в небольшой гостиной, где была дверь в сад, обнесенный глухой стеной. Кроме Биче, с кресла поднялся, едва я вошел, длинный молодой человек с красным тощим лицом, в пенсне и с портфелем. Мне было тяжело говорить с ним, так как, не глядя на Биче, я видел лишь ее одну, и даже одна потерянная минута была страданием; но Густав Бреннер имел право надоесть, раскланяться и уйти. Извиняясь перед девушкой, которая отошла к двери и стала смотреть в сад, я спросил Бреннера, чем могу быть ему полезен.

Он посвятил меня в столь мне хорошо известное дело смерти капитана Геза и выразил желание получить для газеты интересующие его сведения о моем сложном участии.

Не было другого выхода отделаться от него. Я сказал:

— К сожалению, я не тот, которого вы ищите. Вы — жертва случайного совпадения имен: тот Томас Гарвей, который вам нужен, сегодня не ночевал. Он записан здесь

под фамилий Ариногел Кук, и, так как он мне сам в том признался, я не вижу надобности скрывать это.

Благодаря тяжести, лежавшей у меня на сердце, потому что слова Биче об ее отъезде были только что произнесены, я сохранил совершенное спокойствие. Бреннер насто-рожился; даже его уши шевельнулись от неожиданности.

— Одно слово... прошу вас... очень вас прошу,— поспешно проговорил он, видя, что я намереваюсь уйти.— Ариногел Кук?... Томас Гарвей... его рассказ... может быть, вам известно...

— Вы должны меня извинить,— сказал я твердо,— но я очень занят. Единственное, что я могу указать,— это место, где вы должны найти мнимого Кука. Он — у стола, который занимает добровольная стража «Бегущей». На нем розовая маска и желтое домино.

Биче слушала разговор. Она, повернув голову, смотрела на меня с изумлением и одобрением. Бреннер схватил мою руку, отвесил глубокий, сломавший его длинное тело поклон и, повернувшись, кинулся аршинными шагами уловлять Кука.

Я подошел к Биче.

— Не будет ли вам лучше в саду?— сказал я.— Я вижу в том углу тень.

Мы прошли и сели; от входа нас заслоняли розовые кусты.

— Биче,— сказал я,— вы очень, очень серьезны. Что произошло? Что мучает вас?

Она взглянула застенчиво, как бы издалека, закусив губу, и тотчас же перевела застенчивость в так хорошо знакомое мне, открытое упорное выражение.

— Простите мое неумение дипломатически окружать вопрос,— произнесла девушка.— Вчера... Гарвей! Скажите мне, что вы пошутили!

— Как бы я мог? И как бы я смел?

— Не оскорбляйтесь. Я буду откровенна, Гарвей, так же, как были откровенны вы в театре. Вы сказали тогда не много и — много. Я — женщина, и я вас очень хорошо понимаю. Но оставим это пока. Вы мне рассказали о Фрези Грант, и я вам поверила, но не так, как, может быть, хотели бы вы. Я поверила в это, как в недействительность, выраженную вашей душой, как верят в рисунок Калло, Фрагонара, Бердслэя; я не была с вами тогда. Клянусь, никогда так много не говорила я о себе и с таким

чувством странной досады! Но если бы я поверила, я была бы, вероятно, очень несчастна.

— Биче, вы не правы.

— Непоправимо права. Гарвей, мне девятнадцать лет. Вся жизнь для меня чудесна. Я даже еще не знаю ее как следует. Уже начал двоиться мир, благодаря вам: два желтых платья, две «Бегущие по волнам» и — два человека в одном! — Она рассмеялась, но спокоен был ее смех. — Да, я очень рассудительна, — прибавила Биче задумавшись, — а это, должно быть, нехорошо. Я в отчаянии от этого!

— Биче, — сказал я, ничуть не обманываясь блеском ее глаз, но говоря только слова, так как ничем не мог передать ей самого себя, — Биче, все открыто для всех.

— Для меня — закрыто. Я слепая. Я вижу тень на песке, розы и вас, но я слепа в том смысле, какой вас делает для меня почти неживым. Но я шутила. У каждого человека свой мир. Гарвей, этого не было?!

— Биче, это было, — сказал я. — Простите меня.

Она взглянула с легким, задумчивым утомлением, затем, вздохнув, встала.

— Когда-нибудь мы встретимся, быть может, и поговорим еще раз. Не так это просто. Вы слышали, что произошло ночью?

Я не сразу понял, о чем спрашивает она. Встав сам, я знал без дальнейших объяснений, что вижу Биче последний раз; последний раз говорю с ней; моя тревога вчера и сегодня была верным предчувствием. Я вспомнил, что надо ответить.

— Да, я был там, — сказал я, уже готовясь рассказать ей о своем поступке, но испытал такое же мозговое отвращение к бесцельным словам, какое было в Лиссе, при разговоре со служащим гостиницы «Дувр», тем более, что я поставил бы и Биче в необходимость затянуть конченый разговор. Следовало сохранить внешность недоразумения, зашедшего дальше, чем полагали.

— Итак, вы едете?

— Я еду сегодня. — Она протянула руку. — Прощайте, Гарвей, — сказала Биче, пристально смотря мне в глаза. — Благодарю вас от всей души. Не надо; я выйду одна.

— Как все распалось, — сказал я. — Вы напрасно провели столько дней в пути. Достигнуть цели и отказаться от нее, — не всякая женщина могла бы поступить так. Прощай-

те, Биче! Я буду говорить с вами еще долго после того, как вы уйдете.

В ее лице тронулись какие-то, оставшиеся непронизанные, слова, и она вышла. Некоторое время я стоял, бесчувственный к окружающему, затем увидел, что стою так же неподвижно,— не имея сил, ни желания снова начать жить,— у себя в номере. Я не помнил, как поднялся сюда. Постояв, я лег, стараясь победить страдание какой-нибудь отвлекающей мыслью, но мог только до бесконечности представлять исчезнувшее лицо Биче.

— Если так,— сказал я в отчаянии,— если, сам не зная того, я стремился к одному горю,— о Фрези Грант, нет человеческих сил терпеть! Избавь меня от страдания!

Надеясь, что мне будет легче, если я уеду из Гельгю, я сел вечером в шестичасовой поезд, так и не увидев более Кука, который, как стало известно впоследствии из газет, был застрелен при нападении на дом Граса Парана. Его двойственность, его мрачный сарказм и смерть за статую Фрези Грант, за некий свой, тщательно охраняемый угол души,— долго волновали меня, как пример малого знания нашего о людях.

Я приехал в Лисс в десять часов вечера, тотчас направляясь к Филатру. Но мне не удалось поговорить с ним. Хотя все окна его дома были ярко освещены, а дверь открыта, как будто здесь что-то произошло,— меня никто не встретил при входе. Изумленный, я дошел до приемной, наткнувшись на слугу, имевшего растерянный и праздничный вид.

— Ах,— шепотом сказал он,— едва ли доктор может... Я даже не знаю, где он. Они бродят по всему дому — он и его жена. Тут у нас такое произошло! Только что, перед вашим приходом...

Поняв, что произошло, я запретил докладывать о себе и, повернув обратно, увидел через раскрытую дверь молодую женщину, сидевшую довольно далеко от меня на низеньком кресле. Доктор стоял, держа ее руки в своих, спиной ко мне. Виноватая и простивший были совершенно поглощены друг другом. Я и слуга тихо, как воры, прошли один за другим на носках к выходу, который теперь был тщательно заперт. Едва ступив на тротуар, я с стеснением подумал, что Филатру все эти дни будет не до друзей. К тому же его положение требовало, чтобы он первый захотел теперь видеть меня у себя.

Я удалился с особым настроением, вызванным случайно замеченной сценой, которая, среди вечерней тишины, напоминала мне внезапный порыв Дэзи: единственное, чем я был равен в эту ночь Филатру, нашедшему свое несбывшееся. Я услышал, как она говорит, шепча: «Да,— что же мне теперь делать?»

Другой голос, звонкий и ясный, сказал мягко, подсаживая ответ: «Гарвей,— этого не было?»

— Было,—ответил я опять, как тогда.—Это было, Биче, простите меня.

ГЛАВА XXXV

Известив доктора письмом о своем возвращении, я, не дожидаясь ответа, уехал в Сан-Риоль, где месяца три был занят с Лерхом делами продажи недвижимого имущества, оставшегося после отца. Не так много очистилось мне за всеми вычетами по закладным и векселям, чтобы я, как раньше, мог только телеграфировать Лерху. Но было одно дело, тянувшееся уже пять лет, в отношении которого следовало ожидать благоприятного для меня решения.

Мой характер отлично мирится как с недостатком средств, так и с избытком их. Подумав, я согласился принять заведывание иностранной корреспонденцией в чайной фирме Альберта Витмер и повел странную двойную жизнь, одна часть которой представляла деловой день, другая — отдельный от всего вечер, где сталкивались и развивались воспоминания. С болью я вспомнил о Биче, пока воспоминание о ней не остановилось, приняв характер печальной и справедливой неизбежности... Несмотря на все, я был счастлив, что не солгал в ту решительную минуту, когда на карту было поставлено мое достоинство — мое право иметь собственную судьбу, что бы ни думали о том другие. И я был рад также, что Биче не поступилась ничем в ясном саду своего душевного мира, дав моему воспоминанию искреннее восхищение, какое можно сравнить с восхищением мужем-врагом, сказавшего опасную правду перед лицом смерти. Она принадлежала к числу немногих людей, об-

щество которых приподнимает. Так размышляя, я признавал внутреннее расстояние между мной и ею взаимно законным и мог бы жалеть лишь о том, что я иной, чем она. Едва ли кто-нибудь когда-нибудь серьезно жалел о таких вещах.

Мои письменные показания, посланные в суд, происходивший в Гель-Гью, совершенно выделили Бутлера по делу о высадке меня Гезом среди моря, но оставили открытым вопрос о появлении неизвестной женщины, которая сошла в лодку. О ней не было упомянуто ни на суде, ни на следствии, вероятно по взаимному уговору подсудимых между собой, отлично понимающих, как тяжело отразилось бы это обстоятельство на их судьбе. Они воспользовались моим молчанием на сей счет и могли объяснять его, как хотели. Матросы понесли легкую кару за участие в контрабандном промысле; Синкрайт отделился годом тюрьмы. Ввиду хлопот Ботвеля и некоторых затрат со стороны Биче Бутлер был осужден всего на пять лет каторжных работ. По окончании их он уехал в Дагон, где поступил на угольный пароход, и на том его след затерялся.

Когда мне хотелось отдохнуть, остановить внимание на чем-нибудь отрадном и легком, я вспоминал Дэзи, ворочая гремящее, не покидающее раскаяние безвинной вины. Эта девушка много раз расстраивала и веселила меня, когда, припоминая ее мелкие, характерные движения или же сцены, какие прошли при ее участии, я невольно смеялся и отдыхал, видя вновь, как она возвращает мне проигранные деньги или, поднявшись на цыпочки, бьет пальцами по губам, стараясь заставить понять, чего хочет. В противоположность Биче, образ которой постепенно становился прозрачен, начиная утрачивать ту власть, какая могла удержаться лишь прямым поворотом чувства,— неизвестно где находящаяся Дези была реальна, как рукопожатие, сопровождаемое улыбкой и приветом. Я ощущал ее личность так живо, что мог говорить с ней, находясь один, без чувства странности или нелепости, но когда воспоминание повторяло ее нежный и горячий порыв, причем я не мог прогнать ощущение прильнувшего ко мне тела этого полуребенка, которого надо было, строго говоря, гладить по голове,— я спрашивал себя:

— Отчего я не был с ней добрее и не поговорил так, как она хотела, ждала, надеялась? Отчего не попытался хоть чем-нибудь ее рассмешить?

В один из своих приездов в Леге я остановился перед лавкой, на окне которой была выставлена модель парусного судна,— большое, правильно оснащенное изделие, изображавшее каравеллу времен Васко да-Гама. Это была одна из тех вещей, интересных и практически ненужных, которые годами ожидают покупателя, пока не превратятся в неотъемлемый инвентарь самого помещения, где вначале их задумано было продать. Я рассмотрел ее подробно, как рассматриваю все, затронувшее самые корни моих симпатий. Мы редко можем сказать в таких случаях, что собственно привлекло нас, почему такое рассматривание подобно разговору,— настоящему, увлекательному общению. Я не торопился заходить в лавку. Осмотрев маленькие паруса, важную безжизненность палубы, люков, впитав всю обреченность этого карлика-корабля, который, при полной соразмерности частей, способности принять фунтов пять груза и даже держаться на воде и плыть, все-таки не мог ничем ответить прямому своему назначению, кроме как в воображении человеческого,— я решил, что каравелла будет моя.

Вдруг она исчезла. Исчезло все: улица и окно. Чьи-то теплые руки, охватив голову, закрыли мне глаза. Испуг,— но не настоящий, а испуг радости, смешанный с нежеланием освободиться и, должно быть, с глупой улыбкой, помешал мне воскликнуть. Я стоял, затеплев внутри, уже догадываясь, что сейчас будет, и мигая под шевелящимися на моих веках пальцами, негромко спросил:

— Кто это такой?

— «Бегущая по волнам»,— ответил голос, который старался быть очень таинственным.— Может быть, теперь угадаете?

— Дэзи?! — сказал я, снимая ее руки с лица, и она отняла их, став между мной и окном.

— Простите мою дерзость,— сказала девушка, краснея и нервно смеясь. Она смотрела на меня своим прямым, веселым взглядом и говорила глазами обо всем, чего не могла скрыть.— Ну, мне, однако, везет! Ведь это второй раз, что вы стоите задумавшись, а я прохожу сзади! Вы испугались?

Она была в синем платье и шелковой коричневой шляпе с голубой лентой. На мостовой лежала пустая корзинка, которую она бросила, чтобы приветствовать меня таким замечательным способом. С ней шла огромная собака, вид которой, должно быть, потрясал мосек; теперь эта собака смотрела на меня, как на вещь, которую, вероятно, прикажут нести.

— Дэзи, милая Дэзи,— сказал я,— я счастлив вас видеть! Я очень виноват перед вами! Вы здесь одна? Ну, здравствуйте!

Я пожал ее вырывавшуюся, но не резко, руку. Она привстала на цыпочки и, ухватясь за мои плечи, поцеловала меня в щеку.

— Я вас люблю, Гарвей,— сказала она серьезно и кротко.— Вы будете мне как брат, а я—ваша сестра. О, как я вас хотела видеть! Я многого не договорила. Вы видели Фрези Грант?! Вы боялись мне сказать это?! С вами это случилось? Представьте, как я была поражена и восхищена! Дух мой захватывало при мысли, что моя догадка верна. Теперь признайтесь, что—так!

— Это—так,— ответил я с той же простотой и свободой, потому что мы говорили на одном языке. Но не это хотелось мне ввести в разговор.

— Вы одна в Леге?

Зная, что я хочу знать, она ответила, медленно покачивая головой:

— Я одна, и я не знаю, где теперь Тоббоган. Он очень меня обидел тогда; может быть—и я обидела его, но это дело уже прошлое. Я ничего не говорила ему, пока мы не вернулись в Риоль, и там сказала, и сказала также, как отнеслись вы. Мы оба плакали с ним, плакали долго, пока не устали. Еще он настаивал; еще и еще. Но Проктор, великое ему спасибо, вмешался. Он поговорил с ним. Тогда Тоббоган уехал в Кассет. Я здесь у жены Проктора; она содержит газетный киоск. Старуха относится хорошо, но много курит дома,—а у нас всего три тесные комнаты, так что можно задохнуться. Она курит трубку! Представьте себе! Теперь—вы. Что вы здесь делаете, и сделалась ли у вас—жена, которую вы искали?

Она побледнела, и глаза ее наполнились слезами.

— О, простите меня! Язык мой—враг мой! Ваша сестра очень глупа! Но вы меня вспоминали немного?

— Разве вас можно забыть? — ответил я, ужасаясь при мысли, что мог не встретить никогда Дэзи.— Да, у меня сделалась жена, вот... теперь. Дэзи, я любил вас, сам не зная того, и любовь к вам шла вслед другой любви, которая пережилась и окончилась.

Немногие прохожие переулка оглядывались на нас, зажигая в глазах потайные свечки нескромного любопытства.

— Уйдем отсюда,— сказала Дэзи, когда я взял ее руку и, не выпуская, повел на пересекающий переулок бульвар.— Гарвей, милый мой, сердце мое, я исправлюсь, я буду сдержанной, но только теперь надо четыре стены. Я не могу ни поцеловать вас, ни пройтись колесом. Собака... ты тут. Ее зовут «Хлопс». А надо бы назвать «Гавс». Гарвей!

— Дэзи?!

— Ничего. Пусть будет нам хорошо!

ЭПИЛОГ

I

Среди разговоров, которые происходили тогда между Дэзи и мной и которые часто кончались под утро, потому что относительно одних и тех же вещей открывали мы как новые их стороны, так и новые точки зрения,— особенной любовью пользовалась у нас тема о путешествии вдвоем по всем тем местам, какие я посещал раньше. Но это был слишком обширный план, почему его пришлось сократить. К тому времени я выиграл спорное дело, что дало несколько тысяч, весьма помогших осуществить наше желание. Зная, что все истрачу, я купил в Леге, неподалеку от Сан-Риоля, одноэтажный каменный дом с садом и свободным земельным участком, впоследствии засаженным фруктовыми деревьями. Я составил точный план внутреннего устройства дома, приняв в расчет все мелочи уюта и первого впечатления, какое должны произвести комнаты на входящего в них человека, и поручил устроить это моему приятелю Товалю, вкус которого, его умение заставить вещи говорить знал еще с того времени,

когда Товаль имел собственный дом. Он скоро понял меня,— тотчас, как увидел мою Дэзи. От нее была скрыта эта затея, и вот мы отправились в путешествие, продолжавшееся два года.

Для Дэзи, всегда полной своим внутренним миром и очень застенчивой, несмотря на ее внешнюю смелость, было мучением высиживать в обществе целые часы или принимать, поэтому она скоро устала от таких центров кипучей общестственности, как Париж, Лондон, Милан, Рим, и часто жаловалась на потерянное, по ее выражению, время. Иногда, сказав что-нибудь, она вдруг сконфуженно умолкала, единственно потому, что обращала на себя внимание. Скоро подметив это, я ограничил наше общество — хотя оно и менялось — такими людьми, при которых можно было говорить или не говорить, как этого хочется. Но и тогда способность Дэзи переноситься в чужие ощущения все же вызывала у нее стесненный вздох. Она любила приходить сама и только тогда, когда ей хотелось самой.

Но лучшим ее развлечением было ходить со мной по улицам, рассматривая дома. Она любила архитектуру и понимала в ней толк. Ее трогали старинные стены, с рвами и деревьями вокруг них; какие-нибудь цветущие уголки среди запустения умершей эпохи, или чистенькие, новенькие домики, с бессознательной грацией соразмерности всех частей, что встречается крайне редко. Она могла залюбоваться фронтоном; запертой глухой дверью среди жасминной заросли; мостом, где башни и арки отмечены над быстрой водой глухими углами теней; могла она тщательно оценить дворец и подметить стиль в хижине. По всему этому я вспомнил о доме в Леге с застенчивым коварством.

Когда мы вернулись в Сан-Риоль, то остановились в гостинице, а на третий день я предложил Дэзи съездить в Леге посмотреть водопады. Всегда согласная, что бы ей я ни предложил, она немедленно согласилась и по своему обыкновению не спала до двух часов, все размышляя о поездке. Решив что-нибудь, она загоралась и уже не могла успокоиться, пока не приведет задуманное в исполнение. Утром мы были в Леге и от станции проехали на лошадях к нашему дому, о котором я сказал ей, что здесь мы остановимся на два дня, так как этот дом принадлежит местному судье, моему знакомому.

На ее лице появилось так хорошо мне известное стесненное и любопытное выражение, какое бывало всегда при посещении неизвестных людей. Я сделал вид, что рассеян и немного устал.

— Какой славный дом! — сказала Дэзи. — И он стоит совсем отдельно; сад, честное слово, заслуживает внимания! Хороший человек этот судья. — Таковы были ее заключения от предметов к людям.

— Судья как судья, — ответил я. — Может быть, он и великолепен, но что ты нашла хорошего, милая Дэзи, в этом квадрате с двумя верандами?

Она не всегда умела выразить, что хотела, поэтому лишь соединила свои впечатления с моим вопросом одной из улыбок, которая отчетливо говорила: «Притворство — грех. Ведь ты видишь простую чистоту линий, лишающую строение тяжести, и зеленую черепицу, и белые стены с прозрачными, как синяя вода, стеклами; эти широкие ступени, по которым можно сходить медленно, задумавшись, к огромным стволам, под тень высокой листвы, где в просветах солнцем и тенью нанесены вверх яркие и пыльные цветы удачно расположенных клумб. Здесь чувствуешь себя погруженным в столпившуюся у дома природу, которая, разумно и спокойно теснясь, образует одно целое с передним и боковым фасадами. Зачем же, милый мой, эти лишние слова, каким ты не веришь сам?»

Вслух Дэзи сказала:

— Очень здесь хорошо — так, что наступает на сердце. Нас встретил Товаль, вышедший из глубины дома.

— Здорово, друг Товаль. Не ожидала вас встретить! — сказала Дэзи. — Вы что же здесь делаете?

— Я ожидаю хозяев, — ответил Товаль очень удачно, в то время как Дэзи, поправляя под подбородком ленту дорожной шляпы, осматривалась, стоя в небольшой гостиной. Ее быстрые глаза подметили все: ковер, лакированный резной дуб, камин и тщательно подобранные картины в ореховых и малахитовых рамах. Среди них была картина Гуэро, изображающая двух собак: одна лежит спокойно, уткнув морду в лапы, смотря человеческими глазами; другая, встав, вся устремлена на невидимое явление.

— Хозяев нет, — произнесла Дэзи, подойдя и рассматривая картину, — хозяев нет. Эта собака сейчас лайнет.

Она пустит лай. Хорошая картина, друг Товаль! Может быть, собака видит врага?

— Или хозяина,— сказал я.

— Пожалуй, что она залает приветливо. Что же нам делать?

— Для вас приготовлены комнаты,— ответил Товаль, худое, острое лицо которого, с большими снисходительными глазами, рассеклось загадочной улыбкой.— Что касается судьи, то он, кажется, здесь.

— То есть Адам Корнер? Ты говорил, что так зовут этого человека.— Дэзи посмотрела на меня, чтобы я объяснил, как это судья здесь, в то время как его нет.

— Товаль хочет, вероятно, сказать, что Корнер скоро приедет.

Мне при этом ответе пришлось сильно закусить губу, отчего вышло вроде: «ычет, ыроятно, ызать, чьо, ырнер оро рыедет».

— Ты что-то ешь? — сказала моя жена, заглядывая мне в лицо.— Нет, я ничего не понимаю. Вы мне не ответили, Товаль, зачем вы здесь оказались, а вас очень приятно встретить. Зачем вы хотите меня в чем-то запутать?

— Но Дэзи,— умоляюще вздохнул Товаль,— чем же я виноват, что судья — здесь?

Она живо повернулась к нему гневным движением, еще не успевшим передаться взгляду, но тотчас рассмеялась.

— Вы думаете, что я дуручка? — поставила она вопрос прямо.— Если судья здесь и так вежлив, что послал вас рассказывать о себе таинственные истории, то будьте добры ему передать, что мы — тоже, может быть,— здесь!

Как ни хороша была эта игра, наступил момент объяснить дело.

— Дэзи,— сказал я, взяв ее за руку,— оглянись и знай, что ты у себя. Я хотел тебя еще немного помучить, но ты уже волнуешься, а потому благодари Товаль за его заботы. Я только купил; Товаль потратил множество своего занятого времени на все внутреннее устройство. Судья действительно здесь, и этот судья — ты. Тебе судить, хорошо ли вышло.

Пока я объяснял, Дэзи смотрела на меня, на Товаль, на Товаль и на меня.

— Поклонись,— сказала она, побледнев от радости,— поклонись страшной морской клятвой, что это... Ах, как глупо! Конечно же, в глазах у каждого из вас сразу по одному дому! И я-то и есть судья?! Да будь он грязным сараем...

Она бросилась ко мне и вымазала меня слезами восторга. Тому же подвергся Товаль, старающийся не потерять своего снисходительного, саркастического, потустороннего экспансии вида. Потом начался осмотр, и когда он, наконец, кончился, в глазах Дэзи переливались все вещи, перспективы, цветы, окна и занавеси, как это бывает на влажной поверхности мыльного пузыря. Она сказала:

— Не кажется ли тебе, что все вдруг может исчезнуть?

— Никогда!

— Ну, а у меня жалкий характер; как что-нибудь очень хорошо, так немедленно начинаю бояться, что у меня отнимут, испортят, что мне не будет уже хорошо...

II

У каждого человека — не часто, не искусственно, но само собой, и только в день очень хороший, среди других, просто хороших дней наступает потребность оглянуться, даже побыть тем, каким был когда-то. Она сродни перебиранию старых писем. Такое состояние возникло однажды у Дэзи и у меня по поводу ее желтого платья с коричневой бахромой, которое она хранила как память о карнавале в честь Фрези Грант, «Бегущей по волнам», и о той встрече в театре, когда я невольно обидел своего друга. Однажды начались воспоминания и продолжались, с перерывами, целый день, за завтраком, обедом, прогулкой, между завтраком и обедом и между работой и прогулкой. Говоря о насущном, каждый продолжал думать о сценах Гель-Гью и на «Нырке», который, кстати сказать, разбился год назад в рифах, причем спаслись все. Как только отчетливо набегало прошлое, оно ясно вставало и требовало обсуждения, и мы немедленно принимались переживать тот или другой случай, с жалостью, что он не может снова повториться — теперь — без неясного своего будущего. Было ли

это предчувствием, что вечером воспоминания оживут, или тем спокойным прибоем, который напоминает человеку, достигшему берега, о бездонных пространствах, когда он еще не знал, какой берег скрыт за молчанием горизонта,— сказать может лишь нелюбовь к своей жизни, равнодушное психическое исследование. И вот мы заговорили о Биче Сениэль, которую я любил.

— Вот эти глаза видели Фрези Грант,— сказала Дэзи, прикладывая пальцы к моим векам.— Вот эта рука пожимала ее руку.— Она прикоснулась к моей руке.— Там, во рту, есть язык, который с ней говорил. Да, я знаю, это кружит голову, если вдумаешься туда,— но потом делается серьезно, важно, и хочется ходить так, чтобы не просыпаться. И это не перейдет ни в кого: оно только в тебе!

Стемнело; сад скрылся и стоял там, в темном одиночестве, так близко от нас. Мы сидели перед домом, когда свет окна озарил Дика, нашего мажордома, человека на все руки. За ним шел, всматриваясь и улыбаясь, высокий человек в дорожном костюме. Его загоревшее, неясно знакомое лицо попало в свет, и он сказал:

— «Бегущая по волнам»!

— Филатр! — вскричал я, подскакивая и вставая.— Я знал, что встреча должна быть! Я вас потерял из вида после тех трех месяцев переписки, когда вы уехали, как мне говорили,— не то в Салер, не то в Дибль. Я сам провел два года в разъездах. Как вы нас разыскали?

Мы вошли в дом, и Филатр рассказал нам свою историю. Дэзи сначала была молчалива и вопросительна, но, начав улыбаться, быстро отошла, принявшись, по своему обыкновению, досказывать за Филатра, если он останавливался. При этом она обращалась ко мне, поясняя очень рассудительно и почти всегда невольно, как то или это происходило,— верный признак, что она слушает очень внимательно.

Оказалось, что Филатр был назначен в колонию прокаженных, миль двести от Леге, вверх по течению Тавассы, куда и отправился с женой вскоре после моего отъезда в Европу. Мы разминулись на несколько дней всего.

— След найден,— сказал Филатр,— я говорю о том, что должно вас заинтересовать больше, чем «Мария Целеста», о которой рассказывали вы на «Нырке». Это...

— «Бегущая по волнам»! — быстро подстегнула его плавную речь Дэзи и, вспыхнув от верности своей догадки, уселась в спокойной позе, имеющей внушить всем: «Мне только это и было нужно сказать, а затем я молчу».

— Вы правы. Я упомянул «Марию Целесту». Дорогой Гарвей, мы плыли на паровом катере в залив; я и два служащих биологической станции из Оро, с целью охоты. Ночь застала нас в скалистом рукаве, по правую сторону острова Капароль, и мы быстро прошли это место, чтобы остановиться у леса, где утром матросы должны были запасти дрова. При повороте катер стал пробиваться среди слоя плавучего древесного хлама. В том месте сотни небольших островков, и маневры катера по извивам свободной воды привели нас к спокойному круглому заливу, стесненному высоко раскинувшимся листовидным навесом. Опасаясь сбиться с пути, то есть, вернее, удлинить его неведомым блужданием по этому лабиринту, шкипер ввел катер в стрелу воды между огромных камней, где мы и провели ночь. Я спал не в каюте, а на палубе и проснулся рано, хотя уже рассвело.

Не сон увидел я, осмотрев замкнутый круг залива, а действительное парусное судно, стоявшее в двух кабельтовых от меня, почти у самых деревьев, бывших выше его мачт. Второй корабль, опрокинутый, отражался на глубине. Встряхнутый так, как если бы меня, сонного, швырнули с постели в воду, я вообразился на камень и, соскочив, зашел берегом к кораблю с кормы, разорвав в клочья куртку: так было густо заплетено во круг, среди лиан и стволов. Я не ошибся. Это была «Бегущая по волнам», судно, покинутое экипажем, оставленное воде, ветру и одиночеству. На реях не было парусов. На мой крик никто не явился. Шлюпка, полная до половины водой, лежала на боку, на краю обрыва. Я поднял заржавевшую пустую жестянку, вычерпал воду и, как весла лежали рядом, достиг судна, возбравшись на палубу по якорному тросу, с кормы.

По всему можно было судить, что корабль оставлен здесь больше года назад. Палуба проросла травой; у бортов намело листьев и сучьев. По реям, обвив их, спускались лианы, стебли которых, усеянные цветами, раскачивались, как обрывки снастей. Я сошел внутрь и вздрогнул, потому что маленькая змея, единственно оживляя салон, явила мне свою причудливую и красиво-зловещую жизнь,

скользнув по ковру за угол коридора. Потом пробежала мышь. Я зашел в вашу каюту, где среди беспорядка, разбитой посуды и валяющихся на полу тряпок, открыл кучу огромных карабкающихся жуков грязного зеленого цвета. Внутри было душно — нравственно душно, как если бы меня похоронили здесь, причислив к жукам. Я опять вышел на палубу, затем в кухню, кубрик; везде был голый беспорядок, полный мусора и москитов. Неприятная оторопь, стеснение и тоска напали на меня. Я представил розыски шкиперу, который подвел в это время катер к «Бегущей», и его матросам, огласившим залив возгласами здорового изумления и ретиво принявшимся забирать все, что годилось для употребления. Мои знакомые, служащие биологической станции, тоже поддались азарту находок и провели полдня, убивая палками змей, а также обшаривая все углы, в надежде открыть следы людей. Но журнала и никаких бумаг не было; лишь в столе капитанской каюты, в щели дальнего угла ящика застрял обрывок письма; он хранится у меня, и я покажу вам его как-нибудь.

— Могу ли надеяться, что вы прочтете это письмо, которого я не хотел... Должно быть, писавший разорвал письмо сам. Но догадка есть также и вопрос, который решать не мне.

Я стоял на палубе, смотря на верхушки мачт и вершины лесных великанов-деревьев, бывших выше мачт, над которыми еще выше шли безучастные, красивые облака. Оттуда свешивалась, как застывший дождь, сеть лиан, простирая во все стороны щупальца надеющихся, замерших завитков на конце висящих стеблей. Легкий набег ветра привел в движение эту перепутанную по всему устойчивому на их пути армию озаренных солнцем спиралей и листьев. Один завиток, раскачиваясь взад-вперед очень близко от клотика грот-мачты, не повис вертикально, когда ветер спал, а остался под небольшим углом, как придерживанный на подъеме маятник. Он делал усилие. Слегка поддал ветер, и, едва коснувшись дерева, завиток мгновенно обвился вокруг мачты, дрожа, как струна.

Дэзи, став тихой, неподвижно смотрела на Филатра сквозь пелену слез, застилавших ее глаза.

— Что с тобой? — сказал я, сам взволнованный, так как ясно представил все, что видел Филатр.

— О,— прошептала она, боясь говорить громко, чтобы не расплакаться.— Это так прекрасно! И так грустно и так хорошо, что это все — так!

Я имел глупость спросить, чем она так поражена.

— Не знаю,— ответила Дэзи, вытирая глаза.— Потом я узнаю. Рассказывайте, дорогой доктор.

Заметив ее нервность, Филатр сократил рассказ свой. Они выбрались из лабиринта островов с изрядным трудом. Надеясь когда-нибудь встретить меня, Филатр постарался разузнать через Брауна о судьбе «Бегущей». Лишь спустя два месяца он получил сведения. «Бегущая по волнам» была продана Эку Летри за полцены и ушла в Аквитан тотчас после продажи под командой капитана Геруда. С тех пор о ней никто ничего не слышал. Стала ли она жертвой темного замысла, не известного никому плана, или спаслась в дебрях реки от преследований врага; вымер ли ее экипаж от эпидемии, или, бросив судно, погиб в чаще от голода и зверей? — узнать было нельзя. Лишь много лет спустя, когда по Тавассе стали находить золото, возникло предположение авантюры, золотой мечты, способной обращать взрослых в детей, но и с этим, кому была охота, мирился только тот, кто не мог успокоиться на неизвестности. «Бегущая» была оставлена там, где на нее случайно наткнулся катер, так как не нашлось охотников снова разыскивать ограбленное дотла судно, с репутацией, питающей суеверия.

— Но этого не довольно для меня и вас,— сказал Филатр, когда переговорили и передумали обо всем, связанном с кораблем Сениэлей.— Не дальше как вчера я встретил молодую даму — Биче Сениэль.

Глаза Дэзи высохли, и она задержала улыбку.

— Биче Сениэль? — сказал я, понимая лишь теперь, как было мне важно знать о ее судьбе.

— Биче Каваз.

Филатр задержал паузу и прибавил:

— Да. На пароходе в Риоль. Ее муж, Гектор Каваз, был с ней. Его жене нездоровилось, и он пригласил меня, узнав, что я врач. Я не знал, кто она, но начал догадываться, когда, услышав мою фамилию, она спросила, знаю ли я Томаса Гарвея, жившего в Лиссе. Я ответил утвердительно и много рассказал о вас. Осторожность удерживала меня передать лишь нам с вами

известные факты того вечера, когда была игра в карты у Стерса, и некоторые другие обстоятельства, иного порядка, чем те, о каких принято говорить в случайных знакомствах. Но, так как разговор коснулся истории корабля «Бегущая по волнам», я счел нужным рассказать, что видел в лесном заливе. Она говорила сдержанно, и даже это мое открытие корабля вывело ее из покойного состояния только на один момент, когда она сказала, что об этом следовало бы непременно узнать вам. Ее муж, замечательно живой, остроумный и приятный человек, рассказал мне, в свою очередь, о том, что часто видел первое время после свадьбы во сне, — вас, на шлюпке вдвоем с молодой женщиной, лицо которой было закрыто. Тогда обнаружилось, что ему известна ваша история, и разговор, став откровеннее, вернулся к событиям в Гель-Гью. Теперь он велся непринужденно. Ни одного слова не было сказано Биче Каваз об ее отношениях к вам, но я видел, что она полна уверенной задумчивости — издали, как берег смотрит на другой берег через синюю равнину воды.

— «Он мог бы быть более близок вам, дорогая Биче, — сказал Гектор Каваз, — если бы не трагедия с Гезом. Обстоятельства должны были сомкнуться. Их разорвала эта смута, эта внезапная смерть».

— «Нет, жизнь, — ответила молодая женщина, взглядывая на Каваза с доверием и улыбкой. — В те дни жизнь поставила меня перед запертой дверью, от которой я не имела ключа, чтобы с его помощью убедиться, не есть ли это имитация двери. Я не стучусь в наглухо закрытую дверь. Тотчас же обнаружилась невозможность поддерживать отношения. Не понимаю — значит, не существует!»

— «Это сказано запальчиво!» — заметил Каваз.

— «Почему? — она искренне удивилась. — Мне хочется всегда быть только собой. Что может быть скромнее, дорогой доктор?»

— «Или грандиознее», — ответил я, соглашаясь с ней.

У нее был небольшой жар — незначительная простуда. Я расстался под живым впечатлением ее личности — впечатлением неприкосновенности и приветливости. В Сан-Риоле я встретил Товая, зашедшего ко мне; увидев мое имя в книге гостиницы, он, узнав, что я тот самый доктор Филатр, немедленно сообщил все о вас. Нужно ли говорить, что я тотчас собрался и поехал, бро-

сив все дела колонии? Совершенно верно. Я стал забывать. Биче Каваз просила меня, если я вас встречу, передать вам ее письмо.

Он порывлся в портфеле и извлек небольшой конверт, на котором стояло мое имя. Посмотрев на Дэзи, которая застенчиво и поспешно кивнула, я прочел письмо. Оно было в пять строчек: «Будьте счастливы. Я вспоминаю вас с признательностью и уважением. Биче Каваз».

— Только-то...— сказала разочарованная Дэзи.— Я ожидала большего.— Она встала, ее лицо загорелось.— Я ожидала, что в письме будет признано право и счастье моего мужа видеть все, что он хочет и видит,— там, где хочет. И должно еще было быть: «Вы правы, потому что это сказали вы, Томас Гарвей, который не лжет».— И вот это скажу я за всех: Томас Гарвей, вы правы. Я сама была с вами в лодке и видела Фрези Грант, девушку в кружевном платье, не боящуюся ступить ногами на бездну, так как и она видит то, чего не видят другие. И то, что она видит,— дано всем; возьмите его! Я, Дэзи Гарвей, еще молода, чтобы судить об этих сложных вещах, но я опять скажу: «Человека не понимают». Надо его понять, чтобы увидеть, как много невидимого. Фрези Грант, ты есть, ты бежишь, ты здесь! Скажи нам: «Добрый вечер, Дэзи! Добрый вечер, Филатр! Добрый вечер, Гарвей!»

Ее лицо сияло, гневало и смеялось. Невольно я встал с холодом в спине, что сделал тотчас же и Филатр,— так изумительно зазвенел голос моей жены. И я услышал слова, сказанные без внешнего звука, но так отчетливо, что Филатр оглянулся.

— Ну вот,— сказала Дэзи, усаживаясь и облегченно вздыхая,— добрый вечер и тебе, Фрези!

— Добрый вечер! — услышали мы с моря.— Добрый вечер, друзья! Не скучно ли на темной дороге? Я тороплюсь, я бегу...

Рассказы

1923 - 1929

СЕРЫЙ АВТОМОБИЛЬ

I

16 июля, вечером, я зашел в кинематограф, с целью отогнать неприятное впечатление, навеянное последним разговором с Корридой. Я встретил ее переходящей бульвар. Еще издали я узнал ее порывистую походку и характерное размахивание левой рукой. Я раскланялся, пытаясь отыскать тень приветливости в этих больших, с несколько удивленным выражением глаз, выглядящих так строго под гордым выгибом шляпы.

Я повернулся и пошел рядом с ней. Она шла скоро, не убавляя и не прибавляя шага, иногда взглядывая в мою сторону, помимо меня. Я замечал, что на нее часто оглядываются прохожие, и радовался этому. «Некоторые думают, вероятно, что мы муж и жена, и завидуют мне». Я так увлекся развитием этой мысли, что не слышал обращений Корриды, пока она не крикнула:

— Что с вами? Вы так рассеяны.

Я ответил:

— Я рассеян лишь потому, что иду с вами. Ничье другое присутствие так не распыляет, не наполняет меня глубокой, древней музыкой ощущения полноты жизни и совершенного спокойствия.

Казалось, она была не очень довольна этим ответом, так как спросила:

— Когда окончите вы ваше изобретение?

— Это тайна,— сказал я.— Я вам доверяю более, чем кому бы то ни было, но не доверяю себе.

— Что это значит?

— Единственно, что неточным объяснением замысла, еще во многих частях представляющего сплошной туман, могу повредить сам себе.

— Тысяча вторая загадка Эбenezера Сиднея,— заметила Коррида.— Объясните по крайней мере, что подразумеваете вы под неточным объяснением?

— Слушайте: лучше всего мы помним те слова, которые произносим сами. Если эти слова рисуют что-либо заветное, они должны совершенно отвечать факту и чувству, родившему их, в противном случае искажается наше воспоминание или представление. Примесь искажения остается надолго, если не навсегда. Вот почему нельзя кое-как, наспех, излагать сложные явления, особенно если они еще имеют произойти: вы вносите путаницу в самый процесс развития замысла.

Эту тираду мою она выслушала с любезной миной, но насторожась; я чувствовал, что мое общество становится ей все тягостнее. Мы молчали. Я не знал, попроситься мне или идти далее. К последнему я не видел поощрения, наоборот, лицо Корриды выглядело так, как если бы она шла одна. Наконец, она сказала:

— Брат подарил мне новый «Эксцельсиор». Большое общество отправляется на прогулку через два дня; это будет настоящее маленькое скорострельное путешествие. Я присоединяюсь. Хотите, я возьму вас с собой?

— Нет,— сказал я твердо, хотя острое мучение она слышала, надо думать, в тоне этого слова. Не желая показаться грубым, я прибавил: — Вы знаете, как я ненавижу этот род спорта.— Я едва не сказал: «эти машины», но предпочел более общее уклонение.

— Но почему?

— Я некогда довольно распространился об этом в вашем присутствии,— сказал я,— я вызвал веселый,

слишком веселый смех, и не хотел бы слышать его второй раз.

— Решительно вы озадачиваете меня.— Она остановилась у подъезда, взглянув мельком, прищуренными глазами на вывеску мод, и я понял, что надоел. Вывеска была только предлогом.— Да, вы озадачиваете меня, Сидней, и я думаю, что лишь плохое состояние ваших нервов причиной такой странной ненависти к... экипажу.— Она рассмеялась.— Прощайте.

Я поцеловал ее руку и поспешно ушел, чтобы не уличить случайно эту девушку в дезертирстве — она могла выйти, не посмотрев, здесь ли я еще.

Мне не было стыдно. Я мог бы любезно лгать, поехать с компанией идиотов и долго, долго смотреть на нее. Но я уже дал слово не лгать, так очень устал от лжи. Как все, я жил окруженный ложью, и ложь утмила меня.

Когда я переходил улицу, направляясь в кинематограф, под ноги мне кинулся дрожащий, растущий, усиливающийся свет и, повернув голову, я застыл на ту весьма малую часть секунды, какая требуется, чтобы установить сознанию набег белых слепых фонарей мотора. Он промчался, ударив меня по глазам струей ветра и расстилая по мостовой призраки визжащих кошек,— занял, взвыл и исчез, унося людей с тупыми лицами в котелках.

Как всегда, каждый автомобиль прибавлял несколько новых черт, несколько деталей моему отвращению. Я запомнил их и вошел в зал.

Это был скверный театрик третьего разряда, с грязным экраном и фальшивящей пианолой. Она разыгрывала трескучие арии. Картина, каких много — тысячи, десятки тысяч, была пуста и бессодержательна, но доставляла мне огромное удовольствие именно тем, что для ее развития затрачено столько энергии,— непрерывного, мелькающего движения экранной жизни. Я как бы видел игрока, ставящего безуспешно огромные суммы. Аппарат, силы и дарование артистов, их здоровье, нервы, их личная жизнь, машины, сложные технические приспособления — все это было брошено судорожною тенью на полотно ради краткого возбуждения зрителей, пришедших на час и уходящих, позабыв, в чем состояло представление,— так противно их внутреннему темпу, так не-

естественно опережая его, неслись все эти нападения и похищения, пиры и танцы. Мое удовольствие, при всем том, было не более как злорадство. На моих глазах энергия переходила в тень, а тень в забвение. И я отлично понимал, к чему это ведет.

Между тем, частью рассматривая содержание картины, я обратил другую, большую часть внимания на появляющийся в ней время от времени большой серый автомобиль — ландо. Я всматривался каждый раз, как он появлялся, стараясь припомнить — видел я его где-либо ранее или мне это только кажется, как часто бывает при схожести видимого предмета с другим, теперь забытым. Это был металлический урод обычного типа, с выползающей шестигранной мордой, напоминающий поставленную на катушки калашу, носок которой обращен вперед. На шофере был торчащий ежом мех. Верхнюю половину лица скрывали очки, благодаря чему, особенно в условиях мелькающего изображения, рассмотреть черты лица было невозможно, — и однако я не мог победить чувства встречи; я проникся уверенностью, что некогда видел этого самого шофера, на этой машине, при обстоятельствах давно и прочно забытых. Конечно, при бесчисленной стереотипной схожести подобных явлений, у меня не было никаких зрительных указаний — никаких примерно индивидуальных черт мотора, — но его цифра С. С.— 77 — 7, — некогда — я остро чувствовал это — имела связь с определенным уличным впечатлением, характер и суть которого, как ни тщился я вспомнить, не мог. Память сохранила не самый номер, но слабые ощущения его минувшей значительности.

Однако этого не могло быть. Фильма вышла из американской фабрики, и съемка различных ее сцен была произведена, судя по характеру улиц, в Нью-Йорке, следовательно, тамошняя бутафория пользовалась предметами местными; я же не выезжал из Аламбо лет пять и никогда не был в Америке. Следовательно, мое воспоминание было не более как эффектом случайного происхождения. И тем не менее, — этот автомобиль с этим шофером я видел.

Когда нами овладевает уверенность в чем-нибудь, хотя бы мало- или совсем необоснованная, бороться с ней так же трудно, как птице, севшей на вымазанные клеєм листья, — каждое движение прочь ловит и связывает ее

крылья новой помехой. Таковы фантомы ревности или преследования, болезни — всего, что так или иначе угрожает. Самые разумные усилия приводят здесь к новым доказательствам, возникающим из пустоты. Уверенность того рода, какой я проникся в кинематографе, не имела ничего пугающего или неприятного, если не считать моего отвращения к автомобилю, но я досиживал сеанс со странным чувством начала некоего события, ткущего уже невидимую паутину свою.

Я не касаюсь персонажей той хищной и дрянной пьесы, которая держала на привязи жалкое воображение зрителей чрезмерными прыжками и сатанинскими преступлениями, очевидно, смакуемыми известного рода публикой, выносящей отсюда азарт и идеал свой... Но автомобиль С. С.—77—7 я прослеживал каждый раз чрезвычайно внимательно, волнуясь при каждом его появлении. Их было шесть или семь. Наконец, он выкатился с холма издали серым наростом среди живописных картин дороги и начал валиться по ее склону на зрителя, увеличиваясь и приближаясь к натуральной величине. Он мчался на меня. Одно мгновение края полотна были еще частью пейзажа, затем все вспыхнуло тьмой, оскалившей два наносящиеся фонаря, и призрак исчез, лишь тень — воображенное продолжение движения — рыскнула над головой бесшумной дрожью сумерек; и вновь вспыхнул пейзаж.

Более мне нечего было делать в кинематографе. К моим соображениям относительно автомобиля прибавилась еще одна черта, может быть — верное указание, одно из тех, которым мы бываем обязаны так называемой случайности. Это соображение я пока не развертывал, оставляя будущему придать ему силу — если понадобится — действия, но холод великого подозрения уже охватил меня. Поддавшись необъяснимому толчку — словно на меня пристально обернулся кто-то — я прочел аршинные буквы ярко озаренного плаката, украшавшего вход в театр.

Название гласило:

СЕРЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Мировая драма в 6.000 метров!

Лучший боевик сезона!

Масса трюков!

Нечто весьма неприятное вошло в меня, как будто мне наступили на ногу, нагло рассмеявшись и продолжая подсмеиваться за спиной. Поспешно я отошел, стараясь быстрой ходьбой и мелкими уличными наблюдениями разогнать скверное настроение, но оно медленно уступало моим усилиям, ловя каждую паузу размышлений, чтобы опять поставить, на некотором расстоянии впереди меня, слова «серый автомобиль». Хотя как я прошел два квартала, графическая отчетливость букв исчезла — их заменил звук, казалось, эти два слова повторял кто-то далеко, тихо и тяжело. Я всегда избегал алкоголя, обращаясь к нему лишь в исключительных случаях, но теперь почувствовал необходимость выпить чего-нибудь.

Как известно, улица современного города подстерегает каждое желание наше, спеша удовлетворить его всегда кстати подвернувшейся вывеской или витриной. Я совершенно уверен, что человек, проходя фруктовыми рядами Голландской Биржи и почувствовавший нужду в каком-нибудь геодезическом инструменте, непременно увидит инструмент этот в окне невесть откуда взявшегося специального магазина.

Вино караулит нас в самых, казалось бы, для того неприспособленных местах. Что может быть вину убыточнее глухого угла между стеной Географического Института и Бульвара Секретов, где даже днем так густы тени огромных деревьев, что вся стена пахнет прохладой и сыростью; там почти нет эпилептического уличного движения, брызги которого разлетаются по бесчисленным ресторанам, звеня золотом и посудой. Однако, оглянув этот угол, я увидел небольшую каменную пристройку, которой либо не было ранее, либо я не замечал ее. Эта пристройка, на два окна со стеклянной дверью меж ними, была маленьким рестораном, окруженным трельяжем, и я сел за стол у двери в качалку.

Здесь было немного посетителей. Смотря через окно в помещение, я увидел двух толстяков, играющих в домино, дремлющего, протянув ноги, пароходного механика с опущенной со стола кистью руки, в которой еле дымилась готовая упасть папироска, и трех закинувших ногу на ногу женщин; они курили, забрасывая лицо

вверх и выпуская дым медленными, однообразными кольцами.

Лакей подал ликер. Это был особенный травяной экстракт, очень крепкий. Я выпил две рюмки, выпил, помедлив и оставив графин, третью.

Действие не замедлило сказаться. Я ощутил ровную теплоту и точный ритм момента, быть может, определяемый скоростью биения сердца, может быть — пульсом внимания, интервалами его плавно набегающей остроты; мышление протекало интенсивно и бодро. Выпив, я рассмеялся над своим недавним волнением, прислушиваясь к свистящему по временам шелесту шин, с ясным сознанием, что меж мной и серым 77—7 не может возникнуть никакой связи, что ее нет. Уравновешенно остер и точен был я в тот момент в каждом отчетливом впечатлении своем — состояние, дающее ни с чем не сравнимое удовольствие, и я пользовался этой минутой, чтобы обдумать некоторые моменты моего изобретения.

Коррида Эль-Бассо, женщина неизвестной национальности — я говорю это смело, так как имею для того веские основания, — была заинтересована моим изобретением из вежливости. От меня зависело превратить эту форму чувства, эту пустую приятную улыбку, вызванную хорошим пищеварением, в чувство, быть может, в страсть. На это я не терял надежды. Но я должен был поразить и тронуть ее сразу, врасплох, может быть, в такую минуту, когда мое присутствие ею будет только терпимо. Когда наступит момент, изобретение — или вернее, то о чем она думает, как об изобретении — встретит ее всем блеском и обдуманностью крайней, болезненной, всеохватывающей решимости, — оно вызовет глубокое и яркое возрождение. Тем лучше. Тогда я узнаю истинную природу женщины Корриды Эль-Бассо, которую полюбил. Я увижу, есть ли другой отблеск в ее лице цвета желтого мела. Я услышу, как звучит ее голос, говоря «ты». И я почувствую силу ее руки, — ту особенную женскую силу, которая, переходя теплом и молчанием в наши руки, так электрически замедляет дыхание.

Удобно покачиваясь, я был мысленно в своей «лаборатории», в ущелье Калло, окрещенном так, вероятно, родственником знаменитого художника или его поклонником. На мое плечо легла легкая нервная рука; не

оборачиваясь, я знал, что это Ронкур. Действительно, он сел против меня, спрашивая, что я делаю здесь?

— Отличное место для свидания,— прибавил он,— или для самоубийства. Свет окна, таинственная сеть листьев на тротуаре, одиночество и вино. Сидней, я иду в казино Лерха, там сегодня состоится оригинальное состязание. Это в вашем вкусе. Вы слышали о необыкновенном счастье мулата Гриньо? Вот уже третий день, как он выигрывает беспрерывно в покер, собрав, кроме золота и драгоценностей, целый том чеков. Хотите посмотреть на игру? Там толпа.

Лучшего предложения мне не мог сделать никто. Отлично, если в сложном узле жизни, трудясь над ним, выберете вы отдыхом интересный спектакль, еще отличное, если представление возникло самостоятельно, если вам предстоит развязка подлинного события с хором, статистами и неподдельной экспрессией главных героев сцены. Ронкур взял меня под руку и увел.

III

Казино Лерха известно как колоссальный приют всякому преступлению. На его фронтоне ночью таинственно и печально белеет мраморная Афина-Паллада. У озаренных ступеней, сходящих веером к скверу, толпятся продавцы кокаина, опиума и сладострастных фотографий.

Длинная цепь автомобилей стояла здесь по обе стороны мостовой. Время от времени один из них, вздрагивая и гудя, уходил из строя полукругом, взвевал пыль и, пророкотав, исчезал вдали. Каждый раз, как я видел это, у меня поднималось к сердцу ощущение чужого всему, цинического и наглого существа, пролетающего с холодной душой огромные пространства ради цели невыясненной. Обычно, продолговатые ямы этих массивных, безумных машин были полны людей, избравших тот или другой путь доброй волей,— но у зрения есть своя логика, отличная от логики отвлеченной. Я никогда не мог сказать сам себе: «Они едут»; я говорил: «Их увозят», наше обычное знание внутреннего, общего для всех темпа не могло слить этот темп с неестественной быстротой среди яв-

лений, находящихся по отношению друг друга в испытанном и привычном равновесии. Проходя улицей, я был всегда расстроен и охвачен атмосферой насилия, рассеиваемой стрекочущими и скользящими с быстротой гигантских жуков сложными седалищами. Да,— все мои чувства испытывали насилие; не говоря о внешности этих, словно приснившихся машин, я должен был резко останавливать свою тайную, внутреннюю жизнь каждый раз, как исступленный, нечеловеческий окрик или визг автомобиля хлестал по моим нервам; я должен был отскакивать, осматриваться или поспешно ютиться, когда, грубо рассекая уличное движение, он угрожал мне искалечением или смертью. При всем том он имел до странности живой вид, даже когда стоял молча, подстерегая. С некоторого времени я начал подозревать, что его существование не так уж невинно, как полагают благодушные простаки, воспевающие культуру или, вернее, вырождение культуры, ее ужасный гротеск...

— Прочь из четвертого измерения! — сказал Ронкур, видя, что я молча остановился на тротуаре.— Феи покидают вас, так как фонари этого подъезда могут причинить им бессонницу.

Особенностью притона была удручающая, крикливая роскошь,— правильный расчет на бессознательное,— иллюстрация к выигрышу. Мы поднялись среди блестящей заразы голубоватого света и женских тел, взвивающих на перспективах огромных картин легкие ткани. По коврам, заставляющим терять ощущение ног, мы пробрались через изысканно одетую толпу, под навесы пальмовых листьев; здесь, имея за спиной мраморную группу фонтана, а перед собой — дрожащие руки только что обнищавшего игрока, мулат Гриньо давал блестящий спектакль.

IV

Я встал на возвышение у стены, Ронкур рядом со мной. Так был отлично виден и стол и лица играющих,— их было семь человек, считая мулата. У стола волновалась прикидывающая пари толпа.

Мулат сидел, расставив локти, с засученными рукавами сорочки, без сюртука. На его полном, кофейного

цвета лице блестел мелкий пот. Черная борода, обходя щеки и подбородок жестким кольцом, двигалась, когда, играя сжатыми челюстями, обдумывал он прикупку или повышение ставки. Он очень часто объявлял «масть» и «фульгент», но часто и пасовал. Две ставки на моих глазах по десять и двадцать тысяч он загреб, показав всего тройку дам, в то время как противник его имел один раз — две пары семерок, второй — трех валетов. Был случай, что на каре он бросил каре с «джокером». Игра шла с «джокером», и я заметил, что «джокер» приходит к нему довольно часто.

Еще подходя к столу, я заметил, как уже упомянул об этом, игрока, бросившего бессильные карты в волнении, выказывавшем окончательный проигрыш. При мне было довольно денег, и я стал следить за игроком, чтобы сесть на его место, если он вздумает оставить стол. Это случилось скоро. Насильственно зевая, игрок встал с бледным лицом, толпа расступилась и вновь сомкнулась, когда он выбрался из ее сжимающего кольца.

Кресло стояло пустым. Взглянув на Ронкура, ответившего мне хладнокровно одобрительной улыбкой, я занял место, имея мулата прямо перед собой. Он даже не взглянул на меня. Крупье сдал карты; мои были лишены масти и далеки от «последовательности», короче говоря, они не представляли никакой силы; однако я не сказал «пас», но, сбросив карты, купил все пять. Теперь образовался фульгент, благодаря «джокеру», пришедшему при покупке. Как известно, «джокер» есть карта с изображением дьявола, — пятьдесят третья в колоде; она имеет условное значение — получивший «джокер» может объявить его любой картой любой масти. У меня были десятка, три семерки и «джокер»; считая его четвертой семеркой, я имел сильную комбинацию из четырех одинаковых, т. е. «каре».

— «Тысяча», — сказал я, — когда пришла моя очередь набавлять. Игрок слева бросил карты, второй сделал то же, третий сказал: «Две». — «Пять», — сказал Гриньо. При втором круге — как это почти всегда бывает, если не объявится не уступающий третий игрок, играющими остались я и Гриньо.

— Десять, — сказал я, с миной и азартом новичка, желающего испугать противника. Гриньо тускло посмотрел на меня и в тон мне ответил «сто».

Теперь следовало согласиться на его сумму и открыть карты или назвать еще большую сумму, после чего он мог, если хотел, отказаться от сравнения карт, лишившись своих ста тысяч без игры. В том же положении был и я. Такова игра покер; двое, не показывая друг другу карт, назначают поочередно все большие суммы, пока кто-нибудь не струсит, опасаясь, что может отдать еще больше, если карта противника окажется сильнее его карт; или же, согласившись на последнюю названную противником сумму, открывает одновременно с ним карты, — чьи сильнее, тот забирает ставки противника и всех других игроков.

Естественно, я не знал, что на руках у мулата. У него сильнее моего «каре» могло быть: «каре» из более крупных карт, чем семерка; затем последовательность пяти карт одной масти, идущих в определенной градации: например, — от шестерки к десятке, или от десятки к тузу. В этих случаях он выигрывал, если, конечно, не бросил бы карт, испугавшись моего неизвестного, — прими я вид полной уверенности в победе, назначая ставку все большую. Но он мог и не испугаться, и когда, таким образом, мы открыли бы наконец свои карты, оказалось бы, что я сам навязал ему больший выигрыш, чем он рассчитывал получить.

Равным образом его карты могли быть слабее моих, они могли не иметь совсем никакой силы, если на прикупке (он сбросил и прикупил четыре) у него не образовалось даже минимального шанса — одной пары одинаковых карт, — комбинация, на которой, при смелости, вернее, отчаянности, выигрывают иногда большие суммы, если противник, вообразив, что на него нападают с каре, бросает быть может фульгент.

Итак, мы ничего не знали взаимно о силе карт наших. Слышав уже о дерзкой игре мулата, я предполагал вначале с его стороны простой блеф, но величина поставленной им суммы говорила за то, что у него как бы есть основание играть крупно. Мне представлялось три положения: открыть карты, быть может проиграв, если он сильнее меня; назначить более ста, давая тем возможность Гриньо назначить еще выше назначенного, или бросить игру, уплатив десять тысяч.

Я и собирался уже поступить так, не имея особенных оснований рисковать крупной суммой ради каре из семе-

рок. Я еще раз рассмотрел карты, несколько удивленный тем, что спутался в счете семерок, — их было четыре. Одну из них, именно червонную, я считал десяткой, — почему — этого объяснить я не в состоянии. Таким образом, мой «джокер», — моя пятая карта, которую я мог обозначить, как любую карту, естественно, была пятой семеркой, — предел могущества в покере, — пять одинаковых карт, вещь, случающаяся крайне редко. Имея на руках четыре одинаковых карты с «джокером» в придачу, вы можете обобрать противника до последней копейки, однако при условии, что он тоже имеет сильную карту.

Так я и намеревался поступить. Не следовало ничем не выдать себя, нужно было внушить Гриньо, что у меня, самое большое, — крупный «фульгент»¹. Условием такого приема явилось предположение, что я имею дело с картой, не слабее фульгента. Приложив ко лбу указательный палец, я задумался — притворно, конечно, — над своей пятеркой и сжал губы, чтобы показать этим напряженный расчет. В то же время в задачу мою входило, чтобы Гриньо понял, что я притворяюсь, но неискусно; что у меня — пусть он так думает — карта слаба, так как обычно притворное колебание выражают при слабой карте, желая внушить обратное — что карта сильна, это противоречие станет понятно, если я прибавлю, что игрок с действительно сильной картой действует решительно и крупно, в расчете сбить встречный расчет. Короче говоря, действия мои должны были свестись к тому, чтобы вызвать в Гриньо заключение, обратное действительности. И я начал с долгого колебания.

Теперь, когда он, по-видимому, думал, что я притворяюсь с слабой картой, надо было показать иное — притворство с картой могущественной. Если бы он догадался, что я бью наверняка, он бросил бы карты и не стал набавлять более. Но я сказал:

— Триста тысяч.

Это была сумма, в два раза превышающая мое состояние. Но я играл наверняка, я мог назначать миллионы, ничем решительно не рискуя.

Настала такая тишина, какая бывает, когда все уходит. Но, подняв голову, я увидел бесчисленную портрет-

¹ Две и три одинаковых: две дамы, три шестерки, примерно.

(Прим. автора.)

ную галерею алчбы, горевшей в глазах зрителей; черты их лиц стали лесом, дрожащим от возбуждения. Мулат и я были для них божествами, держащими в руках гром.

— Чек, — хрипло сказал мулат, тяжело и остро взглядывая на меня.

Как ни всматривался, я не мог понять его состояния. Он смотрел, ничем не выдавая себя, положив обе руки горкой на свои карты и тупо смотря на стол посредине расстояния меж мною и им. Отложив карты, я стал писать чек, медленно и кругло выводя буквы, ровными строчками. Перед тем как подписаться, я сморщил нос, рассеянно взглянул на мулата и подмахнул: Эбенезер Сидней.

Когда я взглянул на него, то увидел, что мизинец его левой руки предательски дрогнул. Все стало ясно мне. Он волновался, потому что у него наверняка было каре. Он волновался от жадности, рассчитывая сорвать состояние. Как знаете вы, — мне волноваться не было никаких причин, и я мог разыгрывать сколько угодно вид человека, «дьявольски владеющего собой».

Написав чек, я подал его крупье.

— Чек на триста тысяч долларов, королевскому банку в Энтвей, — громко сказал крупье.

Гриньо, видимо, повеселел.

— Пятьсот тысяч, — небрежно заявил он, сдвигая на середину стола все деньги и чеки, какие лежали перед ним.

— Принимаю, — холодно сказал я.

Рокот восхищения обошел стол. Удар на полмиллиона долларов! Ронкур смотрел на меня взглядом птички, зрящей змею. Наступил момент открыть карты. Игроки, заключавшие пари, перестали дышать.

— Ну, — сказал я, смеясь, — Гриньо, выкладывайте ваше каре!

Он перевернул карты, пристукнув кистью руки, так что туз отлетел в сторону. Но там их было еще три — каре из тузов, вот что было в его руках! Бешеный рев покрыл это движение, яростный взрыв облегчения со стороны поставивших за Гриньо. Казалось, вихрь разметал толпу, она смешалась и переместилась с быстротой нападения. Ронкур горестно побледнел, я видел в его измятом лице истинное, большое горе. Почти никогда не по-

бывают такой карты. Он знал мои денежные дела, поэтому, спокойно достав чековую книжку, спросил вполголоса:

— Вам сколько, Сидней?

— Вы ошиблись,— сказал я, показывая свои пять с улыбающимся чертом и раскладывая их одна к одной.— Гриньо, нравится вам этот джентльмен?

Момент не поддается изображению. Я не слышал криков и воплей, так как наслаждался бесконечно выражением лица опешившего мулата.

— Ваша...— сказал он сквозь звуки, напоминающие вой. Затем он откинулся, глаза его закатились... он был в обмороке. Пока его выносили, крупье, сосчитав деньги, передал их мне, заметив, что не хватает десяти тысяч. Он вызвался навести справки и ушел, я же разговаривал с Ронкуром, окруженный множеством добровольных рабов, этих щегольски одетых парий каждого крупного притона, льнущих к золотой пыли.

Меж тем вернулся крупье, и я прочитал залитую вином записку Гриньо: «Немного денег я пришлю завтра,— писал он,—но полностью у меня не хватит. Но я пришлю, в расчет ваш, новую машину, С. С. 77—7, я недавно купил ее. Если хотите. В противном случае вам придется ждать, пока дьявол придет ко мне».

— Что с вами?— спросил Ронкур, видя, что я встал. Я был против зеркала и, посмотрев в него, понял вопрос. Но мне было совершенно все равно, что он подумает обо мне. От моих ног медленно, с силой отяжеления, поднялся глубокий, смертельный холод. Возбуждение азарта исчезло. Я снова посмотрел на записку, спрашивая себя,—почему Гриньо вздумал написать номер? Ронкур, еще раз внимательно взглянув на меня, взял записку.

— Ну, что же?— сказал он.— Теперь ясно, что вы излечитесь от своего страшного предубеждения,— сама судьба посылает вам красивый и быстрый экипаж.

— Как вы думаете, почему он написал номер?

— Машинально,— сказал Ронкур.

— В конце концов, я думаю то же. Хотите, мы пусти́м его в пропасть с горы?

— Но почему?

— Мне кажется, что так нужно,— сказал я, овладевая собой. В тот вечер владели мной страшные силы — мысли и желания сливались неразделимо.

— Смотрите, что это? Все повалили, бегут.— Ронкур взял меня под руку.— Посмотрим, где происшествие.

Действительно, зала вокруг пустела. Многие оставались, но многие, перекинувшись парой слов, возводили брови и быстро исчезали в голубом дыме сверкающей анфилады дверей. Я шагнул было за Ронкуром, но случилось, что любопытство наше было удовлетворено немедленно; три завсегдатая, издали махая руками, прокричали навстречу:

— Джокер убил Гриньо! Он умер от кровоизлияния в мозг!

— Как!? — сказал я. Противно некоторому возбуждению, поднявшемуся при этом известии,— оно холодно повернулось во мне; оно подействовало значительно слабее, чем записка с цифрой — такой многозначительной, такой глухой, молчащей и говорящей на языке вещей, нам недоступном,— я с ужасом заметил, что болтаю совершенный вздор, смеясь и отвечая невпопад тем, кто окружал меня в эту минуту. Меж тем, трагическая гримаса обошла залы, на мгновение смутив суеверных и тех, у кого не совсем умерло сердце, после чего все стали по-прежнему отчетливо слышать оркестр, и движение восстановилось. Смеясь проходили пары. Рой женщин, окружив толстяка, масляно плывущего среди их назойливого цветника, улыбался так невинно, как если бы резвился в раю.

V

Видя, что я до крайности возбужден, и по-своему понимая мое состояние, Ронкур не удерживал меня, когда я направился к выходу. Я пожелал ему скорой удачи. Он остался за баркара.

В моем состоянии была черная, косая черта, вызванная запиской мюлата. Эта черта резко пересекала пылающее поле моего возбуждения,— как ни странно, как ни противно моему изобретению, неожиданное богатство, казалось, не только приближает меня к Корриде, но ставит рядом с ней. Разумеется, такое вредное впечатление коренилось в собственной натуре ее. Она жила

скверно, то есть была полным, послушным рабом вещей, окружавших ее. Эти вещи были: туалетными принадлежностями, экипажами, автомобилями, наркотиками, зеркалами и драгоценностями. Ее разговор включал наименования множества бесполезных и даже вредных вещей, как будто, отняв эту основу ее жизни, ей не к чему было обратить взгляд. Из развлечений она более всего любила выставки, хотя бы картин, так как картина, безусловно, была в ее глазах прежде всего — вещью. Она не любила растений, птиц и животных, и даже ее любимым чтением были романы Гюнсманса, злоупотребляющего предметами, и романы детективные, где по самому ходу действия оно неизбежно отстаивается на предметах неодушевленных. Ее день был великолепным образцом пущенной в ход машины, и я уверен, что ее сны составлялись преимущественно из разных вещей. Торговаться на аукционе было для нее наслаждением.

При всем том, я любил эту женщину. В Аламбо она появилась недавно; вначале приехал ее брат, открывший деловую контору; затем приехала она, и я познакомился с ней, благодаря Ронкуру, имевшему какие-то дела с ее братом. И около этого пустого существования легла, свернувшись кольцом, подобно большой собаке, моя великая непринятая любовь. Тем не менее, когда я думал о ней, мне легче всего было представить ее манекеном, со спокойной улыбкой блистающим под стеклом.

Но я любил в ней ту, какую хотел видеть, оставив эту прекрасную форму нетронутой и вложив новое содержание. Однако я не был столь самонадеян, чтобы безуслвно положиться на свои силы, чтобы уверовать в благоприятный результат прежде самых попыток. Я считал лишь, что могу и обязан сделать все возможное. Я, к сожалению, хорошо знал, что такое проповедь, если ее слушает равнодушное существо, само смотрящее на себя лишь как на сладкую физическую цель и мысленно переводящее весь искренний жар ваш в смысле циничном, с насмешкой над бессилием вашим овладеть положением. Поэтому мой расчет был не на слова, а на действия ее собственных чувств, если бы удалось вызвать перерождение. Немного,— о, совсем немного хотел я: живого, проникнутого легким волнением румянца, застенчивой улыбки, тени задумчивости. Мы часто не знаем, кто второй живет в нас, и второй душой мучи-

тельницы моей мог оказаться добрый дух живой жизни, который, как красота, сам по себе благо, так как заражает других.

Именно так я думал, так и передаю, не пытаюсь в этом — в священном случае придать выражениям схоластический оттенок, столь выгодный в литературном отношении, ибо он заставляет подозревать прием — вещь сама по себе усложняющая впечатление читателя. Я всегда думал об этой женщине с теплым чувством, а я знаю, что есть любовь, готовая даже на смерть, но полная безысходной тоскливой злобы. У меня не было причины ненавидеть Корриду Эль-Бассо. В противном случае я был бы навсегда потерян для самого себя. Я мог только жалеть.

У меня было время думать обо всем этом, когда быстро и с облегчением я удалялся от клуба в свете электрических лун, чрезвычайно счастливый тем, что не мог ответить мулату, так как неизбежно должен был сказать «да», то есть согласиться принять машину, из противоречия и вызова самому себе; нас всегда тянет смотреть дальше, чем мы опасаемся или можем. Благодаря печальному случаю, машина оставалась при нем, ненужная ему самому. Свежесть перелетающего крепким порывом морского ветра, опаживая лицо, несколько уравновесила настроение; уже готовый улыбнуться, я переходил улицу, почти пустую в тот час ночи, неторопливо и эластично. Меня заставил обернуться ровный звук сыплющегося где-то вблизи песка. Я поскользнулся, и меня это спасло, так как мое тело, потеряв равновесие, шатнулось в сторону судорожными шагами как раз перед налетающим колесом. Еще не успело исчезнуть зрительное ощущение страшной близости, как, с пронзительным, взвизгивающим лаем, огромный серый автомобиль мелькнул в свете угла и скрылся в замирающем шипении шин. Его фонари были потушены, он был пуст. Шофера я не успел рассмотреть. Я не успел также заметить его номер.

При всем очень тщательном внимании к себе после этого происшествия я заметил, что мое сердце бьется лишь немного сильнее, что я почти не испугался. Я даже был чему-то отчасти рад, так как получил некоторое предупреждение. Ни одной мысли по этому поводу я в тот момент не мог отыскать в отчетливой форме; все

они, крайне живые и многочисленные, напоминали перебор струн, намекающий уже на мелодию, но звучащий понятно лишь знающему мотив уху,— я же не знал мелодии. Вам знакома попытка оживить сон немедленно по пробуждении, когда его сцены ясно видимы еще вами, и вы понимаете их, но не можете тотчас перевести понимание в мысль, меж тем мысль ускользает с быстротой взятой горстью воды, и улетучивается совершенно, как только полностью прояснится сознание? Подобного или почти подобного рода ощущения повернулись во мне. Я нанял фиакр, приказав ехать к себе, и прибыл в четыре ночи к подъезду, узнав, что еще не спят.

Здесь я жил гостем у семейства Кольмонс. Наши отцы вместе начинали делать богатство. Теперь дети их сошлись вместе, в одних стенах, жить для удовольствия и неопределенного приятного будущего. Я вошел, зная, что застану спор, танцы или концерт.

VI

Завернув сначала к себе, я открыл бюро и уложил там свой выигрыш. Мне не хотелось сообщать о нем кому бы то ни было, по крайней мере теперь.

— В таком случае,— услышал я, подходя к двери столовой, знакомый голос Гопкинса — Гопкинс был адвокат,— его раздавило автомобилем. Вы знаете, как Сидней осторожен на этот счет. Между тем осторожные люди часто становятся жертвой именно того, чего они опасаются.

— Вы почти правы,— сказал я, входя.— Случайно не произошло именно так.

Дам не было. Моя сестра и жена старшего моего двоюродного брата, Ютеция, ушли давно спать. Старший кузен, Кишлей, и младший, Томас, сидели в обществе гостей, Гопкинса, Стерса и «Николая». Так звали газетного критика, недавно приступившего к возведению здания своей карьеры: его фамилия была так длинна и нелепа, что я не помнил ее.

Они пили. Окна были раскрыты. Рассказав случай с автомобилем, я некоторое время слушал рассуждения и соображения адвоката, долго объяснявшего мне, почему не надо откидываться назад, если набегают автомобиль, ответил «да»

и умолк. Разговор, не задержавшись на мне, вернулся к своему руслу — то был футуризм, с ненавистью отвергаемый Гопкинсом; Николай смеялся над ним. Им противился Томас и, как это ни было странно, — Кишлей, чье полное, добродушное лицо в момент методического, обдуманного и вкусного закуривания сигары казалось воплощением здоровых, азбучных истин.

— Всегда преследовали и осмеивали новаторов! — сказал Томас.

— Небольшая часть этих людей, конечно, талантливы, — возразил Гопкинс, — зато они, как это заметно по некоторым чертам их произведений, вероятно пойдут особой дорогой. Остальное — сплошная эпилепсия рисунка и вкуса.

— Я возмущен тем, что меня открыто и нагло считают дураком, — сказал Николай, — подсовывая картину или стихотворение с обдуманным покушением на мой карман, время и воображение. Я не верю в искренность футуризма. Все это — здоровые ребята, нажимающие звонок у ваших дверей и убегающие прочь, так как им сказать нечего.

— Но, — возразил Кишлей, — должна же быть причина, что это явление стало распространено? Причины должны корениться в жизни. Вы относитесь к этому, как Сидней к автомобилью; он ни за что не поедет в нем, хотя десятки и сотни тысяч людей пользуются им каждый день.

— Кишлей прав, — сказал я, — футуризм следует рассматривать только в связи с чем-то. Я предлагаю рассмотреть его в связи с автомобилем. Это — явление одного порядка. Существует много других явлений того же порядка. Но я не хочу простого перечисления. Недавно я видел в окне магазина посуду, разрисованную каким-то кубистом. Рисунки представлял цветные квадраты, треугольники, палочки и линейки, скомбинированные в различном соотношении. Действительно, об искусстве — с нашей, с человеческой точки зрения — здесь говорить нечего. Должна быть иная точка зрения. Подумав, я стал на точку зрения автомобиля, предположив, что он обладает, кроме движения, неким невыразимым сознанием. Тогда я нашел связь, нашел гармонию, порядок, смысл, понял некое зловещее отчисление в его пользу из всего зрительного поля нашего. Я понял, что сливающиеся треугольником цветные палочки, расположенные параллельно и тесно, Он должен видеть, проносясь по улице с ее бесчисленными, сливающимися в

сплошное мелькание, отвесными линиями карнизов, водосточных труб, дверей, вывесок и углов. Взгляните, прижавшись к стене дома, по направлению тротуара. Перед вами встанет короткий, сжатый под чрезвычайно острым углом, рисунок той стороны, на какой вы находитесь. Он будет быстрым смещением линий. Но, предположив зрение, неизбежно предположить эстетику — то есть предпочтение, выбор. В явлениях, подобных человеческому лицу, мы, чувствуя существо человеческое, видим связь и свет жизни, то, чего не может видеть машина. Ее впечатление, по существу, может быть только геометрическим. Таким образом, отдаленно — человекоподобное смещение треугольников с квадратами или полукругами, украшенное одним глазом, над чем простак ломает голову, а некоторые даже прищуриваются, есть, надо полагать, зрительное впечатление Машины от Человека. Она уподобляет себе все. Идеалом изыщества в ее сознании должен быть треугольник, квадрат и круг.

— Черт возьми! — вскричал Гопкинс. — Не думаете же вы, что автомобиль обладает сознанием, душой?!

— Да, обладает, — сказал я. — В той мере, в какой мы наделяем его этой частью нашего существа.

— Поясните, — сказал Кишлей.

— Охотно, — сказал я. — Принимая автомобиль, вводя его частью жизни нашей в наши помыслы и поступки, мы безусловно тем самым соглашаемся с его природой: внешней, внутренней и потенциальной. Этого не могло бы быть ни в каком случае, если бы некая часть нашего существа не была механической; даже, просто говоря, не было бы автомобиля. И я подозреваю, что эта часть сознания нашего составляет его сознание.

— Доказательства! — вскричал Николай.

— Вы могли бы с одинаковым правом потребовать доказательства, если бы я утверждал, что кошка видит иные цвета, чем мы. Между тем ни я, ни кошка не можем быть приведены к очной ставке, так как у нас нет взаимного понимания. Нет средств для этого. Однако животные должны иметь иные и может быть совершенно отличные, чем у нас, ощущения физические. Например, — стрекоза с ее десятками тысяч глаз. Согласитесь, что ощущения света при таком устройстве органа должны быть иными, чем наши.

— Неодушевленная материя, — сказал Кишлей. — Железо и сталь мертвы.

Я ничего не возразил на это. Мне показалось, что за окном крикнул автомобиль. Действительно, крик повторился ближе, затем под самым окном.

— Вы слышите? — сказал я. — Вот его голос — вой, отдаленно напоминающий какие-то грубые, озлобленные слова. Итак, у него есть голос, движение, зрение, быть может — память. У него есть дом. На улице Бок-Метан стоит зайти в оптовые магазины автомобилей и посмотреть на них в домашней их обстановке. Они стоят блестящие, смазанные маслом, на цементном полу огромного помещения. На стенах висят их портреты — фотографии моделей и победителей в состязаниях. У него есть музыка — некоторые новые композиции, так старательно передающие диссонанс уличного грохота или случайных звуков, возникающих при всяком движении. У него есть наконец граммофон, кинематограф, есть доктора, панегиристы, поэты, — те самые, о которых вы говорили полчаса назад, люди с сильно развитым ощущением механизма. У него есть также любовницы, эти леди, обращающие с окон модных магазинов улыбку своих восковых лиц. И это — не жизнь? Довольно полное существование, скажу я. Кроме того, он занимается спортом, убийством и участвует в войне.

— Выходит, — сказал Николай, — что... Впрочем, я скажу короче: некий автомобиль, покрытый грязью и ранами, вернулся с театра военных действий. Побрившись в парикмахерской, он отправился домой, где поставил в граммофон пластинку марша «За славой и торжеством» и приказал завести кинематографический аппарат с картиной «Автомобильные гонки меж Лиссом и Зурбаганом». От восторга у него лопнула шина.

— Ваш шарж показывает, что вы поняли меня, — продолжал я. — Взаимоотношения вещей, если они для меня безразличны, могут происходить так, как вытекает из их природы, как — мы этого не знаем. Но когда эти взаимоотношения наносят определенный рисунок на рисунок моей жизни, кладут нужные или вредные черты, там необходимо проследить связь явлений, чтобы знать, с какого рода опасностью имеешь дело. Берегитесь вещей! Они очень быстро и прочно порабащают нас.

— Какие же это вредные черты? — спросил Томас. — Жизнь делается сложнее, быстрее, ее интенсивность возрастает непрерывно. Этой интенсивности содействует техника. Не возвратиться же нам в дикое состояние?

С этого момента мои собеседники завладели разговором, и я терпеливо выслушивал их защиту автомобиля. Она состояла в том, что его скорость способствует быстрейшему обмену товаров, молниеносному прессованию деловых отношений и возможности перебрасываться в отдаленное место почти с быстротой чтения. Я выслушал их и ушел, посмеиваясь. У себя, оставшись один, я пересчитал деньги. Это было большое состояние. Меня тревожило немного, что я не испытываю головокружительного подъема — опьянения. Все впечатления звучали во мне тупо, как стук по толстому дереву. Я держал в руках деньги и понимал, что из состоятельного человека превратился в богатого, но думал о том, как о прочитанном в книге. Быть может все мои желания были заслонены в тот момент главным желанием, главной и неотступной мыслью — о девушке. Кроме того, я очень устал, думая все эти дни об одном. Но я никак не мог бы выразить, даже на всех языках мира, — что такое это одно, грызущее и уничтожающее меня. Я вдумывался и понимал его, лишь как мучительное препятствие сознанию самого себя. Но определить его я не мог.

Я уснул с солнечным светом, пригретый и убаюканный им из-за крыш. Завтрашний, вернее, наступивший день следовало начать действием. Я приказал разбудить себя в три часа. Мое изобретение — оно ждало — звало меня и ее. После долгого колебания я решился. Я поставлю ее лицом к лицу с Живой Смертью, ее, — Мертвую Жизнь.

Мое знакомство с Корридой Эль-Бассо носило характер крайнего напряжения. Когда я не видел ее, я, при всей любви к этой девушке, мог думать о ней, как вы уже знаете, беспристрастно; я мог даже непринужденно вести не обременяющий ее разговор. Но в ее присутствии я чувствовал лишь крайне стесняющее и связывающее меня напряжение. Это происходило не столь от ее красивой и легкой внешности, овладевавшей мной повелительным впечатлением, сколько от сознания несоответствия моего душевного темпа с ее темпом души; ее темп был полон пере-

боев и дисгармонии, в то время как мой медленно, ровно и острыми колебаниями звучал непримиримо всему, что не было моим настроением или случайно не отвечало текущему настроению. В то время как другие почти сразу, легко осваивались и шутили с ней, я должен был оставаться в тени, так как хотел видеть ее лишь в том полном, сосредоточенном, исключительном настроении любви, в каком находился сам и которое перебить пустой болтовней казалось мне противоестественным, почти преступным. Поэтому вероятно я заставлял ее часто скучать. Но у меня не было выхода. Я хорошо знал, что не сумею перестать быть самим собой так искусно, чтобы это не обнаружилось тотчас же фальшью и ответной притворностью. Бессознательно я хотел, чтобы она ни на мгновение не забывала мою любовь, чувствуя, что я связан, рассеян и неловок единственно от любви к ней.

По всему этому я сам тяготился долго оставаться в ее присутствии, если у нее был еще кто-нибудь, кроме меня. Мое напряжение в таких случаях часто раздражалось сильной глубокой тоской, после чего немислимо было уже оставаться; мрачное лицо, в конце концов, может вызвать страх и отвращение. Но я знал, каким был бы я, если бы окончилось ее сопротивление, если бы она сказала мне «ты».

В половине пятого я взял трубку телефона; мне было невесело, меж тем я должен был говорить с веселым оживлением затейника. Но я выдержал роль.

Услышав ее голос, я увидел — в себе — и ее лицо, с больным выражением раздражительно полуоткрытого рта, с всегда немного сонными и рассеянными глазами. Ее детский лоб — в другом конце города — внушал желание погладить его.

— Так это вы, — сказала она, и я вздрогнул — так приветливо прозвучал голос, — о, я очень рада, — я должна вас поздравить.

— С чем? — Но я уже знал, что она хочет сказать.

— Говорят, вы выиграли миллион долларов.

— Нет, — только половину названной суммы.

— Недурно и это. Теперь вы, надо думать, поедете путешествовать?

— Нет, я не поеду. Но я предлагаю вам — клянусь, — редкое удовольствие. Я окончил свое изобретение. Ес-

ли вы ничего не имеете против, я покажу вам его первой; никто ничего не знает об этом.

— О! Я хочу! Хочу! — вскричала она. — И как можно скорее!

— В таком случае, — сказал я, — если вы свободны, вам предстоит небольшая прогулка верхом в ущелье Калло. Это не далее пяти миль. У меня есть лошадь, вторую мне дает кузен Кишлей.

— Отлично, — сказала она после небольшой паузы. — Я согласна. Вы, право, очень добры.

— Через полчаса я буду у вас.

— Я жду.

На этом закончился разговор. Пока седлали лошадей, я думал, — что может произойти из всего этого? Мне показалось, что я не имею права поступать так. Но это не расхолодило меня. Напротив, я укрепился еще более в своем решении, — ибо, может быть, всю жизнь сождал бы о своей слабости. Хуже не могло быть, — лучшему я верил.

В это время начал звонить телефон. Звонок раздался на какой-то приятной, нежной и задумчивой минуте размышлений моих. Я взял трубку.

Кто это говорил со мной? Вкрадчивый, напряженный голос, как просьба о пощаде, и такой тихий, такой отчетливый, что, казалось, можно отложить трубку, продолжая слышать его! В тот день я проснулся с ощущением тумана, — день был торжествующе ярок, но, казалось, невидимый, спокойный туман давит на мозг. Теперь это своеобразное ощущение усилилось.

То, что я услышал, напоминало окончание разговора; так бывает, если говорящий вам предварительно dokonчит говорить другому лицу. Этот отчетливый, стелющийся из невидимого пространства голос сказал: — «...пройдет очень немного времени». — Затем послышалось обращение ко мне: — «Квартира Эбенезера Сиднея?»

— Это я, — невольно я отстранил трубку от уха, чтобы она не касалась кожи, — так неестественно и отвратительно близко, как бы в самой руке моей, ковырялся этот металлический голос. Я повторил: — С вами говорит Сидней, кто вы и что желаете от меня?

— Мое имя вам неизвестно, я говорю с вами по поручению скончавшегося вчера Эммануила Гриньо, мулата. Несколько мелких дел, оставшихся им не выполненными,

он поручил мне. В число их входит просьба переслать вам выигранный четырехместный автомобиль системы Леванда. Поэтому я прошу вас назначить время, когда покорнейший ваш слуга имеет исполнить поручение.

Я закричал, я затопал ногами, так мгновенно поразил меня неистовый гнев. Крича, я весь содрогался от злобы к этому неизвестному и, если бы мог, с наслаждением избил бы его.

— Подите прочь! — загремел я, — идите, я вам говорю, к черту! Мне не нужен автомобиль! Гриньо мне ничего не должен! Возьмите автомобиль себе и разбейте на нем лоб! Мерзкий негодяй, я вижу насквозь ваши намерения!

Но, сквозь мой крик, когда я задышался и умолкал, — одновременно с моими бешеными словами, лилась речь человека, очевидно, нимало не тронутого этой бурей по проволоке. Бесстрастно и убедительно ввинчивал он ровный свой тонкий голос в мое волнение. Я слышал, изнемогая от ярости: — «примите в соображение», — «из чувства деликатности», — «сама природа случая» — и другое подобное; так методически, покойно, веревка скручивает руки вырывающегося из ее петель человека. Я бросил трубку и отошел. Через несколько минут слуга доложил, что лошади готовы.

Прекрасный день! Даже туман, о котором я говорил, как будто рассеивался по временам, чтобы я мог полно вздохнуть, однако ж, по большей части, я не переставал чувствовать его ровное угнетение. Мне хотелось встряхнуть головой, чтобы отделаться от этого ощущения. Слуга ехал сзади на второй лошади. Приблизясь к дому, где жила Коррида, я заметил ее улыбающееся лицо: она была на балконе, смотря вниз и щекой припав к рукам, охватившим ограду балкона. Она издали стала махать платком. Я подъезжал в приподнятом и несколько глупом состоянии человека, с которым хороши потому, что он может быть полезен, что он — богат. Я не обманывал себя. Еще никогда Коррида Эль-Бассо не была так любезна со мной. Но я не хотел останавливаться на этом; моя цель была близка, хотя бы благодаря обаянию крупного выигрыша.

Оставив лошадей, я вошел твердым и спокойным шагом. Теперь, когда положением владел я, вдруг исчезла связывающая подавленность, — ощущение проклятия чувств, тяготеющего над нами, если мы, сидя рядом с любимой, испытываем одиночество. Мной стала овладевать надежда, что затеянное будет иметь успех, смысл.

Я поцеловал ее узкую руку и посмотрел в глаза. Она улыбалась.

— У вас довольный вид,— сказала Коррида,— не мудрено — два успеха,— что более важным считаете вы? Но, может быть, изобретение принесет вам еще более денег?

— Нет, оно мне не принесет ни копейки,— возразил я,— напротив, оно может меня разорить.

— Как же это?

— Если не оправдает моих надежд; оно еще не было в деле; не было опыта.

— Что же представляет оно? И какой цели должно служить?

— Но через час вы сами увидите его. Не стоит ли подождать?

— Правда,— сказала она с досадой, опуская вуаль и беря хлыст. Она была в амазонке.— Оно красиво?

— На это я могу вам ответить совершенно искренне. Оно прекрасно.

— О! — сказала она, что-то почувствовав в тоне моем.— Итак, мы отправляемся в мастерскую?

— Ну да,— и я не удержался, чтобы не подзадорить.— В мастерскую природы.

— Вы, правда, мистификатор, как говорят о вас. Все мистификаторы не галантны. Но едем.

Мы вышли, сели, и я помог ей.

— У меня отличное настроение,— заявила она,— и ваши лошади хороши тоже. Как имя моей?

— Перемена.

— Имя странное, как вы сами.

— Я очень прост,— сказал я,— во мне странное только то, что я всегда надеюсь на невозможное.

IX

Выехав за черту города, мы пустились галопом и через полчаса были у подъема горной тропы, по которой лежал путь к ущелью Калло. Наш разговор был так незначителен, так обидно и противоестественно мелок, что я несколько раз приходил в дурное расположение духа. Однако я никак не мог направить его хотя бы к относительной близости между нами,— хотя бы вызвать сочувственное мне на-

строение по отношению к пейзажу, принимавшему с тех мест, где мы ехали, все более пленительный колорит. На все, что ее не интересовало, она говорила: «О, да!» или — «В самом деле?» — с безучастным выражением голоса. Но мой выигрыш продолжал интересовать ее, и она часто возвращалась к нему, хотя я рассказал ей уже все главное об этой схватке с Гриньо. «О, я его понимаю!» — сказала она, узнав, что мулата хватил удар. Но мой отказ от автомобиля вызвал глубокое, презрительное удивление, — она посмотрела на меня так, как будто я сделал что-то очень смешное, неприятно смешное.

— Это все та ваша мания, — сказала она, подумав. — Я столько уже слышала о ней! Но я — люблю эту увлекающую быстроту, люблю, когда распирает воздухом легкие. Вот жизни!

— Быстрота падения, — возразил я. — Дикари очень любят подобную быстроту. То, что вы, кажется, считаете признаком своеобразной утонченности, есть простой атавизм. Все развлечения этого рода — спорт водный, велосипедный, все эти коньки, лыжи, американские горы, карусели, тройки, лошадиные скачки, — все есть разрастающееся увлечение головокружительными ощущениями падения. В скорости есть предел, за которым движение по горизонтальной превращается в падение. Вы наслаждаетесь чувством замирания при падении. И цель людей, рассуждающих как вы, — это уподобить движение падению. Что может быть более примитивно? И, так сказать, — бесцельно примитивно?

— Но, — сказала она, — весь темп нынешней жизни... Пестрота стала нашей природой.

— Совершенно верно, и очень худо, что так. Однако именно то, что совершается медленно, конечно, относительно медленно, так как мерила быстроты различны по природе своей, в зависимости от качества движения, — именно это наиболее ценно. Быстрота агента компании, совершающей торговые обороты, увеличивает количество, но не качество достигаемого, например, по сбыту и выделке коленкора, но пусть он попробует с его автомобильной быстротой расположить и распространить дуб, простой дуб. Деревцо это растет столетиями. Коровя вырастает в два года. Настоящий, вполне сложившийся человек проделывает этот путь лет в тридцать. Алмаз и золото не имеют возраста. Пер-

сидские ковры создаются годами. Еще медленнее проходит человек дорогой науки. А искусство? Едва ли надо говорить, что его лучшие произведения видят, иногда, начало роста бороды мастера, в конце же осуществления своего подмечают и седину. Вы скажете, что быстрое движение ускоряет обмен, что оно двигает культуру?! Оно сталкивает ее. Она двигается так быстро потому, что не может удержаться.

— Не знаю,— возразила Коррида,— может быть, вы и правы. Но жить надо легко и быстро, не правда ли?

— Если бы вы умерли,— спросил я,— а затем вновь родились, помня, как жили,— вы продолжали бы жить так, как теперь?

— Ваш вопрос мне не нравится,— холодно ответила она.— Я живу плохо? Если даже так, какое право имеете вы тревожить меня?

— Это не право, а простое участие. Впрочем, я виноват, а потому должен загладить вину. Через...

— Нет, вы не увильнете! — крикнула она, остановив лошадь.— Это уже не первый раз. Какая цель ваших вопросов?

— Коррида,— сказал я мягко,— если вы будете так добры, что, оставив пока сердиться, ответите мне еще на один вопрос, но только совершенно искренне,— даю вам слово, я так же искренно отвечу вашему раздражению.

Мы уже приближались к ущелью, из развернутой трещины которого разливался призрачный лиловый свет, полный далекой зелени. Смотря туда и припоминая, что хотел сделать, я сразу сообразил, что мой вопрос преждевременен, однако я хотел убедиться. Туман понемногу рассеивался (я говорю о внутреннем тумане, мешавшем мне ясно соображать), и я с яркостью гигантской свечи видел все чудеса, вытекающие из моего замысла. Поэтому я не колебался.

— Я жду,— сказала Коррида.

— Скажите мне,— начал я (и это останется между нами),— почему, с какой целью ушли вы из... магазина?

Сказав это, я чувствовал, что бледнею. Она могла догадаться. У вещей есть инстинкт, отлично помогающий им падать, например, так, что поднять их страшно мешает какой-нибудь посторонний предмет. Но я уже приготовился перевести свои слова в шутку — придать им рассеянный,

любой смысл, если она будет притворно поражена. Я внимательно смотрел на нее.

— Из-ма-га-зи-на?! — медленно сказала Коррида, отвечая мне таким пристальным, глубоким и хитрым взглядом, что я вздрогнул. Сомнений не могло быть. К тому же, цвет ее лица внезапно стал белым, не бледным, а того матового белого цвета, какой присущ восковым фигурам. Этого было довольно для меня. Я рассмеялся, я не хотел более тревожить ее.

— Более у меня нет вопросов, — сказал я, — я говорю о встрече с вами вчера, когда вы вошли в магазин. Вы тотчас вышли, и я не хотел снова подходить к вам.

— Да... но это очень просто, — ответила она, стараясь что-то сообразить. — Я не застала модистку. Но вы хотели сказать не это.

— Вы просто смутили меня резким отпором. Я спросил первое, что пришло на мысль.

Затем, не давая ей оставаться при подозрении, — если оно было, — я возвратился к игре с мулатом, рассказывал подробности стычки так юмористически, что она смеялась до слез. Мы ехали по ущелью. Слева тянулась глубокая поперечная трещина, подъехав к которой, я остановил лошадь.

— Это здесь, — сказал я.

Коррида оставила седло, и я привязал лошадей.

— Меня несколько тревожит эта таинственность, — сказала она, оглядываясь, — далеко ли тут идти?

— Шагов сто. — Чтобы она не беспокоилась, я стал снова шутить, приравнивая нашу прогулку к ветхим страницам уголовных романов. Мы пошли рядом; гладкое дно трещины не замедляло шагов, и скоро сумерки щели рассеялись, — мы подошли к ее концу, — к обрыву, висевшему отвесной чертой над залитой солнцем долиной, где, далеко внизу, крылись, подобно стаям птиц, фермы и деревни. Огромное, голубое пространство било в лицо ветром. Здесь я остановился и показал рукой вниз.

— Вы видите? — сказал я, глядя в прекрасное прищуренное лицо.

— Вид недурен, — нетерпеливо ответила она, — но, может быть, мы все-таки отправимся в вашу лабораторию?!

Безумный восторг овладевал мной. Я взял ее руки и поцеловал их. Кажется, она была так изумлена, что не сопротивлялась. Уже двинул меня внутренний толчок; бессознательно оглянувшись на трещину позади нас, скрыться в ко-

торой было делом одной секунды, и загородил ее. Но мы одновременно кинулись к трещине,— по крайней мере, когда я охватил рукой ее талию, она была уже наполовину сзади меня и уперлась одной рукой в мою грудь. Ее лицо было бело, мертво, глаза круглы и огромны. Другая рука что-то быстро делала сбоку, где был карман. Задыхаясь, я тащил ее к обрыву, крича, убеждая и умолая:

— Это один момент! Один! И новая жизнь! Там твое спасение!

Но было поздно — увы! — слишком поздно. Она вырвалась волчком невероятно быстрых движений, подняв свой револьвер. Я видел, как он дернулся в ее руке, и понял, что она выстрелила. У моего левого виска как бы повис камень. Не зная,— не желая этого,— судорожно противясь падению,— я упал, видя, как от моего лица поспешно отпрянули маленькие, лакированные ноги. Но я успел схватить их и дернул.

Она упала рядом со мной; при падении револьвер выскочил из ее руки. Я мог видеть его, повернув голову. Если бы она не мешала мне, хватаясь за мои руки, я непременно достал бы его. Но у нее была кошачья изворотливость. Схватив за талию и прижимая к себе, чтобы она не вскочила, левой рукой я уже касался револьвера, стараясь подцарапать его, но она ломала мою руку у кисти, отводя пальцы. Наконец, удар по руке камнем сделал свое. Скользнув, как сжатая рукой рыба, Коррида овладела револьвером,— здесь силы оставили меня. Я мог только лежать и смотреть.

Когда она поднялась, вскочила, револьвер был все время направлен на меня. Последовало молчание — и дыхание,— общее наше дыхание, слышное, как крик.

— Что же это?! — сказала она. — Теперь говорите, слышите?!

Х

Я не терял времени, чтобы она знала, чего лишается.

— Да,— сказал я,— это и есть мое изобретение. Вы видели лучезарный мир? Он зовет. Итак, бросимся туда, чтобы воскреснуть немедленно. Это нужно для нас обоих. Вам нечего притворяться более. Карты открыты, и я хорошо вижу ваши. Они закапаны воском. Да, воск капает с пре-

красного лица вашего. Оно растопилось. Стоило гневу и страху отразиться в нем, как воск вспомнил прежнюю свою жизнь в цветах. Но истинная, истинная жизнь воспламенит вас только после уничтожения, после смерти, после отказа! Знайте, что я хотел тоже ринуться вниз. Это не страшно! Нам следовало умереть и родиться!

— Куда вы ранены? — сурово спросила она.

— В голову возле уха, — сказал я, трогая мокрыми пальцами мокрые и липкие волосы. — Ступайте! Что вам теперь я; ваше место не занято.

Она, приподняв платье, обошла меня сзади, и я почувствовал, как моя голова приподнимается усилием маленькой, холодной руки. Послышался разрыв платка. Она туго стянула мою голову, затем снова перешла из тени к свету. Я же лежал, совершенно ослабев от потери крови, и безразлично принял эту заботу. Меня ужасало, что я не достиг цели.

— Можете вы пройти к лошади? — спросила Коррида. — Если можете, я вам помогу встать. Если же нет, — лежите и постарайтесь быть терпеливым; я скажу, чтобы за вами приехали.

— Как хотите, — сказал я. — Как хотите. Я не могу идти к лошади. Теперь мне все равно — жить или умереть, потому что я навсегда лишился вас. Может быть, я умру здесь. Поэтому будем говорить прямо. Нашу первую встречу вы должны помнить не по Аламбо, — нет; в Глен-Арроле состоялась она. Вы помните Глен-Арроль? Старик открывал кисею, показывая вас в ящике, это был воск с механизмом внутри, — это были вы, — вы спали, дышали и улыбались. Я заплатил за вход десять центов, но я заплатил бы даже всей жизнью. Как вы ушли из Глен-Арроля, почему очутились здесь — я не знаю, но я постиг тайну вашего механизма. Он уподобился внешности человеческой жизни силой всех механизмов, гремящих вокруг нас. Но стать женщиной, поймите это, стать истинно живым существом вы можете только после уничтожения. Я знаю, что тогда ваше сердце дрогнет моей любовью. Я полумертв сам, движусь и живу, как машина; механизм уже растет, скрежещет внутри меня; его железо я слышу. Но есть сила в самосвержении, и, воскреснув мгновенно, мы оглушим пением сердец наших весь мир. Вы станете человеком, и огненной сверкнете чертой. Ваше лицо? Оно красиво, и с желанием подлинной красоты вошли бы вы в зем-

ные сады. Ваши глаза? Блеск волос? Характер улыбки? — Увлекающая энергия, и она сказала бы в жизненном плане вашем. Ваш голос? — Он звучит зовом и нежностью, — и так поступали бы вы, как звучит голос. Как вам много дано! Как вы мертвы! Как надо вам умереть!..

Говоря это, я не видел ее. Открыв глаза, я осмотрелся с усилием и никого не увидел. Проклятие! Ее сердце могло перейти от простых маленьких рычагов к полному, лесистому пульсу, — к слезам и радости, восторгу и потрясению, — наконец оно могло полюбить меня, сгоревшего в огне удара и ставшего смеющимся, как ребенок, — и оно ушло!.. Уверен, что она не хотела вспоминать Глен-Арроль. Правда, в том городишке на нее смотрели лишь уродливые подопытия людей, но все-таки...

Сделав усилие, я приподнялся и сел. Моя голова не кружилась, но было такое ощущение, что она недостаточно поднята, — что она может упасть. Я сделал попытку подогнуть ноги, желая тем облегчить дальнейшее движение, и успел в этом... Наконец, я встал, хватаясь за стену, и двинулся. Мне хотелось домой, чтобы успокоиться и обдумать дальнейшее. Как я понимал, рана моя не касалась мозга, поэтому у меня не было опасения, что я свалюсь по дороге в состоянии более тяжелом, чем был. Я побрел, держась за неровные камни трещины и временами теряя равновесие, так что должен был останавливаться.

Пока я шел, сумерки (уже стемнело), распространяясь безвыходной тенью, сменились того рода неизъяснимо волнующим освещением, какое дает луна при переходе дневного света к магическому, призрачному мраку. Пройдя трещину, я увидел очарованный лог ущелья в блеске чистого месяца; дно, усеянное камнями, круглые тени которых казались черными козырьками белых фуражек, — было как ложе гигантской реки, исчезнувшей навсегда. Лошади исчезли. — Воскова я взяла мою, думая, без сомнения, что я умер. Я не верил ее обещанию прислать за мной, скорее мне могли подослать убийц.

Я потрогал платок, затем снял его. Легкий жар, боль и ощущение стянутости кожи все еще были там, куда ударила пуля, но кровь уже не текла. Заподозрев, что пропитанный кровью платок может что-то сказать, я рассмотрел на свет метку. Это были не ее инициалы. Я увидел знаки, неизвестные алфавитам нашей планеты:

— и понял, что никогда не смогу узнать, какая природа существа, употребляющего подобные начертания.

— Коррида! — закричал я, — Коррида! Коррида Эль-Бассо! Я люблю, люблю, люблю тебя, безумная в холодном сверкании своем, недоступная, ибо не живая, — нет, тысячу раз нет! Я хотел дать тебе немного жизни своего сердца! Ты выстрелила не в меня, — в жизнь; ей ты нанесла рану! Вернись!

И эхо, наметив «рри» из ее имени, упорно рокотало где-то за спиной высоких камней: звуки, напоминающие отлетающий треск мотора. Меня не оставляло воспоминание о Глен-Арроле, где я в первый раз увидел ее. Да, — там, на возвышении, в белом широком ящике под стеклом лежала она, вытянув и скрестив ноги, под газом, среди пыльных цветов. Ее ресницы вздрагивали и опускались; легкая, как лепестки, грудь дышала с тихим и живым выражением. Чудилось, вот откроются эти разливающие улыбку глаза; стан изогнется в лукавой миловидности трепетного движения, и, поднявшись, скажет она великое слово, какое заключено в молчании. Теперь, с молчаливого попуска некоторых, она — среди нас, обещая так много и убивая так верно, так медленно, так безнадежно.

Томясь, вздрагивая и шатаясь, прошел я ущелье и заметил это, только когда прошел. Среди зеленого серебристого моря холмов вилось несколько троп; одна из них была круче, и я скатился по ней к лежащему ниже шоссе. Здесь, несколько в стороне, стоял дом, о котором можно только сказать стихами Грюида: «Он был беден и спал». Перешагнув низкую каменную ограду, я высмотрел, что окно не прикрыто, и сунул за стекло свой выигрыш, что-то опрокинув этим движением. Кто жил здесь? Какую силу разбужу я наутро ненужным мне подарком моим? Я знаю только, что на земле надо оставлять крупные следы; малый след скоро зарастает травой. Наутро будет крик, шум, споры и изумление, трясущиеся поджилки, вопли, может быть заболевание от восторга, — что до того? — это жизнь, ее судорога, гримаса, вой и улыбка, — всякая жизнь хороша.

Луна взошла выше; ее круглый скелет свел глаза вниз, выбелив до горизонта шоссе. Шоссе в том месте лежало растянутым римским V, — столь растянутым, что оно напоминало скорее середину двойного изгиба лука. Стоя на

возвышении дороги, я видел, как противоположное далекое возвышение пересекалось темной чертой. Там возникла и стала расти точка; она увеличивалась, как расплывающееся по бумаге чернильное пятно; пятно сползало к центру вогнутости с волнующей меня быстротой. Некоторое время я шел навстречу явлению, однако оно быстро остановило меня. Я не ошибся — серый автомобиль уже поднимался навстречу мне с той неприятной легкостью автомата, какая уничтожает обычное представление об усилении. Свернув к кустам, я притаился в их сырости; теперь меж мной и автомобилем оставалось столь небольшое расстояние, что я мог рассмотреть людей, — мог сосчитать их. Их было четверо и тот самый шофер в очках, которого я видел вчера. Они осматривались; один что-то сказал другому, когда машина пронесла рыкающий треск свой мимо меня.

Все было для меня ясно теперь. Это началась охота, месть может быть, низменная и ужасная. Как напечатанные, стояли в воздухе те буквы и цифры, какие увидел я, изнемогая от ярости, и эти буквы были «С. С.», цифры те были «77—7». Воистину, я был близок к безумию. Трясаясь, как будто я уже был схвачен, я искал помраченными движениями иной дороги, чем та, какой уже завладел враг мой; я спотыкался в кустах, но идти не мог. Ямы и корни так тесно сплелись между собой, что я шел, все время словно проваливаясь среди груд хвороста; сухой терн цапал за платье. Кроме того, я шел с шумом, опасным для меня в смысле погони: иные ямы были так глубоки, что я падал с болезненным сотрясением во всем теле.

Остановясь и отдышавшись, я вновь приблизился к шоссе и выглянул. Дорога была пуста. Ни слева, ни справа не доносилось ни малейшего шума; поэтому, зная, что всегда могу скрыться в кусты, я вышел на шоссе с целью пробежать как можно быстрее возможно большее расстояние.

Итак, я побежал. Некогда я бегал так хорошо, что выигрывал в состязаниях. Искусство бегать не изменило мне и теперь, — дорога правильными толчками мчалась подо мной взад; быстрое движение воздуха охлаждало разгоряченное лицо. Между тем я очень устал, но я не позволял утомлению осилить себя.

Из этого состояния меня вывела выбоина, — небольшая черная яма, приметив которую впереди, я с изумлением установил, что не могу достигнуть ее с той скоростью, какую

принял мой бег. Будучи невядалеке, она приближалась так медленно, как если бы обладала способностью произвольно увеличивать расстояние. И тогда, с тоской оглянувшись, я понял, что не бегу, а иду, еле волоча ноги; довольно было этого обратного толчка — я сел, но не мог даже сидеть; склоняясь на руки, лицом в сторону ущелья, услышал я по отзвукам отдаленной дрожи земли, что погоня вернулась. Не прошло двух минут, как серый автомобиль начал налетать издали, — ко мне, готовому принять последний удар.

Я чувствовал, что бессилён пошевелиться. Я был так иступленно, бесконечно слаб, что не ощущал даже страха. Страх мог спокойно сидеть на моей шее сколько хотел, без всякой надежды вызвать малейшее искажение лица и души. Я был неподвижен, распластан, был как сама дорога. Твердой воображенной улыбкой встречал я приближение свистящих колес. Смерть — вместо солнечной, живой пропасти ликующего бессмертия — уже тронула мое лицо светлой косой луча, протянутого наползающим фонарем, — как вдруг эта железная кошка, несущаяся наперерез моего тела, застучала глухим громом, свернула и остановилась. Из нее бежали четверо, подняли меня и перенесли на сиденье. Лишь двинув рукой, я тотчас сполз с него, перестав видеть, почти перестав слышать, — казалось мне, что глубоко под землей рвут толстый брезент.

XI

Я очнулся в высокой небольшой комнате, с подозрительной тишиной вокруг и с глухой дверью. Сам я лежал на кровати, имея слева от себя небольшой столик, на нем стояли цветы — чрезвычайно искусная подделка: их лепестки (я их нюхал и трогал) обладали точь-в-точь таким же влажным холодком и такой же скользкой мягкостью, как настоящие, — они даже пахли, как настоящие. Дотронувшись до головы, я почувствовал, что она забинтована. Под потолком опускала круглую тень зеленая лампа. Себя же я чувствовал довольно сильным, чтобы говорить и требовать объяснения по поводу моего плена. Увидев провод звонка, я нажал кнопку.

Дверь открылась, и появился человек, которого я видел, несомненно, первый раз в жизни. Он был плотен и прям, с решительным, квадратным лицом и неприятно ясным

взглядом, через очки. Его покровительственная улыбка, очевидно, относилась ко мне, так как моя беспомощность и моя слабость были ему приятны.

— Кто бы вы ни были, — сказал я, — ваша обязанность немедленно объявить мне, где я нахожусь.

— Вы в квартире доктора Эмерсона, — сказал он, — я — Эмерсон. Лучше ли вам теперь?

— Меня похитили, — ответил я таким тоном, чтобы было ясно мое желание прежде всего знать, что произошло за время беспамятства. — Кто вы — друг или враг? Зачем я приведен сюда?

— Я вас прошу, — сказал он с удивительной невозмутимостью, — быть совершенно спокойным. Я друг ваш; мое единственное желание — как можно скорее помочь вам выздороветь.

— В таком случае, — и я встал, свесив с кровати ноги, — я немедленно уйду отсюда. Я достаточно здоров. Ваши действия будут известны королевскому прокурору.

Он тоже встал и позвонил так быстро, что я опоздал схватить его за руку. Немедленное появление трех рослых людей в белых колпаках и передниках заставило меня откинуться на подушку в прежней позе — сопротивление четверым было немислимо.

Лежа, я смотрел на Эмерсона с отчаянием и негодованием.

— Итак, вы в заговоре со всеми другими, — сказал я, — хорошо, — я бессилен. Уйдите, прошу вас.

— О каком заговоре говорите вы? — спросил он, делая знак людям выйти. — Здесь нет никакого заговора; вам предстоит лечение и отдых.

— Вы притворяетесь, что не понимаете. Между тем, — и я описал рукой в воздухе круг, — дело идет о заговоре окружности против центра. Представьте вращение огромного диска в горизонтальной плоскости, — диска, все точки которого заполнены мыслящими, живыми существами. Чем ближе к центру, тем медленнее, в одно время со всеми другими точками, происходит вращение. Но точка окружности описывает круг с максимальной быстротой, равной неподвижности центра. Теперь сократим сравнение: Диск — это время, Движение — это жизнь и Центр — это есть истина, а мыслящие существа — люди. Чем ближе к центру, тем медленнее движение, но оно равно во времени движению точек окружности, — следовательно, оно дости-

гает цели в более медленном темпе, не нарушая общей скорости достижения этой цели, то есть кругового возвращения к исходной точке.

По окружности же с визгом и треском, как бы обгоняя внутренние, все более близкие к центру, существования, но фатально одновременно с теми, описывает бешеные круги л о ж н а я ж и з н ь, заражая людей меньших кругов той лихорадочной насыщенностью, которой полна сама, и нарушая их все более и более спокойный внутренний ритм громом движения, до крайности удаленного от истины. Это впечатление лихорадочного сверкания, полного как бы предела счастья, есть, по существу, страдание исступленного движения, мчащегося вокруг цели, но далеко — всегда далеко — от них. И слабые, — подобные мне, — как бы ни близко были они к центру, вынуждены нести в себе этот внешний вихрь бессмысленных торопливостей, за гранью которых — пустота.

Меж тем, одна греза не дает мне покоя. Я вижу людей неторопливых, как точки, ближайšie к центру, с мудрым и гармоническим ритмом, во всей полноте жизненных сил, владеющих собой, с улыбкой даже в страдании. Они неторопливы, потому что цель ближе от них. Они спокойны, потому что цель удовлетворяет их. И они к р а с и в ы, так как знают, чего хотят. Пять сестер манят их, стоя в центре великого круга, — неподвижные, ибо они есть цель, — и равные всему движению круга, ибо есть источник движения. Их имена: Любовь, Свобода, Природа, Правда и Красота. Вы, Эмерсон, сказали мне, что я болен, — о! если так, то лишь этой великой любовью. Или...

Взглянув на скрипнувшую дверь, я увидел, что она открылась. Усатое, хихикающее лицо выглядывало одним глазом. И я замолчал.

Эту рукопись, с вложенным в нее предписанием к начальнику Центавров немедленно поймать серый автомобиль, а также сбежавшую из паноптикума восковую фигуру, именующую себя Корридой Эль-Бассо, я опускаю сегодня ночью в ящик для заявлений.

ГОЛОС И ГЛАЗ

I

Слепой лежал тихо, сложив на груди руки и улыбаясь. Он улыбался бессознательно. Ему было велено не шевелиться, во всяком случае, делать движения только в случаях строгой необходимости. Так он лежал уже третий день с повязкой на глазах. Но его душевное состояние, несмотря на эту слабую, застывшую улыбку, было состоянием приговоренного, ожидающего пощады. Время от времени возможность начать жить снова, уравновешивая себя в светлом пространстве таинственной работой эрачков, представляясь вдруг ясно, так волновала его, что он весь дергался, как во сне.

Оберегая нервы Рабида, профессор не сказал ему, что операция удалась, что он, безусловно, станет вновь зрячим. Какой-нибудь десяти тысячный шанс обратно мог обратить все в трагедию. Поэтому, прощаясь, профессор каждый день говорил Рабиду:

— Будьте спокойны. Для вас сделано все, остальное приложится.

Среди мучительного напряжения, ожидания и всяких предположений Рабид слышал голос подходящей к нему Дээи Гаран. Это была девушка, служившая в клинике; часто в тяжелые минуты Рабид просил ее положить ему на лоб свою руку и теперь с удовольствием ожидал, что эта маленькая дружеская рука слегка прильнет к онемевшей от неподвижности голове. Так и случилось.

Когда она отняла руку, он, так долго смотревший внутрь себя и научившийся безошибочно понимать движения своего сердца, понял еще раз, что главным его страхом за последнее время стало опасение никогда не увидеть Дэви. Еще когда его привели сюда и он услышал стремительный женский голос, распорядившийся устройством больного, в нем шевельнулось отрадное ощущение нежного и стройного существа, нарисованного звуком этого голоса. Это был теплый, веселый и близкий душе звук молодой жизни, богатый певучими оттенками, ясными, как теплое утро.

Постепенно в нем отчетливо возник ее образ, произвольный, как все наши представления о невидимом, но необходимо нужный ему. Разговаривая в течение трех недель только с ней, подчиняясь ее легкому и настойчивому уходу, Рабид знал, что начал любить ее уже с первых дней; теперь выздороветь — стало его целью ради нее.

Он думал, что она относится к нему с глубоким сочувствием, благоприятным для будущего. Слепой, он не считал себя вправе задавать эти вопросы, откладывая решение их к тому времени, когда оба они взглянут друг другу в глаза. И он совершенно не знал, что эта девушка, голос которой делал его таким счастливым, думает о его выздоровлении со страхом и грустью, так как была некрасива. Ее чувство к нему возникло из одиночества, сознания своего влияния на него и из сознания безопасности. Он был слеп, и она могла спокойно смотреть на себя его внутренним о ней представлением, которое он выражал не словами, а всем своим отношением, — и она знала, что он любит ее.

До операции они подолгу и помногу разговаривали. Рабид рассказывал ей свои скитания, она — обо всем, что делается на свете теперь. И линия ее разговора была полной же очаровательной мягкости, как и ее голос. Расставаясь, они придумывали, что бы еще сказать друг другу. Последними словами ее были:

— До свидания пока.

— Пока.... — отвечал Рабид, и ему казалось, что в «пока» есть надежда.

Он был прям, молод, смел, шутив, высок и черноволос. У него должны были быть — если будут — черные блестя-

щие глаза со взглядом в упор. Представляя этот взгляд, Дэзи отходила от зеркала с испугом в глазах. И ее болезненное, неправильное лицо покрылось нежным румянцем. «— Что будет? — говорила она. — Ну, пусть кончится этот хороший месяц. Но откройте его тюрьму, профессор Ребальд, прошу вас!»

II

Когда наступил час испытания и был установлен свет, с которым мог первое время бороться неокрепшим взглядом Рабид, профессор и помощник его и с ними еще несколько человек ученого мира окружили Рабиду. «— Дэзи!» — сказал он, думая, что она здесь, и надеясь первой увидеть ее. Но ее не было именно потому, что в этот момент она не нашла сил видеть, чувствовать волнение человека, судьба которого решалась снятием повязки. Она стояла посреди комнаты, как замороженная, прислушиваясь к голосам и шагам. Невольным усилием воображения, осеняющим нас в моменты тяжких вздохов, увидела она себя где-то в ином мире, другой, какой хотела бы представить новорожденному взгляду, — вздохнула и покорилась судьбе.

Меж тем повязка была снята. Продолжая чувствовать ее исчезновение, давление, Рабид лежал в острых и блаженных сомнениях. Его пульс упал. «— Дело сделано, — сказал профессор, и его голос дрогнул от волнения. — Смотрите, откройте глаза!»

Рабид поднял веки, продолжая думать, что Дэзи здесь, и стыдясь вновь окликнуть ее. Прямо перед его лицом висела складками какая-то занавесь. «— Уберите материю, — сказал он, — она мешает». И сказав это, понял, что прозрел, что складки материи, навешенной как бы на самое лицо, есть оконная занавесь в дальнем конце комнаты.

Его грудь стала судорожно вздыматься, и он, не замечая рыданий, неудержимо потрясающих все его истощенное, належавшееся тело, стал осматриваться, как будто читая книгу. Предмет за предметом проходили перед ним в свете его восторга, и он увидел дверь, мгновенно полюбив ее, потому что вот так выглядела дверь, через которую проходила Дэзи. Блаженно улыбаясь, он взял со

стола стакан; рука его задрожала, и он, почти не ошибаясь, поставил его на прежнее место.

Теперь он нетерпеливо ждал, когда уйдут все люди, возвратившие ему зрение, чтобы позвать Дэзи и, с правом получившего способность борьбы за жизнь, сказать ей все свое главное. Но прошло еще несколько минут торжественной, взволнованной, ученой беседы вполголоса, в течение которой ему приходилось отвечать, как он себя чувствует и как видит.

В быстром мелькании мыслей, наполнявших его, и в страшном возбуждении своем он никак не мог припомнить подробностей этих минут и установить, когда наконец он остался один. Но этот момент настал. Рабид позвонил, сказал прислуге, что ожидает немедленно к себе Дэзи Гаран, и стал блаженно смотреть на дверь.

III

Узнав, что операция удалась блестяще, Дэзи вернулась в свою дышащую чистотой одиночества комнату и, со слезами на глазах, с кротким мужеством последней, зачеркивающей все встречи, оделась в хорошенькое летнее платье. Свои густые волосы она прибрала просто, — именно так, что нельзя ничего лучше было сделать этой темной, с влажным блеском волне, и с открытым всему лицу, естественно подняв голову, вышла с улыбкой на лице и казнью в душе к дверям, за которыми все так необычайно переменилось. Казалось ей даже, что там лежит не Рабид, а некто совершенно иной. И, припомнив со всей быстротой последних минут многие мелочи их встреч и бесед, она поняла, что он точно любил ее.

Коснувшись двери, она помедлила и открыла ее, почти желая, чтобы все осталось по-старому. Рабид лежал головой к ней, ища ее позади себя глазами в энергическом повороте лица. Она прошла и остановилась.

— Кто вы? — вопросительно улыбаясь, спросил Рабид.

— Правда, я как будто новое существо для вас? — сказала она, мгновенно возвращая ему звуками голоса все их короткое, таящееся друг от друга прошлое.

В его черных глазах она увидела нескрываемую, полную радость, и страдание отпустило ее. Не произошло чуда, но

весь ее внутренний мир, вся ее любовь, страхи, самолюбие и отчаянные мысли и все волнения последней минуты выразились в такой улыбке залитого румянцем лица, что вся она, со стройной своей фигурой, казалась Рабиду звуком струны, обвитой цветами. Она была хороша в свете любви.

— Теперь, только теперь,— сказал Рабид,— я понял, почему у вас такой голос, что я любил слышать его даже во сне. Теперь, если вы даже ослепнете, я буду любить вас и этим вылечу. Простите мне. Я немного сумасшедший, потому что воскрес. Мне можно разрешить говорить все.

В этот момент его, рожденное тьмой, точное представление о ней было и осталось таким, какого не ожидала она.

Начало легенды о Бам-Гране относится к глубокой древности. Округ Потонувшей Земли славится вообще легендами, среди которых Одноглазый Контрабандист, Железная Пятка и другие, давно уже повешенные бандиты, играют крупную роль, но самой выдержанной, тонкой, самой, наконец, изящной я считаю фигуру Бам-Грана. На этот счет мое мнение расходится с мнением остальных, когда-либо внимавших легенде; все же я остаюсь и останусь навсегда при своем. Особенно, если я закурил.

Да. Ничто лучше струи табачного дыма не приближает моей душе этот реальный и изменчивый образ существа с нежной, но лукавой душой, существа, созданного порывом ветра и фразой доктора-акушера. Как рассказывают, Бам-Гран родился в самую свирепую бурю, какую можно представить на берегу Тихого океана, от родителей, вполне способных произвести такого сына. Отец этого существа беседовал на Хуан-Фернандесе с тенью Робинзона или, вернее, Александра Селькирка, так как автор снабдил знаменитого героя псевдонимом во избежание упреков от его родственников. Простой матрос благодаря этому разговору получил некоторые литературные сведения, а также указание относительно клада, зарытого сбегавшим из Монте-Карло кассиром лет пятьдесят назад. Клад состо-

ял из пяти тысяч двадцатифранковиков, оставленных в славном учреждении преимущественно русскими Собакевичами и Базаровыми.

Разбогатец, матрос повел недостойный образ жизни и женился на ясновидающей, некоей Луизе Бастер, имевшей все данные сделаться второй Анной Гресс, не увидь она во время одного из сеансов нечто, посеребрившее ее волосы белой мукой страха. Она никогда никому не говорила об этом, и даже муж ее не узнал, отчего можно так испугаться, засыпая под блеском лунного камня гипнотизера Берга.

Наконец — все пропил матрос, все проиграл в карты, все раздарил фальшивым красноносым приятелям и дал, как водится в таких случаях, зарок вести лучшую жизнь. Лучшая жизнь, естественно, началась со страшной нищеты. В то время Луиза была беременна. Основательно протрезвившийся муж со страхом ждал увеличения семейства, но чем ближе подступало время родить, тем спокойней становилась жена. Выведенный однажды из жалкого своего равновесия кротким благодушием женщины, матрос начал иступленно кричать: «Если родится сын, пусть не будет у него ни семьи, ни дома, ни родины, ни денег; пусть он живет со зверями, вырастет скандалистом, и пусть всегда скалит зубы, как ты теперь, подлая. Если родится дочь...»

Едва он начал определять судьбу дочери, как помертвевшая от испуга женщина слабо подняла руку, успев сказать: — «Только не злой, не злой». Затем заклинание матроса, очевидно, произвело действие, так как с несчастной начались родовые схватки. Матрос бросился за доктором и привез его в самый нужный момент.

Когда рассказ о Бам-Гране подходил к этому месту его истории, рассказчик поникал головой, смотря исподлобья, делал произвольную паузу, затем, вещь протянув руку и блистая вдохновенным лицом, внушительно и быстро шептал, задыхаясь от естественного волнения: «Была ночь. Ветер ударял с силой пушечного снаряда. И вот — мальчик лежит на руках доктора. Едва были окончены хлопоты по этому делу, как доктор сел писать рецепт, а колокол на церкви, двинутый ветром, жутко раскатил: Бам... «Гран», — сказал в это же время доктор, выписывая рецепт, вслух. Его рука застыла — заметьте — застыла, перо застыло, и

родители застыли от ужаса: новорожденный, приятно улыбнувшись, помахал ручкой, чихнул и внятно произнес: «Бам-Гран».

II

Молодой человек, пришедший из ивовых зарослей, что внизу, по отмели реки Адары тянутся на протяжении трех миль в длину и полуторы в ширину, не пользовался уважением населения, так как не удовлетворял основному требованию — «иметь здравый рассудок». О нем было известно, что он ведет жизнь дикаря, что он кого-то ждет и имеет непонятную цель, связанную со своей зарослью. Звали его Франгейт.

Его волосатая голова была обвязана синим платком: старый пиджак, подпоясанный широким ремнем на манер блузы, открывал шею и расстегнутый воротник смятой белой рубашки. Цвет брюк и состояние их можно вообразить, — но какой бытовик воздержится от указания, что они были оттопырены на коленях.

Лицо Франгейта являлось смесью обдуманной, упрямой силы с болезненно-тонкой восприимчивостью, — лицо глубоко чувствующего человека, способного, не морщась, нанести смертельный удар, если встретится неотстраняемый вызов. Он был широкоплеч, сутул, тонок в талии, ступал крепко и медленно, смотрел прямо, и, когда улыбался, застенчивое озарение широкого смуглого лица выказывало белые ровные зубы, блестящие, как у девушек. Его волосы и глаза были почти черны; он не расставался с коротким ружьем, висевшим всегда на его правом плече вниз прикладом, и курил маленькую японскую трубку, набивая ее в рассеянности иногда так крепко, что огонь не просасывался.

В этот день Ахуан-Скап мог по праву гордиться тем, что на него обращены глаза всего мира. Отношения между солнцем и лунной достигли противоречия, называемого обыкновенно «затмением». Задолго перед тем компетентные люди установили и объявили повсюду, что на этот раз затмение можно отлично наблюдать именно из Ахуан-Скапа, в силу чего затерянный полудикий город, преподнесший астрономам такое редкое лакомство, должен был отпраздновать свою пчелиную свадьбу, погружаясь затем снова в так громко потревоженное забвение.

Как ни был озабочен Франгейт тем, что в неизвестной стране чужие люди покупали за деньги право смотреть на лицо девушки, увлеченной ярким огнем созданной из пустяков жизни, как мучительно ни разрывал он любящей мыслью тяжелое, глухое пространство, скрывающее где-то в бесформенном слиянии всех вещей и явлений его стройную Карион,— он не мог не обратить внимания, что город принял важный, шумный и такой чистый вид, какого не было со времен последнего циклона, выбившего из всех улиц и тюфяков пыль не хуже голландки, моющей свой тротуар мылом. Дома были украшены флагами. С балконов свешивались ковры и цветные материи, а у фонтана, где бегали и приплясывали ребятишки, играл хор трубачей, торжественно шевеля золотом больших труб. Кроме того, всюду развивалось самое усиленное движение: по шоссе, огибающему скалистый узор горных возвышенностей, неслись расфранченные экипажи, полные разодетой публики, лошадиные зубы и скулы которой, совместно с золотыми набалдашниками тростей, ярко сияли от солнца. Время от времени видел Франгейт фигуры, вызывающие представление о костях,— нескладные старики, в очках, с ящиками и какими-то инструментами под мышкой, озираясь дико и неприспособленно, стремились, развевая полы макинтошей и пряди седых волос, к какому-то таинственному пункту. Нечто похожее видел Франгейт один раз, когда в город нагрянула партия землемеров. Меж тем все, или почти все, кого встречал он, смотрели вверх, задрав головы, на лицах же появилось столько темных очков, что все, казалось, ослепли или тренируются в выпрашивании милостыни под незрячих. Кроме того, прошествовали шагом в сопровождении чрезвычайной охраны четыре большие подводы, нагруженные большими и малыми телескопами в зеленых чехах, открывающих пронизательному взору уличной детворы свои медные части, вычищенные до боли в глазах.

— Быть может,—сказал Франгейт одному из тех людей со старческими, сухими лицами, осматривать которых ему доставляло не меньшее удовольствие, чем некогда взирать на мумии в Лисском музее,— может быть, вы объясните мне снисходительно, что значит этот гром, блеск и оживление?

Приезжий остановился, строго лоя сверх очков, не дерзость ли блеснет в лице вопрошателя, но Франгейт смотрел на него лишь любопытно и кротко.

— Я вижу, вы не здешний,— сказал старец, беря Франгейта за пуговицу пиджака и отводя в сторону.— Вот! — Он извлек золотые часы с хрустальной крышкой и сунул их к глазам Франгейта.— Мы имеем точное время — десять часов сорок три минуты одиннадцатого утра 22 февраля тысяча девятьсот двадцать третьего года, а в двенадцать с одной минутой первого того же числа и этого же года начнется солнечное затмение, которое продлится один час и сорок минут. Труба упала! — вскричал он затем, яростно потопал ногами и ринулся к подводе, где загремели небесные принадлежности.

«В таком случае,— подумал Франгейт,— надо торопиться. Если я не куплю теперь же пороху, крючков, пистонов и табаку, лавки, несомненно, закроются, так как часть торгашей будет ожидать конца мира, а другая—начала дневного света, покупатели же исчезнут на крыши».

На рынке Франгейт увидел на возвышении человека, размахивающего руками; вокруг него, покатываясь от смеха, роилась рыночная толпа.

III

Туда пока что трудно было пробраться. Настроенный невесело, Франгейт задумчиво смотрел на развлекающую толпу, машинально прислушиваясь в то же время к разговору под навесом рыночного трактира. Разговор этот, с трубками в зубах, вела компания трубочистов; их ведьмины хвосты, которыми прополаскивают они щели труб, свешивались с их плеч ниже сиденья вместе с остальными орудиями пыток. Нет еще автора, который описал бы физиономию трубочиста без мыла, поэтому и мы не посягаем на трудную задачу, а предоставляем солнечному лучу, проникающему сквозь дыры холста трактирной палатки, играть на лицах негритянского цвета с европейскими очертаниями.

Каждый раз, как прихлебывал трубочист из стакана, немного черной мути осаживалось с усов на дно.

— Так вот,— говорил наиболее пьяный из них,— я не настолько пьян, чтобы нести вздор. А все это штуки Бам-Грана, которого давно уже не было в нашем городе.

— Давно или недавно,— сказал другой,— а сдается, что начинается похужее на ветер с горы.

— Что же это за «ветер с горы»? — спросил гуртовщик, пересев из угла к столу.

— Ветер с горы... Э, это страшная вещь,— сказал трубочист.— То дело произошло лет двадцать назад, когда в Ахуан-Скапе не было и половины домов. Слушайте: начался ветер. Ветры бывали, само собой, и раньше, но такого не упомнит даже моя бабушка, а она еще, слава богу, жива. Не был он ни силен, ни холоден, но дул все в одну сторону и намет песку с подветренной стороны к стенам фута на три. Наступила такая тоска, что хоть вешайся. Действовал этот ветер, как вино или горе. Все побросали свои занятия, лавки закрылись, мужья бросили жен и ушли в неизвестную сторону. В то же время четырнадцать человек кончили самоубийством, спился целый квартал и сошла с ума добрая половина. Вот что такое «ветер с гор». Я сам чувствовал себя так, как будто потерял дом и семью и надо идти разыскивать их где-то на краю света. Но известно, что все это штуки Бам-Грана. Однажды...

— А кто такой этот Бам-Гран? — спросил молодой солдат.

Вопрос был, очевидно, так неуместен, невежествен и невежлив, что рассказчик, зацепив бороду черной клешней, крикнул, посмотрел вверх и горько покачал головой. Наступило молчание, а незаметно для себя, но сильно покрасневший солдат стал беззаботно крутить ус, смотря в пространство с напряжением затаенной обиды.

Заинтересованный, Франгейт подошел ближе.

— Слушай, молодчик,— начал поучать дерзкого трубочист,— скажем, идешь ты по улице и видишь, что тебе несут на блюде жареную свинью. Хорошо. Не спрашивая лишнего раз, почему и как эта свинья, берешь ты ее в обе руки и ищешь места, где закусить, а свинья преспокойно слезет с блюда, идет рядом и говорит: «Экий ты дурак, братец. Экий же ты осел, молодой человек». Так вот это и есть Бам-Гран, если только он вознаградит тебя тут же, толкнув под ногу золотую монету.

Гомерический хохот окружил растерявшегося солдата. Перебивая шум, трубочист продолжал:

— Бам-Гран ходит в зеленом сюртуке, на голове у него цилиндр, жилет модный и брюки модные, а сапоги

блестят, как зеркало. Если ты его встретишь и поладишь с ним, то он сделает тебе все, что ты хочешь, хоть клад достанет; кроме того, знает он птичий и звериный язык и может показать в любом месте земли, что там делается. Но он, видишь, очень нервен, и угодить ему трудно, как барышне, если она, закатив глаза, начнет бить ногами и требовать немедленно яду, а если не угодишь, то он исчезнет, как все равно — пфу.

Улыбаясь, Франгейт двинулся дальше, попав теперь как раз на пустое место, с которого расходилась толпа и где можно было почти вплотную придвинуться к возвышению.

IV

Еще не начиналось затмение, но легкие облака, время от времени набегая на солнце, как бы готовили жителей для предчувствия его великой ночной тени. Как это, так и другие настроения смешанного характера, напоминающие не то отъезд, не то нашествие гастролеров, тронули уже душу Франгейта беззвучной мелодией, располагающей к странностям. Но был он все же громко озадачен тем, как выглядел человек, стоявший на бочке — именно тот человек, вокруг которого толпились и зубоскалили обыватели. Франгейт даже вздрогнул и отступил, невольно оглянувшись на палатку трактира, где нарисовали ему портрет легендарного фантома, — так точно описал трубочист костюм человека на бочке.

Легким движением воли отогнав суеверие, Франгейт внимательно присмотрелся. Острые, как шпильки, глаза смотрели прямо на него с лица, очень худого, но не болезненно; могучий и кроткий сарказм змеился в углу тонких губ, обведенных длинной золотистой бородой, завивавшейся наподобие штопора и висевшей ниже второй пуговицы цветного жилета. Темно-зеленый сюртук скрывал до колен тонкие ноги, небрежно заведенные буквой Х. Большой палец правой руки был засунут в верхний карман жилета, отчего острое плечо пыжилось вверх соответственно такому же напыщенному выражению локтя, подрагивающего так независимо, что хотелось снять шляпу; левую руку держал он вытянутой вперед, показывая небольшой ящичек, содержимое которого рассмотреть было довольно труд-

но,— блестело там и темнело нечто искрящееся. Высокий цилиндр делал рост субъекта еще больше на взгляд. Маленькие огненные усы под острым, тонким носом закручены были вверх с отчетливостью осенних былинки, рдеющих на солнце торчком. Но невозможно было уловить основное выражение лица — оно менялось с непрерывностью бегущих теней. Рассмотрев основательно наружность, Франгейт начал наконец понимать, что выкрикивает этот человек таким бесподобно оглушительным петушиным голосом:

— Почтенные люди, думающие, что я смеюсь над вами, сделайте серьезное лицо и берите из первых рук первый товар в мире. Нигде нет таких закопченных стекол, как у меня. Они выкопчены на свечке самоубийцы и выломаны из развалин древнего храма Атлантиды, где умели делать стекло тогда, когда предки ваши еще ловили когтями летучих мышей. Обратите внимание, что, купив у меня стекло, вы тем самым равняетесь с орлами, взирающими, не моргнув, на солнце. Таким образом, вы лично убедитесь в существовании протуберанцев и солнечных пятен,— следовательно, в том, что наука не лжет, а это дает спокойный сон самым пытливым умам. Кроме того, на что вы ни взглянете через такое стекло, все явится перед вами в самом неожиданном свете. Обладая им, можете вы быть уверены также, что вам повезет в игре, любви и политике. Не прося дорого, даже совсем не прося денег, требую лишь, чтобы желающий приобрести это замечательное стекло, тотчас и единым духом вышвырнул все до одной монеты, какие у него есть, на землю или отдал первому встречному.

— Нашел дурака,— сказал мясник, сунув под передник руки и оглядываясь на других, с негодованием внимавших оратору.— Пойду я, разобью банку из-под варенья и накопчу, сколько хочу.

Тотчас несколько человек поддержали его горячими заявлениями о том, что первый раз видят наглеца или сумасшедшего, пытающегося ограбить их таким лукавым и непонятным способом. Тем временем некая проворная девица, растолкав любопытствующих, протискалась к человеку в цилиндре и, самоотверженно кинув через плечо мелкую медь, так как более ничего не имела, получила от продавца кусочек черного стекла, немедленно наведя его на своего кавалера, но, с визгом бросив стекло, побледнела и перекрестилась. Тотчас обступили ее подруги, соболезуя и

спрашивая; биясь в их объятиях, отталкивала она также и кавалера, крича, что ее околдовали.

Франгейт немедленно подошел к ней, пытаясь узнать, в чем дело. Смущенный не менее своей подруги, кавалер приступил тоже с расспросами.

— Ах, ах,— выговорила сквозь слезы девушка,— если бы ты знал, как выглядишь ты через это стекло. Бог с тобой, не хочу тебя обижать, но, право, сердце мое сгорело, так похож был ты на обезьяну с собачьей мордой... Не покупайте! Не покупайте! — завизжала она, топча стекло,— вон его, вон бесовское копченое производство.

— Молчать!—громовым голосом крикнул человек с бочки.— Не поддавайтесь истерике. Верно, пробежала тут случайно собака, а где-нибудь взвизгнула обезьяна... Много ли надо для девичьего овечьего сердца. Раз, два — и готово оскорбление кавалеру. Почтенный пострадавший, идите сюда. У меня есть для вас нанудобнейшее закопченное стекло, с помощью которого вы, направив его на собаку, немедленно различите в ней лучшие человеческие черты, и обида ваша окажется торжеством. Но только швырните деньги и наступите на них. И бойтесь обмануть меня размером отвергнутой суммы, ибо я вижу во всех карманах так же просто, как вы — друг друга. Несчастный обескураженный, слушайте, что говорю я!

Еще не знал Франгейт, потешаться ли ему этой сценой или принять в ней какое-нибудь участие, как начал, сначала тихо, а потом все громче, перелетать шепот: «Бам-Гран. Бам-Гран. Бам-Гран. Слепые и дураки, слышали вы о Бам-Гране?.. А если слышали, то вот он, вот. Бегите — это и есть Бам-Гран. Старуха его узнала».

— Что за болтовня...— сказал Франгейт, обернувшись к наводящему на человека с бочкой револьвер охотнику, вытаращенные глаза которого уже чем-то стреляли.— Устыдитесь, приятель.

Но вяло произнес он эти слова. К его сердцу подступил холод неведомого события. Минутами казалось все сном, мгновениями — оглушительно ярким, как если открывать и закрывать форточку на шумную улицу. Револьвер стукнул возле самого его уха, но Бам-Гран, если это был он, засмеялся и спокойно махнул рукой; из нее тихо перелетела обратным путем горячая пуля, попав охотнику в бороду. В это время дневной свет был уже неестественно дик и сумрачен.

— Начинается!— закричал кто-то. Успев подсмотреть, как с негодованием и ужасом охотник выцарапал из бороды пулю, Франгейт, а за ним все подняли головы к почерневшему глубокому отрезом солнцу; немощно, полумертво горело оно, почти без лучей, в грозном смятении.

Великая тень вылилась с высот на землю. Тогда все, уstraшенные зрелищем, пустились бежать, и скоро площадка перед бочкой опустела; пуста была и сама бочка, и Франгейт с отчаянием заглянул под нее.

V

Везде хлопали полотняные навесы, трещали замки,— то закрывались лавки. Темно было уже, как перед сильной грозой.

Сердце Франгейта болело и горело теперь от страха, что исчез навсегда Бам-Гран, которого он принимал слепо. Как с нами, когда, после череды томительных глухих дней, полных всякого ожидания, случается что-либо, внезапно подхлестывая замершую жизнь счастливым ударом, и мы, наперелом двух настроений, делаемся горячи, легки, нервны и певучи, еще не входя в подробные разъяснения громкой случайности,— так Франгейт вышел в то мгновение из круга в прорыв, даже не подумав о том, но следуя лишь душевной повелительной жажде, в надежде столь странной, что и размышлять об этом было бы ему не под силу.

— Бам-Гран,— вскричал он, даже не прислушиваясь к своему голосу, как бывает не при неуверенности, а от полноты страданий,— Бам-Гран! Я брошу все деньги, только покажитесь мне.

— Бросай,— раздалось где-то так лукаво и тонко, как на пискливой ноте замирает скрипичная струна...

«Не мышь ли пискнула?» — подумал Франгейт. Однако он не колебался, подобно тонущему, срывающему с себя одежду, и, вывернув судорожно карман, мрачно разбросал все немногие свои монеты, топнув от нетерпения ногой. Тотчас взял его кто-то под руку. Рванувшись, он увидел цилиндр, под ним неукротимым синим огнем блестели насмешливые глаза.

Пустынно было кругом.

— Я знаю,— начал Франгейт,— как скучно выслушивать чужие истории, но...

Собеседник перебил его, сказав:

— Рассказ должен быть интересен. Я должен быть заинтригован или растроган. Без этого у нас ничего не выйдет. Вот щель; войдем в нее, как два луча: зеленый и желтый; но страха не должно быть у тебя, я ведь Бам-Гран, Бам-Гран, я — большой звон. Слушай меня в сердце своем; я хочу играть, вечно шевелить пыль,— он топнул ногой и свистнул.— Маленький смерч для начала, крошечный, как хвостик козы,— затем будем говорить.

Тотчас две струйки ветра выползли из-под ног Франгейта и, крутя с пылью бумажку, темным винтом проплыли, на манер вальса, в неестественную тьму этого дня. Меж двумя лавками, на груде ящиков с соломой, Бам-Гран уселся, вытянув и скрестив ноги. Перемогая оцепенение и головокружение, Франгейт прислонился к стенке. Думая, что говорит громко,— так было сильно его волнение,— он тихо и быстро шептал; когда же очнулся, возле него никого не было, лишь два пальца, прямо против лица, торчали из щели деревянной стены лавки, помахивая черным стеклом.

— Против большой ивы, на косе у красного бакена,— зашептал некто сквозь стену,— не отнимая глаз от стекла, смотри на воду и вокруг; появится множество людей, не достигших цели. С ними разговор короткий: просто молчать. Но как только увидишь человека с важным и тихим лицом в старинном костюме, прикладывающего к сердцу пистолет, громко скажи ему: «Подожди, Рауссон, есть слово и для тебя». Тогда увидишь, как поступать. Есть часы разные, но нет лучше часа затмения. Оно началось, ступай.

VII

Не размышляя и не ожидая ничего более, Франгейт поспешно выбрался с опустевшего рынка. На улицах сновала толпа; присев, выли собаки; где-то пьяный стрелял в луну, надеясь простым убийством девственницы вернуть дню блеск; в небе же среди равнодушно блестящих звезд сиял

слабый кольцеобразный свет вокруг черного, зловещего ядра, которое, казалось, и есть само потухшее солнце.

Повернув к реке и одолев плоские скаты, за которыми далеко внизу тянулась обширная ивовая заросль, Франгейт невольно поддался впечатлению, что стоит ночь. Смыкаясь над его головой, мрачные завалы кустарника изредка пропускали звезду, но пахло сухим песком и нагретой зеленью, чего не бывает ночью. Птицы, трагически свистя крыльями, носились в тоске, и их изменившийся, уstraшенный крик пугал, как неожиданный стон. Путаясь и торопясь, избитый по лицу ветвями, прошел Франгейт к тысячелетнему дереву; меж ним и материком, чернея, блестела вода.

Он прислонился к стволу под спадающими вокруг листьями, далеко впереди него трогающими воду, колеблющую и отстраняющую их быстрым течением. Запах сырой реки стал крепче, острее пахло песком, цветы и листья, казалось, возбужденные всеобщей тишиной, излучали острый, отчетливый аромат.

Тут, немного передохнув от ходьбы, Франгейт вынул из кармана стекло.

Оно было не больше ладони, но толще, чем обыкновенные оконные стекла, и закопчено только слегка в исчерна фиолетовый тон. Прежде чем начать его испытание, прошел он немного вправо, где меж двумя пнями наклонно торчал ивовый прут с выбегающими из влажной, как будто отпотевшей коры новыми узкими и яркими листьями. Они были еще нежны и слабы, как почки, но в глазах Франгейта превосходили всю красоту остальной всякой растительности.

— Мое чудо,— сказал он с суровой глубиной одинокого восхищения и дрожащей рукой подержал один листик снизу, как держат за подбородок ребенка. И, вырвав вздох, медленными кругами повернулись перед ним три года тоски.

Вокруг прута было выведено на песке множество раз одно и то же имя: «Карион». «То ли, что я писал это, помогло зацвести пруту,— размышлял Франгейт,— или есть на то причины таинственные?» Поддавшись мгновенному внушению, он извлек стекло и посмотрел сквозь него на зеленющий прут.

У корней двигалось, присев на корточки, ничтожное существо, в капюшоне и длиннополом халатике; крошечные туфельки были ему велики, и он поправлял их, топая сердито ногой каждый раз, как, поспешив, оставался об одной туфле. Франгейт безошибочно видел, что существо

работает увлеченно, но не мог различить движений, а также предметов, с помощью которых орудовало это создание.—«Крыса, что ли?»— нетерпеливо сказал он, трогая ногой упавшего кувырком вершкового старика. «Не крыса, но доктор растений,— гневно завизжало создание,— вы совершенно меня расстроили, и я пролил свой хлорофилл. Желая вам наступить на змею». Он скрылся, а Франгейт стал щупать траву на том месте, где стоял карликовый доктор, но комары, жутко напав стайей, нестерпимо изжалили его, и он выпрямился.

— Будет дело,— сказал Франгейт, весь дрожа, как в те минуты, когда в лесу его удочки водила большая рыба. Вновь поспешил он к тысячелетней иве, прикрыв глаза чудным стеклом, и, прислонясь к стволу, замер.

Прошло очень немного времени, как услышал он ровный плеск весел; глухо шумя песком, на отмель выползла, перевалиясь, лодка. Начала светиться вода и стала прозрачной, как будто вся глубина ее слилась с воздухом. Тогда увидел он странную форму большой мели, которую представлял ранее треугольником; она имела вид виноградного листа, с отвесным обрывом на глубине; по обрыву всплывали и опускались черные палки рыб. Меж тем, сидевшие в лодке встали, вооруженные с головы до ног, вышли гуськом.— «Наконец-то,— сказал первый, с суровым и неприятным лицом,— черный клад у острого камня дался нам в руки». Но красный блеск выстрела мгновенно опрокинул его; выстрел был из кустов, и двое живых, прячась за лодкой, открыли встречный огонь.— «Билль опередил нас»,— сказал шепотом, умирая, второй с лодки, и, тихо повернув ее, третий, живой, скрылся за поворотом реки.

Сказать, что Франгейт с лышал выстрелы, было нельзя, но он переживал их. Еще светлее стало на берегу и, как нарисованные на прозрачном озаренном стекле, выделились тончайшим узором все стволы, ветки и листья: сквозь них до самого горного ската можно было бы читать справочный петит «Зурбаганского Ежемесячного Глашатая». По обширному плато ивовый заросли мерцали и плыли клады. Бочки среди костей, с лопнувшими в земле обручами, открывали тусклое золото; малые и большие бочонки, набитые драгоценностями, спали между корней, и жуки точили их дерево. Среди этих гробниц какой-нибудь истлевший холщовый узел или горшок с окисленным серебром жадно таились на глубине двенадцати футов, в то время как целая лодка, увя-

занная и обитая кожами, тащила драгоценную утварь вре-
мен Колумба.

Меж тем, не было теперь места на реке и на берегу, где встретил бы взгляд пространство, свободное от тел человеческих; даже у ног Франгейта дремали с карандашами в зубах пуделеобразные поэты, и сладкие стоны их взывали к ускользающей вечности. В кустах возлежали лентяи, почесывая грязную шею и мечтая о женитьбе с приданным. Их собаки неодобрительно спали задом к небритым физиономиям. Усидчивые рыболовы, скорчившись, как калмык на седле, гипнотически приникали взглядом к таинственному волнению поплавок, а внизу, на глубине приманки, прожорливые, поседелые в боях рыбы осторожно откусывали ту половину червяка, где не колот их рыло крючок. Пьяницы с бутылкой к рукам, растроганно обращаясь к каждому дереву с торжественной, но маловразумительной речью, шатались, выискивая укромное место, и, сев циркулем, приступали к священнодействию, потирая руки. Среди этой толпы, полной одинокого смеха, возгласов, звучащих рассеянно или со скорбью, далеких, настораживающих зовов, появились черные лодки пиратов. Они гребли, налегая на весла, и у их ног бились связанные женщины.

Наконец появились люди, не достигшие цели. Они двигались над водой, против течения, с взглядом, направленным в глубокую и ясную даль. Франгейт не ошибся, разглядывая их с сильным сердцебиением. Сначала было их не так много, не более десяти сильных, но усталых фигур, затем вся тень, подобная туче, стелющейся над водой, рассеялась, зашумев вокруг него неудержимой толпой и бесчисленным блеском упорных взглядов, направленных к невидимому препятствию...—«Не падай,— сказал кто-то рядом с Франгейтом; в ответ послышался стон.— Немного... еще немного терпения». «О, нет более сил».—«Тогда я пойду один».—«Не ходи этой дорогой, она трудна».—«Значит, это моя дорога»,— сказал невидимый голосом, напоминающим треск сердито захлопнутой двери. Все более раздавалось слов, песен, рыданий и восклицаний. Но вот выделился из толпы красивый, как грозный свет вечернего окна, стройный и важный человек с тихим лицом; улыбаясь, он отошел в сторону, провел по высокому ясному лбу белым платком и, расстегнув камзол, приставил пистолет к сердцу. «Будь счастлива, дорогая,— сказал он,— мой путь кончен, я ухожу».

— Стойте! — крикнул, похолодев, Франгейт, так как вдруг опустела река, и берег вновь погрузился в тьму; все отшатнулось, пропало. Лишь темный силуэт с белым платком вглядывался в него. — Остановитесь, — продолжал Франгейт, — для вас есть дело, и это дело — мое. — Вспомнив, что искажил фразу, назначенную самим Бам-Граном, он торопливо поправился, прокричав: — Стой, Рауссон, есть дело и для тебя.

— Слова не имеют особенного значения, — сказал тот, кого называли Рауссоном, — я понял вас с первого обращения.

Подойдя, он мягко взял руку Франгейта маленькой, горячей рукой и крепко пожал ее.

— Только безумное сердце остановит меня, — сказал он, — безумное, как мое. Ваше сердце такое. Скажите, друг мой, что я могу сделать для вас?

Франгейт опустил стекло, — оно упало меж корней в воду и навсегда исчезло. Но Рауссон был тут; солнце, как при раннем рассвете, уже могуче и щедро искрило воду реки, освобождаясь от тени, а печальная рослая фигура самоубийцы, полная случайной жизни, оставалась стоять рядом с Франгейтом, и тени их, две, чернели на засветлевшем песке.

Стараясь говорить кратко, Франгейт рассказал про девочку и ее прут. Прут был неочищенная от коры удочка, которой она с ним вместе ловила рыбу.

— Она танцевала, — с горечью сказал он, — еще совсем маленькая, она танцевала так хорошо под любую музыку, что ее заставляли иногда сделать это. Наши семьи были соседями. За все время нашей дружбы я сделал ей более сотни удочек, но, когда она выросла и стала носить длинное платье, она все чаще поглядывала на пароходы и не раз намекала, что нам придется скоро расстаться. Довольно вам сказать, что в этой иве мы облазили все кусты, играя в разбойников, и мне очень не хотелось, чтобы она уехала, но ей так вскружили голову ее танцами, что она все время смотрела на свои ноги, и, откровенно сказать, я тоже любовался ими. Последний день стояли мы здесь, на этом самом месте, затем она села в лодку, и я выстрелил, чтобы остановить пароход. Мы отплыли немного, чтобы нас не слышали другие провожающие. — «Слушай, Карион, — сказал я, — останься, здесь на реке так хорошо и светло». Но она была

смущена, смеялась и шутила уклончиво.— «Подумай, что ты прочтешь мое имя в афишах»,— сказала она. Я молчал. Тогда она взяла одну из удочек, что лежали здесь, воткнула ее и легкомысленно произнесла:— «Я вернусь, если этот прут зацветет. Иначе, ты можешь меня презирать до конца дней». Кто внушил ей такую мысль?.. Немедленно я вынул нож и сделал отчетливую на пруте зарубину.— «Узнаешь ты эту метку?»— сурово спросил я. Немного струсив, она поклялась, что узнает. Тогда я сказал:— «Здесь, где я тебя отпустил, я буду ждать и не уйду никуда, пока не зазеленеет твой прут»,— и с той же минуты свято поверил в это. Она холодно выдернула свою руку из моей и пошла к лодке задумчиво. Прошло три года, не было от нее ни письма ни слуха о ней; ее брат тоже уехал, мать умерла. Раз десять в день ходил я смотреть на ту удочку, что торчит там, между двумя пнями, пока третьего дня не увидел, что на ней вспухли четыре почки, и стал несколько сумасшедшим. Теперь необходимо узнать, где находится эта,— а она всегда говорила правду, она всегда держала слово,— эта маленькая увлекающаяся девушка.

Некоторое время они молчали. Рауссон посмотрел вдаль и как бы отсутствовал.

— Вы поступили правильно,— сказал он,— и я в совершенном восхищении от вашей истории. Пространство огромно, в нем нет еще указаний. Представьте себе ясно ее.

Не было ничего легче для Франгейта в эту минуту.

— Ну, так,— сказал Рауссон,— вы отправитесь в Сан-Риоль и спросите в театре Элен Грен.

— Но...— начал Франгейт,— ее, как я вам сказал, зовут Карион.

На это он не получил ответа. Полный блеск солнца воскресил уже зелень пустыни, и голубое над синей рекой пространство улыбкой трогало далекие горы.

VIII

После солнечного затмения жители Ахуан-Скапа были, среди общего благополучия наблюдений, несколько скандализированы заявлением двух астрономов, передававших по секрету всем, кто мог или хотел им верить,

что луна окривела на правый глаз, почему, сочтя неудобным из деликатности лорнировать ее посредством телескопических стекол, ученые мужи поспешили вознаградить себя обильным возлиянием на веранде «Тропического кафе» под мелодию «Марша идиотов» (бывшего о ту пору в большой моде). Одновременно с тем некоторые прохожие, воспользовавшиеся для любознательных своих изысканий осколками темного стекла, разбитого на базаре истеричной девицей, были смущены тем обстоятельством, что солнце грозило им кулаком... Хотя в компетентных кругах наиболее посещаемых харчевен сии противоестественные случайности были приписаны Бам-Грану, газеты таинственно молчали, оставляя каждого думать, что он хочет.

В настроении вышеописанных событий плотно пообедавшая компания пассажиров, наслаждавшаяся летним вечером на шезлонгах палубы парохода «Адмирал Гент», стала постепенно говорить о вещах, привлечших сосредоточенное внимание одинокого пассажира с кожаной сумкой через плечо, сидевшего пока в стороне. Он пересел так, что очутился сзади кружка, и, слушая, не раз пытался вмешаться в разговор, но удерживался. Однако было произнесено имя, после которого он судорожно, глубоко вздохнул, решив о чем-то спросить.

Между тем седой, плотный бакенбардист, вытянув огромные ноги в зеркальных сапогах, сказал:

— Решительно она затмила ее. Элен нервнее и эластичнее, но у этой Марианны Дюпорт бесподобная техника, кроме того, множество мелких неожиданностей жеста, производящих обаятельное впечатление. Исход борьбы меж ними решен. Я высчитал это с метром в руках по столбцам театральной хроники «Обозревателя», и, как сейчас помню, на Элен Грен приходится десять дюймов за неделю против двух с половиною метров «блистательной Марианны».

Предупреждая смех слушателей, человек с сумкой обратился к бакенбардисту:

— Позвольте спросить вас,— сказал он при всеобщем несколько ироническом внимании,— разговор, кажется, идет об Элен Грен, артистке театра?

— Именно так,— ответил пассажир, оскаливаясь с фальшивой любезностью человека, чувствующего свое превосходство.— Вы любитель балета?

— Меня зовут Франгейт,— сказал молодой человек,— я плохо знаю, что такое балет. Меня интересует, не знаете ли вы также другой подобной артистки,— ее имя Карион. Карион Фэм.

— Но это — одно лицо,— вмешался человек с длинными волосами, с пышным галстуком и измятым лицом.— Сценическая фамилия интересующей вас артистки Грен. А настоящая — совершенно верно — Карион Фэм, хоть я удивляюсь, как вам стало известно настоящее ее имя.

Пропуская бесцеремонность тона, Франгейт, помолчав, спросил:

— Но почему же она переменяла имя? Так, я слышал, бывает в монастырях. Разве поступивший на сцену уходит от жизни? И главное — «Карион Фэм» гораздо красивее.

— Пожалуй,— сказал капитан парохода,— пожалуй. Вроде как бы и уходит. Уходит от многого.

Франгейт снова раскрыл рот, но общество, заметив его надоедливое оживление, поспешно забалагурило. Он отошел и стал смотреть на темную воду, бегущую под водоворот колес. Впереди, как бы нависшая в воздухе, светилась пелена огней.— «Скоро ли Сан-Риоль?» — спросил он матроса.— «Вот — это он виден»,— сказал матрос.

IX

Перед последним актом спектакля через тонкие перегородки уборных слышался ретивый мужской смех, лукавый, сдержанный шепот и гневные восклицания. По коридору хлопали двери, вдали играла музыка, перебиваемая шорохом и стуком кулис.

В уборной Элен Грен стояли два человека: она и грузный господин с умным порочным лицом. Девушка, нервно-человечески оправляя окружающую ее гибкий стан стрелой газового кольца, трепещущую, как туман, юбку, сдержанно, но тяжело дышала, улыбаясь и смотря вниз; ее губы были искусаны от волнения, ноги машинально переступали на месте. Ниже колен, под шелковым трико, видны были вздувшиеся веревкой вены. По напудренному лицу пробегала мгновениями глубокая бледность.

— Так это было хорошо, Безантур?

— Отлично, маленькая моя. Теперь тебе предстоит нанести последний удар. Симпатии вернулись к тебе. В антракте Глаубиц сказал, крепко пожав мне руку: — «Она восхитительна. К ней вернулась вся прежняя экспрессия. Боюсь, что Марианна сегодня проведет плохую ночь. Пишу статью, равную блеску ног Элен Грен», — и он усмехнулся, очень довольный.

— Подай мне кокаин, — быстро сказала Карион.

Безантур взял с ее туалетного стола хрустальный флакон и зацепил в нем крошечным серебряным острием ложечки немного белого порошка. Девушка втянула его, как нюхают табак, прижав одну ноздрю, затем другую. Краска вернулась к ее лицу, глаза стали ненормально блестеть. Теперь она не чувствовала усталости.

Уже музыка начинала то место, с какого должна была выступать Элен Грен. Волнуясь, подняла она голову и вышла к расступившейся перед ней толпе закулисных гостей, толкающихся в проходах сцены.

Режиссер, поддерживая балерину под локоть, вывел ее к кулисе. — «Раз... два...», — считал он. Затем танцующее, ею самой не чувствуемое тело в облаке газа было передано силой музыки и момента ослепительно яркому помосту, полному женской толпой с заученной неподвижной улыбкой гримированных лиц и открытой пастью авансцены, где в глубоких сумерках притушенных ламп слышалось сдержанное напряжение зрителей.

Только что Марианна Дюпорт кончила свое соло, покрытое, после глубокой паузы, ревом аплодисментов. Теперь должна была танцевать соло Элен. Оркестр начал быстрый, плывущий мотив. Уже чувствуя победу по холоду рук и ног, пробегающему иногда сквозь все тело болезненной электрической волной, Карион выбросилась из рук партнера, поднявшего ее выше головы, с силой птицы; едва коснувшись земли, немедленно завладела она сценой и зрителями, стремясь вверх такими быстрыми и сильными движениями, что оркестр вынужден был ускорить темп. Несясь мимо левого угла сцены, мельком взглянула она на вызывающее лицо Дюпорт.

— Карион! — раздался взволнованный мужской голос из первого ряда кресел. — Я, верно, угадал сразу. Но сомневался, так как ошибиться было бы глупо. Смотри. Лови. Это твоя метка на иве.

Ее как будто ударили по ногам. Следуя обычаю, быстро нагнулась она поднять венок или то, что мелькнуло в воздухе, как венок. Это был связанный кольцом ивовый прут с редкими молодыми листьями. Она подняла и, вся вздрогнув, старалась некоторое время понять, что все это значит. Наконец сцена на берегу выступила среди волнений этого вечера хлестким и неприятным ударом, напоминающим холодную каплю дождя, упавшую на лицо в разгаре веселья огненного летнего дня. Ее порыв согнулся и смолк, сердце упало; легкий гнев вместе с холодным любопытством остановил упойтельное движение, и Карион, выпрямившись, просительно посмотрела на то место первого ряда, где сияло загорелое лицо привставшего и махающего рукой Франгейта.

Заставив себя кивнуть, она сделала это вполне театрально, хотя с упреком себе. Вся сцена, включая кивок, длилась не более минуты—минуты, в течение которой было совершенно нарушено равновесие духа одной женщины и укрепились — другой. Карион, не оглянувшись, ушла с раздражением; ее сопровождал несколько приподнятый шум ровных аплодисментов. Так на весы успеха одинокий человек из ивовой заросли бросил решительный груз — не в пользу своей любви.

Окруженный легкой атмосферой скандала, выражаемой изумленными или негодующими взглядами, Франгейт присидел тихо, с упавшим сердцем, до занавеса. Он чувствовал, что она уедет. Он видел, как девушка передала ветку руке, высунувшейся из-за кулис, и множество раз ошибаясь всевозможными переходами, спрашивая с краской в лице, как идти, попал в коридор, где газовые рожки делали белый день среди ночи. Рассеянно посмотрев на змеинные глаза горничной, он стукнул в заветную дверь одновременно рукой и сердцем, затем очнулся среди цветов, разброшенного платья и зеркал. Здесь пахло тяжелыми ароматами и жженым волосом.

— Здравствуй, дикое прошлое,— полусмеясь и прислушиваясь к шуму за дверью, сказала девушка.— У тебя уже борода. Ты слышал обо мне. Как? Где? Что значит твоя оригинальная выходка? О, если бы ты подождал немного! Ведь ты зарезал меня. Я сразу устала, у меня был очень трудный момент... меня сильно избили. И все пропало...

Франгейт не кончил. Он потрепал ее руку, дружески хлопав холодные пальцы своей сильной рукой.

— Я знаю, что тебе тяжело,— сказал он,— я чувствовал, что тяжело; потому и разыскал и приехал к тебе. Но дай взглянуть.

Он обвел ее лицо пристальным взглядом. От прежней Карион сохранилась лишь упрямая верхняя губка и глаза,— остальные черты, оставшись почти прежними, приобрели острый оттенок лихорадочной жизни.

— Ты похудела и очень бледна,— сказал он,— это, конечно, оттого, что нет света наших долин. Смотри, как у тебя напряжены на руках жилы. Твое сердце слабеет. Бросай немедленно свой театр. Я не могу видеть, как ты умираешь. В каких странных условиях ты живешь! Здесь нет нашей ивы, и наших цветов, и нашего чудесного воздуха. Тебя, верно, здесь держат насильно. Однако я здесь, если так. Ты будешь снова розовой и веселой, когда перестанешь портить лицо различными красками. Зачем ты назвалась Элен Грен? Вместе с именем как будто подменили тебя. Разве не ужасает тебя жизнь среди этих картонных роз и холщовой реки? Я видел нарисованную луну, когда сюда шел,— она валялась в углу. Тебе надо быть здоровой, как раньше, и бросить этот убийственный мир. Слушай... я говорю много оттого, что мне дико и непривольно здесь. Слушай: давно уже, так как я хорошо знаю реку, зовут меня лоцманом на два парохода, и ты будешь жить со мной спокойно, как твоя рука, когда лежит она ночью под головой. Вспомни, как золотист и сух песок на ивовой заросли, вспомни купанье и как кричала ты утром пронзительное «а-а» и болтала ногами. Идем. Идем, Карион, скоро будет обратный пароход, в три часа ночи,— погода отличная.

Говоря так, он притягивал и целовал ее руки, заглядывая в глаза.

Она отняла руки.

— Ты... ты говоришь очень смешно, Франгейт. Думаешь ли ты о том, что говоришь?

— Я думал все время.

— Знаешь ли ты, что такое «артист»? Артист — это человек, всецело посвятивший себя искусству. Я уже известна; вот-вот — и слава разнесет мое имя дальше той трущобы, где я родилась. Как же ты думаешь, что я могу бросить сцену?

— Прут был посажен тобой,— кротко возразил Франгейт,— случилось истинное чудо, что он дал листья. Я всей

душой хотел этого. Это была твоя память, и ты поклялась ей, что возвратишься. Разве я не могу верить тебе?

— Нет, можешь,— сказала она с трудом, вся дрожа. Ее взгляд стал остер и неподвижен, лицо побелело. Взяв шарф, она, не сводя взгляда с Франгейта, стала медленно окутывать им шею, смотря с открытой и глубокой ненавистью. И вся она напоминала теперь отточенный нож, взятый неосторожной рукой.

Франгейт смолк. Несколько выражений пробежало в омраченном его лице: боль, тревога, нежность; наконец, залилось оно глубоким, ярким румянцем.

— Нет,—сказал он.—Я не хочу жертвы, я пришел только сказать, что ива цветет и что не поздно еще. Простите меня, Элен Грен. Будьте счастливы.

Так он ушел и очутился на улице, идя совершенно спокойно, как для прогулки. На темной площади встретил его неподвижно ожидающий Рауссон, шепча на ухо тайные, заманчивые слова. Но у него хватило силы подождать ровно три года, пока снова не зацвело сердце, как та ива, которую спрыскивал хлорофиллом доктор растений.

КАК БЫ ТАМ НИ БЫЛО

Стало темно. Туча, помолчав над головой Костлявой Ноги, зарычала и высекла голубоватый огонь. Затем, как это бывает для неудачников, все оказалось сразу: вихрь, пыль, протирание глаз, гром, ливень и молния.

Костлявая Нога, или Грифит, постояв некоторое время среди дороги с поднятым кверху лицом, выражавшим презрительное негодование, сказал, стиснув зубы: — «Ну хорошо!», поднял воротник пиджака, снятого на гороховом поле с чучела, сунул руки в карманы и свернул в лес. Разыскивая густую листву, чтобы укрыться, он услышал жалобное стенание и насторожился. Стенание повторилось. Затем кто-то, сквозь долгий вздох, выговорил: — «Будь прокляты ямы!»

Грифит сделал несколько шагов по направлению выразительного замечания.

Прислонившись к пню, сидел молодой человек в недурном новом летнем пальто, с хорошенькими усиками и румяным лицом. Обхватив руками колено, он раскачивался из стороны в сторону с таким мучительным выражением, что Грифит почувствовал необходимость назвать себя.

— Позвольте представиться,— сказал он угрюмо, как будто посылал к черту.— В тех кругах, где вы не бываете, я известен под именем Костлявой Ноги. Мой отец ничего не знает об этом, так как его звали Грифит. Чем вы недовольны в настоящую минуту жизни?

— Тем, что свихнул ногу,— ответил молодой человек, смотря на серое, голодное лицо Грифита и переводя взгляд

на ближайший толстый сук.— Я не могу больше идти. Боль страшная. Нога горит.

— Вы бы встали,— заметил Грифит.

Пострадавший злобно и тяжело крякнул.

— Бросьте шутки,— сказал он.— Лучше бегите по дороге на ферму — это полчаса ходьбы — и скажите там Якову Герду, чтобы прислал лошадь.

— На ферму «Лесная лилия»? — кротко спросил Грифит.— Ну нет, я не так глуп. Месяц назад я поспорил там с одним человеком. Я старательно обхожу эту ферму. Она мне не нравится. Прощайте.

— Как,— вскричал пострадавший,— вы бросите меня здесь?

— Почему же нет? Какое мне дело до вашей ноги? Ну, скажите, какое? — Грифит пожал плечами, сплюнул и отошел. Постояв под дождем, он вернулся, сморщась от раздражения.— Вот вы и пропадете тут,— сказал он грустным голосом,— и помрете. Прилетят птички, которые называются вороны. Они вас скушают. Конечно. Прощайте радости жизни!

Взгляд разъяренного кролика был ему ответом.— С людьми вашего сорта...— начал молодой человек, но Грифит перебил.

— Черт бы вас побрал! — сурово сказал он, схватив жертву под мышки и ставя на одной ноге против себя.— Приклонитесь пока к стволу. Я посмотрю. Вес легкий. Я вас снесу, но не на ферму — долой собак! — а где-нибудь поблизости. Там вы можете проползти на брюхе, если хотите.

— Удивительно,— пробормотал молодой человек,— зачем вы ругаетесь?

— Потому что вы осел. Почему вы не свернули себе шею? По крайней мере, мне не пришлось бы возиться с таким трупом, как вы. Ну, гоп, кошечка! С каким удовольствием я бросил бы в озеро ваше хлипкое туловище.

Говоря это, он с ловкостью и бережностью обезьяны, утаскивающей детеныша, взвалил жертву на плечи, дав ей обхватить шею руками, а свои руки пропустил под колени пострадавшего и встряхнул, как мешок. Визгнув от боли, молодой человек страдальчески рассмеялся. Его взгляд, полный ненависти, был обращен на грязный затылок своего рикши.

— Вы оригинал, но, как вижу, очень сильны,— проговорил он.— Я не забуду вашей доброты и заплачу вам.

— Заплатите вашей матери за входной билет в эту юдоль,— сказал Грифит, шагая медленно, но довольно свободно, по размытой дождем дороге.— Не нажимайте мне на кадык, паркетный шаркун, или я низвергну вас в лужу. Держитесь за ключицы. Так с высоты моей спины вы можете обозревать окрестность и делать критические замечания на счет моей манеры говорить с вами. Моя манера правильная. Я сразу узнаю человека. Как я увидел вашу лупетку, так стало мне непреодолимо тошно. Разве вы мужчина? Морковка, каротель,— есть такая сладенькая и пресная. Другой бы за десятую часть того, чем я вас огрел, вступил бы в немедленный и решительный бой, а вы только побрякиваете. Впрочем, это я так. Сегодня у меня дурное настроение.

Его ровный, угрюмый, дребезжащий голос, а также ощущение могучих мускулов, напряженных под коленями и руками жертвы, привели молодого человека в оторопелое состояние. Он трясся на спине Грифита с тоской и злобой неловкостью в душе, нетерпеливо высматривая знакомые повороты дороги.

Грифит, который эти дни питался случайно и плохо, стал уставать. Когда ноша сообщила ему, что ферма уже близко, он присел, ссадив жертву на траву,— отдохнуть. Оба молчали.

Молодой человек, охая, ощупывал распухшую у лодыжки ногу.

— Зачем шли лесом? — угрюмо спросил Грифит.

— Для сокращения пути.— Молодой человек попытался фальшиво улыбнуться.— Я там знаю все тропочки от Синего Ручья до Лесной Лилии. И вот, представьте себе...

— Полезай на чердак! — крикнул Грифит, вставая.— Эк разболтался! Не дрыгай ногой, чертов волосатик, сиди, если несут.— И он снова побрел, придумывая, как бы больнее растравить печень себе и своему спутнику.— Решительно мне не везет,— рассуждал он вслух,— тащить вместо мешка хлеба или свинины первого попавшегося ротозея, которому я от души желаю лишиться обеих ног,— это надо быть таким дураком, как я.

Дорога стала снижаться. Под ее уклоном блеснуло озеро с застроенным несколькими домами берегом.

— Ну,— сказал Грифит, окончательно ссаживая молодого человека,— катись вниз, к своему Якову Герду. Возь-

ми палку. Ею подпирайся. Да не эту, остолоп проклятый, вот эту бери, прямую.

Он сунул отломанный от изгороди конец жерди.

— Вы... потише,— сказал вывихнутый, взглядывая на крыши.— Здесь не лес.

— А мне что?— добродушно ответил Грифит.— У меня нет крыши, на которую ты так воинственно смотришь. Прощай, береги ножки. Как бы там ни было. Мой сын был вроде тебя, но я его обломал. Он умер. Убирайся!

Не обращая более внимания на человека, с которым провёл около получаса, Грифит задумчиво побрел в лес, чтобы обогнуть ферму, где некогда водил знакомство с курами. Его что-то грызло. Скоро он понял, что эта грызня есть не что иное, как желание посидеть в чистой, просторной комнате, за накрытым столом, в кругу... Но здесь мысли его приняли непозволительный оттенок, и он стал тихо свистать.

Гроза рассеялась: дождь капал с листьев, в то время как мокрая трава дымилась от солнца. Грифит провел несколько минут в состоянии философского столбняка, затем услышал собачий лай. Лай затих; немного погодя в кустах раздалось жаркое, жадное дыхание, и Грифит увидел красные языки собак, удержанных от немедленной с ним расправы ремнем, оттянутым железной рукой Якова Герда. Это был старик, напоминающий шкаф, из верхней доски которого торчала вся заросшая бородою голова гиганта. Винтовку он держал дулом вперед.

Грифит встал.

— Я не ем куриного мяса,— сказал он.— Вы ошиблись и в тот раз и теперь. Я — вегетарианец.

— Если я еще раз увижу тебя в этих местах,— сказал Гerd, бычьим движением наклоняя голову,— ты при мне выкопаешь себе могилу. Что сделал тебе племянник? За что ты так оскорбил его?

— Мы поссорились,— угрюмо ответил Грифит, не сводя взгляда с собак.— Спор вышел из-за вопроса о...

— Ступай прочь,— перебил Гerd, тряся за плечо бродягу.— Помни мои слова. Я пощадил тебя ради воскресенья. Но Визг и Лай быстро находят свежую дичь.

И он стоял, смотря вслед бродяге, пока его спина не скрылась в кустах.

БЕЛЫЙ ШАР

Первый удар грома был оглушителен и резок, как взрыв.

Разговор оборвался. Сантус, сохраняя запальчивое выражение лица, с каким только что перешел к угрозам, сжал рукой свою длинную бороду и посмотрел на расстроенного Кадудара так, как будто гром вполне выражал его настроение, — даже подкреплял последние слова Сантуса, разразившись одновременно. Эти последние слова были:

— Более — ни одного дня!

Кадудар мог бы сравнить их с молнией. Но ему было не до сравнений. Срок взноса арендной платы минул месяц назад, между тем дожди затопили весь урожай. И у него не было никакого денежного запаса.

Как всегда, если один человек сказал что-нибудь непреложно, а другой потерял надежду найти сколько-нибудь трезвое возражение, длится еще некоторое время молчаливый взаимный разговор на ту же тему.

«Злобное, тупое животное! — подумал Кадудар. — Как мог я заставлять себя думать, думать насильно, что такой живодеи способен улыбнуться по-человечески».

«Жалкий пес! — думал Сантус. — Ты должен знать, что меня просить бесполезно. Мне нет дела до того, есть у тебя деньги или нет. Отдай мое. Плати аренду и ступай вон, иначе я выселю тебя на точном основании статей закона».

Второй удар грома охватил небо и отозвался в оконном стекле мгновенным жалобным звоном. Волнистые стены туч плыли стоймя над лесом, иногда опуская к земле свитки тумана, цепляющиеся за кусты, подобно клубам дыма паровозной трубы. Налетел хаос грозы. Уже перелетели с края на край мрачных бездн огненные росчерки невидимого пера, потрясая искаженным светом мигающее

огромное пространство. Вверху все слилось в мрак. Низы дышали еще некоторое время синеватыми просветами, но и это исчезло; наступила ночь среди дня. Затем этот хлещущий потоками воды мрак подвергся бесчисленным, непрерывным, режущим глаза падениям неистовых молний, разбегающихся среди небесных стремнин зигзагами адских стрижей, среди умопомрачительного грохота, способного, казалось, вызвать землетрясение. В комнате было то темно, то светло, как от пожара, причем эта смена противоположных эффектов происходила с быстротой стука часов. Кадудару казалось, что Сантус скачет на своем стуле.

— Серьезное дело! — сказал он, беря шляпу. — Закройте окно.

— Зачем? — холодно отозвался Сантус.

— Это гроза не шуточная. Опасно в такой час сидеть с раскрытым окном.

— Ну, что же, — возразил Сантус, — если меня убьет, то, как вы знаете, после меня не остается наследников. Ваш долг исчезнет, как дым.

Вексель все еще лежал на столе, и Кадудар резонно подумал, что здесь наследники ни при чем. Действительно, порази Сантуса гром, ничего не стоило бы расправиться с этим клочком бумаги. Просто Сантус подсмеивался.

— Я не понимаю вас, — сказал Кадудар и сделал шаг к двери. — Мне не до шуток. Прощайте.

— Останьтесь, — сказал Сантус, — хотя ваш дом близко, но в такую погоду вы подвергаетесь серьезной опасности.

— Пропадет долг? — язвительно спросил Кадудар.

— Совершенно верно. А я не люблю терять своих денег.

— В таком случае я доставляю вам несколько неприятных минут, — Кадудар открыл дверь. — Пусть я промокну, как собака, но под защитой вашего крова оставаться я не хочу.

Он замер. Небольшой светящийся шар, скатанный как бы из прозрачного снега, в едва уловимом дыме электрической эманации, вошел в комнату — мимо лица Кадудара. Его волосы трещали и поднялись дыбом прежде, чем ужас запустил зубы в его сердце. Шар плавно пронесся в воздухе, замедлил движение и остановился над плечом Сантуса, как бы рассматривая человека в упор, не зная еще, что сделать, — спалить его или поиграть.

Сантус не шевелился так же, как не шевелился и Кадудар: оба не имели сил даже перевести дух, внимали дви-

жению таинственного шара с чувством конца. В комнате произошло нечто непостижимое. За дверцей буфета начало звенеть, как если бы там возилась человеческая рука. Дверной крючок поднялся и опустился. Занавеска взвилась вверх, трепеща, как от ветра; неясный, мучнистый свет разлился по всем углам. В это время шар был у ног Сантуса, крутясь и передвигаясь, как солнечное пятно колеблемой за окном листвы. Он двигался с неторопливостью сытой кошки, трущейся о хозяина. Вне себя, Сантус двинул рукой, чтобы убрать стоявшее возле него ружье, но, как бы поняв его мысль, шар перекатился меж ног и занял сторожевую позицию почти у приклада.

— Кадудар,— сказал дико и тихо Сантус,— уберите ружье!

Должник помедлил не более трех биений сердца, но все же имел силу помедлить, в то время как для Сантуса эта пауза была равна вечности.

— Отсрочка,— сказал Кадудар.

— Хорошо. Полгода. Скорей!

— Год.

— Я не спорю. Бросьте ружье в окно.

Тогда, не упуская из вида малейшего движения шаровидной молнии, описывающей вокруг ног Сантуса медленные круги, все более приближающие ее к магнетическому ружью, Кадудар, весь трясаясь, перешел комнату и бросил ружье в окно. В это время он почувствовал себя так, как если б дышал огнем. Его правая рука, мгновенно, но крепко схватив со стола вексель, нанесла ему непоправимые повреждения.

Казалось, с удалением предмета, способного вызвать взрыв, шар погрузился в разочарование. Его движение изменилось. Оставив ноги Сантуса, он поднялся, прошел над столом, заставив плясать перья, и ринулся в окно. Прошло не более вдоха, как из-под ближайшего холма раздался рванувший по стеклам и ушам гром, подобный удару по голове. Молния разорвалась в дубе.

Встав, Сантус принужден был опереться о стол. Не лучше чувствовал себя и Кадудар.

— Все? — спросил Сантус.— Вы довольны?

— Дайте вексельный бланк,— спокойно ответил Кадудар,— я — не грабитель. Я перепису наш счет на сегодняшнее число будущего года. Таким образом, вы сохраняете и деньги и жизнь.

БЕЗНОГИЙ

Когда я остановился...

Как правило, я не люблю зеркал. Они возбуждают представление отчетливой призрачности происходящего за спиной, впечатление застывшей и вставшей стеной воды, некой оцепеневшей глубины, не имеющей конца и вещей в далях своих.

В особенности жутко рассматривать отражения уличного зеркала, с его неточностью вертикала, где стены и улица клонятся, привстав, на тебя, или — прочь, вниз, подобно палубе в качку, пока не отведешь глаз.

Мы обычно рассматриваем себя изнутри, не отделяя наружности, какой смутно помним ее, от мыслей и чувств, поэтому большей частью бываем настроены несколько мстительно и настороже, когда видим эту живую форму — свое лицо, отделенной от нас в беззащитное состояние.

Я не отвернулся бы к зеркалу, не обратился бы к его немому подсказу, если б не замечание вполголоса:

— Смотри, калека, дай ему что-нибудь.

Это сказала женщина. Они сострадательнее мужчин, может быть, потому, что у них живее воображение чувств, отличное от воображения зрительного.

Я оглянулся и увидел человека в рваном пальто, сидящего на бедрах в тележке-ящике. У него было опухшее, безжизненного цвета молодое лицо; жизнь этого рассеченного пополам узника ушла в глаза, блестяще и напряженно бегающие по лицам идущей над ним толпы. Вся насильственно остановленная подвижность тела выражалась этим

шагающим на привязи взглядом. Его плечи были сведены вперед, руки упирались в края ящика, палки лежали рядом.

Иногда, приподнимая черный картуз и снова туго натягивая его, он вносил этим движением в мои впечатления черту уродливого благополучия; тогда, с некоторым усилием, я мог представить, что этот человек стоит наполовину в земле,— как рабочий в водосточной канаве,— и что у него есть ноги.

Меня удерживало около него желание превзойти самого себя, постичь его ощущения, его вечное чувство укороченности, неправильного сердцебиения, его особый ход мыслей, всегда связанных с своим положением.

Я не знаю, почему было мне это нужно, так как я не люблю калек из чувства решительного, несколько раздраженного сопротивления, возбуждаемого этими переделанными, заштопанными телами, заставляющими вводить в спокойный и свежий свой мир вид несчастья уродливого,— увы, мы ищем гармонии даже в лохмотьях, картинности — в отравленной угаром мансарде,— и зрелище мужественной нужды тронет нас скорее, чем просто голодный вой, потому что первый случай картинности кует воображение.

При виде калеки я делаюсь замкнут, любопытен и холоден.

Я был таким и теперь, когда, не желая смущать несчастного, изучал его в зеркале, замечая, что и он тоже упорно смотрит мне в глаза в стекле, может быть, ожидая, что я подойду и дам денег.

Наверное, он так и думал.

Я убежден, что каждого прохожего он рассматривал исключительно с этой стороны, что его негодование было непрерывным, так как едва один из ста совал ему что-нибудь. В таких случаях калека механически кланялся и снова начинал молча вертеть ярким взглядом, находя, конечно, излишними всякие причитания и возгласы.

Когда в ящике накоплялось несколько штук бумажек, он неторопливо сортировал их и раскладывал по карманам, смотря перед собой с рассеянностью бухгалтера.

Я хорошо чувствовал и понимал это профессиональное настроение, связанное с особыми душевными искажениями, которые в свете жестокой, произвольной внутренней усмешки моей получали показной, театральный характер.

Калека был мне неприятен и жалок, но я не мог отойти от зеркала, рассматривая его с живейшим и ненасытным

интересом, разбрасывая вокруг отрывочные картины боя, разрыва гранат, серого с розовой полосой утра, где в сумерках, с руками, оттянутыми носилками, спотыкаются санитары, и ровный, как пение самовара, стон сумеречного поля мешается с далекой пальбой.

Затем — операция, сознание новой и трудной жизни, тысячи мелких приспособлений, неизвестных до этого, сны о ногах, попытки неумелых движений, наука двигаться заново, с иным представлением о себе; согретое годами отчаяние и темное безразличие.

Между тем я замечал, что, по впечатлительности или особой нервности, машинально двигаю руками, подражая калеке, когда он возился с деньгами или менял в чем-нибудь свое положение. Эти неполные, только лишь намеченные и оборванные движения мои чрезвычайно раздражали меня, и я стал смотреть на других как в зеркале, так и по тротуару.

Эти бесчисленные шаги ног, пульсация множества сухих женских лодыжек, мерное откусывание калошами, сапогами и валенками больших, ровных кусков тротуара, шум, стук, шарканье и шелест движения вызывали во мне приятное чувство силы и равновесия, благодаря которому я могу пройти всю Тверскую, взад-вперед, поднимаясь в гору и спускаясь с нее.

Калека в ящике иначе должен ценить и сознавать пространство; оно для него — почти фикция, забытый сон; он смотрит на ближайший угол с сложным расчетом дали, и крыша Гнезниковского небоскреба должна ему казаться Монбланом.

Здесь мои размышления внезапно вспыхнули, рванувшись вслед женщине, прошедшей быстро и озабоченно сзади меня; я тотчас узнал ее, все вспомнив, что было семь месяцев назад.

Я поднимался в четвертый этаж, где мне открывали дверь, зная, как я звоню, две сестры, — младшая, держа старшую за талию и выглядывая из-за нее с шутливым вопросом: «Чего-с?»

Старшая смущалась, но не особенно; есть род приветливого смущения, действующего взаимно, и я, смущаясь сам, радовался тому. Что же разлучило нас? Я никак не мог вспомнить в эту минуту. Вообще у меня плохая память на прошлое. Первым движением моим было броситься вслед, но я почему-то не сделал этого тогда, когда она

была в двух шагах, затем у меня уже не было сил двигаться.

Я точно окаменел. Я стоял, пытаюсь что-то понять, но мысли так разбегались, что я сам — глухое отражение зеркала и звонкий оригинал — улица сзади меня, — все спуталось в сеть, и беглый, глубокий трепет ошеломления вызвал, наконец, эту ужасную кристаллизацию, от которой перехватило в горле.

Так! Это я смотрю на себя, я, забыв, что со мной; у меня нет ног, палки лежат рядом, и прохожие, втянув голову в плечи, посматривают на меня сверху вниз, иногда бросая бумажку.

Действительно — я очнулся. Зеркала вызывают сны — странное смешение прошлого и настоящего, меняют взгляд, цели и впечатления, — этот хоровод исчез; с болью, крутым твердым винтом прошел сквозь меня день бегущих, чужих ног и пригвоздил к ящику, где я могу шарить руками вокруг своих бедер, шурша бумажками. Я смотрю на ноги и всегда думаю о ногах и о себе.

Где же мое сокровище, белое тело мое, мои ноги, которыми всходил я на четвертый этаж, — смущаться, смотря в глаза? Я отвел взгляд от зеркала.

С рыданием, с злым воем, не удерживаясь, а торжествуя и плача, я — безнаказанный, безногий, погибший, я, в котором всегда два, — беру свои палки.

О проклятое зеркало! Бей его, я бью — раз! И лохмотья стекла остро сверкают на пустом дереве. Невероятно смешно смотреть на это со стороны.

Но мне теперь все равно. Все равно.

ВЕСЕЛЫЙ ПОПУТЧИК

Знаменитый актер Дуглас почти никому не рассказывал свою странную историю, только я да наш общий друг Эмерсон знали ее.

Теперь, когда Дуглас умер, простив всех, а в глубине души простив, быть может, и Эмерсона (я улыбаюсь, говоря так, оговариваю это с улыбкой потому, что сам не знаю себя, как и все мы),— можно безболезненно для него и безобидно для прочих очертить тайну одного дня на Сан-Риольской дороге, между Вардом и Кэзом, в изложении, хотя литературном, но вполне верном действительности.

Около четырех часов дня у большого камня, пересекающего свою тенью дорогу, присел человек лет тридцати пяти.

Босой, загорелый, небритый, он был одет или, вернее, прикрыт ужаснейшими лохмотьями, куча которых, брошенная отдельно, заставила бы бережно обойти их даже кошку.

Голову оборванца прикрывал пестрый платок, завязанный узлом на затылке. У него не было рубашки, и голая грудь выказывалась почти вся из драного на локтях кителя, с короткими рукавами, без пуговиц, в узорах заплат.

Нижние края грязных парусиновых брюк были истрепаны в бахрому; холст просвечивал на коленях, а щели выдранных карманов блестили полоской тела.

Однако его сумрачное лицо с мягким очертанием рта и спокойными голубыми глазами не отражало удрученности, озлобления или приниженности. Поставив толстую палку между колен и беспечно оглядываясь, человек насвисты-

вал арию из «Кармен» с искусством, выдающим хороший слух, а также любовь к музыке.

Его взгляд упал на придорожную яму, полную дождевой воды. Насмешливо вздохнув, человек встал, подошел к этому естественному зеркалу, предку всех венецианских и парижских зеркал, и склонился над своим отражением.

Оно было не лучше, не хуже оригинала, имея, впрочем, то преимущество, что распадалось и исчезало, если болтнуть воду рукой, тогда как оригинал, даже при стремительном урагане, оставался в мире вещей точно таким, как и в безмятежное утро.

Бродяга рассматривал себя с странной улыбкой удовольствия и комического презрения. Он сидел боком к яме, наклонясь и упираясь руками в траву.

Из этого сосредоточия его внезапно вывел насмешливый, степенно выговаривающий слово за словом голос неизвестного человека, раздавшийся так близко от нового Нарцисса, что тот, подняв голову, вспыхнул подобно молодой девушке, кокетство которой находит преувеличенную оценку.

На противоположном краю ямы, скрестив по-турецки ноги и сложив на груди руки, восседал почти что его двойник, с той разницей, что его лохмотья были иного цвета, платок заменяла рыжая, как огонь, шляпа, а тонкое, молодое лицо с правильными чертами выглядело моложе лет на десять. Быстрый и резкий взгляд черных глаз и упрямое выражение рта придавали его лицу впечатление опыта и душевной гибкости более старшего возраста.

— Сорокалетняя наядя без юбки перед визитом Тритона,— внушительно сказал он, смеясь глазами,— или куртизанка в спальне соперницы. Не утопитесь в своем трюмо, милейший, и не делайте таких соблазнительных глазок лягушкам, не то список ваших побед в следующей странице начнется с «ква-ква»!

— Что это значит?! — сурово воскликнул первый, одолев смущение.— Прекратите свой монолог и оставьте меня в покое.

— Как?!—сказал, издеваясь, шутник.—Как? Упустить такой случай? Покорно подать ваш эмалированный гребешок и, почтительно склоня голову, с восхищением следить за блистающими под пудрой розами и лилиями вашего очаровательного лица?! Жестоким и неописуемо чванный граф! Для этого ли...

— Меня зовут Эмерсон,— коротко перебил этот ядовитый дифирамб первый бродяга, вскакивая с бледным лицом,— и ты немедленно увидишь собственную красоту.

Насмешник не успел отступить, как суковатая палка с силой пропела возле самого его уха, едва не разбив лицо, и воткнулась в землю далеко позади. К великому удивлению Эмерсона, оборвыш, вместо того, чтобы швырнуть в него своей палкой, спокойно перешел лужу и протянул руку, ничем не выдавая трусости или хитрости.

— Я не думал, что это так серьезно для вас,— просто сказал он, в то время как Эмерсон неохотно и хмуро дотронулся до его руки,— что делать, надо как-нибудь веселить жизнь, если она сама, забавляясь, хлопает нас по щекам каждый день, да еще при этом так брезгливо отворачивается. Однако бросим учтивости. Куда идешь, милый?

По лицу старшего прошла едва уловимая улыбка. Он ответил не сразу и попытался уклониться от прямого ответа.

— Не все ли равно? — сказал он.— Люди, подобные нам, часто идут одной дорогой, но к разной цели. Мой путь недолог.

— Не гордись, братец, тем, что ты на своем веку выпил из придорожных канав больше воды и больше накрал чужих кур, чем я. Уверю тебя, с некоторых пор я достиг немалого искусства в этом интересном занятии, так что смогу показать тебе коллекцию петушьих гребней весом в кило.

— Надеюсь, однако, что в эту коллекцию не попадут петухи с моей фермы,— сказал Эмерсон, посмеиваясь,— в противном случае ты рискуешь потерять свои волосы.

— Ну, вот, наконец-то ты заговорил человеческим языком,— заметил бродяга, шагая рядом,— верно, ты идешь так скоро, как будто тебя и вправду ждет жена с воскресным яблочным пирогом. Обещаю тебе, дружище, если у тебя когда-нибудь будет ферма, выкрасть тебе на развод птичника петушка с курочкою и мешок овса, чтобы кормить их. Как я вижу, нам по дороге. Ну, так знай, что меня зовут Билль Железный Крючок, и если мы когда-нибудь еще встретимся, можешь смело подать мне огня для трубки, не опасаясь репрессий.

Эмерсон внимательно посмотрел на своего странного спутника. Следы голода и бессонных ночей в лице Билля наполнили его некоторым уважением к этому человеку, способному, казалось, шутить даже на смертном одре. К то-

му же его взгляд, несмотря на беспокойство и живость, отличался необъяснимым внутренним равновесием и лукавой, подкупающей мягкостью.

— Ты голоден? — быстро спросил он.

— Да, но в высшем смысле, — сказал Железный Крючок. — В вульгарном смысле я сожрал бы быка, а в высшем удовлетворяюсь виноградкой и глотком воды Сирано де-Бержерака.

— В таком случае, — сказал Эмерсон, — выбирай либо низший, либо высший смысл, — а может быть, есть середина между тем и другим, так как ты сегодня обедаешь у меня, где можешь в придачу получить пару сносных брюк и рубашку.

Совершенная уверенность и невозмутимость тона, каким Эмерсон высказал эти радушные вещи, произвели быстрое и ошеломительное действие. Билль Железный Крючок внезапно согнулся, как будто его ударили палкой по животу, затем сел и стал мять в ладонях лицо, удерживая такой страшный, душепожирающий хохот, какой иногда сражает нас до боли в боках, до истерических взвизгиваний и может повести к смерти, если развеселившийся таким образом человек имел в это время во рту что-нибудь рассыпчатое или колючее, скажем, сухарь или непрожеванную рыбу с костями.

Пока он хохотал, Эмерсон смотрел на него с неловким выражением досады и легкого раздражения; подметив это, Билль закатился еще неистовее.

— Как... ты... сказал?... — выговорил он, наконец, сквозь вопли, стоны и вздохи, сморкаясь и отдуваясь, подобно купающемуся. — Как... это — а... э... о-ох! Как это ты так ловко завинтил?! «Обед», — говоришь, — ха-ха-ха! и «штаны» — говоришь?! О-о! Я умру без погребения, канашка ты этакий! Может быть, брюки из шелкового трико? И жилет к ним — белое пике с серебряными цветочками?! Знай, что даже теперь я не променяю своих штанов на твои, а так как ты тот самый счастливый человек, у которого нет рубашки, то и не пытайся украсть ее, чтобы подарить мне. Нет, не говори. Не говори, что ты обиделся за мои слова около лужи, — но как ты великолепно разыграл это? Подними меня, я обессилел от хохота!

— Печально, — сказал старший бродяга, — если бы ты поменьше смеялся или, по крайней мере, потрудился хорошенько меня расспросить, в чем дело, я, может быть, оста-

вил бы тебя восхищаться моим мнимым умением дурачить прохожих на большой дороге; однако я не люблю, если мне навязывают несвойственную роль. Вставай, веселый человек.

Билль встал. В лице и манерах его совершилась неуловимая перемена, овладеть которой в подробностях Эмерсон не мог, но он почувствовал ее так же ясно, как хорошую погоду, смотря на просветлевшее после дождя небо. Взгляд Билля стал зорек и тверд, выражение лица блеснуло худо скрываемым превосходством, и легкая улыбка презрения, столь тонкого, что почувствовать его равнялось бы унижению, внезапно остановила речь Эмерсона. Показалось ему, что яростно хохотал, хватаясь за живот, кто-то другой — таким непохожим на прежнее обернулось перед ним странное лицо Билля.

Но он ничего не сказал об этом и, помолчав, медленно зашагал, переваривая неожиданное впечатление. Билль шел рядом, иногда взглядывая на своего спутника тем свободным движением, какое свойственно прямому и решительному характеру.

Эмерсон принадлежал к категории людей, которые, раз начав развивать внутренне какое-либо положение, хотя бы и оборванное, не могут уже удержаться, чтобы не привести это положение к развитию и окончанию в действительности. Поэтому, нахмуясь от досады на самого себя за то, что поддался мелкому чувству смешной и пустячной обиды, он все-таки досказал, что хотел.

— Все произошло из-за испорченного затвора. Я должен был поехать проверить и пересчитать плоты, прибывшие на лесопильный завод — мой завод, — крепко подчеркнул он, подозрительно всматриваясь во внимательное лицо Билля и начиная сердиться в ожидании выходки с его стороны. — Это в тридцати милях отсюда. Дело было вчера вечером. Противно обыкновению, я взял с собой штуцер, а не револьвер, как делал раньше. Мы не всегда можем дать себе отчет в некоторых движениях. Вот этот-то штуцер и сыграл со мной партию наперняка. В сумерках на лесной тропинке ускакать было немислимо. Двое уцепились за гриву и узду, а трое столкнули с седла. Одеты они были... гм... немного получше вашего.

— Продолжайте, — мягко, но твердо перебил Билль.

— Продолжать — значит кончить, — заметил Эмерсон, с неудовольствием чувствуя на себе испытующий взгляд свое-

го спутника. Все время рассказа его смущал также вид его босых ног, смешно торчащих из коротких штанов, и коробила нелепость положения, ярко обозначенного в безжалостном свете солнца видом настоящего придорожного дикаря-бродяги.— Я оканчиваю. От сырости или от плохой чистки, но затвор штуцера не поддавался моим усилиям, и он был отнят у меня вместе с лошадью и всем, что было на мне. Вдобавок я получил тумаки и благодарю бога, что жив. Ну-с, я шел обратно всю ночь голый, дрожа от злобы и холода. Это отрепье мне дал железнодорожный стрелочник,— я подошел к его окну в ожерелье из веников, которые связал сам. Стоило послушать наш разговор и мои объяснения... К тому же местность эта пустынна. Но путь был невелик, считая от стрелочника. В полуmile отсюда мой дом.

— Но это ужасно! — сказал Билль совершенно новым, спокойным и участливым тоном, так же не шедшим к его внешности и положению, как трудно вязался неожиданный рассказ Эмерсона с отсутствием у него рубашки.— Я не могу не верить вам, я верю,— добавил он серьезно и быстро. Но, правда, говорят — жизнь страшнее романов. Простите мистификацию, естественно подсказанную мне моей ужасной одеждой: я — Эдмонд Роберт Дуглас, член и секретарь председателя Географического Общества в Сан-Риоле и временный бродяга на полуострове; смотрите, как хотите, на мое поведение, но пари, которое я держал с одной дамой, по существу своему, не позволяет мне проиграть его. Я знаю, что вы удивлены, но, клянусь вам, не менее был удивлен и я, когда вы пригласили меня обедать.

— Вы лжете,— сказал, оторопев, Эмерсон.

Ему пришлось выбранить себя за поспешность, с какой бросил он оскорбление.

Дуглас, вздрогнув, остановился. Его лицо вспыхнуло, затем побледнело: судорога мучительной борьбы меж гневом и чрезвычайным усилием сдержать себя тенью прошла в его чертах с таким напряжением и достоинством, что Эмерсон только пожал плечами.

— Вы сказали странные вещи,— заметил он тоном извинения.— Да, вы поразили меня.

— Я мог бы сказать то же относительно вас. Но, помимо слов ваших, было неизъяснимое душевное движение между нами, заставившее меня поверить. Я надеюсь, что точно такое же движение возникнет у вас, если я расскажу о

себе. Правда и то, что я счел вас обыкновенным бродягой, не сразу поверив; поэтому вы правы, не веря без доказательств.

— Я верю,—сказал Эмерсон просто,—вы доказали мою вину именно тем «внутренним движением», какое только что тронуло меня. Но как необыкновенно, как странно все это! То есть, я хочу сказать, что ваше и мое положение, взятые отдельно, не есть еще редчайший курьез,—редкость заключается в нашей встрече.

— Не меньшая, чем если ухитриться поставить иглу острием на острие другой иглы,—сказал, улыбаясь, Дуглас.— Но со мной было так. На рауте у Эпстона, известного, вероятно, и вам, по слухам, миллионера, рауте в честь знаменитого путешественника Виталия Кроугли, я стал утверждать, что человек, кто бы он ни был, может без всякого вреда для своего характера и основных склонностей стать в любое положение на любой срок, возвратясь тем же, чем был. Кроугли указывал неизбежное, по его словам, давление среды, легкий, может быть, едва ощутимый осадок, муть покинутых и не свойственных данному субъекту условий. Спор произошел в присутствии — имя не играет роли — одной женщины; когда мой оппонент заявил, что стоит мне провести месяц на большой дороге, и я начну вести себя с некоторой оригинальностью,—я предложил это пари. Правда, Кроугли имел в виду мою крайнюю впечатлительность; он утверждал, что я, незаметно для самого себя, выкажу в обхождении и складе речи такие мелочи позаимствованного в новой среде багажа, какие уловятся лишь посторонними. Но мне надо было обратить на себя внимание, заставить думать обо мне одно твердое и холодное сердце. Короче говоря, я вызвался провести шесть месяцев без денег, в рубище, исходив полуостров от Кэза до Минигама и от Зурбагана до Сан-Риоля, питаюсь, чем случится, с тем, что, возвратясь, немедленно явлюсь в общество заранее извещенных лиц и предоставляю их компетенции судить, оставила ли бродячая жизнь на мне и во мне хотя бы малейший след. Но я переимчив и наблюдателен, поэтому-то и раздражил вас, сознаюсь, утрированным изображением веселого Билля Железный Крючок.

— Но все это крайне интересно! — сказал Эмерсон, настолько увлеченный рассказом Дугласа, что забыл о своем странном костюме и вспомнил о нем, лишь когда за поворотом дороги показалась затейливая голубая крыша боль-

шой белой усадьбы.— Теперь мы дома, прошу вас, Дуглас, быть у меня гостем.

Показалось ли ему, что его спутник издал неопределенный быстрый звук, или тот действительно произвел нечто вроде короткого восклицания, смешанного с глухим кашлем,— только Эмерсон вопросительно взглянул на него. Но лицо Дугласа было невозмутимо спокойно. Он, казалось, с удовольствием рассматривает плантации, сад, городок служб и белую, вымощенную щебнем дорогу, поворачивающую от шоссе, через зеленые изгороди, к веранде дома.

Разговор, который вели теперь оба путника, был о редких случайностях. Вдруг Дуглас остановился, дотронувшись до плеча Эмерсона несколько фамильярным движением.

— Что вы? — спросил Эмерсон.

— Слушайте,— сказал, посмеиваясь, Дуглас,— слынясь, я воспитал в себе беса, который так и подмывает меня перевернуть банку с орехами. Будь вы, действительно, бродягой, прикидывающимся, чтобы поморочить приятеля, собственником большой фермы,— знаете, как я заговорил бы тогда?

— А как?

— Ну... это — искусство. Например: послушай, небритая щетина, не забудь, если тебе удастся пробраться на кухню, замолвить словечко и за меня. Скажи что-нибудь сердцеепительное хозяевам — ну, хотя бы, что ты не можешь есть с аппетитом, если я не сижу рядом с тобой.

Эмерсон добродушно рассмеялся.

— Да, вы овладели этой манерой,— сказал он,— и если бы я не боялся обидеть вас, то попросил бы вначале не открывать при жене, кто вы, ради простой шутки, конечно.

— Я еще сказал бы вам,— задумчиво и хмуро продолжал Дуглас,— не иди так прямо к подъезду, как свинья прет на чужое корыто, иначе тебя отдубасят так, что вместо подачки придется мне тащить сломанные кости твои, старый плут.

Эмерсон без улыбки посмотрел на Дугласа, находя, что шутка переходит предел.

— Так, так,— рассеянно и нетерпеливо сказал он. Они шли мимо веранды.

— Анни,— сказал Эмерсон, заметив белую фигуру с книгой в руках среди узора дикого винограда.— Анни,

не испугайся. Это я. Скажу кратко—меня раздели, но я цел и невредим.

Молодая женщина, вся вспыхнув от неожиданного волнения, вызванного ужасным видом мужа, быстро сбежала по лестнице, утирая слезы и удерживая нервный смех; с быстротой и живостью ощупала она Эмерсона, поворачивая его из стороны в сторону, отступая, всплескивая руками и трясая головой, как будто весь наряд пострадавшего сыпался на ее темные волосы.

— Дорогой мой! — сказала она, — но знаешь, ты бесподобен! Правда ли, что цел? Но покажись еще; повернись так. И так. Прости меня, идем, я одену тебя, бродяжка! А это...

Поймав ее взгляд, Эмерсон обернулся, сказав:

— Анни, случайная встреча; и мы уже познакомились. Но не пугайся вторично: Эдмонд Роберт Ду...

Он остановился с тревогой, пораженный до чрезвычайности. Дуглас стоял, прислонясь к молодому каштану и вытянув вперед правую руку, как будто отталкивал прочь Эмерсона или предупреждал его движение. Но Эмерсон был ошеломлен в такой степени, что мог только сказать:

— Вы... что случилось?..

Дуглас был крайне бледен; два раза порывался он заговорить, но не мог. Из его глаз скатились две крупные слезы, и он тихо снял их рукой, видимо, стыдясь этой слабости.

— Что? — сказал он, наконец, с мучительным глухим усилием. — Ничего больше, как то, что вы обманули меня. Я думал... о, черт! — выругался он, взглянув на пристально обнюхивающего его водолаза. — Я думал, что вы такой же Эмерсон, как я — Роберт Дуглас. Меня встряхнуло, но это, знаете, оттого, что я не предвидел финала. Слушая вас, я даже завидовал: ведь вы ни разу не улыбнулись, когда несли эту... когда рассказывали о нападении и стрелочнике. Да, вы — Эмерсон, и это — ваш дом, и это — ваша жена. Но я — я Билль, выгнанный за скандалы актер, мот и игрок, и ничего более. Я думал, что оба мы «ловим блох». В нашей компании трепать языком, как трепал я, называется «ловить блох». Иногда это скучно, иногда занятно, смотря с кем, и я думал, что наше состязание... Простите мои больные нервы. Это оттого, что и я ранее представлял себе, как вхожу в дом, где... где меня не облают. Прощайте. Кушайте на здоровье. Я отказываюсь от приглашения.

Эти беспорядочные слова бродяги глубоко тронули Эмерсона. Он обладал верным и тонким инстинктом к людям, поэтому первым его движением было взять Билля за руку и потянуть на веранду.

Билль, отняв руку, покачал головой:

— Я только больше расстроюсь.

— Так войди же и живи с нами! — вскричал Эмерсон. — И пусть меня разорвут на части мои собственные собаки, если я не сделаю из тебя человека!

Так Билль Железный Крючок поселился у Эмерсона, а впоследствии развил свое необыкновенное сценическое дарование и грянул им на больших сценах. Финальная виньетка к этому рассказу изображает крючок среди рассыпанных на столе карт; стол стоит на большой дороге, а над всем этим блесит тонкий луч восходящего солнца.

ЗАКОЛОЧЕННЫЙ ДОМ

Как стало блеснуть и шуметь лето, мрачный дом в улице Розенгард, окруженный выбоинами пустыря, не так уже теснил сердце ночного прохожего. Его зловещая известность споткнулась о летние впечатления. На пустыре роились среди цветов пчелы; обрыв за переулком белел голубую далью садов; в горячем солнце черные мезонины брошенной старинной постройки выглядели не так ужасно, как в зимнюю ночь, в снеге и бурях. Но, как наступал вечер, любой житель Амерхоузена с уравновешенной душой,— кто бы он ни был,— предпочитал все же идти после одиннадцати не улицей Розенгард, а переулком Тромтус, имея впереди себя утешительный огонь окон бирхалля с вывеской, на которой был изображен бык, а позади не менее ясные лампы киномаатографа «Орион». Тот же, кто, пренебрегая уравновешенностью души, шел упрямо улицей Розенгард,— тот чувствовал, что от острых крыш заколоченного дома бежит к нему предательское сомнение и вязнет в путающихся ногах, бессильных прибавить шаг.

Но что же это за дом? Кстати, в пивной с вывеской быка хозяин словоохотлив, и я узнал от него все. Не всякий может это узнать; лишь тот выйдет удовлетворен, кто похвалит бирхаллевского шпица. Шпиц получил премию на собачьей выставке и чувствует это в тех только случаях, когда внимательная рука погладит его по вымытой белой шерсти, почешет ему за ухом и в острых, черных глазах его прочтет тоску о беседе.

Я сказал шпицу: «Великолепная, блистательная этакая ты собаченция; уж, наверное, за чистоту кровей выдали тебе диплом и медаль». (А я уже узнал, что выдали.)

Немедленно стал он ласков, как муфта, и подвижен, как фокстерьер, и облизал мне впопыхах нос. Хозяин порозовел от счастья. Мечтательно закатив глаза и снизу вверх пальцами причесав бороду, он сказал:

— Я вижу, вы понимаете в собаках. Большая золотая медаль прошлого года в Дитсгейме. Вот что, камрад,—волосы ваши длинные, шляпа широкопола, а трость суковата; правой руки указательный палец ваш с внутренней стороны отмечен неотмывающимися чернилами. По всему этому вы есть поэт. А я чувствую к поэтам такую же привязанность, как к собакам, и прошу вас отведать моего особого пива, за которое я не беру денег.

— Заколоченный дом Берхгольца,—продолжал он, когда особое пиво подействовало и когда я выразил к этому дому неотвязный интерес,—известен мне довольно давно. Вам многие наговорят об доме Берхгольца невесть какой чепухи; я один знаю, как было дело. Берхголец повесился перед завтраком, ровно в полдень. Он оставил записку, из которой ясно, что привело его к такому концу: крах банка. Состояние улетучилось. Казалось бы, делу конец, но жильцы меньше чем через год выехали все из этого дома. Все это были почтенные, солидные люди, к которым не придерешься. Сколько было голов, столько и причин выезда, но ни один не сказал, что его мучат стучки или хождения, или еще там не знаю какие страхи. Однако стали говорить вскоре, что Берхголец стучит в двери во все квартиры, когда же дверь открывается, за ней никого нет. Солодный жилец как может признаться в таких странных вещах? Никак — он потеряет всякий кредит. Поэтому-то все приводили различнейшие причины, но все наконец выехали, и в доме стал гулять ветер. Это было лет назад двадцать. Наследник сдал дом в аренду, а сам уехал в Америку. Арендатор спился, и с тех пор никто не живет в доме, хотя были охотники попробовать, не минуют ли их ужимки покойника. Пробы были недолгие. Скоро стали грузиться возы смельчаков — в отлет на более легкое место. Раз... был я тогда моложе — я вызвался на пари с судьей Штромпом провести ночь среди, так сказать, мертвецов и чертей...

— Чертей? — спросил я довольно поспешно, чтобы не замять это слово, так как хозяин Вальтер Абордиус имел обыкновение брать высокие ноты, не обращая внимания на оркестр, и нахально спускать их, когда слушающий сам забирался на высоту. — А что же черти, много ли их там?

— Как сказать, — произнес самолюбивый Абордиус, протягивая особое пиво, которое имело на него особое действие. — Как сказать и как понимать? Черти... да, это были они, или что-нибудь в том же роде, но еще страшнее. Я прочитал молитву и лег в кабинете Берхгольца — прошлым летом, как раз под Иванову ночь. Уже я начинал засыпать, так как выпил перед тем особого пива, вдруг дверь, которую я заставил курительным столиком, раскрылась так стремительно, что столик упал. Ветер прошел по комнате, свеча погасла, и я услышал, как над самым моим ухом невидимая скрипка играет дьявольскую мелодию. Мелькнули образины, одна другой нестерпимее. Что же?! Я не трус, но при таком положении дела почел за лучшее выскочить в окно. Как я бежал — о том знают мои ноги да соседние огороды. Судья, получив выигрыш, злорадно хохотал и стал мне ненавистен.

— Мастер Абордиус! — сказал тут чей-то голос с соседнего стола, и, подняв взоры, увидели мы квадратную бороду Клауса Ван-Топфера, счетовода. — Стыдитесь! — продолжал он тем резвым тоном, который даже сквозь пиво являет признаки положительного характера. — Вы несете непростительную чепуху. Какие черти?! Какие дьявольские мелодии?! Да я сам ночевал раз в доме Берхгольца, и так же на пари, как вы. Я спал спокойно и безмятежно. Дом стар; дуб изъеден червями, печи, окна и потолки нуждаются в небольшом ремонте, но нет чертей. Нет чертей! — повторил он с апломбом здоровой натуры, — и ночуйте вы там сто лет, никакой удавленник не придет к вам жаловаться на дела Дитсгеймского банка. Все. Получите за пиво.

Абордиус был, казалось, связан и несколько пристыжен таким решительным заявлением. Пока он собирался с духом ответить Клаусу, я незаметно улизнул через заднюю дверь и с запасом действия в голове особого пива отправился к заколоченному дому Берхгольца. Так! Я решил сам войти в это спорное место. Меж тем звезды повернулись уже к рассвету, и в ночной тьме не хватало той прочности,

устойчивости, при какой ночь властвует безраздельно. Ночь начала таять, и хотя была еще отменно черна, воздух свежел.

По стене дома, снаружи, шла железная лестница; я поднялся и проник под крышу через слуховое окно. У меня были спички, и я светил ими на чердаке, пока разыскал опускающую дверь, ведущую во внутренние помещения третьего этажа. Был я не так молод, чтобы верить в чертей, но и не так стар, чтобы отказать себе в надежде на что-то особенное. Дух исследования вел меня по темным комнатам. Я спотыкался о мебель, время от времени озаря старинную обстановку светом спичек, которых становилось все меньше; наконец их более уже не было. В это время я путался в небольшом, но затейливом коридоре, где никак не мог разыскать дверей. Я устал; сел и уснул.

Открыть глаза в таком месте, где не знаешь, что увидишь по пробуждении, всегда интересно. Я с интересом открыл глаза. Горячий дневной свет дымился в золотистой пыли; он шел сквозь венецианское окно с трепетом и силой каскада. Как и следовало ожидать, дверь была рядом со мной, за дверью щебетала малиновка. Тотчас войдя, я увидел эту хорошенькую птичку перепархивающей по жесткой, цветной мебели красного дерева; одно стекло окна, битое камнем или градом, объясняло малиновку. Она исчезла, порхая под потолком, в соседнее помещение. Здесь же, в сору, меж карнизом пола и стеной, полз дикий вьюнок, семена которого, попав с ветром, нашли довольно пыли и тлена, чтобы вырасти и зацвести. Неожиданно из-за стены прогремел бас: «Смелей, тореадор!» — прогремел он; я бросился на жильца и, толкнув дверь, увидел драматурга Топелиуса, расхаживающего в табачном дыму с пером в руке.

Мое изумление при таком афронте было значительно; оно даже превысило мои описательные способности. — «Друг Топелиус!» — сказал я, протягивая руки, чтобы отразить нападение призрака, — если ты тень — исчезни. Нехорошо приведению гулять утром с трубкой в зубах!»

Он яростно закричал: — «Неужели и здесь я не найду покоя, хотя ты мне и приятель! Так это твои блуждания я слышал сегодня ночью, когда сцена прощания Тристана с Изольдой подходила уже к концу?! Клянусь трагедией,

я начинал поджидать визита Берхгольца. Впрочем, сядь; пьеса готова. Слушай: когда под тобой, внизу, сто раз в день сыграют рапсодию Листа, а над тобой — «Молитву девы» и когда на дворе смена бродячих музыкантов непрерывно от зари до зари,— ты тоже подыщешь какой-нибудь заколоченный дом, куда надо влезать в окно, но где, по милости молвы, живут одни привидения. Впрочем, здесь так чудесно!»

— Да, чудесно, и я повторяю это за ним, так как чудеса — в нас. Не тронул ли меня солнечный свет в лиловых оттенках? И вьюнок на старой панели? И птица — среди вещей? Наконец, эта рукопись, которую он протянул мне с гордой улыбкой, рожденная там, где бояться дышать?

НА ОБЛАЧНОМ БЕРЕГУ

I

Когда Август Мистрей и его жена Тави решили, наконец, зачеркнуть след прекрасной надежды, им не оставалось другого выбора, как поселиться на непродолжительное время у Ионсона, своего дальнего родственника. Год назад, когда дела Ионсона пошли в гору, этот человек, возбужденный успехом, много, фальшиво и горячо болтал; поэтому его тогдашнее приглашение приехать, когда того захочется Мистреям, в только что приобретенное имение Мистрей рассматривали до сего времени как истинный огонь сердца и просто потянулись к нему, вздохнув о чудесном уголке, владеть которым были бы не в состоянии, даже заплатив деньги вторично.

Это было семь дней назад. Мистрей побледнел и прикрыл глаза, а Тави, уцепившись маленькими руками за решетку ворот, приподнялась на цыпочки, чтобы хоть еще раз оглянуть цветущий солнечный завив садовой аллеи. Хозяйка, кокетливая молодая женщина со спокойным лицом, провозжая их, тронула легким движением руки ветку лавра, как бы погладив ее, и это движение, полное чувства собственности, отразилось в душе Тави беззлобной грустью. Ее с мужем ограбили так умно, что было бы бесцельно искать мошенника; бесцельно было бы растравлять боль поисками концов. Кроме того, как Тави, так и ее муж питали глубочайшее отвращение ко всякой грязной борьбе.

— Зачем вы доверились этому человеку? — спросила хозяйка. — Почему вы ранее не посетили нас без него?

— Он сказал... — захлебываясь, начала Тави и посмотрела на мужа. — А? Разве не так?

— Ну, говори, — кротко согласился Мистрей.

Тави, помахивая указательным пальцем, начала робко и строго:

— Мы поместили объявление... знаете? В той газете, где попугай. Мы продали кое-что; собственно говоря, продали все, но наша мечта зажить наконец в живописном солнечном уголке должна же была исполниться? Вот пришел тот самый О'Тэйль...

— Но мы уже говорили это, — мягко перебил Мистрей. — О! Злое дело. Ну, короче сказать, нас обманули, и никто не виноват, кроме нас. Мы отдали почти все деньги, так как нас уверили, что на владение уже есть много охотников, что надо спешить.

— Но ведь вы даже не посмотрели, что покупаете?

— Увы! — сказал Мистрей. — По словам этого мошенника, здесь чудесным образом оказывалось налицо все, что удовлетворяет вполне наши вкусы. И в этом смысле он не обманул нас.

— Он производил, — краснея, сказала Тави, — вполне, знаете ли, приличное впечатление. Мы были так рады.

— Это верно, — подтвердил Мистрей и устало кивнул жене. — Тави, пора уезжать.

— Обратитесь немедленно в суд, — сказала хозяйка, — может быть, еще не поздно разыскать преступника.

Говоря это, она сламывала одну за другой тяжелые пунцовые розы, пока не собрался в ее энергичной, смуглой руке букет, полный прихотливой листвы. Затем она передала цветы расстроенной молодой женщине.

— Возьмите, — нежно произнесла она, — мне хочется хоть этим утешить вас.

Тави, развеселясь на мгновение, взяла подарок и отошла, чувствуя себя совершенно пристыженной. Оба молчали. Перед тем как сесть в экипаж, она, виновато, но твердо посмотрев на Мистрея, отбежала в сторону и пристроила свой букет в пышной траве так, чтобы он не упал. Затем, вздохнув, Тави промаршировала с Мистреем под руку несколько шагов нога в ногу.

— Я возвратила их земле и солнцу. Не стерпеть их в руке. Потому что они — не наши.

Муж и жена были не одни. С ними ехал к Ионсону слепой старик, Нэд Сван. Он ослеп лет тридцать назад, но продолжал по-своему, в и д е н и е м, видеть все, о чем ясно и просто говорили ему, так как навсегда сохранил внутреннее лицо явлений. Те, кто некоторое время заботился о нем, бросили его, как бросают газету. Сван просидел до вечера в отравленной тишиной комнате, затем вышел на лестницу, постучал в первую попавшуюся квартиру, и Тави, взволнованно посуетясь, сказала Мистрею:

— Дай ухо. Нет, не драть. А я тебе скажу: он вполне, вполне порядочный человек и может умереть. Поселим его у нас.

Нэд Сван говорил о своем прошлом четырьмя словами: «Не будем вспоминать пустяков» — и, улыбаясь, смотрел закрытым напряженным лицом в угол стены. Он был сутул, юношески стар, сед и приветлив.

Как стало смеркаться, наемный экипаж путешественников прибыл к воротам Ионсона. В этом месте огненная от заката стрела ущелья лежала на лиловой зелени крутых склонов, люющих девственные дебри свои с полнотой и размахом песни. Отсюда начинали бешеное восхождение знаменитые утесы Органной Горы, овеванные спиралью тропинок, заламывающих головокружительный взлет над поясом облаков.

Давно уже разговор Мистрея и Тави стал лишь тем, что видели они, выраженным с тихой страстностью великой любви к чистой и прекрасной земле. «Смотри!» — говорила Тави; затем оба кивали. — «Смотри! — говорил Мистрей. — А там?!» — «Да, да!» — «А там! Смотри!» — Так они ехали и восклицали.

— О, если бы нам здесь жить! — сказал Мистрей. — Как тихо! Как все прозрачно!

Время от времени Нэд Сван спрашивал их, что видят они. Тогда, стараясь подражать книжному способу выражения, Мистрей кратко сообщал характер пейзажа, и, кивнув, слепой покрывал действительное, чего видеть не мог, плавными соответственными видениями, черты и краски которых были не более далеки от истины, чем король Лир — от короля вообще.

В этом же деле помогала ему и Тави. Она изъяснялась

сбивчиво, например, так: «Ручей, как бы вам сказать, машет из-за ветвей платочком». Но в ясных колебаниях ее голоса, напоминающих приветливое подталкивание, Сван ловил больше для своего таинственного рисунка, чем в подробной передаче Мистрея.

Как солнце село, за поворотом горной дороги начался спуск, и минут через десять карета прогрохотала перед освещенными окнами Ионсонова дома.

III

— Две массы,— сказал негр.— И один небольшой дама. Там, на дворе. Я сказал: вы не спал.

Когда Ионсон встал из-за письменного стола, его опередила проворная, ширококостая женщина с маленьким узлом редких волос на макушке и холодно-терпким выражением пожелтого лица, темный цвет которого чем-то отвечал характеру ее быстрого взгляда. За ней вслед вышла огромная фигура Ионсона.

Два негра с фонарями, подняв их, освещали группу.

— Да, конечно, я рад,— сказал Ионсон несколько не тем тоном, какой рассчитывал услышать Мистрей; затем пристально посмотрел на жену, в поджатых губах которой таилось неодобрение по адресу прибывших. Тем не менее она нашла нужным сказать:

— Да, да. Нас почти никто не посещает, кроме деловых людей. Это нам приятно, конечно.

Последнюю фразу Тави могла принять как на свой счет, так и на счет «деловых людей». Она ответила:

— Простите, пожалуйста, если приехали неудачно. А Мистрей все расскажет. Мы не одни. Вот Сван, вы видите? Мы не расстаемся. Вы не покинете нас, Нэд?

— Пока не закрылись глаза ваши,— раздельно и внятно произнес слепой. Он стоял, держась под руку Мистрея, и, опустив голову, казалось, слышал уже холод чужого угла, враждебного согревающему доверию.

— Марта,— сказал Ионсон жене,— надо распорядиться. Войдите, гости.

Все прошли тогда в огромный зал, развернутый электричеством. Здесь была симметрически расставлена жесткая тяжелая мебель; несколько дешевых картин в дорогих рамах тускло разнообразили массивность жилья, выстроенного из

крупных камней в виде казармы. Эта казарменность прочно отражалась внутри короткими окнами и серой обивкой стен; двери закрывались плотно и с гулом, унылый оттенок которого невозможно поймать ухом чернил.

Тави привела Свана в угол, где он сел, слушая разговор. Она пыталась благодарить Ионсона за то, что полтора года назад доставил он им светлое удовольствие приглашением посетить свой дом. Но Ионсон ответил искренно непонимающим взглядом, и Тави умолкла. Затем говорил Мистрей. Он рассказал о мошенничестве, жертвой которого сделались они благодаря тонким уловкам, рассчитанным на их доверчивость; о своей мечте поселиться навсегда среди тихих деревьев, подальше от городских дел, и как купленная усадьба оказалась чужой.

На середине его рассказа пришла Марта, сев рядом с мужем в позу, какие принимаются на дешевых фотографиях, если снялась пара. На Марте было черное шелковое платье, в руках держала она колоссальный веер, не подвергая его однако опасности треснуть движениями мощных дланей.

Выслушав, Ионсон громко захохотал.

— Недурно обтяпано,— сказал он и толкнул локтем жену.— А, Марта?! Слышала ты такое?

— Чудеса,— ответила та, бесцеремонно рассматривая гостей.— Все продали?

— Увы,— сказал Мистрей,— и наше маленькое наследство и мебель. Иначе не составлялось необходимой суммы.

— Так какого же черта,— возразил Ионсон, поглаживая колено,— какого же, я говорю, черта не посмотрели вы свою кошку в мешке?!

— Кошку? — удивилась Тави.

— Ну да; я говорю об усадьбе. Вам надо было приехать на место и рассмотреть, что вам предлагают купить. Ведь вы свалили дурака. Кто виноват?

— Дурака,— машинально повторил Мистрей,— да, дурака. Но...

Он умолк. Тави открыла рот, но почувствовала, что, сказав, понята не будет. За них ответил Нэд Сван:

— Мои друзья,— тихо повел он из угла,— не будут в претензии, если я доскажу за них. Они хотели бы радоваться неожиданности, той, может быть, незначительной, но всегда приятной неожиданности, когда, ступая на свою землю, еще не знаешь ее. Они дорожат свежестью впечатления,

особенно в таком серьезном деле, где первое впечатление навсегда окрашивает собой будущее. Вот почему они повели спокойному болтуну.

Тави сконфуженно рассмеялась. Мистрей застегнул кнопку блузы, раскрывшуюся на ее плече, затем сказал:

— Пожалуй, так и было оно.

— Х-ха...— крикнул Ионсон, играя узлами челюстей, и посмотрел на жену.

Та, подняв веер, склонилась над его ухом, шепча:

— Ты видишь, что это идиоты. Но они не все продали...

Едва он успел движением головы спросить, в чем дело, как Марта обратилась к молодой женщине:

— Это настоящий жемчуг?

— Мой? — Тави коснулась жемчужной нитки, нежившей ее шею гладким прикосновением крупных, как бобы, зерен.— О! Он настоящий. Хвостик наследства, которого теперь нет.

— Хвостик не плох,— сказал Ионсон, вставая и приглядываясь с высоты своих семи футов. Он прищурился.— Да. Но ведь вокруг вашей шеи висит по крайней мере пять недурных имений.

Тави вздохнула весело и задорно.

— Надо вам объяснить, я вижу,— сказала она, лукаво подмигнув мужу.— Эта ниточка нас сосватала. Когда Мистрей пришел сказать... самые хорошие вещи... и... тогда он увидел эти жемчужины на моем столе. Они еще от прабабушки. Вот он воодушевился и представил мне в лицах, как на дне морском раковина дремлет, сияя. Как она живет глубокой жемчужной мыслью. И... и... как она любит, закрывает свою жемчужину, а мы сидели рядом... и... и...

— ...и поцеловались, конечно,— добродушно пробасил Сван.

— Нэд! Думайте про себя! — крикнула Тави.— Что за суфлер там, в углу?!

Воцарилось натянутое молчание.

— Ничего, что я так сказала? — повернулась Тави к мужу.

Он взглядом успокоил ее.

— Все ничего, все пройдет,— сказал он и, обратясь к Ионсону, добавил:— Разумеется, не продаются такие вещи, как не продаются обручальные кольца.

- Здорово! — сказал Ионсон.
- Что же вы теперь будете делать? — спросила Марта.
- Прежде всего — подумать. — Мистрей невольно вздохнул. — Только несколько дней, дорогой Ионсон. Пусть он а порадует дикой красоте ваших мест.
- При-ро-да! — протянул Ионсон. — Моя болезнь та, что завод плохо работает. Есть, правда...
- Ужин есть, — сказал негр в пиджаке, раскрывая дверь.
- Вы давно ослепли? — спросила Марта у Свана.
- Давно.

IV

Отрывистое настроение хозяев мало улучшилось за столом, хотя Ионсон пил много и жадно. Но Марта стала внимательней. От ее любезностей подчас хотелось крикнуть, однако резкая болтовня стерла отчасти натянутость, делавшуюся уже невыносимой для Тави.

Наконец, слегка качнувшись, так как промахнулся опереться локтем о стол, Ионсон счел нужным посвятить Мистрею в свои дела. Завод гибнет. Его преследуют неудачи, долги растут, близятся роковые взыскания, спрос мал, застой и кризис в торговле. Однако он не унывает. Всю жизнь приходилось ему выпутываться из положений гораздо худших, — туча рассеется.

Мистрей выразил надежду, что она рассеется быстрее всех ожиданий. Как у Тави слипались глаза, он не поддерживал особенно разговора; молчал и Нэд Сван. Незадолго перед тем, как часы ударили полночь, под окном дома мелькнул громовой выстрел, сопровождаемый собачьим лаем и криками.

— Это вернулся Гог, — заметила Марта, — наш сын.

По всему дому пронеслось хлопанье дверей, затем высокий, как его отец, молодой человек с нелюдимым лицом появился перед собранием. Его голова, по-горски, была обвязана красным платком, жесткая борода неестественно, как черная наклейка, обходила полное, загорелое лицо с неприятным ртом и бесцветными, медленно устанавливающими взгляд, сонно мигающими глазами. В его руках был карабин.

— Чужая собака, — сказал он, несколько смутясь при виде чужих, и повернулся уйти. — В голову. Ха-ха!

— Сядь,— сказал Ионсон.

Гог, пробормотав что-то, скрылся, стукнув о дверь дулом ружья.

— Невежа! — закричал вслед отец.

Мать пояснила:

— С него взятки гладки: раз уж набрал в рот воды или не хочет чего-нибудь,— упрашивать бесполезно.

Об этом не говорили больше. Посидев еще несколько времени, гости были отведены в приготовленные для них комнаты. Перед тем, как лечь, оба зашли к Нэду, посмотреть, не нужно ли ему что-нибудь.

— Ну, что вы скажете,— спросил Мистрей,— каковы впечатления ваши?

— Вижу отчетливо всех троих.— Сван слепо прищурился в тот свой мир, где так все было знакомо ему.— Ионсон: черный, большой рот и рыжая черта поперек налитого кровью глаза. Его жена: зубчатый небольшой круг с клювом спрута внутри. Гог... этот неясно... да: тьма, две медные точки и крылья совы.

— Ну, вот еще,— с некоторым неудовольствием отнеслась Тави,—милый Нэд, вы нервны сегодня. Но, правда, что-то беспокоит и мне.

— Кажется, мы приехали неудачно,— заметил Мистрей, но, не желая расстраивать Тави, прибавил: — Все это пустая мнительность... Нэд, спокойной вам ночи!

— Благодарю. Да будут спокойны и ваши ночи,— ответил Сван,— спокойны, пока я слеп.

Муж и жена давно привыкли уже к странной манере, в какой иногда выражал мысли свои Нэд Сван; поэтому, не обращая особенного внимания на его последние слова, попрощались и удалились к себе.

V

Несколько дней прожили они, сходя по утрам в долины или поднимаясь среди цветущих теснин к затейливым углам горного мира, где яркие неожиданности пейзажа напоминают ряд радостных встреч с лучшими из своих желаний, принявших кроткую или захватывающую дыхание видимость. Среди этого мира, неподалеку от дома, рвал дымом нежную красоту гор завод Ионсона,— трубы, обнесенные стенами и складами. Казалось, был перенесен он сюда из города каким-то подземным путем, вынырнув вдруг среди

зеленого сияния склонов. Без вопросов смотрела на него Тави, иногда говоря тихое «А!..» — если случившийся тут же Ионсон объяснял что-нибудь. И она спешила на озеро, где с удочками в руках, беспечные обобранные люди вбирали всем существом своим блеск бездонной воды, отражающей их фигуры.

Нэд Сван неизменно сопровождал их. Благодаря его присутствию прогулки гостей были медленны и покойны, так как надо было вести слепца, дав ему держаться за себя или за конец палки, другой конец которой Мистрей брал под мышку. Нэд Сван расспрашивал их, слушал и говорил о своем.

Меж тем впечатления дома, — естественным путем взаимного отчуждения, скрывать которое все же приходилось известным усилием, — стали за их спиной, но редко они обочивались к острому их лицу. Там крикливыми голосами, счетами и проклятиями, бранью и своеобразной душевной отрыжкой, точно обозначающей все колебания делового дня, текла, собранная в жидкий узел на маковке, своя жизнь. Хозяева и гости встречались редко. Гог приходил иногда к обеду, но чаще давал знать о существовании своем окрестными выстрелами или хохотом где-то позади конюшен, который звучал так долго, ровно и громко, что хотелось закрыть окно. Он почти ничего не говорил, здоровался чуть ли не с отвращением и был вообще — с а м.

Прошла неделя, а эти чужие друг другу люди так же мало знали взаимно о себе, как при первой встрече.

Под вечер следующего дня пьяный, но отлично державшийся на ногах, внезапно получивший дар речи Ионсон вошел в комнату гостей с таким видом, что сразу, еще до первого слова, создалось предчувствие некоего делового момента.

VI

— Мне надо поговорить с вами, Мистрей, — медленно сказал Ионсон. Избегая смотреть в глаза, он ворочал засунутыми в карманы брюк кулаками, как будто месил. — И с вашей женой также. Есть дело. То есть я хочу говорить о деле, если вы против ничего не имеете.

— Нет, я слушаю вас. — Мистрей посадил Ионсона и сел против него. Тави сидела в глубине комнаты, укрытая

тенью, выказываясь оттуда далекой и тихой.—Предупреждаю, однако, что я не деловой человек. В этом могли вы убедиться из моего опыта покупки чужой земли.

Взгляд Ионсона блеснул двусмысленно.

— Гм...—сказал он,—да, каждый может стать, конечно, добычей изворотливых молодцов... однако... но я скажу прямо, что дело касается только вас и меня.

— А меня? — рассмеялась Тави.

— Вас? Ну, и вас, конечно. Оно касается вас обоих, но более всего — одного меня.

— Так говорите,—сказал Мистрей, намеренно избегая паузы.

Ионсон грузно вздохнул, сдвинув лицо так, что все его черты собрались к глазам, старавшимся пристально отметить что-то в лицах жены и мужа,— нечто, указывающее линию дальнейшего разговора.

— Я разорен,—хрипло заявил он,—разорен в лоск и не больше как через месяц должен буду уйти отсюда. Есть только один выход из положения. Слушайте: мне предлагают крупную партию сырья почти даром. Почему это так, я сам хорошо не знаю; знаю лишь, что человек, с которым веду переговоры, безусловно надежен. В моем распоряжении еще есть двадцать четыре часа. Если я внесу половину суммы,—товар мой, и я через две недели выпущаю его готовыми фабрикатами по цене, значительно более дешевой, чем рыночная. Таким образом, помимо крупной прибыли, я получаю заказы и задатки, чем отсрочиваю и частью оплачиваю векселя. Но сегодня, или—самое позднее—завтра, надо уплатить тому человеку тридцать тысяч.

Он смолк, откинулся, полузакрыв глаза, затем внезапно и нагло бросил упорный взгляд на Мистрея, хлопнув по колену рукой.

— Так,—сказал, подумав, Мистрей,—но, право, я неважный советчик.

— Совет мне не нужен.

— Тогда... что?!

— Деньги.

— Как?!

— Жемчуг,—сказал Ионсон, волнуясь уже заметным образом.—У вашей жены есть жемчуг. Он стоит шестьдесят верных. Постойте, я кончу. Вы даете мне жемчуг в обеспечение поставки. Я закладываю его. Он будет цел,

ручаюсь своей честью. Ровно через месяц, ни днем раньше, ни позже, я возвращаю вам вещь обратно, плюс двадцать процентов на сто. И мы квит.

Наступило молчание. Тави пересела к Мистрею. Ее рука поднялась было к шее, где снимавшееся лишь на ночь кружило в электрическом свете огненно-молочный блеск свой ее радужное воспоминание, как опустилась вновь с гордостью, выраженной тихой улыбкой. Впрочем, она взглянула на мужа не без лукавства, предчувствуя интересный ответ.

— И вы подумали это? — сказал Мистрей. — Но я скажу так же прямо, как прямо обратились ко мне вы: на это мы не пойдем.

Ионсон проглотил слюну.

— Почему? — глухо и вкрадчиво спросил он.

— Это невозможно.

— Так почему, черт возьми?

Красными пятнами покрылось его лицо. Он встал и сел снова с силой, так, что затрещал стул. Беспомощно и свирепо звучали его слова.

— Послушайте, — начал он, помяв руки, — здесь нет риска. Я отвечаю и могу поклясться...

— Мне жаль вас, — твердо перебил Мистрей, — но пачкать душу свою я не буду. В этой вещи, о которой вы говорите с понятной, на ваш взгляд, легкостью, так как для вас это — просто ценность, — в этой вещи заключен первый наш простой вечер, — мой и жены моей. Эта вещь не продается и не закладывается. Она уже утратила ту ценность, которая дорога вам; ее ценность иная. Я сказал все.

Ионсон встал.

— Отлично, — сказал он, качая головой гневно и медленно, как если бы рассуждал об отсутствующих. — Эти люди... ха... Эти люди приезжают к тебе, Ионсон. Да. Что они просят? Нет, они ни-че-го не просят. Они благородны. Это гости. Они живут, едят, пьют...

— Мистрей! — едва могла сказать Тави.

Мистрей быстро положил руку на плечо Ионсона.

— Выйдите и ложитесь спать, — сказал он так тихо и явственно, что Ионсон отшатнулся. — Мы не останемся здесь более десяти минут. Тави! — но она уже встала, смотря в окно.

Здесь он заметил, что дверь раскрыта. Мягко держась

за притолеку, стоял с опущенной головой Нэд Сван. Он кашлянул.

— О! Да, вот что это! — вскричала, увидев его, Тави.— Собирайтесь и вы, Нэд.

— Я готов,— печально сказал слепой.

Ионсон вышел, смотря на гостей с расстояния нескольких шагов, через дверь. Он топнул ногой.

— Ступайте под окно! — закричал он.— Там вам швырнут багаж.

Сван знаком остановил Мистрея.

— Багаж моих друзей, а также и мои пожитки,— сказал он, повернув лицо к Ионсону,— останутся пока здесь. Они будут выкуплены через несколько дней суммой, вознаграждающей Ионсона. Он нес расходы. Мы пили и ели у него.

— Благодарю, Сван,— сказала Тави.— Так надо.

Они вышли немедленно. Никто не провожал их ни бранью, ни дальнейшими разговорами об этой оскорбительной стычке. У подъезда стоял Гог. Он видел, как три человека, не оглядываясь, медленным шагом отошли прочь и скрылись в лесу.

VII

Тропа, которой они шли, вилась отлогим зигзагом; у самых ног их падали от уступа к уступу молчаливые, ярко озаренные склоны. Казалось, здесь был предел разнообразию: едва утомленный сверкающей пустотой долин глаз переходил к ближайшим явлениям, как висащие над головой скалы или поворот, оттененный светлой чертой неба, по-иному колебали волнение, вызванное и ровно поддерживаемое оглушительной тишиной стремнин.

Устав, путники сели, свесив ноги над бездной. Вначале показалось Мистрею, что Тави говорит что-то,— такой сосредоточенной трубкой вытянулись ее губы, шепча или мурлыкая про себя. Но она просто летала, держась руками за землю, по противоположному склону, отделенному от нее не более как перелетом ядра. Она летала, мысленно опускаясь там, где было более живописно. Ее глаза ярко блестели.

— О, Мистрей! — могла она только сказать, прижав руку к сердцу.— Нэд, простите меня за то, что у меня есть зрачки.

Сван помолчал. Странная улыбка прошла по его лицу.

— Я вижу,— сказал он.— Но я вижу иначе: тем настроением, какое сообщается мне от вас.

Оглянувшись, Мистрей заметил в скале подобие ниши, что и было приветствуемо как приют. Сухие кусты росли густо вокруг. Это годилось для костра. Неподалеку, на мшистом отвесном скате висел, перескакивая вниз, прозрачный ручей. Тави залезла на ореховое дерево, порвав юбку. Сван выгрузил из кармана большой кусок хлеба.

— Я взял с собой,— сказал он,— это припишем к счету.

Они долго сидели у огня, разговаривая и восхищаясь романтичностью положения. Затем Тави положила голову на колени мужа и уснула, а он прислонился к стене.

Сван лег у выхода ниши.

VIII

В самом зените ночи, вставшей высоко вверху и молча смотревшей вниз на отражение свое по пропастям и обвалам, из ущелья на дорогу вышел медведь. Став к ветру, неодобрительно слушал он глубиной ноздрей, сосавших пахнувший камнем и листвою воздух, мельчайший крап оттенков его: не тронет ли тоскливым ознобом внутри дыхания, не ясным ли станет памятный от прежних встреч шагающий образ с направленной к медвежьим глазам черной чертой, откуда надо ждать треска и боли.

Но колеблющийся баланс воздушных течений сдвинул легкую ткань опасного запаха, расслоил и переместил ее. Тогда, шумно вздохнув, медведь фыркнул в пыль уснувшей тропы. Коза, еж и лисица явились умственному взору его, так как вчера были на этом месте — но слабо; явление отмечало значительный промежуток времени. Тогда той частью души, которая у зверей похожа на состояние сонного человеческого сознания, когда, дремля, натуживается оно никогда не приходящим воспоминанием, медведь двинулся по тропе вниз, раскачивая головой и осторожно следя, не пересечется ли путь подозрительным воздушным узором.

Вдруг он остановился и сел, подняв голову, как собака. Ветер, случайно завернув вспять, хлопнул его по ноздрям одеждой и телом нескольких людей, находившихся где-то совсем близко. Он ощутил слабый позыв желудочного бес-

покойства, и лапы его отяжелели. Однако он не убежал и не вскарабкался выше, а с недоумением разминал запах, вслушиваясь в него с медленно проходящим испугом. Запах был лишен яда, то есть мог принадлежать только другой породе, может быть, в чем-то равной образу, шагающей с гремющей чертой в лапах.

Зверь подвинулся, фыркая тихо и вопросительно. Он видел, как мы днем. Совсем войдя в группу, он приблизил носовое внимание свое к лицу Тави и успокоился. Затем, мягко перешагнув ноги Мистрея, провел, почти касаясь мордой, по контуру тела Свана.

Все утихло, все заленилось в нем, но пахло еще чем-то, давно забытым. Это была хлебная корка. Он тихо слизнул ее, поиграв челюстями, и лег, вытянув голову к ногам спящей женщины, — как ковер из его меха, лежащий, быть может, теперь под человечески-звериной ногой.

Он спал. Когда снова его начал мучительно волновать тот запах, за две мили от которого поспешил он обеспечить себе спокойную ночную прогулку, горное чудовище выползло на тенистый свет звезд, и, дыбом, тронулось к Гогу, поспешно направившему гремющую черту в косматое сердце. Но медведь только махнул лапой. Пощечина обнажила скулы и, мгновенно помертвев, согнутый в коленях страшным ударом, человек, видевший всю ночь только жемчуг, отправился за край бездны.

Сказалось ли темное прошлое семьи в том, что у человека, который плеснулся с полумильной высоты о широкий камень, подобно воде, красное пятно, покрывшее известняк, расплылось в форме н о ж а, — мы не знаем. Осталось лишь прошлое. Будущее растеклось по скале и высохло в отвесных лучах.

Утром Мистрей сказал Свану, что на золе следы лап, прося не говорить жене о своем открытии.

Сван обратил с тихой улыбкой серебряный взгляд к обрыву, где — лишь он один знал — упал сын Ионсона. Но это знание было равно сну, не выразимому словом.

Все трое благополучно спустились к горному поселению, где смогли нанять мулов.

Через неделю они получили свой багаж — без письма.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

I

На «Бандуэре», океанском грузовом пароходе, вышедшем из Гамбурга в Кале, а затем пустившемся под чужим флагом в порт Прест, служил кочегаром некто Ольсен, Карл-Петер-Йоганн Ольсен, родом из Варде. Это было его первое плавание, и он неохотно пошел в него, но, крепко рассчитав и загнув на пальцах все выгоды хорошего заработка, написал домой, своим родным, обстоятельное письмо и остался на «Бандуэре».

Как наружностью, так и характером Ольсен резко отличался от других людей экипажа, побывавших во всех углах мира, с неизгладимым отпечатком резкой и бурной судьбы на темных от ветра лицах; на каждого из них как бы падал особый резкий свет, подчеркивая их черты и движения. Ритм их жизни был тот же, что ритм ударов винта «Бандуэры», — все, что совершалось на ней, совершалось и в них, и никого отдельно от корабля представить было нельзя. Но Ольсен, работая вместе с ними, был и остался недавно покинувшим деревню крестьянином — слишком суровым, чтобы по-приятельски оживиться в новой среде, и чужим всему, что не относилось к Норвегии. В то время, как смена берегов среди обычных интересов дня направляла мысли его товарищей к неизвестному, Ольсен неизменно, страстно, не отрываясь, смотрел взад, на невидимую другим, но яркую для него глухую деревню, где жили его сестра, мать и отец. Все остальное было лишь утомительным чужим полем, окружающим далекую печную трубу, которая его ждет.

Чем дальше подвигалась к югу «Бандуэра», тем более чувствовал себя Ольсен как в отчетливом сне. Плавание казалось ему долгой болезнью, которую нужно перетерпеть ради денег. Отработав вахту, он ложился на койку и засыпал или чинил белье; иногда играл в карты, всегда понемногу выигрывая, так как ставил очень расчетливо. Раз, в припадке тоски о севере, он вышел на палубу среди огромной чужой ночи, полной черных валов, блестящих пеной и фосфором. Звезды, озаряя вышину, летели вместе с «Бандуэрой» в трепете прекрасного света к тропическому безмолвию. Странное чувство коснулось Ольсена: первый раз ощутил он пропасти далей, дыхание и громады неба. Но было в том чувстве нечто, напоминающее измену,— и скорбь, ненависть... Он покачал головой и сошел вниз.

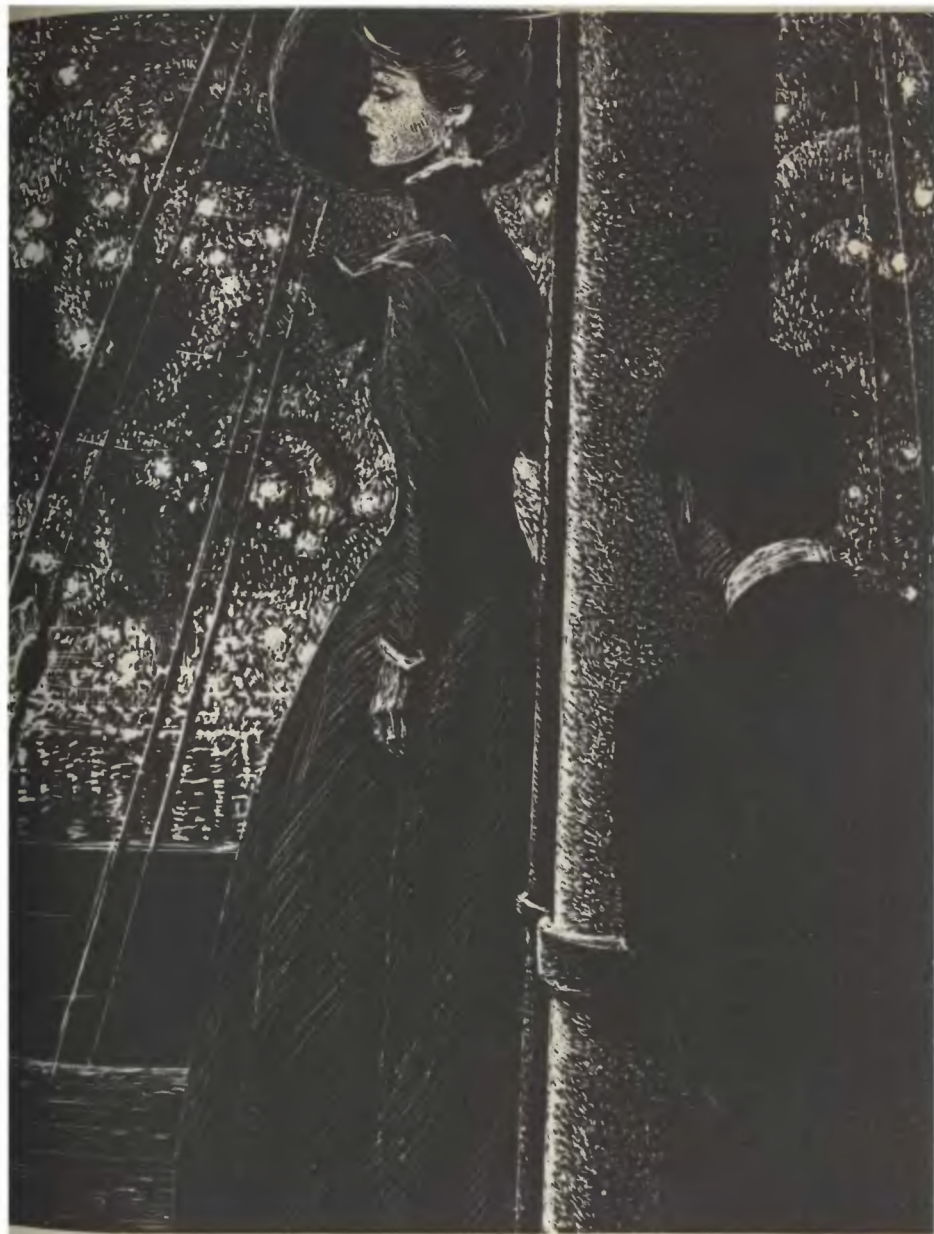
Неподалеку от Преста, когда «Бандуэра» оканчивала последний переход, Ольсен, спускаясь по трапу в сияющее сталью машинное отделение, почувствовал, что слабеет. Это был внезапный обморок — следствие жары и усталости. Блеск поршней свился в яркий зигзаг, руки разжались, и Ольсен упал с трехсаженной высоты, разбив грудь. Некоторое время он был без сознания. Доктор повозился с Ольсеном, нашел, что внутреннее кровоизлияние отразилось на легких, и приказал свезти пострадавшего в лазарет. Там должен был он лежать, пока не поправится. Ему сказали также, что по выздоровлении он будет бесплатно отвезен в Гамбург.

«Бандуэра» выгрузилась, взяла местный груз, уголь и ушла обратно в Европу. На горизонте от нее остался дымок. Лежа у окна лазарета, Ольсен посмотрел на него с напутствующей улыбкой, как будто этот дым, стелющийся на запад, был его гонцом, посланным успокоить и рассказать.

Путешествие кончилось. Жалованье получено сполна, отправлено почтой в деревню. Мир выпускал, наконец, Ольсена из своих ненужных и обширных объятий. Теперь Ольсен мог плыть только назад.

II

Лазарет, где лежал кочегар, стоял на холме, за городом. Его верхний этаж состоял из спускных тентов, превращающих больницу в веранду. Отсюда видны были порт, океан



«БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ»



«КАК БЫ ТАМ НИ БЫЛО»

и — очень близко от стены лазарета — группы растений, покрытых огромными яркими цветами, подобных которым Ольсен не видел нигде. Ольсен смотрел на эти цветы, на странные листья из темного зеленого золота с оттенком страха и недоверия. Эти воплощенные замыслы южной земли, блеск океана, ткущий по горизонту сеть вечной дали, где скрыты иные, быть может, еще более разительные берега, — беспокоили его, как дурман, власть которого был он стряхнуть не в силах. Казалось ему, что на нем надето стеснительное парадное платье, заставляющее жалеть о просторной блузе.

Кроме Ольсена, в том же помещении лежали распухший от водянки француз, китаец, высохший и желтый, как мумия, и несколько негров. Не зная языков, Ольсен не мог говорить с ними; но если бы и мог, то предпочел бы все-таки лежать молча. В молчании, в неподвижности, в мыслях о родине он чувствовал себя ближе к дому. Вечером, засыпая, он думал: «Марта доит корову, старуха варит рыбу, отец засветил лампу, вымыл руки и сел к огню курить». Тогда тьма внезапно оборачивалась в его сознании утренней свежестью, и он видел не летний деревенский вечер, а глухой зимний рассвет. Ольсен задумчиво, с неудовольствием улыбался, смотрел некоторое время перед собой в полную огней тьму и сосредоточенно засыпал.

III

Время шло, а он худел, слабел, кашлял; испарина и лихорадочное состояние усиливались. Наконец, не видя никакой нужды держать неизлечимо больного кочегара, доктор сказал ему, что у него чахотка и что северный воздух будет полезнее Ольсену, чем лихорадочный тропический климат. Он прибавил еще, что на днях придет пароход, направляющийся в Европу, что бумаги и распоряжения администрации относительно Ольсена в порядке; таким образом, ему предоставлялся выбор: остаться здесь или ехать домой.

В тот день, когда Ольсен узнал правду, его силы временно вернулись к нему. Он был возбужден и мрачен; ликовал и скорбел, и та внутренняя нервная торопливость, какою стремимся мы, когда это не от нас зависит, приблизить желаемое, — наполнила его жаждой движения.

Он встал, оделся в свое платье, подумал, постоял у окна, затем вышел. Несколькими тропинками он достиг берега. Белый песок отделял море от стены леса, склоненной с естественного возвышения почвы к Ольсену нависшими остриями листьев. Там, в сумраке глубоком и нежном, дико блестели отдельно озаренные ветви. Там выглядело все, как таинственная страница неизвестного языка, обведенная арабеском. Птицы-мухи кропили цветным блеском своим загадочные растения, и, когда садились, длинные перья их хвостов дрожали, как струны. Что шевелилось там, смолкало, всплескивало и нежно звенело? что пело глухим рассеянным шумом из глубины? — Ольсен так и не узнал никогда. Едва трогалось что-то в его душе, готовой уступить дикому и прекрасному величию этих лесных громад, сотканых из солнца и тени, — подобных саду во сне, — как с ненавистью он гнал и бил другими мыслями это движение, в трепете и горе призывая серый родной угол, так обиженный, ограбленный среди монументального праздника причудливых, утомляющих див. Мох, вереск, ели, скудная трава, снег... Он поднял раковину, огромную, как ваза, великолепной окраски, в затейливых и тонких изгибах, лежавшую среди других, еще более красивых и поразительных, с светлым бесстыдством гурни, — поднял ее, бросил и, сильно топнув, разбил каблук, как разбил бы стакан с ядом. Чем дальше он шел, тем тоскливее становилось ему; сердце и дыхание теснились одно другим, и сам он чувствовал себя в тесноте, как бы овеянным пестрыми тканями, свивающимися в сплошной жгут. Солнце село; огромный, лихорадочно сверкающий месяц рассек берег темными полосами; прибой, шумя, искрился на озаренном песке. Пришла ночь и свернулась на океане с магнетической улыбкой, как сказка, блеснувшая человеческими глазами.

Ольсен становился: глухой, с шумом воды, пришел издалека голос: «Ольсен, это мы, мы! Скорее вернись к нам! Это я, твоя милая сестра Марта, и твоя старая мать Гертруда; и это я — твой отец Петерс. Иди и живи здесь...».

IV

Два месяца плыл Ольсен обратно на пароходе «Гедвей», затем прибыл домой и, походив день-два, лег. Но теперь свободно, устойчиво чувствовал он себя, был даже весел и,

хотя речь свою часто прерывал мучительным кашлем, был совершенно уверен, что скоро выздоровеет. Ничего не изменилось за время его отсутствия. Так же безнадежно и скучно судился его отец из-за пая в рыболовном предприятии, так же возилась в хлеву мать, так же улыбалась сестра, и платье у нее было то самое, в каком видел он ее год назад.

Он лежал, изредка рассказывая о жизни на пароходе, о чужих странах. Можно было и продолжать слушать его и уйти: так рассказывают о посещении музея. Но с увлечением, с страстью говорил он о том, как хотелось ему вернуться домой. Чем больше он вспоминал это, тем ярче и прочнее чувствовал себя здесь, — дома, на старой кровати, под старыми кукующими часами.

Но бой часов этих начинал все чаще будить его ночью; жарче было дышать в бессонницу; сильнее болела грудь. В мае, в страхе, в угрызениях совести за то, что «не работник», прошла зима. Наконец, весной, стало ясно ему и всем, что конец близок.

Он наступил в свете раскрытых окон, перед лицом полевых цветов. Уже задыхаясь, Ольсен попросился сесть у окна. Мерзнувший, весь в поту, с подушками под головой, Ольсен смотрел на холмы, вбирая кровоточающим обрывком легкого последние глотки воздуха. Тоска, большая, чем в Престе, разрывала его. Против его дома, у окна, обращенного к холмам, на руках матери сидела и смешно билась, махая руками и ногами, крошечная, как лепесток, девочка.

— ...Дай!.. — кричала она, выговаривая нетвердо это универсальное слово карапузиков, но едва ли могла понять сама, чего именно хочет. «Дай! Дай!» — голосило дитя всем существом своим. Что было нужно ей? Эти ли простые цветы? Или солнце, рассматриваемое в апельсинном масштабе? Или граница холмов? Или же все вместе: и то, что за этой границей, и то, что в самой ней и во всех других — и все, решительно все: — не это ли хотела она?! Перед ней стоял мир, а ее мать не могла уразуметь, что хочет ребенок, спрашивая с тревогой и смехом: — «Чего же тебе? Чего?»

Умиравший человек повернулся к заплаканным лицам своей семьи. Вместе с последним усилием мысли вышли из него и все душевные пути, и он понял, как понимал всегда, но не замечал этого, что он — человек, что вся земля, со

всем, что на ней есть, дана ему для жизни и для признания этой жизни всюду, где она есть. Но было уже поздно. Не поздно было только истечь кровью в предсмертном смешении действительности и желания. Ольсен повернулся к сестре, обнял ее, затем протянул руку матери. Его глаза уже подернулись сном, но в них светился тот Ольсен, которого он не узнал и оттолкнул в Престе.

— Мы все поедем туда, — сказал он. — Там — рай, там солнце цветет в груди. И там вы похороните меня.

Потом он затих. Лунная ночь, свернувшаяся, как девушка-сказка, на просторе Великого океана, блеснула глазами и приманила его рукой, и не стало в Норвегии Ольсена, точно так же, как не был он живой — там.

ГАТТ, ВИТТ И РЕДОТТ

I

Три человека, желая разбогатеть, отправились в Африку. Им очень хотелось иметь собственные автомобили, собственные дома и собственные сады. В то время африканские алмазные прииски, расположенные на реке Вивере (эта река такая маленькая, что ее нет на карте), каждый месяц давали от тысячи до трех тысяч каратов драгоценного камня. Поэтому каждый месяц пароход, приходивший к тому берегу из Занзибара, ссаживал сотни людей, желавших попытать счастья.

Наши три человека были: почтальон, извозчик и пекарь. Первого звали Гатт, второго — Витт и третьего — Редотт. Скопив денег на дорогу, отправились они в страну змей, обезьян и львов копать тамошние пески.

Немедленно по приезде с ними начались несчастные случаи. Сначала заболел лихорадкой Редотт, затем Витт и наконец Гатт. Пока они лежали в палатке, отпиваясь хиной и кокосовым пивом, негры украли у них все деньги, инструменты и лошадей. Выздоровев, они подыскиали себе участок, где, по их расчетам, должны были находиться алмазы; заняли три лопаты и стали работать.

После целого месяца усиленного труда на всех троих нашли всего лишь один-единственный бриллиант, но и тот мутный, как грязное стекло. Он был, правда, величиной с орех, но почти ничего не стоил; маклер дал за него только три фунта.

Между тем их энергия стала падать. Они попытались менять участки, но нигде более ничего не нашли. Кроме того, зной плохо действовал на состояние их здоровья: они худели, пили много воды и почти не могли спать; тревога и забота не давали им покоя.

Однажды вечером сидели они у костра, молча и тихо.

— Итак, у нас ничего нет,— сказал задумчивый, спокойный Редотт,— нет даже сил, чтобы разрубить дерево для костра. Питаемся мы почти одной зеленью. Этак мы скоро подохнем.

— Я не желаю подыхать,— возразил беспокойный, крикливый, более всех тщедушный и прожорливый Гатт,— я хочу, понимаете, бифштексиков, вина и денег. Вообще я хочу широко наслаждаться жизнью, черт ее побери.

— Наслаждайся,— насмешливо сказал желчный черно-волосый Витт.— Мне бы только немного окрепнуть. Я тогда пойду к голландцу Ван-Клопсу. Ван-Клопс даст мне ружье и пороха. И я присоединюсь к охотникам за слоновьей костью. Но, увы, я должен поесть, поесть много раз хорошего мяса.

— Да, сильным быть хорошо,— отозвался Редотт.— Куда я гожусь? — Он засучил рукава и посмотрел на свои худые руки.— Будь я, например, немного посильнее Самсона, я черной земляной работой добыл бы себе здесь форменный капитал. Разве не так?

— Я ловил бы слонов, как мышей,— сказал Витт.— Я вырывал бы руками клыки и таскал бы целые снопы их, как пачку папирос. Кроме того, десятков — другой львов, пойманных живьем, купит любой зверинец. А вы знаете, сколько стоит приличный лев? Говорят, тысяча фунтов. Теперь сосчитайте.

— Двадцать тысяч фунтов,— сказал Гатт.— При такой силишке, о которой вы говорите, я просто плюнул бы в реку, не сходя с места, и убил бы простым плевром столько рыбы, сколько нужно для всего прииска. Рыба свежая — пожалуйста, и деньги на бочку.

II

— Так в чем же дело? — раздался над головами их громкий вопрос.

Костер бросал в тьму летающий рыжий блеск, и в блеске этом показалась бронзовая фигура индуса. Его тюрбан

сиял дорогим шитьем, за поясом мерцали драгоценные камни кинжальной рукояти. Матовые, орлиные глаза индуса выражали достоинство и гордость. Недавно прибыл он на Виверу с множеством лошадей и слуг, но не собирался жить здесь; как говорили, держит он путь в глубину Африки.

— Ваше степенство... — пробормотал, подымаясь, Гатт. — Удостойте присесть.

— Садитесь, — угрюмо пробормотал Витт.

Редотт встал и, ответив индусу на его приветственный жест поклоном, сказал:

— Саиб Шах-Дуран, зажги свою трубку у нашего огня. Больше у нас ничего нет.

— Но будет, — сказал индус. — Я прогуливался и услышал ваш разговор. — Он сел. — Так в чем дело? Повторяю, — продолжал Шах-Дуран, — если хотите быть сильными, я могу исполнить ваше желание.

— Вы шутите! — воскликнул Редотт.

— У нас, в Индии, такими вещами не шутят, — сказал индус.

— Арабские сказки, — фыркнул на ухо Витту смешливый Гатт, и шепотом ответил ему Витт:

— Шах, кажется, был в миссии и хватил немного хмельного.

Тонкий слух индуса поймал смысл их слов.

— Я не пью «хмельное», — сказал он без раздражения, но так внушительно, что Витт и Гатт оторопели. — Что же касается «арабских сказок», то лучше мне прямо приступить к делу. Хотите вы быть сильными или нет?..

— О! — сказал Витт.

— Ага! — ответил Гатт.

— Да! — произнес Редотт.

Шах-Дуран растянул платье и достал из бисерного мешочка три пшеничных зерна.

— Вот зерна, — сказал он, — эти зерна взяты из саркофага египетского фараона Рамзеса I, который жил тысячи лет назад. В них заключена сила жизни. Пять тысяч лет копилась она и увеличивалась. Человек, съевший это зерно, станет сильнее целого стада буйволов.

— Позвольте спросить вас, — обратился к нему Гатт, — почему именно это зерно имеет такую силу, а те, из каких печем мы свои лепешки, вызывают только расстройство желудка?

— У тебя не хватает терпения пропечь лепешку как следует. Что касается этих зерен, то я сейчас объясню, почему в них колоссальная сила. Египетская пшеница в хорошем урожае дает сам-двести. Следовательно, из одного зерна,— если бы оно проросло,—получится двести зерен.

— Он не пил виски,— шепнул Гатт Витту как можно тише.— Единожды двести — двести, это я ручаюсь.

— Я не пил виски,— меланхолично подтвердил Шах-Дуран, а Гатт сделал невинные собачьи глаза.— В доказательство этого я приведу дальнейший расчет. Нил разливается два раза в год, два раза в год плоские его берега дают жатву... Итак, одно зерно с его двумястами детьми дадут в год 40 тысяч зерен. На следующий год 40 тысяч произведут 80 миллионов потомства. На пятый — заметьте, только на пятый год — число зерен возрастет до 102 центилионов четыреста секстилионов, то есть...

Индуc взял палочку и начертил на песке 1024, прибавив к этой цифре 23 нуля.

— Вот,— сказал он,— вот сколько будет зерен через пять лет только из одного зерна.

— Высшая математика! — благоговейно прошептал Гатт.

— Говорить ли о пяти тысячах лет? — сказал, посмеиваясь, Шах-Дуран.— Тогда будет столько нулей, что вы соскучитесь их писать.

— Сойду с ума,— подтвердил Витт.

— Или...— вставил Гатт.

Редотт молчал.

— Один золотник весу содержит колос,— продолжал индус.— Та цифра, что я написал, выдержит тяжесть такого же числа колосьев, то есть шестьдесят четыре квинтилона пудов зерна. Вот сила, с которой нам приходится иметь дело. Какова же она за пять тысяч лет?

— Но эту силу,— ехидно возразил Витт,— вы изволите спокойно подбрасывать на ладони да еще увеличенную в три раза.

— Да,— сказал Шах-Дуран.— Вся сила растительности одного зерна за пять тысяч лет сообщится тому, кто проглотит зерно. Как и почему, это я вам объяснять не буду. Желаете ли вы иметь такую силу?

Как ни был притуплен рассудок алмазоискателей нуждой и усталостью, все же они поняли, что предлагают им,— и похолодели от ужаса. Но скоро овладел страхом своим Редотт и, улыбаясь, протянул руку.

— Берешь? — сказал Шах-Дуран.

— Да.

Но, положив на ладонь темное зерно, Редотт взял иголку и цапнул ею свой талисман. Одна едва заметная пылинка отделилась при этом, и он лизнул то место руки, где она должна была быть.

Индус благосклонно улыбнулся.

— Ты осторожен,— сказал он,— и, кажется, поступил хорошо. Но даже при такой скромной порции ты спокойно можешь разбить кулаком каменный дом. Брось это зерно, оно более не может служить. Пусть идет в землю и спокойно освобождает свою силу. Ну-те,— обратился он к остальным,— что скажете вы?

«Не может быть столько секстилионов из одного семечка»,— легкомысленно подумал Гатт и, взяв зерно, съел его, даже разжевал.

— Вот и все, — сказал он, благодушно прислонясь к камню, затем упал.

Раздался оглушительный вой.

Выскочив при движении локтя Гатта, десятитонный камень секнул пространство на неизмеримую высоту; там, раскаленный трением воздуха, вспыхнул он метеором и рассыпался ярко пылью.

— Ползерна! — вскричал, видя это, охлажденный Витт.— Ползерна — настоящая порция! Иначе меня разорвет сила.

Индус вынул перочинный ножик и отсек ползерна Витту. Налив чашку воды, Витт запил ползерна крупным глотком.

— Чтобы растворилось немного,— сказал он и похлопал себя по животу.

Шах-Дуран встал.

— Будьте здоровы,— сказал индус, поклонился и исчез во тьме.

Затаив дыхание, смотрели наши приятели, как тает во мраке его белый тюрбан, потом осторожно сели и закрыли глаза.

То, что они чувствовали, было поразительно. Казалось Гатту, что в жилах его мчатся и гудят железнодорожные поезда. Витт слышал, что сила впивается в него, подобно водопаду. Редотт задумчиво ковырял ногтем огромный пень, откалывая пудовые куски дерева.

Но их оцепенение, их изумление перед самими собой скоро прошло, так как тело их уже забыло, что значит быть слабым. Первый вскочил Гатт, он закричал что было духу:

— С такой-то силой, как у меня, шутить не приходится! Эх, где бы ее показать?.. К чему бы это ее немедленно приложить?.. Никак не подвергается такого предмета!

Он кружился, топал и размахивал руками, оглядываясь; затем, сбив с ног Витта, лишившегося от толчка чувств, кинулся к тысячелетнему баобабу, взял его из земли так же легко, как мы берем спичку, и хлопнул им по Вивере.

Удар был неплох. Дерево, пробив течение реки, прошло в ее дно на глубину двухсот метров и обратилось в пыль, и в этой же бешеной воронке земли и воды мгновенно исчез Гатт, увлеченный силой собственного удара, и от него не осталось ничего. Вивера же вышла из берегов, а затем вздрогнула на триста миль в окружности, отчего жители проснулись и побежали, думая, что началось землетрясение.

— Ты видел? — сказал Редотт очнувшемуся от толчка Витту. — Он сожрал, правда, все зерно, но и в тебя вошла приличная порция. — Смотри, не ошибись.

— Я буду охотиться на слонов, — сказал Витт. — Теперь мне не надо никакого ружья.

И они зажили разной жизнью. Витт ушел с топором в лес и пропадал три недели, разыскивая слонов. Сначала скажем, как действовал он, потом вернемся к Редотту. Витт действовал до крайности просто. Его первая встреча со слоном произошла так: слон бросился на него, подняв хобот. Витт намотал хобот на руку, пригнул голову испуганного великана к земле и вырвал клыки; после такой операции зверь бросился бежать, а Витт, всадив клыки в землю, пошел дальше. То один, то два, то целое стадо слонов попадалось ему, и у всех их, то дергая за ноги, то опрокидывая кулаком, вырывал он клыки с хладнокровием и легкостью зубного врача. Он опрокидывал их, как кот мышей. Очень скоро у него скопилось тысяча двести пудов слоновой кости. «Это будет получше алмазов», — сказал он, когда свя-

зал плот из тысячелетних деревьев и погрузил на него добычу. Плот тихо стоял у берега, Витт сидел у костра, благоденствовал и курил. Теперь ему было легко добывать пищу. Стоило хлопнуть ладонью по стволу кокосового или мангового дерева, как все плоды, стряхиваясь, усыпали землю вокруг него. Если же ему случилось попасть камнем в стадо антилоп, то одна из них наверняка была разорвана на куски.

И от того, что он стал так невероятно силен и каждый день убивал зверей,— он стал очень жесток. Ему доставляло удовольствие разрывать рот львам, давить пальцами рысей и пантер, связывать хвостами всех вместе — носорогов, красивых жирафов, слонов, крокодилов и буйволов — и смотреть, как обезумевшее от ярости стадо грызло и топтало друг друга. Он громко хохотал, а затем, набрав пудовых камней, бросал их в пленников, пока жертвы не превращались в груды дымного мяса.

И вот, когда однажды он сидел у костра, поглядывая на свой плот и замышляя, не прибавить ли еще груза,— маленькая коралловая змея, упав с дерева, вонзила ему зубы в колено и умерла, так как он раздавил ее. Затем он сам покрылся холодным потом, скорчился, почернел и умер. И гиены поужинали его трупом.

IV

Между тем Редотт, почувствовав такую силу, что мог бы мешать землю рукой, как мы ложкой мешаем крупу, долго размышлял, что бы теперь предпринять. Он хорошо понимал, что обнаружить силу свою опасно в полном размере, так как его будут бояться, будут ему завидовать, и он наживет себе врагов. Если враг стреляет в темноте ночью,— какая сила удержит кровь пробитого сердца?

— Что ж, надо работать все-таки,— сказал он себе.— Работать мне теперь будет легко. Вся тяжелая человеческая работа есть для меня сущие пустяки.

Он нанялся на прииск копать землю. Вначале ему было очень смешно притворно ковырять землю лопаткой, делая иногда вид, что устал; однако он скоро приноровился и, возбуждая, правда, великое удивление, начал выкапывать за день столько земли, сколько самый сильный негр мог выкопать только в три дня.

«Вот так силач!» — говорили о нем, но так как такая сила, хотя очень редко, все же существует, то ровно никто не подозревал, что Редотт может разбить каменный дом ударом кулака.

У него было много работы и много денег, так как ему платили в пять раз больше, чем другим. Случилось, что он подружился с одним бельгийцем и, малость подвыпив, открыл ему свою тайну.

Бельгиец захохотал.

— Никак я не думал, — сказал он насупившемуся Редотту, — что вы, такой дельный, честный человек, можете так нагло и глупо врать!

Редотт спокойно посмотрел на него, затем встал.

— Идите за мной! — сурово сказал он.

Они вышли из палатки и подошли к рельсам, сложенным на пути.

— Вот куча рельс, — сказал Редотт, — смотрите и судите.

Затем он взял рельсу и воткнул ее в землю аршина на три, так, что конец торчал вровень с его лицом. Бельгиец попятился, а Редотт, хлопнув ладонью по верхнему концу рельсы, заставил ее исчезнуть в землю.

— В таком случае, — сказал упавший от испуга бельгиец, вставая и вытирая о штаны руки, — надо завтра же завоевать Африку. Я буду вашим министром. Не будете же вы без толка и пользы держать вашу сверх-переверх-силищу?!

— Не знаю, — сказал Редотт. — Я посмотрю. Может, наступит день, когда мне понадобится вся моя сила. Лучше я поберегу ее.

И он взял с бельгийца клятву молчать.

— Клянусь Бельгией! — сказал уstraшенный рабочий.

— Хорошо, я вам верю, — ответил Редотт.

V

Была ночь, когда разбудил Редотта страшный, глухой гул. Он вскочил и побежал к копиям. Множество народа бежало уже туда, крича: «Обвал, сбвал!» И стало всем ясно, что на большой глубине под землей, где рыли землю, разыскивая алмазы, тысячи человек, случилось несчастье.

Разные назывались причины. Однако скоро стало известно, что взорвались ящики с динамитом. Взрыв был так силен, что обвалились и засыпались все верхние входы, проникнуть под землю было уже нельзя.

Увидев ряд фонарей, Редотт подошел к ним. Здесь собрались инженеры, горячо спорившие о том, как спасти тех, кто, погребенный обвалом, может быть, еще жив, но должен будет задохнуться от недостатка воздуха. Здесь же громко и тяжело плакали женщины, мужья которых работали под землей. Каждая из них успела уже броситься на колени перед инженером, умоляя спасти близких, но инженеры только разводили руками. И, высчитав приблизительно необходимое количество дней, чтобы открыть шахту, сказали, что потребуется десять дней; только через десять дней можно будет сойти вниз и извлечь мертвых и живых,— если живые не поумирают к тому времени от голода и удушья.

В том месте, где было отверстие шахты, склон горы оканчивался справа отвесной скалой, имевшей высоту не менее двухсот футов. На эту-то скалу обратил свое внимание Редотт, слушая вполуха, что говорят инженеры. Наконец раздумье его окончилось; он вытряхнул свою трубку и подошел к совещанию. Теперь он не скрывал свою силу, так как торопился. Проходя сквозь толпу, он просто разводил руками, как по воде, и от этих тихих его движений люди посыпались, как горох. Но все это было приписано суматохе и толкотне, поэтому никакого удивления еще не было. Ему только кричали:

— Чего вы толкаетесь!

— Мистер Витсон,— сказал Редотт старшему инженеру,— есть способ спасти всех или почти всех. Разрешите мне это сделать.

Инженеры умолкли. Штейгер, знакомый Редотта, сказал с досадой:

— Ступайте и проспите, Редотт. Нехорошо быть сегодня пьяным.

— Понюхайте! — Редотт взял штейгера за голову, притянул к себе идохнул ему прямо в нос.— Пахнет ли водкой?

— Не пахнет,— сказал тот,— но вы, значит, малость не в своем уме. Идите и не мешайте.

— Витсон,— сказал Редотт, поворачиваясь к инженеру,— слушайте, я говорю правду: я спасу всех. И сейчас.

— Объясните толком, чего вы хотите.

— Вот чего я хочу: чтобы вы и все, кто тут есть, приготовились увидеть небольшое гимнастическое упражнение. Дело, прямо скажу,— ответственное. Кроме того, прикажите публике отступить подальше от шахты, чтобы не произошло новых несчастий.

Все были растерянны, все говорили, перебивая друг друга, и Редотт видел, что ему никто не верит. Тогда подошел и встал рядом с ним бледный, как смерть, бельгиец. Смотря на Редотта, он трясся от ожидания и волнения.

— Он сделает,— сказал бельгиец,— он может, верьте ему,— клянусь Бельгией!

Не зная, что делать, и уступая мольбам рабочих, требовавших разрешения Редотту сделать свою попытку, Витсон приказал разойтись всем как можно дальше от шахты. Едва приказание было исполнено, как Редотт неторопливо подошел к скале, в которую упирался горный скат, и исчез. Во тьме было не видно, что он делает. Толпа, затаив дыхание, ожидала.

И вот произошло великое дело, памятное доселе в летописях алмазных копей Виверы. Редотт уперся в скалу правым плечом, скрестил руки, ногами уперся в камень и, собрав всю силу, двинул весь горный склон прочь. Под этим местом шли ходы шахт. Он сгреб гору своей скалой так же просто, как паровоз грудью сбрасывает с рельс снежный завал, открыв этим усилием сразу несколько вертикальных ходов. Так мальчик сбивает вершину муравейника, обнажая внутренние муравьиные галереи.

Рев сорванных горных пластов напомнил ужасный гул тропических бурь. Ему ответили крики замурованных обвалом людей. Торопливо выползали они на воздух, вынося обмерших и откопанных. Спасение остальных было уже делом часов, а не дней.

Труп Редотта нашли лежащим у опрокинутой и далеко отъехавшей скалы. От непосильного напряжения у него лопнула на руках и ногах кожа; лопнули жилы шеи и внутренностей. Среди других за его гробом шел бельгиец, говоря каждому, кто хотел слушать:

— Действительно, он свернул шею горё, клянусь Бельгией!

ПОБЕДИТЕЛЬ

Скульптор, не мни покорной
И вязкой глины ком...

Т. Готье

I

— Наконец-то фортуна пересекает нашу дорогу,— сказал Геннисон, закрывая дверь и вешая промокшее от дождя пальто.— Ну, Джен,— отвратительная погода, но в сердце моем погода хорошая. Я опоздал немного потому, что встретил профессора Стерса. Он сообщил потрясающие новости.

Говоря, Геннисон ходил по комнате, рассеянно взгляды-вая на накрытый стол и потирая озябшие руки характерным голодным жестом человека, которому не везет и который привык предпочитать надежды обеду; он торопился сообщить, что сказал Стерс.

Джен, молодая женщина с требовательным, нервным выражением сурово горящих глаз, нехотя улыбнулась.

— Ох, я боюсь всего потрясающего,— сказала она, приступая было к еде, но, видя, что муж взволнован, встала и подошла к нему, положив на его плечо руку.— Не сердись. Я только хочу сказать, что когда ты получишь «потрясающие» новости, у нас, на другой день, обыкновенно, не бывает денег.

— На этот раз, кажется, будут,— возразил Гелни-сон.— Дело идет как раз о посещении мастерской Стерсом и еще тремя лицами, составляющими в жюри конкурса большинство голосов. Ну-с, кажется, даже наверное, что премию дадут мне. Само собой, секреты этого дела — вещь относительная; мою манеру так же легко узнать, как Пунка, Стаорти, Бельграва и других, поэтому Стерс сказал: — «Мой милый, это ведь ваша фигура «Женщины, возводящей ребенка вверх по крутой тропе, с книгой в руках»? — Конечно, я отрицал, а он докончил, ничего не выпытав от меня: — «Итак, говоря условно, что ваша,— эта статуя имеет все шансы. Нам,— заметь, он сказал «нам»,— значит, был о том разговор,— нам она более других по душе. Держите в секрете. Я сообщаю вам это потому, что люблю вас и возлагаю на вас большие надежды. Поправляйте свои дела».

— Разумеется, тебя нетрудно узнать,— сказала Джен,— но, ах, как трудно, изнемогая, верить, что в конце пути будет наконец отдых. Что еще сказал Стерс?

— Что еще он сказал,— я забыл. Я помню только вот это и шел домой в полусознательном состоянии. Джен, я видел эти три тысячи среди небывалого радужного пейзажа. Да, это так и будет, конечно. Есть слух, что хороша также работа Пунка, но моя лучше. У Гизера больше рисунка, чем анатомии. Но отчего Стерс ничего не сказал о Ледане?

— Ледан уже представил свою работу?

— Верно — нет, иначе Стерс должен был говорить о нем. Ледан никогда особенно не торопится. Однако на днях он говорил мне, что опаздывать не имеет права, так как шесть его детей, мал мала меньше, тоже, вероятно, ждут премию. Что ты подумала?

— Я подумала,— задумавшись, произнесла Джен,— что, пока мы не знаем, как справился с задачей Ледан, рано нам говорить о торжестве.

— Милая Джен, Ледан талантливее меня, но есть две причины, почему он не получит премии. Первая: его не любят за крайнее самомнение. Во-вторых, стиль его не в фаворе у людей положительных. Я ведь все знаю. Одним словом, Стерс еще сказал, что моя «Женщина» — удачнейший символ науки, ведущей младенца — Человечество — к горной вершине Знания.

— Да... Так почему он не говорил о Ледане?

— Кто?

— Стерс.

— Не любит его: просто — не любит. С этим ничего не поделаешь. Так можно лишь объяснить.

Напряженный разговор этот был о конкурсе, объявленном архитектурной комиссией, строящей университет в Лиссе. Главный портал здания было решено украсить бронзовой статуей, и за лучшую представленную работу город обещал три тысячи фунтов.

Геннисон съел обед, продолжая толковать с Джен о том, что они сделают, получив деньги. За шесть месяцев работы Геннисона для конкурса эти разговоры еще никогда не были так реальны и ярки, как теперь. В течение десяти минут Джен побывала в лучших магазинах, накупила массу вещей, переехала из комнаты в квартиру, а Геннисон между супом и котлетой съездил в Европу, отдохнул от унижений и нищеты и задумал новые работы, после которых придут слава и обеспеченность.

Когда возбуждение улеглось и разговор принял не столь блестящий характер, скульптор утомленно огляделся. Это была все та же тесная комната, с грошовой мебелью, с тенью нищеты по углам. Надо было ждать, ждать...

Против воли Геннисона беспокоила мысль, в которой он не мог признаться даже себе. Он взглянул на часы — было почти семь — и встал.

— Джен, я схожу. Ты понимаешь — это не беспокойство, не зависть — нет; я совершенно уверен в благополучном исходе дела, но... но я посмотрю все-таки, нет ли там модели Ледана. Меня интересует это бескорыстно. Всегда хорошо знать все, особенно в важных случаях.

Джен подняла пристальный взгляд. Та же мысль тревожила и ее, но так же, как Геннисон, она ее скрывала и выдавала, поспешно сказав:

— Конечно, мой друг. Странно было бы, если бы ты не интересовался искусством. Скоро вернешься?

— Очень скоро, — сказал Геннисон, надевая пальто и беря шляпу. — Итак, недели две, не больше, осталось нам ждать. Да.

— Да, так, — ответила Джен не очень уверенно, хотя с веселой улыбкой, и, поправив мужу выбившиеся из-под шляпы волосы, прибавила: — Иди же. Я сяду шить.

Студия, отведенная делам конкурса, находилась в здании Школы Живописи и Ваяния, и в этот час вечера там не было уже никого, кроме сторожа Нурса, давно и хорошо знавшего Геннисона. Войдя, Геннисон сказал:

— Нурс, откройте, пожалуйста, северную угловую, я хочу еще раз взглянуть на свою работу и, может быть, подправить кой-что. Ну, как — много ли доставлено сегодня моделей?

— Всего, кажется, четырнадцать. — Нурс стал глядеть на пол. — Понимаете, какая история. Всего час назад получено распоряжение не пускать никого, так как завтра соберется жюри и, вы понимаете, желают, чтобы все было в порядке.

— Конечно, конечно, — подхватил Геннисон, — но, право, у меня душа не на месте и беспокоит меня, пока не посмотрю еще раз на свое. Вы меня поймите по-человечески. Я никому не скажу, вы тоже не скажете ни одной душе, таким образом это дело пройдет безвредно. И... вот она, — покажите-ка ей место в кассе «Гриль-Рума».

Он вытащил золотую монету — последнюю — все, что было у него, — и положил в нерешительную ладонь Нурса, сжав сторожу пальцы горячей рукой.

— Ну, да, — сказал Нурс, — я это очень все хорошо понимаю... Если, конечно... Что делать — идем.

Нурс привел Геннисона к темнице надежд, открыл дверь, электричество, сам стал на пороге, скептически окинув взглядом холодное, высокое помещение, где на возвышениях, покрытых зеленым сукном, виднелись неподвижные существа из воска и глины, полные той странной, преобразенной жизненности, которая отличает скульптуру. Два человека разное смотрели на это. Нурс видел кукол, в то время как боль и душевное смятение вновь ожили в Геннисоне. Он заметил свою модель в ряду чужих, отточенных напряжений и стал искать глазами Ледана.

Нурс вышел.

Геннисон прошел несколько шагов и остановился перед белой небольшой статуей, вышиной не более трех футов. Модель Ледана, которого он сразу узнал по чудесной легкости и простоте линий, высеченная из мрамора, стояла меж Пунком и жалким размышлением честного, трудолюбивого Пройса, давшего тупую Юнону с щитом и гербом

города. Ледан тоже не изумил выдумкой. Всего-навсего — задумчивая фигура молодой женщины в небрежно спадающем покрывале, слегка склоняясь, чертила на песке концом ветки геометрическую фигурку. Сдвинутые брови на правильном, по-женски сильном лице отражали холодную, непоколебимую уверенность, а нетерпеливо вытянутый носок стройной ноги, казалось, отбивает такт некоего мысленного расчета, какой она производит.

Геннисон отступил с чувством падения и восторга. — «А! — сказал он, имея, наконец, мужество стать только художником. — Да, это искусство. Ведь это все равно, что поймать луч. Как живет. Как дышит и размышляет».

Тогда — медленно, с сумрачным одушевлением раненого, взирающего на свою рану одновременно взглядом врача и больного, он подошел к той «Женщине с книгой», которую сотворил сам, вручив ей все надежды на избавление. Он увидел некоторую натянутость ее позы. Он всмотрелся в наивные недочеты, в плохо скрытое старание, которым хотел возместить отсутствие точного художественного видения. Она была относительно хороша, но существенно плоха рядом с Леданом. С мучением и тоской, в свете высшей справедливости, которой не изменял никогда, он признал бесспорное право Ледана делать из мрамора, не ожидая благосклонного кивка Стерса.

За несколько минут Геннисон прожил вторую жизнь, после чего вывод и решение могли принять только одну, свойственную ему, форму. Он взял каминные щипцы и тремя сильными ударами обратил свою модель в глину, — без слез, без дикого смеха, без истерики, — так толково и просто, как уничтожают неудавшееся письмо.

— Эти удары, — сказал он прибежавшему на шум Нурсу, — я нанес сам себе, так как сломал только собственное изделие. Вам придется немного здесь подмести.

— Как?! — закричал Нурс, — эту самую... и это — ваша... Ну, а я вам скажу, что она-то мне всех больше понравилась. Что же вы теперь будете делать?

— Что? — повторил Геннисон. — То же, но только лучше, — чтобы оправдать ваше лестное мнение обо мне. Без щипцов на это надежда была плоха. Во всяком случае, неслепый, бородатый, обремененный младенцами и талантом Ледан может быть спокоен, так как жюри не остается другого выбора.

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ФУТОВ

I

— Итак, она вам отказала обоим? — спросил на прощанье хозяин степной гостиницы. — Что вы сказали?

Род молча приподнял шляпу и зашагал; так же поступил Кист. Рудокопы досадовали на себя за то, что разболтались вчера вечером под властью винных паров. Теперь хозяин пытался подтрунить над ними; по крайней мере, этот его последний вопрос почти не скрывал усмешки.

Когда гостиница исчезла за поворотом, Род, неловко усмехаясь, сказал:

— Это ты захотел водки. Не будь водки, у Кэт не горели бы щеки от стыда за наш разговор, даром что девушка за две тысячи миль от нас. Какое дело этой акуле...

— Но что же особенного узнал трактирщик? — хмуро возразил Кист. — Ну... любил ты... любил я... любили одну. Ей — все равно... Вообще, был ведь разговор этот о женщинах.

— Ты не понимаешь, — сказал Род. — Мы сделали хорошо по отношению к ней: произнесли ее имя в... за стойкой. Ну, и довольно об этом.

Несмотря на то, что девушка крепко сидела у каждого в сердце, они остались товарищами. Неизвестно, что было бы в случае предпочтения. Сердечное несчастье даже сблизило их; оба они, мысленно, смотрели на Кэт в телескоп, а

никто так не сроден друг другу, как астрономы. Поэтому их отношения не нарушались.

Как сказал Кист, «Кэт было все равно». Но не совсем. Однако она молчала.

II

«Кто любит, тот идет до конца». Когда оба — Род и Кист — пришли прощаться, она подумала, что вернуться и снова повторить объяснение должен самый сильный и стойкий в чувстве своем. Так, может быть, немного жестоко рассуждал восемнадцатилетний Соломон в юбке. Между тем оба нравились девушке. Она не понимала, как можно отойти от нее далее четырех миль без желания вернуться через двадцать четыре часа. Однако серьезный вид рудокопов, их плотно уложенные мешки и те слова, какие говорят только при настоящей разлуке, немного разозлили ее. Ей было душевно трудно, и она отомстила за это.

— Ступайте,— сказала Кэт.— Свет велик. Не все же будете вы вдвоем припадать к одному окошку.

Говоря так, думала она вначале, что скоро, очень скоро явится веселый, живой Кист. Затем прошел месяц, и внушительность этого срока перевела ее мысли к Роду, с которым она всегда чувствовала себя проще. Род был большеголов, очень силен и малоразговорчив, но смотрел на нее так добродушно, что она однажды сказала ему: «цып-цып»...

III

Прямой путь в Солнечные Карьеры лежал через смешные скалы — отрог цепи, пересекающий лес. Здесь были тропинки, значение и связь которых путники узнали в гостинице. Почти весь день они шли, придерживаясь верного направления, но к вечеру начали понемногу сбиваться. Самая крупная ошибка произошла у Плоского Камня — обломка скалы, некогда сброшенного землетрясением. От усталости память о поворотах изменила им, и они пошли вверх, когда надо было идти миль полторы влево, а затем начать восхождение.

На закате солнца, выбравшись из дремучих дебрей, рудокопы увидели, что путь им прегражден трещиной. Ши-

рина пропасти была значительна, но, в общем, казалась на подходящих для того местах доступной скачку коня.

Видя, что заблудились, Кист разделился с Родом: один пошел направо, другой — налево; Кист выбрался к непроходимым обрывам и возвратился; через полчаса вернулся и Род — его путь привел к разделению трещины на ложа потоков, падавших в бездну.

Путники сошлись и остановились в том месте, где вначале увидели трещину.

IV

Так близко, так доступно коротенькому мостку стоял перед ними противоположный край пропасти, что Кист с досадой топнул и почесал затылок. Край, отделенный трещиной, был сильно покат к отвесу и покрыт щебнем, однако, из всех мест, по которым они прошли, разыскивая обход, это место являло наименьшую ширину. Забросив бечевку с привязанным к ней камнем, Род смерил досадное расстояние: оно было почти четырнадцать футов. Он оглянулся: сухой, как щетка, кустарник полз по вечернему плоскогорью; солнце садилось.

Они могли бы вернуться, потеряв день или два, но далеко впереди, внизу, блестела тонкая петля Асценды, от закругления которой направо лежал золотоносный отрог Солнечных Гор. Одолеть трещину — значило сократить путь не меньше, как дней на пять. Между тем обычный путь с возвращением на старый свой след и путешествие по изгибу реки составляли большое римское «S», которое теперь предстояло им пересечь по прямой линии.

— Будь дерево, — сказал Род, — но нет этого дерева. Нечего перекинуть и не за что уцепиться на той стороне веревкой. Остается прыжок.

Кист осмотрелся, затем кивнул. Действительно, разбег был удобен: слегка покато он шел к трещине.

— Надо думать, что перед тобой натянута черное полотно, — сказал Род, — только и всего. Представь, что пропасти нет.

— Разумеется, — сказал Кист рассеянно. — Немного холодно... Точно купаться.

Род снял с плеч мешок и перебросил его; так же поступил и Кист. Теперь им не оставалось ничего другого, как следовать своему решению.

— Итак...— начал Род, но Кист, более нервный, менее способный нести ожидание, отстраняюще протянул руку:

— Сначала я, а потом ты,— сказал он.— Это совершенные пустяки. Чепуха! Смотри.

Действуя сгоряча, чтобы предупредить приступ простительной трусости, он отошел, разбежался и, удачно поддав ногой, перелетел к своему мешку, брякнувшись плашмя грудью. В зените этого отчаянного прыжка Род сделал внутреннее усилие, как бы помогая прыгнувшему всем своим существом.

Кист встал. Он был немного бледен.

— Готово,— сказал Кист.— Жду тебя с первой почтой.

Род медленно отошел на возвышение, рассеянно потер руки и, нагнув голову, помчался к обрыву. Его тяжелое тело, казалось, рванется с силой птицы. Когда он разбежался, а затем поддал, отделившись на воздух, Кист, нежданно для себя, представил его срывающимся в бездонную глубину. Это была подлая мысль — одна из тех, над которыми человек не властен. Возможно, что она передалась прыгавшему. Род, оставляя землю, неосторожно взглянул на Киста,— и это сбило его.

Он упал грудью на край, тотчас подняв руку и уцепившись за руку Киста. Вся пустота низа ухнула в нем, но Кист держал крепко, успев схватить падающего на последнем волоске времени. Еще немного — рука Рода скрылась бы в пустоте. Кист лег, скользя на осыпающихся мелких камнях по пыльному закруглению. Его рука вытянулась и помертвела от тяжести тела Рода, но, царапая ногами и свободной рукой землю, он с бешенством жертвы, с тяжелым вдохновением риска удерживал сдавленную руку Рода.

Род хорошо видел и понимал, что Кист ползет вниз.

— Отпусти!— сказал Род так страшно и холодно, что Кист с отчаянием крикнул о помощи, сам не зная кому.— Ты свалишься, говорю тебе!— продолжал Род.— Отпусти меня и не забывай, что именно на тебя посмотрела она особенно.

Так выдал он горькое, тайное свое убеждение. Кист не ответил. Он молча искупал свою мысль — мысль о прыжке Рода вниз. Тогда Род вынул свободной рукой из кармана складной нож, открыл его зубами и вонзил в руку Киста.

Рука разжалась...

Кист взглянул вниз, затем, еле удержавшись от падения сам, отполз и перетянул руку платком. Некоторое время он сидел тихо, держась за сердце, в котором стоял гром, наконец, лег и начал тихо трястись всем телом, прижимая руку к лицу.

Зимой следующего года во двор фермы Карроля вошел прилично одетый человек и не успел оглянуться, как, хлопнув внутри дома несколькими дверьми, к нему, распугав кур, стремительно выбежала молодая девушка с независимым видом, но с вытянутым и напряженным лицом.

— А где Род?— поспешно спросила она, едва подала руку.— Или вы одни, Кист?!

«Если ты сделала выбор, то не ошиблась»,— подумал вошедший.

— Род...— повторила Кэт.— Ведь вы были всегда вместе...

Кист кашлянул, посмотрел в сторону и рассказал все.

ШЕСТЬ СПИЧЕК

I

Вечерело; шторм снизил давление, но волны еще не вернули тот свой живописный вид, какой настраивает нас покровительственно в отношении к морской стихии, когда, лежа на берегу, смотрим в их зеленую глубину.

Меж этими страшными и крутыми массами черного цвета стеклянно блестел выем, в тот же миг, как вы заметили его, взлетающий выпукло и черно на высоту трехэтажного дома.

В толчее масс кружилась шляпка, которой управляло двое.

На веслах сидел человек без шапки, с диким, заостренным лицом, босой и в лохмотьях. Его красные глаза слезились от ветра, шея и лицо, почерневшие от испытаний, поросли грязной шерстью. Голова с отросшими, как у женщины, волосами была перетянута платком, черным у виска от засохшей крови. Он греб, откидываясь назад всем телом и каждый раз закрывая глаза. Подаваясь вперед занести весла, он снова открывал их. Следя за направлением его неподвижного взгляда, можно было догадаться, что этот человек смотрит на бортовой ящик.

Второй человек сидел у руля, управляя движением шляпки с всепоглощающей заботой не дать бешеному движению воды выбить из рук румпель, трясшийся беспрерывно, как тряслись от крайнего напряжения руки рулевого. Этот человек был одет или, вернее, раздет в той же степени, как и первый, с той разницей, что на нем, кроме

беля, разорванного, хлопающего на руках и спине, были просмоленные брюки, застегнутые скрюченными кусками проволоки. Отросшие черные волосы хлестали по глазам, взгляд которых был более разумен, чем взгляд его товарища по несчастью. Лицо опухло, сквозь сильный загар светилося истощение. Усы и борода вокруг искусанных запекшихся губ сбились мохнатым кольцом. Он был мускулист, тяжел, двигался медленно и основательно даже теперь, когда первый дергался при каждом толчке волны и производил впечатление потерявшегося.

Дно шлюпки было залито водой, где плавали, стучаясь о борта, консервные жестянки, обломки скамеек, служивших некогда факелом; там же мокли, болтаясь при перевалах через гребни, тряпки, куски кожи, обрывки бумаги. Сами того не замечая, оба пловца мелко, непрерывно дрожали, сугуясь от холодного ветра.

Наконец один из пловцов проговорил медленно и упорно:

— Метлаэн!

— Понатужься, Босс, молодчина, хорошая старая собака!— крикнул рулевой.— Слышишь, что я говорю? Ветер упал.

Босс поднял голову, двинул весла, как бы нехотя, и стал смотреть на бортовой ящик.

Некоторое время они молчали. Небо слегка очистилось впереди и темнело, пена перестала летать, срываясь, через головы пловцов, и разбег валов принял более равномерный темп. Не выпуская руля, привязанного к талии толстым концом, Метлаэн потянулся левой рукой и достал из бортового ящика карманные золотые часы, которые не забывал заводить при всяких условиях сорокадвухдневного скитания по волнам. Приблизив часы к глазам, Метлаэн увидел, что время — без двадцати минут шесть.

Некоторое время он держал часы в руках, как бы не решаясь выпустить это осязательное доказательство стойкой существующей за горизонтом спокойной и безопасной жизни. Затем вложил часы в ящик. Подымая голову, Метлаэн заметил взгляд Босса, легший на его руку тяжело, как упрек.

Тем временем валы снизились, и неожиданно удары воды сменились отлогими перевалами. Стоял шум тысячи водяных мельниц.

Босс сказал:

— На западе ничего нет. Зачем плыть на запад?

— Куда мы не бросались?!— возразил Метлаэн.— Надо плыть в каком-нибудь одном направлении. И разрази меня бог, если я знаю, где мы находимся!

Его тревога была так сильна, что он различил острое посвистывающее дыхание Босса. Оно звучало, как стон. Подняв голову, Босс дико и неуверенно произнес:

— Я хочу закурить.

II

Метлаэну нужно было некоторое время, чтобы, услышав это, такое простое заявление, примириться с неизбежным, понять, что оно наступило. Он дернулся на своем месте и с отчаянием посмотрел во тьму. Страх выбил из его души все мысли и чувства, кроме нелепого гнева на Босса. Он сам держался если не из последних, то из таких сил страдания, которые, останься он один, могли мгновенно изменить ему, бросив его и шляпку на произвол случая. Смерть одного подчеркивала близкий конец другого.

— Эй, Босс,— сказал, удерживая ругательства, Метлаэн,— если ты собрался околевать, то лучше это тебе сделать во сне. Вались и спи.

Босс не обратил внимания на его слова. Поддерживая голову рукой, он устойчивее расставил ноги и проговорил, разделяя слова хрипом останавливающегося дыхания:

— Я это знал, когда мы еще садились в шляпку. У меня екнуло так, будто махнули перед глазами пальцем. Дома не быть — я знаю это. Ни есть, ни пить, Метлаэн, этого больше нет,— только курить. Ты не можешь сказать, что я был плохим товарищем. Я ослаб и умер — только всего. Ну же, давай ее!

Он говорил о половине сигары, спрятанной на самом дне бортового ящика вместе с шестью спичками. Спички и окурки были обмотаны куском просмоленного брезента, а брезент завернут в рукав старой куртки. Согласно уговору, выкурить этот окурки мог только умирающий. Дней десять назад, перекладывая содержимое ящика, Метлаэн нашел этот замусоленный и распухший кусок сигары на дне коробки из-под овощей. Сигара принадлежала Бутлеру, последняя сигара на трех людей, сходящих с ума при

мысли о табаке. Ее курили несколько раз по очереди. Бутлер сказал, что уронил окурочок в воду, между тем как, продержав его в рукаве, спрятал ночью в жестянку. Когда Метлаэн нашел окурочок, Бутлер был в беспамятстве и умер, не приходя в сознание.

— Скорее, Метлаэн,— сказал Босс,— у меня голова кружится, мне худо.

Чувствуя томление, во время которого его тело иногда как бы исчезало, он стал беспокойно двигаться. На перевале через волну, когда рухнувшая вниз шляпка сильно встряхнулась, Босс соскользнул на колени, затем привалился правым плечом и щекой к борту, сидя на подогнутых под себя ногах.

В положении Метлаэна не было никаких средств оживить умирающего. Страх остаться одному перешел в дикую нервную тоску и тщательное внимание, с каким следовало исполнить теперь последнее желание Босса. Но он сказал все-таки:

— Вгрызись зубами в судьбу, Босс, вставай!

— Долго ты будешь рассуждать?— с ненавистью прохрипел Босс.

Метлаэн привязал руль так, чтобы он не изменил положения, то есть обмотал конец румпеля веревкой с двумя концами, прикрепив к бортам: левому — один конец, правому — другой. Устроив это, он с сомнением посмотрел на шляпку, которая, лишенная живой силы, правившей ею до сего момента, стала повертываться, но решил, что возня с окурком — дело одной минуты, в течение которой мало риска перевернуться. Тогда он открыл бортовой ящик и развязал сверток, держа его на коленях, чтобы не уронить за борт.

Было темно, но он чувствовал, что Босс живет теперь глазами в каждом его движении. Нашупав окурочок, Метлаэн не удержался от искушения сжать в зубах его конец, отдававший в слюну крепким и горьким вкусом, потом, вдохнув еще раз табачный запах, передал окурочок Боссу. Руки их встретились, разыскивая одна другую, и Метлаэн удивился про себя, как цепко, с силой схватил Босс свое последнее утешение.

— О-го-го! — жадно сказал Босс. — Огня!

— Дай сигару назад. — Метлаэн протянул руку.

Наступило молчание. Затем Босс протянул руку, и Метлаэн ощутил на своем колене холодную, костлявую тя-

жесть. Это была рука Босса, которой пытался он иронически похлопать товарища.

— Если ты раздумал...— тихо произнес Босс,— и если ты...

У него не было силы договорить, его мотало, то привлекая к борту, то неудержимо клоня в сторону, и он схватывался тогда за край борта. Метлаэн знал, что он думает. Стараясь быть кратким, чтобы выиграть время у волн и смерти, Метлаэн нагнулся к уху Босса, с силой вбивая слова в голову полуонемевшего человека.

— У нас шесть спичек, которые ты испортишь и не закуришь. Закурить могу только я. Это надо сделать скорей, потому что шлюпку сбивает и может залить. Неужели ты думаешь, что я буду лукавить в эту минуту?

Мгновение Босс колебался, затем, прямо устремив взгляд и так же прямо, резко протянув сжатую руку, дал Метлаэну высвободить из распухших пальцев спорную вещь. Тогда, держа во рту окурок, Метлаэн пристроился к ящику, откуда предусмотрительно еще не вынимал спичек, чтобы не отсырели. Коробка с шестью спичками лежала завернутая отдельно в длинную полоску газетной бумаги, облепленную сверху варом, который Метлаэн наколупал в пазах шлюпки. Содрав вар и осторожно вывалив в руку спички, Метлаэн немедленно приступил к операции закуривания.

Это дело приходилось выполнять в гимнастических условиях качки и неожиданных толчков, делавших задачу не менее трудной, чем писание при езде в тряском экипаже.

Опустив над ящиком лицо, Метлаэн взял в одну руку коробку и, достав спичку, решительно провел ею по зажигательному месту. Хотя ветер и улегся, но колебания воздуха было довольно для маленького огня, чтобы погасить его. Огонь вспыхнул, потрепетал и угас, прежде чем Метлаэн поднес его к очищенному от пепла концу сигары.

Со второй спичкой дело произошло еще хуже: она обсыпалась, не загоревшись.

Метлаэн выпрямился и передохнул. Он подумал, что, держа сигару в губах, едва ли зажжет ее как из боязни опалить бороду, что мешало действовать увереннее, так и потому, что силой мыканья шлюпки среди перехватов волн ему приходилось бороться с собственными усилиями головы и руки, стремясь привести их к согласию. Он скрутил

бумажную полоску шнуром и, чиркнув третьей спичкой, соединил бумагу с огнем. Бумага, не опалившись достаточно, погасла, едва он сделал ею движение к сигаре, но продолжала тлеть, и Метлаэн некоторое время пытался прососать в сигару часть красной, уменьшающейся искры. Когда это не удалось, на него напал страх, неуверенность в успехе, тем более что спичек осталось всего три. Это был страх, сродный страху ребенка, несущего полный кувшин молока и вдруг возомнившего, что оно расплещется: ребенок оставался и заплакал.

Метлаэн не заплакал, но, с пересохшим от волнения горлом, поднес к коробке четвертую, чиркнув ею так осторожно, словно боясь произвести взрыв. Светлая черта указала меру его усилия, и, ощупав головку спички, Метлаэн нашел, что она хотя не загорелась, но должна загореться, не осыпавшись, как вторая. Он нервно провел ею, раздался легкий треск, огонь вспыхнул и удержался при значительном колебании воздуха. Древесина спички занялась пламенем до половины. Медленно поднимая ее, Метлаэн выждал относительно спокойный момент, поднес огонь к сигаре и, потеряв равновесие, стукнулся подбородком о край ящика. Пламя в дернувшейся схватиться руке задело борт и погасло.

— Четвертая,— сказал Босс ревнивым, сдержанным голосом.

Все самолюбие и самообладание Метлаэна восстали при этом слове безропотно ожидающего человека, как свеча в твердой, поднятой высоко руке. Почти небрежно испортил он пятую спичку, стараясь быть беспечным, как в гамаке, и испортил потому, что долго водил слепым концом по коробке, в то время как серный конец отпотел в просыревших пальцах. Так же небрежно, с презрением, с вызовом к собственным, делающимся мучительными движениям зажег он шестую, осветив ею на мгновение внутренность ящика, и она погасла так же безразлично к судьбе Босса, как и прочие спички. Когда это произошло, Метлаэн стал ощупывать дрожащими пальцами дно коробки, ища,— по обязанности искать, бессмысленно ожидая, что скажет Босс. Он деловито потянул воздух сквозь сигару и даже звучно пососал ее, не зная, что теперь будет.

— Все?— спокойно спросил Босс.

— Да... но, кажется, есть еще,— сказал Метлаэн. Горло его сжалось, и он глубоко вздохнул, захлебнувшись едкой

струей дыма, поползшего в носоглотку из бессознательно раскуренного окурка. Сигара загорелась. Ничтожная искра, попавшая с тлеющей бумаги на табак и не замеченная впопыхах, дала постепенно огонь.

Светлое и соленое ударило в голову Метлаэна. Он судорожно протянул окуроч поднявшему руку Боссу и торопливо сказал:

— Держи, держи крепко, не урони. Я зажег ее.

У него не было больше времени ни рассуждать, ни следить, что делает Босс: шлюпка легла краем борта к самой воде. Метлаэн рванул за веревку слева, круто повернул руль так, чтобы нос шлюпки следовал в направлении волны и, сев, как сидел раньше, стал смотреть на медленно разгорающийся золотой кружок, озаряющий тусклое и синее лицо с повязкой на лбу.

III

Босс глубоко втянул дым, закашлялся, изогнулся всем телом, и слезы удовольствия выступили на его воспаленных глазах. — «Да, это — утешение», — пробормотал он, дымя все гуще ртом и ноздрями, как будто хотел накуриться до отвращения. Отвыкнув курить, он боролся с головокружением, вызванным никотином, но его мысли вздохнули. Он ловил их, они растекались и уходили с дымом, с жизнью, куда-то вниз, под лодку.

— Ужасно, — проговорил он, — умирать так... Готово!

Это относилось к окурку, выскользнувшему из его пальцев. Огонь зашипел в воде. Босс сидел, низко склонясь, потом перевалился к скамье и лег на нее головой, с подложенными под нее руками. Он был бесчувствен к качке, к холодной воде, в которой сидел. Ему казалось, что он громко говорит Метлаэну, что написать семье, если тот спасется; на самом же деле он молчал и не двигался.

— Босс! — крикнул Метлаэн. Умирающий вернулся к миру реальных звуков и проговорил, заканчивая мысленную речь вслух:

— Так ты запомнишь?

Больше он не сказал ничего. Метлаэн сидел, ворочая руль, прислушиваясь и соображая, умер ли уже Босс. Босс был жив, и Метлаэн знал это.

— Нас еще двое,— сказал он, всматриваясь в лежащего и ощущая его жизнь как бы в себе. Босс был совершенно неподвижен, если не считать легких движений тела, вызываемых размахом волнения. Его поверженная фигура виднелась смутной, покорной кучей.

— Босс,— тихо сказал Метлаэн. Ответа не было и не могло быть, но еще не было и смерти, и Метлаэн снова подумал, без слов: «Нас двое». Следя за шляпкой и Боссом, он неоднократно возвращался к этому ощущению быть вдвоем, но иногда оно исчезало, и он нетерпеливо повертывался на своем месте, как будто движение это помогло бы явственнее услышать счет: «Два».

Вдруг — и это произошло, как неожиданное воспоминание, открывшееся внезапно,— по телу Метлаэна, его мыслям и по тому месту каната, которое он держал рукой, прошла некая з н а ч и т е л ь н о с т ь, непохожая ни на что из ощущаемых чувствами или воображением вещей, но вполне явственная. Что-то произошло. С неясным и жутким побуждением Метлаэн громко сказал:

— Босс! Очнись!

В то же время ощущение д в о и х исчезло. «Нас двое»,— с силой подумал Метлаэн, ожидая живого указания внутри, но слова «нас двое» отскочили от некоего глухого препятствия и тупо возвратились назад.

Тогда Метлаэн узнал, что он о д и н в лодке с коченеющими надеждами плывет долгой, неверной ночью искать спасения.

Наутро он был замечен бригам «Сатурн» и принят на борт.



«ВОЗВРАЩЕНИЕ»



«АКВАРЕЛЬ»

I

Ворота закрылись.

Новичок, переходивший двор, бережно охранялся. Его окружал взвод солдат; привратник не выпускал револьвера из руки все время, пока опасный преступник находился в поле его зрения.

Шамполион презрительно улыбнулся. Провинциальная тюрьма с ее старомодными ключами, живописной плесенью стен и окнами, напоминавшими бойницы, смешила человека, ускользавшего из гигантских международных ловушек Парижа, Лондона и Нью-Йорка,— образцовых тюрем, равных чистотой госпиталю и безвыходностью — могиле. Он попался случайно, не сомневаясь, что убежит при первом удобном случае.

Справа от ворот, примыкая к наружной стене тюрьмы, стоял дом смотрителя; часть его окон, заделанных, подобно тюремным, решетками, выходила на двор. Смотритель, взволнованный гораздо более Шамполиона ответственным и немаловажным событием, сидел за письменным столом мрачной конторы острога, готовясь с достоинством встретить легендарного гостя, а у окна квартиры стояла Рене, дочь смотрителя. Она видела, как Шамполион быстро повернул голову, скользнув взглядом по закоулкам двора,— привычка хищника, везде ожидающего засады или лазейки. Не долее как на секунду взгляд Рене встретился с взглядом Шамполиона. Он заметил молодые глаза и неясное за тенью плуща лицо.

Но ей он был виден весь. Его лицо, чувственное и тонкое, с высокомерными холодными глазами, неподвижно блестящими под высокой чертой бровей, дышало жизнью огромного, неуследимого напряжения, подобно обманной неподвижности электрического вала динамо, вихренное вращение которого немислимо поймать зрением. Шамполион скрылся под аркой, но Рене долго еще казалось, что его глаза блестят в пространстве, где встретились их взгляды.

В этот день отец с дочерью обедали позднее обыкновенного. Старик Масперо захлопотался внутри тюрьмы, осматривая предназначенную преступнику камеру, пробуя ключи и замки, выстукивая решетки и отдавая множество приказаний, изолирующих Шамполиона от застенного мира. Венцом принятых мер было распоряжение сопровождать арестованного конвоем из четырех человек при всяком оставлении камеры. Впрочем, Масперо надеялся ускорить перевод Шамполиона в центральную тюрьму, сбыв таким образом с плеч тяжесть ответственности. Встревоженный, несмотря на все предохранительные мероприятия, событием столь исключительным, Масперо вошел наконец один к узнику с полуофициальной улыбкой, заискивая у того, кто благодаря фактам и репутации был хозяином помещения.

— С вами будут хорошо обращаться,— пробормотал он,— но и вы должны обещать мне не бежать отсюда. Бегите из другой тюрьмы,— откуда хотите. Уважьте старика! Меня могут прогнать. Я и дочь останемся без куска хлеба.

— Хорошо,— сказал Шамполион и расхохотался.

Он небрежно развалился на койке, упираясь в нее локтем, в его позе было уже нечто свободное, разрушающее тюрьму. Масперо вышел со стесненным сердцем.

За обедом старик рассказал дочери подробности ареста Шамполиона. Облава завела преступника на ярмарочную площадь, где в это время известный канатоходец Данио собиравался перейти по канату реку, неся за плечами любого желающего. Шамполион, замешавшись в толпу, окружавшую акробата, выразил согласие быть пассажиром Данио так быстро и решительно, что сыщики, только расспросив присутствующих, догадались, кто это такой, недостижимый для них, движется по канату за плечами канатоходца, почти достигнув противоположного берега. Ширин

на реки отнимала надежду опередить смельчака, взяв лодку, и Шамполион скрылся бы, не приключись с Данио непредвиденного несчастья: пряжка ремней, державших Шамполиона, погнулась, скользнув вниз, и пассажир нарушил общее равновесие. Оба упали в воду. Искусный пловец, Данио спас себя и Шамполиона, но последний, оглушенный падением, потерял сознание. Его взяли.

Рене мало ела, внимательно слушала, и глаза ее блестели, как у детей в театре. Она сказала:

— Удивительно, что такой человек — преступник.

— И прибавь — безжалостный, — заметил отец.

«Таких может изменить только любовь», — подумала девушка. Шамполион поразил ее воображение; его жизнь, способности и присутствие не далее сорока футов от обеденного стола казались ей чудом яркой могущественности среди мелкой вынужденной планомерности повседневной жизни. Он давил тюрьму, сознание и занимал мысль. Рене читала о нем в газетах судебные и хроникерские заметки, — настоящие таинственные романы: наружность Шамполиона вполне отвечала ее представлению о нем.

Остаток дня и вечер прошли всецело под впечатлением этого имени. Приезжали прокуроры, судьи, адвокаты, командир гарнизона и просто любопытные официального мира. Масперо водил их смотреть арестанта сквозь секретное отверстие двери. Множество рассказов выслушала Рене. Шамполион был сыном высокопоставленного лица и цирковой наездницы. Он получил блестящее образование, говорил на всех европейских языках, был заядлым спортсменом. Все его предприятия были осуществляемы, психологически и технически, с точностью математических формул. Он был изобретателен и бесстрашен. За ним числилось множество похищений, шантажей, потрясенных банков, три изумленных миллиардера (говорим: «изумленных», так как охранение собственности американских владык идеально) и шесть убийств, совершенных в силу преступной необходимости, чего не отрицали и власти. Он не жалел денег. Сподвижники и женщины боготворили его.

Камера, отведенная ему, была в нижнем этаже, против ворот. Ее окна приходились в уровень с плитами двора. Встав ночью, Рене видела, как тускло освещенное изнутри

окно это маячит ритмически ударяющей по решетке тенью — Шамполион ходил там, думая о своем. Под утро Рене видела сон, полный страхов, тоски, слез и изнеможения.

II

Рене родилась и выросла в тюрьме. Роды убили мать; девочка росла у отца. Ее домашнее образование было делом двух арестантов, из которых один, бывший учитель, провел в тюрьме четыре года; второй, осужденный на более короткий срок, давал Рене уроки на пятнадцатом и шестнадцатом году ее жизни. Это был поэт, погубивший свою будущность убийством любовника жены. Он великолепно знал историю, его воображение, соответственно своему несчастью, любовно рылось в тюремных исторических эпизодах: Лагюд, Железная Маска, Бенвенуто Челлини и другие были постоянным предметом его бесед. Рене от рождения слышала звон цепей, скрип тюремных запоров; видела унылые, безнадежные взгляды конвоиров и узников. Постоянные разговоры отца и его гостей о жизни тюрьмы, суде, бегствах и наказаниях, в связи с упорной мечтательностью, приучили ее представлять жизнь общим жестоким пленом, разрушить который дано только героям. Характер ее был замкнутый и печальный. Привычка к чтению, к красивой идеализованности изображаемой жизни создавала в ее душе вечный разлад с действительностью, мелочно хаотичной и скудной. Ее мечтой было яркое возрождение, взрыв чувств и событий, восстание во имя несознанного блаженства.

Шамполион властно занял пустое место ее сознания, место, где должен был гудеть колокол чувств, направленных к означенной цели. Она мало думала об его убийствах. Это были слишком заурядные факты во всем ансамбле необыкновенной биографии. Его преступный авантюризм слишком поражал внимание для того, чтобы укладываться в какие-либо позорящие определения. Однако Рене была умна и чиста душой. Она не думала, чтобы вполне сложившийся темперамент, наклонности и образ жизни могли отбросить себя. Но она верила, что все это, сохранив свою форму, может стать сущностью облагороженной. Она представляла гениальные способности Шамполиона действующ-

щими в том же духе авантюризма, видимо, органически свойственного ему, но, так сказать, действующего по другому поводу. Она видела его Рокамболом, освобождающим похищенных детей, восстанавливающим завещания, отыскивающим клады, отнимающим награбленное, наконец, убивающим чудовищ в человеческом образе,— словом, преступающим закон там, где последний бессилен, извращен или подкуплен. В таком роде деятельности сохранились все прежние приемы и методы, вся прелесть риска и напряжения, все напряжение сил. Шамполион становился провидением, переданным в человеческие руки, со всеми страстями, ошибками и увлечениями человека. Это было бы, так сказать, провидение, разменявшее свой мистический аппарат на кинжал и отмычки.

Рене в это время исполнилось двадцать лет. Она была умеренно высока, того прекрасного телосложения, которое спокойно восхищает. Богатые пышностью и длиной, темные волосы ее были заплетены в одну косу, окружающую голову почти трижды. Белый, нежных и мягких очертаний высокий лоб отвечал общему серьезному выражению лица с ясными глазами, смотрящими свободно, но грустно. Страстная суровая складка рта бесподобно преображалась улыбкой, заразительно открытой и чистой.

Хотя Масперо с первого же дня усердно хлопотал о переводе Шамполиона в центральный острог, однако из-за некоторых формальностей арестант пробыл в С.-Ж. пять суток.

III

Немыслимо провести границу там, где кончаются предчувствия и начинается подлинная любовь. Лучший пример этому — засыпание. Засыпающий еще здесь, на кровати, он сознает это, ощущая свое тело, постель, дыхание, но мысли его уже фантастически искажены, а тьма закрытых глаз полна произвольно возникающих сцен. Все спутано, отвлечено; сон и предсонная явь слиты в рассеянности сознания, и вот где-то, неуловимо мгновенно, гаснет некий тончайший луч. Полный сон поглощает дух; в новом мире причудливой жизнью фантазмагорий живет и действует человек.

На четвертый день Рене увидела Шамполиона гуляющим. Во всех концах двора стояли вооруженные часовые, наблюдая с угрюмым любопытством каждое движение узника. Из трусости его не заковали; он быстро ходил по диагонали двора, сосредоточенно куря папиросу. Рене стояла у окна, отдаваясь в сторону, в тени плюща. Она хорошо рассмотрела его. Он двигался с легкостью ножа, рассекающего воздух, стремительно поворачиваясь на концах диагонали, подобно движению вспархивающей птицы. Холодный магнетический взгляд его, падая на стены, окно, за которым была Рене, и на лица часовых, казалось, оставлял везде невидимый след.

Сердце Рене глухо и сильно билось. Она боялась встретить глаза Шамполиона, но в то же время хотела этого. Солнце, выскользнув из-за крыши, озарило двор и глубинную решетчатого окна. Тогда Шамполион увидел Рене. Ее прикованный прямой взгляд, слабая улыбка и нечто в выражении лица — некая счастливая растерянность — заставили его, вздрогнув от неожиданности, задержать шаг. Он был в трех шагах от окна, когда сказал, чувствуя, что не ошибется:

— Я вас, кажется, видел вчера; лучше, если бы этого не было... для меня.

Ровный, немигающий взгляд его усилил значение слов, произнесенных так, что их слышала только Рене. Она вспыхнула, но не отошла от окна. Тревога и грусть овладели ею. Шамполион между тем, проходя мимо часового, сказал ему что-то такое, отчего солдат зычно захохотал. Рене запомнила это. Заставить расхохотаться самого жестокого и угрюмого из часовых — чего-нибудь стоило.

По многим расчетам, Шамполион предпочитал бежать из этой тюрьмы, чем с дороги или же в большом городе. После восьми прежних побегов он вправе был ожидать при перевозке далее исключительно строгих мер, делающих побег длительной китайской головоломкой, требующей риска и сложной, организованной помощи. Поэтому, подходя снова к окну, в надежде удостовериться, точно ли есть успех с этой стороны, он сказал с тою же расчетливостью тона и силы голоса:

— Как зовут вас?

— Рене.

— Рене, мне дадут «веселую вдову»?

— Нет,— сказала она почти невольно, одними губами, и отошла.

Шамполион понял. Рене прошла в столовую, обдернула скатерть, закрыла лежавшую на диване книгу, затем, открыв дверь отцовского кабинета, задумчиво подтянула гирию настенных часов и села, пытаясь сосредоточиться. Мысль об отце, ранее заботливая и ясная, была теперь жестка и упорна, устремлена в одну точку, полезную замыслу, таившемуся в тьме чувств, каждое движение которых гудело, как колокол. Она знала, что не отступит. Монотонное течение ее жизни подошло к концу и падало.

Вечером, перед тем как идти спать, она сказала отцу:

— Не могу представить, что было бы, удайся Шамполиону бежать.

— Очень просто,— поморщился Масперо.— Мне каждую ночь снится это. Меня прогонят, а ты пойдешь работать приказчицей или прачкой.

Рене промолчала. Слова отца тронули, но не взволновали ее, подобно жалобе безнадежно больного, которому все равно определена смерть. Внутренняя связь между нею и прошлым исчезла. Она чувствовала себя чужой, в чужом доме, с чужим, жалким и мешающим человеком. Слепая к прошлому, оглушенная любовью, она была беспомощна и сильна. Новый мир, созданный ею, давил, все разрушая.

— Тебе все-таки нужно присматривать самому.

— Да; эти ключи,— он хлопнул рукой по крышке письменного стола,— я никому не даю, даже помощнику. Они для ночных обходов.

— Дубликаты?

— Дубликаты, Рене. Моя ведомость просит тебя уйти, а то я спутаю цифры.

Рене разделась и легла, прислушиваясь. Масперо же работал до половины второго. Она слышала, как он насыпывает, что означало конец работы; затем Масперо поднялся наверх, в свою спальню. Рене продолжала тихо лежать, выжидая, когда тишина окончательно ободрит ее. Но тишина не нарушалась ничем; с кухни и с верха не доносилось ни малейшего шороха. Она встала в тоскливом напряжении риска.

Так как в кабинете было темно, то Рене хотела зажечь свечку, но, подумав, не решилась на это. Ключ от письмен-

ного стола Масперо клал в коробку с почтовой бумагой; так было и на этот раз. Она взяла его с страхом убийцы, заносщего нож.

Этот маленький ключ, казалось, вобрал всю силу тюрьмы,— так резко и тяжело чувствовала его рука. С этого момента до конца Рене не покидало некоторое представление об ужасе, какой следовало бы испытывать; однако ее личная опасность рассеивала настоящий ужас, и только его тень следовала за нею, пока длилась драма.

План Рене был вполне обдуман, прост и по-женски мудр, так как не выходил за пределы сложившихся обстоятельств.

Правое крыло тюрьмы соединялось коридором с флигелем Масперо: его железная дверь открывалась из кухни. Отсюда Рене намеревалась пройти в тюрьму.

Со связкой ключей в руках, с головой, покрытой платком, готовая на все, ошупью нашла она перо и бумагу и ошупью вывела прощальную строчку: «Папа, прости! Рене» — стояло невидимое.

— Прости... — прошептала она и внезапно заплакала, но внезапно и удержала слезы.

Служанка спала в сенях. Пройдя кухню, Рене остановилась перед дверью, вынужденная зажечь свечу, — без этого нельзя было рассмотреть ключ и скважину.

Дверь открылась. Здесь всегда стоял часовой. Увидев дочь начальника, он поднялся с табурета. Рене, изредка посещая тюрьму, никогда не приходила ночью, и поэтому часовой удивился. Его настороженный взгляд собрал все силы Рене. Она сказала:

— Отец не совсем здоров; я пришла вместо него. 23-й номер утром с конвоем переводится в Д., я хочу осмотреть камеру и арестованного — не приготовил ли он чего для побега.

— Едва ли; стерегут хорошо.

— Ну да, мы обещали принять все меры.

Небрежно позвякивая ключами, вошла она, спустясь по винтовой лестнице, в коридор нижнего этажа. Здесь было мрачно, как в склепе. Глухой красноватый свет ламп озарял симметрический ряд серых дверей в глубоких нишах.

Часовой, стоявший в дальнем конце, быстро пошел навстречу девушке. Она сказала ему то же, что и первому, и с тем же успехом. Солдат, нагнувшись, загремел ключами в замке 23-го номера.

— Теперь,— сказала Рене,— не отходите от дверей и входите тотчас, как я позову вас, в случае... чего.

Ноги ее подкашивались, но лицо оставалось сумрачно-деловым. Толкнув дверь, она, не торопясь, прикрыла ее и очутилась лицом к лицу с Шамполионом.

Как ни дорого было каждое мгновение, она не могла сразу поднять глаз. Подняв их, она более не смущалась. Любовь, стыд, волнение, тяжесть темного будущего,— все чувства окаменели в ней, кроме страстной пожирающей торопливости. Шамполион сумрачно смотрел на нее, ничем не выдавая ни радости, ни даже слегка насмешливого любопытства к дальнейшему. Он был одет.

— Встаньте за дверью,— шепнула Рене,— сзади; когда войдет часовой...

Все понимая, он бесшумно взял одеяло и встал в углу.

— Ах!.. Киваль!..— негромко позвала Рене,— зайдите сюда!

Часовой быстро вошел, прикрыв дверью Шамполиона. Через секунду он уже задыхался, мотая закутанной одеялом головой. Шамполион повалил его, связав ноги шнурком револьвера, а руки простынею, и поднялся, тяжело дыша.

— Теперь идите...— она поморщилась, зная, что сцена борьбы повторится.— Пройдите по концу коридора до лестницы и быстро, без звука, быстро поднимитесь, когда я уроню ключи.

Она двинулась, а Шамполион, разорвав тюфяк, вытряс солому и с холстом в руках следовал на расстоянии за Рене. Девушка подошла к часовому у дверей кухни.

— Все благополучно,— она попыталась открыть замок, но не смогла,— что с замком? Попробуйте-ка вы, я не могу открыть.

Часовой, став спиной к лестнице, протянул руку за ключами и нагнулся поднять их, потому что Рене, передавая, уронила связку. Железный стук пролетел в коридоре.

Быстрее, чем этого ожидала, Рене увидела Шамполиона, сидящего на солдате, голова которого путалась в холщовой комке. Рене помогла связать; затем, держа своей маленькой горячей рукой за руку Шамполиона, провела беглеца сквозь темные комнаты к парадной двери, выходявшей непосредственно в пустой переулок. Здесь не было часового,— вечная ошибка предусмотрительности, охватывающей зрением горизонты, но не замечающей апельсиновой корки под сапогом.

Они вышли. Шел дождь, порывами ударял ветер.

— Все кончено,— сказала Рене.

— Я никогда не забуду этого,— проговорил Шамполион.— Так... я свободен.

— И я.

— Мне нельзя медлить,— продолжал Шамполион, догадываясь, что хочет этим сказать Рене, но жестко, с хищностью противясь этому. Он брал свое, давая чужую судьбу, хотел быть один.— Я бегу, бегу поспешно к своим. А вы?..

— Я? Разве...

В этот момент они рядом проходили глухой переулочек. Шел дождь, порывисто хлестал ветер.

Она сжалась, и тень предчувствия тронула ее душу. Шамполион повторил:

— Я иду к своим, девушка. Слышите?

Все еще не понимая, она по инерции продолжала идти рядом с ним, задыхаясь и с трудом ускоряя шаг, так как Шамполион шел все быстрее, почти бежал. Тогда, уверенный, что это навязчивость, он резко остановился и обернулся.

— Ну! Что вам? — быстро и зло спросил он.

— Я...

Она замолчала. Он легко, коротким и равнодушным ударом толкнул ее в грудь,— просто, как отталкивают тугую дверь.

Рене упала. Когда она поднялась, в переулочке никого не было. Шел все сильнее крупный осенний дождь.

IV

Прошло два года.

В большой квартире улицы Падишаха сидел человек, искусно загримированный англичанином. Его собеседник, коренастый господин с толстым лицом, стоял у окна, смотря на улицу. Второй говорил, не оборачиваясь, пониженным голосом.

— Полосатый, вчерашний,— сказал он.— Наружность фланера. Покупает газету.

— Обычная история,— ответил другой.— Так началось с Тэсси. Кажется, теперь твоя очередь, Вест?

— Не твоя ли, Шамполион, дружище?

— Нет, это не в силах простого сыщика. Я вечно и оригинально двигаюсь.

— Да. Однако по какому кругу?

Шамполион вздрогнул. Вест остро подметил положение. Круг продолжал суживаться. Так началось месяцев шесть назад. Опасность, как зараза, перебрасывалась с города на город; целые округа становились угрозой, все более уменьшая свободную территорию, в которой знаменитый преступник мог еще действовать, но и то с массой предосторожностей. Он терпел неудачи там, где проверенный расчет безошибочно обещал жатву. Дела срывались, пропадали важные письма, шесть второстепенных и двое первоклассных сообщников сидели в тюрьме. Шамполион боролся с новым невидимым врагом, чуждым, судя по справкам, ленивой и почти сплошь продажной государственной полиции. Она беспомощно топталась на месте, устемляясь иногда с громом на след собственных ног. Ему не раз приходилось подвергаться систематическому преследованию, но это было именно преследование, хождение следом за ним; теперь к нему шли часто навстречу, шли и за ним, и со стороны,— так что не раз только особая увертливость спасала его от топора «веселой вдовы»: злая и твердая рука ловила его. Огромные связи, какими располагал он, беспомощно молчали, бессильные выяснить инициативу организации; он же стремился, покинув круг, заставить облаву стукнуться лбами на пустом месте, но этого пока не удавалось привести в исполнение. Растягиваясь и еще сильнее сжимаясь вновь, круг не выпускал цели из своей гибкой черты.

— Следовало бы,— сказал Шамполион, пропуская замечания Веста,— дать этому фланеру путевого проводника.

«Путеводитель», то есть лицо, отводящее след на себя, вызвав чем-нибудь подозрение, употреблялся в неясных случаях для проверки, действительно ли установлено наблюдение и за кем именно; диверсия в пустоту.

— Да он ушел,— сказал Вест.

— Тем лучше.

Шамполион первый заметил фланера. Не случись этого, Вест был бы избавлен от подмигивания, означавшего приказ удалиться.

— Вест, я вернусь завтра. Если что случится, ты позвонишь.

— Ну, да.

Их разговор перешел в мрачную область хищений; затем Шамполион вышел.

Вест, заложив руки в карманы, качнулся на носках. Его неподвижное лицо, прекрасно удерживая в присутствии Шамполиона внутренний смех, тронулось по углам глаз ясной улыбкой. Он сел и крепко задумался.

Со всеми предосторожностями, ствечающими его привычкам и положению, Шамполион прибыл в другую квартиру. Дама, с которой он поздоровался, была красивым воплощением женственности в том его редком виде, который восхищает и трогает. Ее тихую красоту и обаяние, производимое ею, следовало назвать более утешением, чем восторгом,— глубоким сердечным отдыхом. Вместе с тем, не было в ней ничего неземного, никаких мистических, томно-болезненных теней; расцвет жизни сказывался во всем, от твердости рукопожатия до звучной простоты голоса.

Их познакомил месяца два назад скромный курорт — вынужденный отдых Шамполиона. Здесь, отсиживаясь ради безопасности, встретил он молодую вдову Полину Турнейль. Сближение имело началом серьезный разговор о жизни, начавшийся случайно, но приведший к тому, что эlegantный цинизм Шамполиона, уступив глубокому впечатлению, произведенному молодой женщиной, прикинулся из уважения к ней шатким пессимистическим мировоззрением.

Из уважения, да. В жизни Шамполиона было много связей и женщин эпизодических, и он совершенно не уважал их. Его любили как живую сенсацию. К нему льнули подобострастно и трепетно, отдаваясь в добровольное рабство ради таинственной, зловещей тени, отбрасываемой опасным любовником. Любопытство и страх приковывали к нему. Во всех его прежних любовницах была некая крикливость духа, в разной, конечно, степени, но одинаково напоминающая цветок, украшенный нелепо торчащим бантом. Не веря в существование женщин иного склада, он случайно встретил живое противоречие и внутренне понял это.

Встречи их повторялись, он искал их и, сказав, наконец, «люблю», почувствовал, что сказал наполовину правду. Она не знала, кто он. Ее «да», как можно было подумать, выросло из одиночества, симпатии и благородного доверия, свойственного крупным натурам. Впоследствии он надел маску политического заговорщика, чтобы хотя этим объяснить сложную таинственность своей жизни,— роль

выигрышная даже при дурном исполнении, чего не приходится сказать о Шамполионе. К тому же отважный скептик грандиознее самого пышного идеалиста. Он знал, что червонный валет даже крупнейшей марки не может быть героем Полины, и так привык к своей роли, что иногда мысленно продолжал лживый разговор в тоне и духе начатого.

Ее характер был открытым и ровным; ее образованность, естественно сливаясь с ее природным умом, не порождала неприятной нарочитостью козыряния; ее веселие не оскорбляло; ее печаль усиливала любовь; ее ласка была тепла и нежна, а страсть — чиста, как полураскрытые губы девочки. Она взяла и держала Шамполиона без всякого усилия, только тем, что жила на свете.

Шамполион стирал грим, сняв правую бакенбарду; левую тихонько потянула Полина, и бакенбарда отстала, при чем оттопырившаяся щека издала забавный глухой звук.

— Благодарю,— сказал он.— Три дня я не мог быть и тосковал о тебе.

Обняв женщину, он приник к ее лицу долгим поцелуем, возвращенным хотя короче, но не менее выразительно. Ее рука осталась лежать на его плече, затем сдвинулась, поправляя пластрон.

— Ты озабочен?

— Да. Меня ловят.

— Так надо подумать,— сказала она, вздрогнув и с серьезным лицом усаживаясь за стол.— Насколько все плохо?

Шамполион рассказал, не прибегая даже к ощутительному извращению фактов. Преследование одинаково по существу,— кто бы ни подвергался ему, вор или Гарибальди.

— Боже! Береги себя, Коллар! — сказала Полина.— Хочешь в Америку?

— Нет, я подумаю,— ответил Шамполион, садясь рядом с нею.— Явного еще ничего нет. Пока я думаю о тебе.

Когда он говорил это, целуя ее руки, глуховатый мужской голос, скользя по телефонному проводу из пространства в пространство оканчивал разговор следующими словами:

— Итак, в шесть — тревога.

— Да, так решено,— прозвучал ответ.

— И мы отдохнем.

— Отдохнем, да...

Аппараты умолкли.

На рассвете Шамполион внезапно проснулся в таком ровном и тихом настроении, что мысли его, ясно возникая среди остатков дремоты, связной непрерывностью своей напоминали чтение книги. Он лежал на спине. На спине же, рядом с ним, лежала Полина, слегка повернув к нему голову, и ему показалось, что сквозь тени ее ресниц блеснул взгляд. Он хотел что-то сказать, но, присмотревшись, убедился в ошибке. Она спала. Край сорочки на полуоткрытой груди вздрагивал, едва заметными движениями следуя ритму сердца, и от этого, силой таинственного значения наших впечатлений, Шамполион ощутил мягкую близость к спящему существу и радость быть с ним. Он тихо положил руку на ее сердце, отнял ладонь, откинул с маленького уха послушные волосы и весело посмотрел в потолок, где среди голубых квадратов были нарисованы листья, цветы и птицы. Тогда, желая и не желая будить Полину, он осторожно покинул кровать, налил воды с сиропом и присел у окна, наблюдая стаю голубей, клевавших на еще не подмостенной мостовой.

Было так тихо, что долгий телефонный звонок, деловой трелью прорезавший молчание комнат, неприятно оживил Шамполиона, рассеянно сидевшего у окна. Полина не проснулась, лишь ее голова сонным движением повернулась от стены к комнате.

Шамполион снял трубку аппарата, бывшего в кабинете, через три двери от спальни.

— Говорите и слушайте,— условно сказал он.

— Все ли здоровы?— спросили его.

— Смотря какая погода.

— Одевайтесь теплее; ветер довольно резок.

— Я слушаю.

— Все хорошо, если состоится прогулка.

— Так.

— Продаете ли вороную лошадь?

— Нет, я купил еще одну закладку.

Шамполион резко отбросил трубку. Звонил и говорил Вест. Весь этот разговор, составленный из выражений условных, означал, что Шамполион должен спастись, покинуть город ранее полудня и по одному, строго определенному направлению. Сыск установил след, организовав западню.

Когда Шамполион вернулся в спальню, он выглядел уже чужим мирной обстановке квартиры. Все напряжение опасности отразилось в его лице; глаза запали, блестя скольльзящим, жестко сосредоточенным взглядом, и каждая черта определилась так выпукло, словно все лицо, фигуру преступника облил сильнейший свет. Шамполион быстро оделся и решительно разбудил Полину.

— Который час? — потягиваясь, спросила она.

— Час отъезда. Вставай. Нельзя терять ни минуты, — я под угрозой.

Она вскочила, сильно протерла глаза; затем, взволнованная тоном, бросила ряд вопросов. Он, взяв ее руки, сказал:

— Да, я бегу. Не время расспрашивать.

— Я с тобой.

— Если можешь... — радостно сказал он. — Ты первая, которой я говорю так.

— Верю.

Ее тоскующее прекрасное лицо горело слезами. Но это не были слезы слабости. Одеваясь, она заметила:

— Путешественник с дамой меньше возбудит подозрений.

— Да, и это в счет на худой конец.

— Куда мы едем?

— В Марсель. По многим причинам я могу ехать лишь в этом направлении.

Турнейль не ответила. Шамполион быстро гримировался. Когда Полина обернулась на его возглас, перед ней стоял выцветший, сутулый человек лет пятидесяти с развратным лицом грязного дельца, брюшком, лысиной и полуседыми длинными бакенбардами.

— Это жестоко! — насильно улыбнулась она, припудривая глаза.

— Жестоко, но хорошо. Наконец, вот! — Он, подбросив, поймал блестящий револьвер. — Возьми деньги.

— Я взяла.

Теперь, вполне готовый к отъезду и борьбе, он почувствовал лихорадочную усталость азартного игрока, которому с уходом годов длиннее кажутся когда-то короткие в своей остроте ночи, тягостнее — ожидания ставок и раздражительнее — проигрыш, усталость подчеркивалась любовью. Он желал бы вновь присесть у окна, смотреть на голубей и слышать ровное дыхание спящей женщины.

Они вышли, взяв лишь по небольшому саквоюжу. Шамполион, не будя прислуги, открыл двери собственным, сделанным на всякий случай ключом.

В тревоге промелькнули вокзалы, билетная касса и дебаркадер. Поезд отошел. В купе, кроме них, никого не было.

Поезд шел полями с осевшим на ложбинах утренним чистым туманом. Пунцовые и белые облака, сторонясь, пропускали низкий пук ярких лучей, западавших на возвышения. Еще нигде не было видно людей, лишь изредка одинокая фура с дремлющим на ней мужиком сторожила закрытый переезд; это продолжение безлюдной тишины, в которой проснулся Шамполион, помогало ему разбираться в себе. Сидя против Полины, смотря на нее и разговаривая, он продолжал ощупью, бессознательно, отбрасывать тревогу роковых возможностей, разбираться в обстоятельствах и мысленно вести расчеты с опасностью во всех ее видах, рисуемых его опытным, точным воображением.

— Твоя жизнь ужасна,— сказала Полина.— Спасаться и нападать; быть постоянно настороже, проверять себя, испытывать других... Какая пытка! Какой заговор изменил сущность мира? Коллар, оставь политику, пока не ушла жизнь. Еще не поздно. Мы можем скрыться навсегда в далекой стране.

— Это не для меня,— коротко ответил Шамполион.

— Ты не придаешь значения моим словам.

— Не раз мы говорили об этом. Я все-таки люблю в жизни ее холодное, головокружительное бешенство.

— Коллар, это пройдет, пройдет, может быть, скоро, и ты не вернешь уже тихого угла, который ждал тебя вместе со мной.

— Не могу.

— Решись все-таки. Мне достаточно твоего слова, Коллар. Марсель ведет и в Англию и в Америку.

— Я стремлюсь в Лондон.

— Нет. Дальше.

— Как ты настойчива!

— Знаешь, ведь я люблю.

— Но и я, черт возьми! Однако не любовь решает судьбу! Оставим это.

Он отвернулся к окну, выдохнув сигарный дым с силой, разбившей его о стекло круглым пятном.

С тоскливым, страстным вниманием смотрела женщина на того, кто был (назвался) Коллар. Мысли ее мешались. Наконец, воля одержала победу, и Шамполион, взглянув снова, не заметил и следа тонкой игры страстей, схлынувшей в глубину женской души.

— С.-Ж.,— сказал кондуктор, проверяя билеты.

Полина подала свой. Один его угол был согнут.

— Есть здесь буфет, Коллар?

— Есть; это маленький городок.

— Ты знаешь?

— Да, я здесь был.

Приключение в тюрьме два года назад озарило его холодным воспоминанием. Останавливаясь, вагон вздрогнул; скрипнули тормоза.

Снова открылась дверь, пропустив трех кондукторов, и по произвольному движению их лиц, выдавших нападение прямым взглядом на руки Шамполиона, он мгновенно сообразил, что путешествие кончено. В купе было тесно. Один из сыщиков загородил своей фигурой Полину, Шамполион не видел ее. Было уже поздно думать о чем-либо. Его вязали и били; он вывертывался, как скользкая большая рыба в жадных руках, и изнемог. Ручные кандалы покончили дело. Выходя, в толпе, запрудившей проход, ослепленный волнением, он, задыхаясь, громко сказал:

— Где ты?

Ему ответил — ниоткуда и близко — мертвый, как стук, голос:

— Буду с тобой...

V

Палач грелся на кухне, неотступно думая о шее преступника с вялым, нудным содроганием раба, ждущего подачки и плети. Это был хмурый старик. Ему обещали сто франков и четверть срока. Он не смел отказаться. Кроме того, в его измученном тюремной сердце жила смелая надежда вернуться на три года скорее к заброшенным огуречным грядкам, забыв о маленьких девочках, плачущих всегда горько и громко.

Стояло холодное, темное и сырое утро. Шамполион не спал. К четырем часам его оставило мужество. Но не страх

сменил стиснутую силу души, ее давила тяжесть — фатализм внешнего. Он сидел в камере 23, из которой два года тому назад был выпущен, как гордая птица, скромной и смелой девушкой. Город был тот, в котором его поймали тогда и теперь. Запыленная надпись на подоконнике, выцарапанная гвоздем, сделана была его скучающей, небрежной рукой; надпись гласила:

«Еще не пришел мой час».

«Еще» и «не» стерлись. Остальное потрясло приговоренного. Но к подоконнику, как к магниту, обращались его глаза, и с холодом, с непонятной жаждой мучительства он внимательно повторял их, вздрагивая, как от ножа.

Власти, боясь бегства, покончили с ним скоро и решительно. Скованный по рукам и ногам, Шамполион просидел только неделю. Суд приехал в С.-Ж., собрав наскоро обвинения по самым громким делам бандита, судьи выслушали для приличия защиту и обвинение и постановили гильотину.

Полины Шамполион больше не видел. Он думал, что ее держат в другой тюрьме. Представляя, как она перенесла известие о том, кто Коллар, он весь сжимался от скорби, но сам отдал бы голову за то, чтобы увидеть Турнейль. Надежды на это у него не было.

— Вина! — сказал он в окошечко.

Немного спустя дверь открылась. Казенная рука грубо протянула бутылку. Шамполион пил из горлышка. Настроенное стало светлее и шире; искры бесшабашности заблестели в нем, смерть показалась жизнью... Вдруг тяжкий удар отчетливого сознания истребил хмель.

— Жизни! — закричал Шамполион. — Жизни всюю!

Но припадок скоро прошел. Наступил счастливый момент безразличия, — разложения нервов. Шамполион сидел, механически покачивая головой, и думал об опере.

Состояние, в котором он находился, можно сравнить с несуществующим длительным взрывом. Малейший шорох волновал слух. Поэтому долгий ворочающийся звон ключа в двери заставил его вскочить, как от электрического заряда.

Он вскочил: за женщиной, прямо вошедшей в камеру, стояла тень в казенном мундире. Тень сказала:

— По особому разрешению.

Слов этих он не расслышал. Взмахнув скованными руками — единственный доступный ему теперь жест, — он

бессознательно рванул кандалы. Нечто в лице Турнейль — не торжественность предсмертного свидания — молчание в ее лице поразило его. Возвращая самообладание, он сказал:

— Полина?! Да, ты! Видишь?

Она молчала. Ненависть и любовь по-прежнему спорили в ее сердце, и самое памятное объятие не было памятное короткого толчка в грудь.

— Я пришла, — холодно сказала она, заметив, что молчание становится тягостным, — увидеть вас снова, Шамполион, в том же месте, из которого когда-то освободила. Ведь я — Рене.

Он не сразу понял это, но когда наконец понял, в нем не было уже ни мыслей, ни слов — одни грохочущие воспоминания. Он стоял совершенно больной, больной неописуемым потрясением. Из глубины памяти, раздвигая ее смутные тени, отчетливо вышел образ закутанной в платок девушки; образ этот, стремительно потеряв очертания, слился с образом Полины Турнейль и стал ею.

— Вы предали... — страхась всего, сказал он, когда боль, усиливаясь, не позволяла более молчать.

— Да.

— Вы — Рене!

— Да.

— Знайте, — сказал он, помедлив и смеясь так презрительно, как смеялся в лучшие дни своего блестящего прошлого, — я снова оттолкнул бы вас... туда!.. прочь!..

Жалкая, измученная улыбка появилась на бледных губах Рене. Даже ее незаурядные силы давила тяжесть этой победы, в которой победитель, сражая самого себя, не проигрывает и не дает пощады. Простить она не могла.

— Да, вы толкнули меня совершенно простым движением. В грязь. Я упала... и еще ниже. Я продавалась за деньги. Меня встретил Турнейль, я взяла остаток его чахоточной жизни и его миллионы. Почти все это ушло на вас, Шамполион. Лучшие сыщики помогали мне. Продался Вест и другие. Вас вели под руки с завязанными глазами к яме... но как это было дьявольски трудно, признаюсь! И вот вы упали.

— Сыщики? — недоверчиво спросил он. — Кто же? Не односторонние ли умом Гиктон и Фазелио?

— Все равно. Ждущие признания гении имеются и в этой среде.

— Может быть. Вы довольны?

— А? Я не знаю, Шамполион.

Она с трудом прошептала это, и он увидел, что глаза ее полны слез. Шамполион сел, понурясь. Тогда быстрым материнским движением она прижала его горячую голову к своей нежной груди и горько заплакала, а он, поборов опустошение души, тоже приник к ней, тронутый силой этой любви, нашедшей исход в ненависти, любви ненавидящей — чувстве ужасной сказки.

Рене встала.

— Отец умер, спился,— сказала она.— Мои мечты, те, с которыми я освободила тебя, ты знаешь, потому что знаешь меня. Прощай же! Когда ты... уходишь?

— С последним ударом пяти.

— Скоро придет священник.

— Он скажет мне о пустом небе.

— Наполним же его опрокинутую чашу последними взглядами. Ты помнишь мои слова в вагоне?

— Помню. «Буду с тобой».

— И буду... и буду с тобой.

— Рене!— сказал он, останавливая ее.— Не дух ли ты? Кто пустил тебя сюда, в эту могилу?

— Те, кто имеет власть и знает мою судьбу.

Она вышла; ее последний взгляд воодушевил и успокоил Шамполиона. Он думал о закутанной девушке, лица которой хорошенько даже не рассмотрел, и о только что ушедшей женщине, которую потерял. Но казалось, что в сумраке начинающегося рассвета в камере с бледным огнем лампы еще длится ее невидимое присутствие.

Он приблизился к подоконнику и спокойно прочитал то, что не стирается никогда:

«...пришел мой час».

Рене была одна. Когда часы, висевшие против нее, начали отбивать пять и пробил последний, сильнее других прозвучавший удар,— удар вдали громко прозвучал в ней, вихрем сметая прошлое. Ее трясло, зубы стучали. Она выпила яд, крепко прижала к глазам мокрый платок и прилегла на диван.

БРОДЯГА И НАЧАЛЬНИК ТЮРЬМЫ

«Свет полон несправедливости. Ни одно дарование не находит достойной оценки. К чему, например, высшее образование, честолюбивые мечтания, безусловная порядочность, аккуратность, наконец, почерк, каким не постыдились бы писать на Олимпе? Увы, все тщета».

Так рассуждал начальник тюрьмы в Н.—городке, столь уединенном и малом, что он никак не мог позволить себе роскошь иметь большую тюрьму и важных преступников. Едва ли было хоть раз, что все сорок камер тюрьмы заняты постояльцами. Как правило, одновременно находилось в ней не более десяти арестантов; но не было блестящих имен. Ни Равашоль, ни Джек-Потрошитель, ни Картуш, ни Ринальдо Ринальдини — но мелкие воры и серые жулики да бродяги.

Таким образом, Пинкертон, начальник тюрьмы, возненавидевший свою громкую фамилию именно за ее блеск фальшивого бриллианта, вечно страдал желчью и напрасным честолюбием.

Наступила весна. Тысячи честолюбцев, легионы непонятых Наполеонов возделывают в это время грядки или окапывают клумбы. Это их роковая судьба: сажать салат и пионы, в то время как их более счастливые камрады насаживают пограничные столбы.

Так поступал теперь и Пинкертон: он бродил по маленькому тюремному саду, намечая, где, что и как посадить. Садик был отделен от тюремного двора живой изгородью;

с другой стороны к нему примыкала наружная стена. У стены стояло кресло-качалка; побродив, Пинкертон сел в нее, утомленный ночной работой, и стал жмуриться под жаркими лучами, как кот. Солнце, накаливая стену, образовало здесь род парника; начальник вспотел.

Вошел часовой с хлипким мышеподобным субъектом, достаточно рваным, чтобы подробно не описывать его костюм. Его маленькие глаза бегали с задумчивым выражением; короткое, костлявое лицо, укрытое гневной пеленой, имело философский оттенок, свойственный вообще бродягам.

— Можешь ты копать землю? — спросил Пинкертон. — Вообще — умеешь ли работать в саду? Ступайте, Смит, я буду сидеть здесь.

Часовой ушел; начальник повторил вопрос.

— Умею ли? — почтительно переспросил рваный субъект, — но, право, вы меня рассмешили. Я работал в висячих садах герцогини Джоанны Фиоритур, в парке лорда Альвейта, в оранжереях знаменитого садовода Ниццы Кумахера, и я...

— Похоже, что ты врешь, — перебил Пинкертон, зевая и располагаясь удобнее. — Только вот что, приятель: видишь эти две клумбы? Надо их поднять выше.

— Пустое дело, — сказал бродяга. — Не извольте беспокоиться. Однажды, путешествуя, — пешком, разумеется, — из Белграда в Герцеговину, я возымел желание украсить придорожные луга. Я нашел старую лопату. Что же? К вечеру полторы мили лугов были покрыты клумбами, на которых росли естественные дикие цветы!

— Как ты лжешь! — сказал Пинкертон. — Зачем ты лжешь?

Прежде чем ответить, бродяга сделал несколько ударов киркой, затем оперся на нее с видом отдыхающего скульптора.

— Это не ложь, — грустно сказал он. — Боже мой! Какая весна! Вспоминаю мои приключения среди гор и долин Эвареска. Великолепно идти босиком по свежей пыли. Крестьяне иногда сажают обедать. Спишь на сене, повторяя милый урок из раскинутой над головой астрономии. Как пахнет. Там много цветов. Идешь, как будто по меду. Также озера. Я имел удочки. Бывали странные случаи. Раз я поймал карпа в двадцать два фунта. И что же? В его желудке оказался серебряный наперсток...

— На этот раз ты действительно безбожно врешь!— крикнул Пинкертон.— Карп в двадцать два фунта — абсурд!

— Как хотите,— равнодушно сказал бродяга,— но ведь я его ел.

Наступило молчание. Арестант разрывал небольшой участок.

— Нет лучше наживки,— сказал он, вытаскивая из глыбы и перебрасывая с руки на руку огромного ленивого червя,— как эти выползки для морского окуня. Вот обратите внимание. Если его разорвать на небольшие куски, а затем два или три из них посадить на крючок, то это уже не может сорваться. Испытанный способ. Между тем профаны надевают один кусок, отчего он стаскивается рыбой весь.

— Глупости,— сказал Пинкертон.— Как же не сорвется, если выползка перевернуть и проколоть несколько раз, головкой вниз.

— Вверх головкой?!

— Нет, вниз.

— Но обратите внимание...

— А, черт! Я же говорю: вниз!

Арестант сожалительно посмотрел на начальника, но не стал спорить. Однако был он задет и, взметывая киркой землю, бурчал весьма явственно:

— ...не на всякий крючок. Притом рыба предпочитает брать с головы. Конечно, есть чудaki, которые даже о поплавке знают не больше кошки. Но здесь...

Снова устав, землекоп повернулся к Пинкертону, убедительно и коротко журча:

— А знаете ли вы, что на сто случаев мгновенного утопления поплавок—девятьюсто пустых, потому что рыба срывает ему хвост?! Головка же тверже держится. Однажды совершенно не двигался поплавок, лишь только повернулся вокруг себя, и я понял, что надо тащить. А почему? Она жевала головку; и я подсек. Между тем...

Его речь текла плавно и наивно, как песня. Жара усиливалась. От ног Пинкертона к глазам поднималось сладкое сонное оцепенение; полузакрыв глаза, вслушивался он в ропот и шепот о зелени глубоких озер, и, наконец, чтоб ясно представить острую дрожь водяных кругов вокруг настороженного поплавка, зажмурился совершенно. Этого только и ожидал сон: Пинкертон спал.

— Это так портит нервы,— ровно продолжал бродяга, грустно смотря на него и тихо жестикулируя,— так портит нервы плохая насадка, что я решил сажать только вверх. И очень тщательно. Но не вниз.

Он умолк, задумчиво осмотрел Пинкертонa и, степенно оглянувшись, взял из его лежавшего на столике портсигара папироску. Закурив ее и вздохнув, причем его глаза мечтательно бродили по небу, он пускал дым, повторяя:— «Нет, нет,—только вверх. И никогда — вниз. Это ошибка».

Он бросил окурок, не торопясь подошел к дальнему углу сада, где сваленные одна на другую пустые известковые бочки представляли для него известный соблазн, и влез на гребень стены.—«Вниз,—бормотал он,—это ошибка. Рыба непременно стащит. Исключительно — вверх!»

Затем он спрыгнул и исчез, продолжая тихо сердиться на легкомысленных рыбаков.

ФАНДАНГО

I

Зимой, когда от холода тускнеет лицо и, засунув руки в рукава, дико бегают по комнате человек, взглядывая на холодную печь,— хорошо думать о лете, потому что летом тепло.

Мне представилось зажигательное стекло и солнце над головой. Допустим, это — июль. Острая ослепительная точка, пойманная блистающей чечевицей, дымится на конце подставленной папиросы. Жара. Надо расстегнуть воротник, вытереть мокрую шею, лоб, выпить стакан воды. Однако далеко до весны, и тропический узор замороженного окна бессмысленно расстилает прозрачный пальмовый лист.

Закоченев, дрожа, я не мог решиться выйти, хотя это было совершенно необходимо. Я не люблю снег, мороз, лед — эскимосские радости чужды моему сердцу. Главнее же всего этого — мои одежда и обувь были совсем плохи. Старое летнее пальто, старая шляпа, сапоги с проношенными подошвами — лишь этим мог я противостоять декабрю и двадцати семи градусам.

С. Т. поручил мне купить у художника Брока картину Горшкова. Со стороны С. Т. это было добродушным подарком, так как картину он мог купить сам. Жалея меня, С. Т. хотел вручить мне комиссионные. Об этом я размышлял теперь, насвистывая «Фанданго».

В те времена я не гнушался никаким заработком. Эту небольшую картину открыл я, зайдя неделю назад к Броку

за некоторым имуществом, так как недавно занимал ту же комнату, которую теперь занимал он. Я не любил Горшко-ва, как не любят пожатия холодной, потной и вялой руки, но, зная, что для С. Т. важно «кто», а не «что», сказал о находке. Я прибавил также, что не уверен в законности приобретения картины Броком.

С. Т.—грузный, в халате, задумчиво скребя бороду, зевнул, сказав: «Так, так...» — и стал барабанить по столу красными пальцами. В это время я пил у него настоящий китайский чай, ел ветчину, хлеб с маслом, яйца, был голоден, неловок, говорил с набитым ртом.

С. Т. помешал в стакане резной золоченой ложечкой, поднял ее, схлебнул и сказал:

— Вы, это, ее сторгуйте. Пятнадцать процентов дам, а что меньше двухсот — ваше.

Я называю деньги их настоящим именем, так как мне теперь было бы трудно высчитать, какая цепь нолей ставилась тогда после двухсот.

В то время тридцать золотых рублей по ощущению жизни равнялись нынешней тысяче. Держа в кармане тридцать рублей, каждый понимал, что «человек — это звучит гордо». Они весили пятнадцать пудов хлеба — полгода жизни. Но я мог еще выторговать ниже двухсот, заработав таким образом больше чем тридцать рублей.

Я получил толчок к действию, заглянув в шкафчик, где стояли пустые кастрюли, сковорода и горшок. (Я жил Робинзоном). Они пахли голодом. Было немного рыжей соли, чай из брусники с надписью «отборный любительский», сухие корки, картофельная шелуха.

Я боюсь голода, — ненавижу его и боюсь. Он — искажение человека. Это трагическое, но и пошлейшее чувство не щадит самых нежных корней души. Н а с т о я щ у ю мысль голод подменяет фальшивой мыслью, — ее образ тот же, только с другим качеством. «Я остаюсь честным, — говорит человек, голодающий жестоко и долго, — потому что я люблю честность; но я только один раз убью (украду, солгу), потому что это необходимо ради возможности в дальнейшем оставаться честным». Мнение людей, самоуважение, страдания близких существуют, но как потерянная монета: она есть и ее нет. Хитрость, лукавство, цепкость — все служит пищеварению. Дети съедят половину кашу, выданную в столовой, пока донесут домой; администрация столовой

скрадет, больницы — скрадет, склада — скрадет. Глава семейства режет в кладовой хлеб и тайно пожирает его, стараясь не зашуметь. С ненавистью встречают знакомого, пришедшего на жалкий пар нищей, героически добытой трапезы.

Но это не худшее, так как оно из леса; хуже, когда старательно загримированная кукла, очень похожая на меня (тебя, его...) нагло вытесняет душу из ослабевшего тела и радостно бежит за куском, твердо и вдруг уверившись, что она-то и есть тот человек, какого она зацпала. Тот потерял уже все, все исказил: вкусы, желания, мысли и свои истины. У каждого человека есть свои истины. И он упорно говорит: «Я, Я, Я», — подразумевая куклу, которая твердит то же и с тем же смыслом. Я не раз испытывал, глядя на сыры, окорока или хлебы, почти духовное перевоплощение этих «калорий»: они казались исписанными парадоксами, метафорами, тончайшими аргументами самых праздничных, светлых тонов; их логический вес равнялся количеству фунтов. И даже был этический аромат, то есть собственное голодное вождение.

— Очевидно, — говорил я, — так естественен, разумен, так прост путь от прилавка к желудку...

Да, это бывало, со всей ложной искренностью таких упомощчений, а потому я, как сказал, голода не люблю. Как раз теперь встречаю я странно построенных людей с очень живым напоминанием об осьмушке овса. Это воспоминание переломилось у них на романтический лад, и я не понимаю сей музыкальной вибрации. Ее можно рассматривать как оригинальный цинизм. Пример: стоя перед зеркалом, один человек вклепывает себе умеренную пощечину. Это — неуважение к себе. Если такой опыт произведен публично, — он означает неуважение и к себе и к другим.

II

Я превозмог мороз тем, что закурил и, держа горящую спичку в ладонях, согрел пальцы, насвистывая мотив испанского танца. Уже несколько дней владел мной этот мотив. Он начинал звучать, когда я задумывался.

Я редко бывал мрачен, тем более в ресторане. Конечно, я говорю о прошлом, как бы о настоящем. Случалось

мне приходиться в ресторан веселым, просто веселым, без идеи о том, что «вот, хорошо быть веселым, потому что...» и т. д. Нет, я был весел по праву человека находиться в любом настроении. Я сидел, слушая «Осенние скрипки», «Пожалей ты меня, дорогая», «Чего тебе надо? Ничего не надо» и тому подобную бездарно-истеричную чепуху, которой русский обычно попирает свое веселье. Когда мне это надоело, я кивал дирижеру, и, проводя в пальцах шелковый ус, румын слушал меня, принимая другой рукой, как доктор, сложенную бумажку. Немного отвернув лицо взад, вполголоса он говорил оркестру:

— Фанданго!

При этом энергичном, коротком слове на мою голову ложилась нежная рука в латной перчатке, — рука танца, стремительного, как ветер, звучного, как град, и мелодического, как глубокий контральто. Легкий холод проходил от ног к горлу. Еще пьяные немцы, стуча кулаками, громогласно требовали прослезившее их: «Пошалай ты мена, то-рокая», но стук палочки о пюпитр внушал, что с этим покончено.

«Фанданго» — ритмическое внушение страсти, страстного и странного торжества. Вероятнее всего, что он — транскрипция соловьиной трели, возведенной в высшую степень музыкальной отчетливости.

Я оделся, вышел; было одиннадцать утра, холодно и безнадежно светло.

По мостовой спешила в комиссариаты длинная вереница служащих. «Фанданго» звучало глуше, оно ушло в пульс, в дыхание, но был явствен стремительный перелет такта — даже в едва слышном напеве сквозь зубы, ставшем привычкой.

Прохожие были одеты в пальто, переделанные из солдатских шинелей, полушубки, лосиные куртки, серые шинели, френчи и черные кожаные бушлаты. Если встречалось пальто штатское, то непременно старое, узкое пальто. Милостивая барышня в платке лапала по снегу огромными валенками, клубя ртом синий и белый пар. Неуклюжей от рукавицы рукой прижимала она портфель. Выветренная, как известняк, — до дыр на игривых щеках, — бойко семенила старуха, подстриженная «в кружок», в желтых ботинках с высокими каблуками, куря толстый «Зефир». Мрачные молодые мужчины шагали с нездешним видом. Не раз, интересуюсь всем, спрашивал я, почему прохожие избегают

идти по тротуару, и разные получал ответы. Один говорил: «Потому что меньше снашивается обувь». Другой отвечал: «На тротуаре надо сторониться, соображать, когда уступить дорогу, когда и толкнуть». Третий объяснял просто и мудро: «Потому что лошадей нет» (то есть экипажи не мешают идти). «Идут так все,— заявлял четвертый,— иду и я».

Среди этой картины заметил я некоторый ералаш, производимый видом резко отличной от всех группы. То были цыгане. Цыган много появилось в городе в этом году, и встретить можно было их каждый день. Шагах в десяти от меня остановилась их бродячая труппа, толкая между собой. Густобровый, сутулый старик был в высокой войлочной шляпе, остальные двое мужчин в синих новых картузах. На старике было старое ватное пальто табачного цвета, а в сморщенном ухе блестела тонкая золотая серьга. Старик, несмотря на мороз, держал пальто распахнутым, выказывая пеструю бархатную жилетку с глухим воротником, обшитым малиновой тесьмой, плисовые шаровары и хорошо начищенные, высокие сапоги. Другой цыган, лет тридцати, в стеганом клетчатом кафтане, украшенном на кресте огромными перламутровыми пуговицами, носил бороду чашкой и замечательные, пышные усы цвета смолы; увеличенные подусниками, они напоминали кузнечные клещи, схватившие поперек лица. Младший, статный цыган, с худым воровским лицом напоминал горца — черкеса, гуцула. У него были пламенные глаза с синевой вокруг горбатого переносья, и нес он под мышкой гитару, завернутую в серый платок; на цыгане был новый полушубок с мерлушковой оторочкой.

Старик нес цимбалы.

Из-за пазухи среднего цыгана торчал медный кларнет.

Кроме мужчин, здесь были две женщины: молодая и старая.

Старуха несла тамбурин. Она была укутана в две рваные шали: зеленую и коричневую; из-под углов их выступал край грязной красной кофты. Когда она взмахивала рукой, напоминающей птичью лапу,— сверкали массивные золотые браслеты. Смесь вороватости и высокомерия, наглости и равновесия была в ее темном безобразном лице. Может быть, в молодости выглядела она не хуже, чем молодая цыганка, стоявшая рядом, от которой веяло теплом

и здоровьем. Но убедиться в этом было бы теперь очень трудно.

Красивая молодая цыганка имела мало цыганских черт. Губы ее были не толсты, а лишь как бы припухшие. Правильное свежее лицо с пытливым пристальным взглядом, казалось, смотрит из тени ливны,— так затенено было ее лицо длиной и блеском ресниц. Поверх теплой кацавейки, согнутая на сгибах рук, висела шаль с бахромой; поверх шали расцветал шелковый турецкий платок. Тяжелые бирюзовые серьги покачивались в маленьких ушах; из-под шали, ниже бахромы, спускались черные, жесткие косы с рублями и золотыми монетами. Длинная юбка цвета настурации почти скрывала новые башмаки.

Не без причины описываю я так подробно этих людей. Завидев цыган, невольно старался я уловить след той неведомой старинной тропы, которой идут они мимо автомобилей и газовых фонарей, подобно коту Киплинга: кот «ходил сам по себе, все места называл одинаковыми и никому ничего не сказал». Что им история? эпохи? сполохи? переполохи? Я видел тех самых бродяг с магическими глазами, каких увидит этот же город в 2021 году, когда наш потомок, одетый в каучук и искусственный шелк, выйдет из кабины воздушного электромотора на площадку алюминиевой воздушной улицы.

Поговорив немного на своем диком наречии, относительно которого я знал только, что это один из древнейших языков, цыгане ушли в переулок, а я пошел прямо, раздумывая о встрече с ними и припоминая такие же прежние встречи. Всегда они были в р а з р е з всякому настроению, прямо п е р е с е к а л и его. Встречи эти имели сходство с крепкой цветной ниткой, какую можно неизменно увидеть в кайме одной материи, название которой забыл. Мода изменит рисунок материи, блеск, толщину и ширину; рынок назначит произвольную цену, и носят ее то весной, то осенью, на разный покррой, но в кайме все одна и та же пестрая нить. Так и цыгане — сами в себе — те же, как и вчера, — гортанные, черноволосые существа, внушающие неопределенную зависть и образ диких цветов.

Еще довольно много я передумал об этом, пока мороз не выжал из меня юг, забежавший противу сезона в южный уголок души. Щеки, казалось, сверлит лед; нос тоже далеко не пылал, а меж оторванной подошвой и застывшим

до бесчувственности мизинцем набился снег. Я понесся, как мог скоро, пришел к Брок и стал стучать в дверь, на которой было написано мелом: «Звон. не действ. Прошу громко стуч.»

III

Острые мелкие черты, козлиная бородка чеховского героя, выдающиеся лопатки и длинные руки, при худом сложении и очках, делающих тусклые впалые глаза ненормально блестящими,—эта фигура вышла открыть мне дверь. Брок был в длинном сером пиджаке, черных брюках и коричневой жилетке, одетой поверх свитера. Жидкие волосы его, приглаженные, но не везде следующие покато-сти черепа, торчали местами назад, горизонтально, словно в разных местах он заложил грязные перья. Он говорил медленно и низко, как дьякон, смотрел исподлобья, поверх очков, склоняя голову набок, потирал вялые руки.

— Я к вам,—сказал я (в квартире были и другие жильцы).—Позвольте, однако, прежде всего согреться.

— Что, мороз?

— Да, сильный мороз...

На эту тему говоря, прошли мы темным коридором к светлому ромбу полуоткрытой двери, и Брок, войдя, тщательно закрыл ее, потом сунул дров в пылающую железную печь и, небрежительно вертя папиросу, бросился на пыльную оттоманку, где, облокотясь и скрестив вытянутые ноги, подпернул повыше брюки.

Я сел, наставив ладони к печке, и, смотря на розовые, сквозь свет пламени, пальцы, впивал негу тепла.

— Я вас слушаю,—сказал Брок, снимая очки и протирая глаза концом засморканного платка.

Посмотрев влево, я увидел, что картина Горшкова на месте. Это был болотный пейзаж с дымом, снегом, обязательным, безотрадным огоньком между елей и парой ворон, летящих от зрителя.

С легкой руки Левитана в картинах такого рода предполагается умышленная «идея». Издавна боялся я этих изображений, цель которых, естественно, не могла быть другой, как вызвать мертвящее ощущение пустоты, покорности, бездействия,—в чем предполагался, однако, порыв.

— «Сумерки»,— сказал Брок, видя, куда я смотрю.— Величайшая вещь!

— О том особая речь, но что вы взяли бы за нее?

— Что это? Купить?

— Ну-те!

Он вскочил и, став перед картиной, оттянул бородку концами пальцев вперед.

— Э...— сказал Брок, косясь на меня через плечо.— У вас столько и денег нет. Еще подумаю, отдать ли за двести, и то потому только, что деньги нужны. Да и денег у вас нет!

— Найду,— сказал я.— Я потому и пришел, чтобы по-торговаться.

Вдали, на парадной, застучали.

— Ну, это ко мне!

Брок кинулся в дверь, выставил в щель из коридора бородку и прикрикнул:

— Одну минуту, я тотчас вернусь поговорить с вами.

Пока его не было, я осматривался по привычке коротать время более с вещами, чем с людьми. Опять уловил я себя в том, что насвистываю «Фанданго», бессознательно огораживаясь мотивом от Горшкова и Брока. Теперь мотив вполне отвечал моему настроению. Я был здесь, но смотрел на все, что вокруг, издалека.

Это помещение было гостиной, довольно большой, с окнами на улицу. Когда я жил здесь, здесь не было избытка вещей, ввезенных Броком после меня. Мольберты, гипс, ящики и корзины с наваленными на них бельем и одеждой, загромождали проход между стульями, расставленными случайно. На рояле стояла горка тарелок с ножиком и вилок поверх, среди кожур от огурца. Оконные пыльные занавеси были разведены углом, весьма неряшливо. Старый ковер с дырами, следами подошв и щепным мусором, дымился у печки, в том месте, где на него выпал каленый уголь. Посредине потолка горела электрическая лампочка; при дневном свете напоминала она клочок желтой бумаги.

На стенах было много картин, частью написанных Броком. Но я не рассматривал их. Согревшись, ровно и тихо дыша, я думал о неуловимой музыкальной мысли, твердое ощущение которой появлялось всегда, как я прислушивался к этому мотиву — «Фанданго». Хорошо зная, что душа зву-

ка непостижима уму, я, тем не менее, пристально приближал эту мысль, и, чем более приближал, тем более далекой становилась она. Толчок новому ощущению дало временное потускнение лампочки, то есть в сером ее стекле появилась красная проволока — знакомое всем явление. Помигав, лампочка загорелась опять.

Чтобы понять следовавший затем странный момент, необходимо припомнить обычное для нас чувство зрительного равновесия. Я хочу сказать, что, находясь в любой комнате, мы привычно ощущаем центр тяжести заключающего нас пространства, в зависимости от его формы, количества, величины и расположения вещей, а также направления света. Все это доступно линейной схеме. Я называю такое ощущение центром зрительной тяжести.

В то время, как я сидел, я испытал — может быть, миллионной дробью мгновения, — что одновременно во мне и вне меня мелькнуло пространство, в которое смотрел я перед собой. Отчасти это напоминало движение воздуха. Оно сопровождалось немедленным беспокойным чувством перемещения зрительного центра, — так, задумавшись, я, наконец, определил изменение настроения. Центр исчез. Я встал, потирая лоб и всматриваясь кругом с желанием понять, что случилось. Я почувствовал ничем не выражаемую определенность видимого, причем центр, чувство зрительного равновесия вышло за пределы, став скрытым.

Слыша, что Брок возвращается, я сел снова, не в силах прогнать чувство этой перемены всего, в то время как все было то же и тем же.

— Вы заждались? — сказал Брок. — Ничего, грейтесь, курите.

Он вошел, таща картину порядочной величины, но изнанкой ко мне, так что я не видел, какова эта картина, и поставил ее за шкаф, говоря:

— Купил. Третий раз приходит этот человек, и я купил, только чтобы отвязаться.

— А что за картина?

— А, чепуха! Мазня, дурной вкус! — сказал Брок. — Посмотрите лучше мои. Вот написал две в последнее время.

Я подошел к указанному на стене месту. Да! Вот, что было в его душе!.. Одна — пейзаж горохового цвета. Смут-

ные очертания дороги и степи с неприятным пыльным колоритом; и я, покивав, перешел к второму «изделию». Это был тоже пейзаж, составленный из двух горизонтальных полос; серой и сизой, с зелеными по ней кустиками. Обе картины, лишенные таланта, вызывали тупое, холодное напряжение.

Я отошел, ничего не сказав. Брок взглянул на меня, покашлял и закурил.

— Вы быстро пишете,— заметил я, чтоб не затянуть молчания.— Ну, что же Горшков?

— Да как сказал,— двести.

— Это за Горшкова-то двести?— сорвалось у меня.— Дорого, Брок!

— Вы это сказали тоном, о котором позвольте вас спросить. Горшков... Да вы как на него смотрите?

— Это — картина,— сказал я.— Я намерен ее купить; о том речь.

— Нет,— возразил Брок, уже раздраженный и моими словами и безразличием к картинам своим.— За неуважение к великому национальному художнику цена будет с вас теперь триста!

Как часто бывает с нервными людьми, я, вспыхнув, не мог удержаться от острого вопроса:

— Что же вы возьмете за эту капусту, если я скажу, что Горшков просто плохой художник?

Брок выронил из губ папиросу и длительно, зло посмотрел на меня. Это был тонкий, прокалывающий взгляд вздрогнувшей ненависти.

— Хорошо же вы понимаете... Циник!

— Зачем браниться,— сказал я.— Что плохо, то плохо.

— Ну, все равно,— заявил он, хмурясь и смотря в пол.— Двести, как было, пусть так и будет: двести.

— Не будет двести,— сто будет.

— Вот теперь начинаете вы...

— Хорошо! Сто двадцать пять?!

Еще сильнее обидевшись, он мрачно подошел к шкапу и вытащил из-за него картину, которую принес.

— Эту я отдам даром,— сказал он, потрясая картиной,— на ваш вкус; можете получить за двадцать рублей.

И он поднял в уровень с моим лицом, правильно повернув картину, нечто ошеломительное.

Это была длинная комната, полная света, с стеклянной стеной слева, обвитой плюшем и цветами. Справа, над рядом старинных стульев, обитых, зеленым плюшем, висело по горизонтальной линии несколько небольших гравюр. Вдали была полуоткрытая дверь. Ближе к переднему плану, слева, на круглом ореховом столе с блестящей поверхностью, стояла высокая стеклянная ваза с осыпавшимися цветами; их лепестки были рассыпаны на столе и полу, выложенном полированным камнем. Сквозь стекла стены, составленной из шестигранных рам, были видны плоские крыши неизвестного восточного города.

Слова «нечто ошеломительное» могут, таким образом, показаться причудой изложения, потому что мотив обычен и трактовка его лишена не только резкой, но и какой бы то ни было оригинальности. Да, да! — И тем не менее, эта простота картины была полна немедленно действующим внушением стойкой летней жары. Свет был горяч. Тени прозрачны и сонны. Тишина — эта особенная тишина знойного дня, полного молчанием замкнутой, насыщенной жизни — была передана неосязаемой экспрессией; солнце горело на моей руке, когда, придерживая раму, смотрел я перед собой, силясь найти мазки — ту расхолаживающую математику красок, какую, приблизив к себе картину, видим мы на месте лиц и вещей.

В комнате, изображенной на картине, никого не было. С разной удачей употребляли этот прием сотни художников. Однако, самое высокое мастерство не достигало еще никогда того психологического эффекта, какой, в данном случае, немедленно заявил о себе. Эффект этот был — неожиданное похищение зрителя в глубину перспективы так, что я чувствовал себя стоящим в этой комнате. Я как бы зашел и увидел, что в ней нет никого, кроме меня. Таким образом, пустота комнаты заставляла отнести к ней с точки зрения личного моего присутствия. Кроме того, отчетливость, вещьность изображения была выше всего, что доводилось видеть мне в таком роде.

— Вот именно, — сказал Брок, видя, что я молчу. — Обыкновеннейшая магия. А вы говорите...

Я слышал стук своего сердца, но возражать не хотел.

— Что же,— сказал я, отставляя картину,— двадцать рублей я достану и, если хотите, зайду вечером. А кто рисовал?

— Не знаю, кто рисовал,— сказал Брок с досадой.— Мало ли таких картин вообще. Ну, так вот: Горшкова... Поговоримте об этом деле.

Теперь я уже боялся сердить его, чтобы не ушла из моих рук картина солнечной комнаты. Я был несколько оглушен; я стал рассеян и терпелив.

— Да, я куплю Горшкова,— сказал я.— Я непременно его куплю. Так это ваша окончательная цена? Двести? Хорошо, что с вами поделаешь. Как сказал, вечером буду и принесу деньги, двести двадцать. А когда вас застать?

— Если наверное, то в семь часов буду вас ждать,— сказал Брок, кладя показанную мне картину на рояль, и, улыбаясь, потер руки.— Вот так люблю: раз, два — и готово,— по-американски.

Если бы С. Т. был теперь дома, я немедленно пошел бы к нему за деньгами, но в эти часы он сам слонялся по городу, разыскивая старый фарфор. Поэтому, как ни было велико мое нетерпение, от Брока я направился в «Дом ученых», или КУБУ, как сокращенно называли его, узнать, не состоялось ли зачисление меня на паек, о чем подавал прошение.

V

Тепло одетому человеку с холодной душой мороз мог показаться изысканным удовольствием. В самом деле,— все околело и посинело. Это ли не восторг? Под белым небом мерз стиснутый город. Воздух был неприятно, голо прозрачен, как в холодной больнице. На серых домах окна были ослеплены инеем. Мороз придал всему воображаемый смысл: заколоченные магазины с сугробами на ступенях подъездов, с разбитыми зеркальными стеклами; гробовое молчание парадных дверей, развалившиеся киоски, трактиры с выломанными полами, без окон и крыш, отсутствие извозчиков,— вот, казалось, как жестоко распорядился мороз. Автомобиль, ехавший так себе, но вдруг затыркавшийся на месте, потому что испортился механизм,— и тот, казалось, попал в зубы морозу. Еще более напоминали о нем действия людей, направленные к теплу. По мостовой,

тротуарам, на руках, санках и подводах, с скрипучей медленностью привычного отчаяния, ползли дрова. Возы скрипели, как скрипит снег в мороз: пронзительно и ужасно. Заледеневшие бревна ташились по тротуару руками изнемогающих женщин и подростков того типа, который знает весь непринятый в общежитии лексикон и просит «прикурить» басом. Между прочим, среди промыслов, каких еще не видел город, за исключением «пастушества на дому» (сено, рассыпанное в помещении, как трава для коз) и «новое-старое» (блестящая иллюзия новизны, придаваемая найденной на свалке «обуви»), о чем говорит А. Ренье в своей любопытной книге «Задворки Парижа», следовало бы теперь отметить также профессию «продавцов щепок». Эти оборванные люди продавали связки щепок весом не более пяти фунтов, держа их под мышкой, для тех, кто мог позволить себе крайне осторожную роскошь: держать, зажигая одну за другой, щепки под дном чайника или кастрюли, пока не закипит в них вода. Кроме того, с санок продавались малые порции дров, охапки, — кому что по средствам. Проезжали тяжело нагруженные дровами подводы, и возница, идя рядом, стегал кнутом воров — детей, таскающих на ходу поленья. Иногда, само упав с воза, полено воспламеняло страсти: к нему мчались, сломя голову, прохожие, но добычу получал, большей частью, какой-нибудь усач-проходимец, — того типа, что в солдатстве варят из топора суп.

Я шел быстро, почти бежал, отскрипывая квартал за кварталом и растирая лицо. На одном дворе я увидел толпу благодушно настроенных людей. Они выламывали из каменного флигеля деревянные части. Невольно я приостановился, — был в этом зрелище широкий деловой тон, нечто из того, что на лаконическом языке психологии нашей называется: «Валяй, ребята!..» Вылетела двойная дверь, половая балка рухнула концом в снег. В углу двора двое, яростно насакивая друг на друга, пилили толстый, как бочка, обрез бревна. Я вошел в двор, переживая чувство человеческой солидарности, и сказал наблюдавшему за работой сонному человеку в синей поддевке:

— Гражданин, не дадите ли вы мне пару досок?

— Что такое? — сказал тот после долго натянутого молчания. — Я не могу, это слом на артель, а дело от учреждения.

Ничего не поняв, я понял, однако, что досок мне не дадут и, не настаивая, удалился.

— Как?! Едва встретились и уже расстаемся,— подумал я, вспоминая поговорку одного интересного человека: «Встречаемся без радости, расстаемся без печали»...

Меж тем временно изгнанная морозом картина солнечной комнаты снова так разволновала меня, что я устремил все мысли к ней и к С. Т. Добыча была заманчива. Я сделал открытие. Меж тем начало жечь щеки, стрелять в носу и ушах. Я посмотрел на пальцы, их концы побелели, став почти бесчувственными. То же произошло с щеками и носом, и я стал тереть отмороженные места, пока не восстановил чувствительность. Я не продрог, как в сырость, но все тело ломило и вязало нестерпимо. Коченея, побежал я на Миллионную. Здесь, у ворот КУБУ, я испытал второй раз странное чувство мелькнувшего перед глазами пространства, но, мучаясь, не так был удивлен этим, как у Брока,— лишь потер лоб.

У самых ворот, среди извозчиков и автомобилей, явилась взгляду моему группа, на которую я обратил бы больше внимания, будь немного теплее. Центральной фигурой группы был высокий человек в черном берете с страусовым белым пером, с шейной золотой цепью поверх бархатного черного плаща, подбитого горностаем. Острое лицо, рыжие усы, разошедшиеся иронической стрелкой, золотистая борода узким винтом, плавный и властный жест...

Здесь внимание мое ослабело. Мне показалось еще, что за острой, блестящей фигурой этой, покачиваясь, остановились закрытые носилки с перьями и бахромой. Три смуглых рослых молодца в плащах, закинутых через плечо по нижнюю губу, молча следили, как из ворот выходят профессора, таща за спиной мешки с хлебом. Эти три человека составляли как бы свиту. Но не было места дальнейшему любопытству в такой мороз. Не задерживаясь более, я прошел в двор, а за моей спиной произошел разговор, тихий, как перебор струн.

— Это тот самый дом, сеньор профессор! Мы прибыли!

— Отлично, сеньор кабалерро! Я иду в главную канцелярию, а вы, сеньор Эвтерп, и вы, сеньор Арумито, приготовьте подарки.

— Немедленно будет исполнено.

Уличные зеваки, глашатаи «непререкаемого» и «достоверного», а также просто любопытные содрали бы с меня кожу, узнав, что я не потолкался вокруг загадочных иностранцев, не понюхал хотя бы воздуха, которым они дышат в тесном проходе ворот, под красной вывеской «Дома ученых». Но я давно уже приучил себя ничему не удивляться.

Вышеуказанный разговор произошел на чистом кастильском наречии, и так как я довольно хорошо знаю романские языки, мне не составило никакого труда понять, о чем говорят эти люди. «Дом ученых» время от времени получал вещи и провизию из различных стран. Следовательно, прибыла делегация из Испании. Едва я вошел в двор, как это соображение подтвердилось.

— Видели испанцев? — сказал брюшковатый профессор тощему своему коллеге, который, в хвосте очереди на соленых лещей, выдаваемых в дворовом лабазе, задумчиво жевал папиросу. — Говорят, привезено много всего и на следующей неделе будут раздавать нам.

— А что будут давать?

— Шоколад, консервы, сахар и макароны.

Большой двор КУБУ был занят посередине, почти до главного внутреннего подъезда, длинным строением служб великой княгини, которой ранее принадлежал этот дворец. Слева и справа служб шли узкие, плохо мощенные проходы с лестницами и кладовыми, где, время от времени, выдавались на паек рыба, картофель, мясо, мармелад, сахар, капуста, соль и тому подобное кухонное снабжение. В кладовых двора выдавалось главным образом все то, что затрудняло выдачу других продуктов из центральной кладовой, находившейся в нижнем этаже бывшего дворца. Там каждому члену КУБУ, в раз навсегда определенный для него день недели и в известный час, вручался основной недельный паек: порции крупы, хлеба, чая, масла и сахара. Эта любопытная, сильная и деятельная организация еще ждет своего историка, а потому мы не будем скупо изображать то, чему надлежит некогда развернуться полной картиной.

Смысл этих замечаний моих тот, что на дворе было много народа преимущественно интеллигентного типа. Народ этот если не проходил по двору, то стоял в очередях у дверей нескольких кладовых, где приказчики рассекали

топорами мясные кости или сваливали с весов в ведро кучу мокрых селедок. В одной лавке раздавали лещей, фунтов 10 на человека, и я заметил ржаво-жестяной хвост этой рыбы, торчавший из разорванного мешка, поставленного на маленькие салазки. Владелец поклажи, старик с обильно заросшим седым лицом и такими же длинными волосами, прихватив локтем веревку санок, хотел вручить понурой, немолодой женщине какую-то бумажку, но тщетно искал ее в пачке документов, вытащенных из бокового кармана пальто.

— Постой, Люси,— говорил он с начинающимся раздражением,— посмотрим еще. Гм... гм... розовая — банная карточка, белая — кооперативная, желтая — по основному пайку, коричневая — по семейному, это — талон на сахар, это — на недополученный хлеб, а тут что? — свидетельство домкомбеда, анкета вуза, старый просроченный талон на селедки, квитанция починки часов, талон на прачечную и талон... Матушки! — вскричал он, — я потерял вторую белую карточку, а сегодня последний день сахарного пайка!

Так воскликнув, воскликнув горько, потому что, уже в пятый раз листая свои бумажки, должен был признаться в потере, он поспешно затолкал весь том обратно в карман и прибавил:

— Если я не забыл ее на кухне, где чистил сапоги!.. Я успею! Я вернусь! Я побегу и буду через час, а ты подожди меня!

Они уговорились, где встретиться, и старик, намотав веревку на варежку, засеменил, таща санки, к воротам. От резкого движения лещ выпал из дыры в снег, и я, подняв его, закричал:

— Рыба! Рыба! Вы потеряли рыбу!

Но уже старик скрылся в воротах, а женщины не было. Тогда, по болезненному чувству находки съестного, без особой практической мысли и без жгучей радости, единственно потому, что лежала у ног пища, я поднял леща и сунул его в карман. Затем я стал пересекать разные очереди, то и дело спотыкаясь о ползущие санки. Сквозь тесную толпу первого коридора я проник в канцелярию с целью навести справку о своем заявлении.

Секретарь с мрачным лицом, стол которого обступили дамы, дети, старики, художники, актеры, литераторы и ученые, каждый по своему тоскливому делу (была здесь и

особая разновидность — пайковые авантюристы), взрыл наконец груды бумаг, где разыскал пометку против моей фамилии.

— Еще дело ваше не решено, — сказал он. — Очередное заседание комиссии состоится во вторник, а теперь пятница.

Несколько остыв от надежд, с какими пробирался к столу, я двинулся вверх, в буфет, где мог за последнюю ~~св~~жо ты ся чу выпить стакан чая с куском хлеба. Движение вокруг меня было так велико, что напоминало бал или банкет с той разницей, что все были в пальто и шапках, а за спиной тащили мешки. Двери хлопали по всему дому, вверх и вниз. Везде уже переходил слух об иностранной делегации, привезшей подарки; о том говорили на каждом повороте, в буфете и кулуарах.

— Вы слышали о делегации из Аргентины?

— Не из Аргентины, а из Испании.

— Из Испании, да.

— Ах, все равно, но скажите — что? что? жиры? А есть ли материя?

— Говорят, много всего и раздавать будут на следующей неделе.

— А что именно?

Некто авторитетный, громкий, с снисходящим взглянуть иногда вокруг сводом бровей, утверждал, что делегация прибыла с острова Кубы.

— А не из Саламанки?

— Нет, с Кубы, с Кубы, — говорили, проходя, всеведущие актрисы.

— Как, с Кубы?

Уже родился каламбур, и я слышал его дважды: «Кубу от Кубы». Две молодые девушки, сбегая по лестнице, как это делают девушки, то есть через ступеньку, остановили своих знакомых, крикнув:

— Шоколад! Да-с!

Оживились даже старухи и те сутуловатые, близоручные люди в очках, с лицами, лишенными заметной растительности, которые кажутся бесчувственными и которым всегда узко пальто. Во взглядах появился знак душевного равновесия. Голодные лица, с напряженной заботой о еде в усталых глазах, спешили повторить новость, а кое-кто направился уже в канцелярию с точностью разузнать обо всем.

Так прошло несколько времени, пока я толкался на мраморной лестнице, украшенной статуями, и пил в буфете чай, сидя за стеклянным столом под пальмой,— ранее в помещении этом был зимний сад. Не понимая, отчего хлеб пахнет рыбой, взглянул я на руку, заметил приставшую чешую и вспомнил леща, который торчал в кармане. Утолкав удобнее леща, чтобы не тер хвостом локтя, я поднял голову и увидел Афанасия Терпугова, давно знакомого мне повара из ресторана «Мадрид». Это был сухой, пришибленный человек с рыскающим взглядом и некоторой манерностью в выражении лица; тонкие, плотно сжатые его губы были выбриты, а смотрел он поверх очков.

На нем были длинное, как труба, пальто и тесная мерлушковая шапка. Человек этот, шутя, дергал за хвост моего леща.

— С припасцем! — сказал Терпугов. — А я думал сначала сечка, боялся порезаться, хе-хе-хе!

— А, здравствуйте, Терпугов, — ответил я. — Вы что здесь делаете?

— Да вот один знакомый хлопотал для меня место в лавке или на кухне. Так я зашел ему сказать, что отказываюсь.

— Куда же вы поступили?

— Как куда? — сказал Терпугов. — Впрочем, вы этого дела еще не знаете. Одно вам скажу, — приходите завтра в «Мадрид». Я снял ресторан и открываю его. Кухня — мое почтение! Ну, да вы знаете, вы мои расстегаи, подвыпивши, на память с собой брали, помните? И говорили: «К стенке приколочу, в рамку вставляю». Хе-хе! Бывало! Вот еще польские колдуны с маслом... Ну, ну, я ведь вас дразнить не хочу. Далее — оркестр, первейший сорт, какой мог только найти. Ценой не обижу, а уж так и быть, для открытия, сыграем вам испанские танцы.

— Однако, Терпугов, — сказал я, поперхнувшись от изумления, — вы соображаете, что говорите?! Что, вам одному, противу всех правил, разрешат такое дело, как «Мадрид»? Это в двадцать-то первом году?

Здесь произошло со мной нечто, подобное всем известному моменту раздвоения зрения, когда все видишь вдвойне. Что-то мешало смотреть, ясно видеть перед собой. Терпугов отдалился, потом стал виден еще далее, и, хотя стоял он рядом со мной, против окна, я видел его на фоне окна,

как бы вдали, нюхающего табак с задумчивым видом. Он говорил, словно и не обращаясь ко мне, а в сторону:

— Там как вы хотите, а приходите. Ко всему тому отдайте-ка мне леща, а я вымочу, вычищу — да обработаю под кашу и хрен со сметаной, уж будете вы довольны! Я думаю, что у вас и дров нет.

Продолжая дивиться, я протер глаза и снова овладел зрением.

— Хотя говорите вы чепуху, — сказал я с досадой, — леща, однако, возьмите, потому что мне не изготовить его самому. Берите! — повторил я, вручая рыбу.

Терпугов внимательно осмотрел ее, потрепал хвост и даже заглянул в рот.

— Рыба хороша, жирна, — сказал он, пряча леща за пазуху. — Будьте покойны. Терпугов знает свое дело, — все косточки удалю. Пока до свидания! Так не забудьте, завтра в «Мадриде» в восемь часов открытие!

Он тронул шапочку, шаркнул ногой, серьезно посмотрел на меня и исчез за стеклянной дверью.

— Бедняга рехнулся! — сказал я, выходя на лестницу к резным дверям Розового Зала. Я отогрелся, голод так не мучил меня, и я, вспомнив Терпугова, улыбнулся, думая: «Лещ попал к Терпугову. Какая странная у леща судьба!»

VII

Массивная двойная дверь зала была полуотворена. Едва я подошел к ней, как несколько лиц высшей администрации, с портфелями и без оных, ворвались мимо меня в дверь один за другим, заглядывая через головы передних, — так все они торопились увидеть нечто, без сомнения, связанное с испанцами. Я помнил разговор в воротах, а потому заглянул сам и увидел, что большой зал полон народом. Пожав плечами, в знак равенства, степенно вошел и я, как было довольно тесно, стал несколько в стороне, наблюдая происходящее.

Обычно занят был этот зал канцелярской работой, но теперь столы были сдвинуты к стенам, а машины куда-то исчезли. Один большой стол, накрытый синим сукном, стоял ближе к дальней, от двери, стене, меж зеркальных окон с видом на занесенную снегом реку. По правому кон-

цу стола восседал президиум КУБУ, а по левому — тот рыжий человек в берете и плаще с горностаевым отложным воротником, которого видел я у ворот. Он сидел прямо, слегка откинувшись на твердую спинку стула, и обводил взглядом собрание. Его правая рука лежала прямо перед ним на столе, сверх бумаг, а левой он небрежно шевелил шейную золотую цепь, украшенную жемчугом. Его три спутника стояли сзади него, выказывая лицами и позой терпение и внимание. Перед столом возвышалась баррикада тюков, зашитых в кожу и холст, и я подивился, что администрация разрешила внести сюда столько товаров.

Смотря крайне внимательно, я в то же время слышал, что говорят и шепчут с разных сторон. Публика была обыкновенная, п а й к о в а я публика: врачи, инженеры, адвокаты, профессора, журналисты и множество женщин. Как я узнал скоро, набились они все сюда постепенно, но быстро, привлеченные оригиналами — делегатами.

Основное качество «слуха» есть тончайшая эманация факта, всегда истинная по природе своей, какую бы уродливую форму ни придумал ей наш аппарат восприятия и распространения, то есть ум и его лукавый слуга — язык. Поэтому я слушал не безразлично. Дыша мне в затылок, сказал кто-то соседу:

— Этот испанский профессор — странный человек. Говорят, большой оригинал и с ужаснейшими причудами: ездит по городу на носилках, как в средние века!

— Да профессор ли он? А знаете, что я слышал? Говорят, что эта личность не та, за кого себя выдает!

— Вот те на!

— А что прикажете думать?!

Стоявшая впереди меня, протискалась назад, к разговаривающим, подслушивая их, старуха, и приняла немедленно участие в обсуждении дела.

— Что же это такое и как же понять? — прошамкала она лягушачьим ртом; серые жадные ее глаза таинственно просветлели. Она понизила голос:

— А мне, мне, слушайте-ка меня, слышите? Будто, говорят, проверили полномочия, а печать-то не та, нет...

Я понял, что общественный нюх работает. Но не было времени прислушиваться к другим шепотам потому, что комиссия потребовала удаления посторонних.

Испанец, встав, кратко повел рукой.

— Мы просим,— сказал он сильным и звучным голосом,— разрешить остаться здесь всем, так как мы рады быть в обществе тех, кому привезли скромные наши подарки.

Переводчик (это был литератор, выпустивший в печать несколько томов испанской словесности) оказался не совсем сведущим в языке. Он перевел: «мы должны быть», неверно, на что, протискавшись вперед, я тотчас же указал.

— Сеньор кабалерро знает испанский язык? — обратился ко мне приезжий с обольстительной змеиной улыбкой и стал вдруг глядеть так пристально, что я смутился. Его черно-зеленые глаза с острым стальным зрачком направились на меня взглядом, напоминающим хладнокровно засученную руку, погрузив которую в мешок до самого дна неумолимо нащупывает там человек искомый предмет.

— Знаете испанский язык? — повторил иностранец. — Хотите быть переводчиком?

— Сеньор,— возразил я,— я знаю испанский язык, как русский, хотя никогда не был в Испании. Я знаю, кроме того, английский, французский и голландский языки; но ведь переводчик уже есть?!

Произошел общий перекрестный разговор между мной, испанцем, переводчиком и членами комиссии, причем выяснилось, что переводчик сознает несовершенное знание им языка, а потому охотно уступает мне свою роль. Испанец ни разу не взглянул на него. По-видимому, он захотел, чтоб переводил я. Комиссия, устав от переполоха, тоже не возражала. Тогда, обратясь ко мне, испанец назвал себя:

— Профессор Мигуэль-Анна-Мария-Педре-Эстебан-Алонзе-Бам-Гран,— на что ответил я так, как следовало, то есть:

— Александр Каур (мое имя),— после чего заседание вновь приняло официальный характер.

Пока что я переводил обычный обмен приветствий, выражаемых, поочередно, комиссией и испанцем, составленных в духе того времени и не заслуживающих подробной передачи теперь. Затем Бам-Гран прочел список даров, присланных учеными острова Кубы. Перечень этот вызвал общее удовольствие. Два вагона сахара, пять тысяч килограммов кофе и шоколада, двенадцать тысяч — маиса, пятьдесят бочек оливкового масла, двадцать — апельсинового варенья, десять — хереса и сто ящиков манильских сигар. Все было уже взвешено и погружено в кладовые. Но

те тюки, что лежали перед столом, заключали вещи, о чем Бам-Гран сказал только, что, с разрешения пайковой комиссии, он «будет иметь честь немедленно показать собранию все, что есть в тюках».

Как только перевел я эти слова, в зале прошел гул одобрения: предстояло зрелище, вернее, дальнейшее развитие зрелища, во что уже обратилось присутствие делегации. Всем, а также и мне, стало отменно весело. Мы были свидетелями щедрого и живописного жеста, совершаемого картинно, как на рисунках, изображающих прибытие путешественников в далекие страны.

Испанцы переглянулись и стали тихо говорить между собой. Один из них, протянув руку к тюкам, вдруг улыбнулся и добродушно посмотрел на толпу.

— Все взрослые — дети, — сказал ему Бам-Гран довольно отчетливо, так что я расслышал эти слова; затем, поняв по моему лицу, что я расслышал, он наклонился ко мне и, заглядывая в глаза лезвием своих блестящих зрачков, шепнул:

«На севере диком, над морем,
Стоит одиноко сосна.
И дремлет,
И снегом сыпучим
Засыпана, стонет она.

Ей снится: в равнине,
В стране вечной весны,
Зеленая пальма... Отныне
Нет снов иных у сосны...»

VIII

Так мягко, так изысканно пошутил он, только пошутил, конечно, но мне как будто крепко пожали руку, и, с сильно забившимся сердцем, не обратив даже внимания, как смело и легко он придал в странном намеке своем особый смысл стихотворению Гейне, — смысл которого безграничен, — я нашелся лишь сказать:

— Правда? Что хотели вы выразить?

— Мы знаем кое-что, — сказал он обычным своим тоном. — Итак, приступите, кабалерро!

Едва настроение это, этот момент, подобный неожиданному звону струны, замер среди возни, поднявшейся вокруг

тюков, как я был снова погружен в свое дело, внимательно слушая отрывистые слова Бам-Грана. Он говорил о поспешности своего отъезда, извиняясь, что привез меньше, чем могло быть. Тем временем руки испанцев, с уверенностью кошачьих лап, взвились из-под плащей, сверкнув узкими ножами; повернув тыки, они рассекли веревки, затем быстро вспороли кожу и холст. Наступила тишина. Зрители толпились вокруг, ожидая, что будет. Было только слышно, как за дверью соседней комнаты телеграфически трещит пишущая машинка под угрюмой, ко всему равнодушной рукой.

К этому времени зал набился так плотно клиентами и служащими КУБУ, что видеть действие могли только стоящие впереди. Уже испанцы вынули из тюка коробку с темными, короткими свечками.

— Вот!— сказал Бам-Гран, беря одну свечку и ловко зажигая ее.— Это ароматические курительные свечи для освежения воздуха!

Сухой, бледной рукой поднял он огонек, и по накуреному скверным табаком залу прошло тонкое благоухание, напоминающее душистое тепло сада. Многие засмеялись, но тень недоумения легла на некоторых ученых физиономиях. Не расслышав моего перевода, эти люди сказали:

— А, свечи, хорошо! Наверное, есть и мыло!

Однако в большинстве лиц скользнуло разочарование.

— Если все подарки таковы...— сказал седой человек с красным носом багровому от переполняющей его мрачности молодому человеку, скрестившему на груди руки,— то что же это такое?

Молодой человек презрительно сощурил глаза и сказал:

— Н-да...

Меж тем работа шла быстро. Еще три тюка распались под движениями острых ножей. Появились куски замечательного цветного шелка, узорная кисея, белые панамские шляпы, сукно и фланель, чулки, перчатки, кружева и много других материй, видя цвет и блеск которых я мог только догадаться, что они лучшего качества. Разрезая тюк, испанцы брали кусок или образец, разворачивали его и опускали к ногам. Шелестя, одна за другой лились из смуглых их рук ткани, и скоро образовалась гора, как в магазине, когда приказчики выбрасывают на прилавок все новые и новые образцы. Наконец материи окончились. Лопнули,

упав, веревки нового тюка, и я увидел морские раковины, рассыпавшиеся с сухим стуком; за ними посыпались красные и белые кораллы.

Я отступил, так были хороши эти цветы дна морского среди складок шелка и полотна,— они хранили блеск подводного луча, проникающего в зеленую воду. Как стало смеркаться, зал был освещен электричеством, что еще больше заставило блестеть груды подарков.

— Это — очень редкие раковины,— сказал Бам-Гран,— и нам будет очень приятно, если вы возьмете их на память о нашем посещении и об океане, который там, далеко!..

Он обратился к помощникам, жестом торопя их:

— Живей, кабалерро! Не задерживайте впечатления! Сеньор Каур, передайте собранию, что пятьдесят гитар и столько же мандолин доставлено нами; вот мы сейчас покажем вам образцы.

Теперь шесть самых больших и длинных тюков встали перед нами на возвышение; развернув их, испанцы обнажили пальмовое дерево тонких, крепких ящиков и осторожно взломали их. Там, упакованные шерстяной ватой, лежали новые инструменты. Вынимая гитары, одну за другой, бережно, как спящих детей, испанцы вытирали их шелковыми платками, ставя затем к столу или опуская на кучи цветных материй. Но скоро класть стало некуда, как одну на другую, и пришлось попросить зрителей расступиться. Грифы, а также деки гитар цвета темной сигары были украшены перламутровой инкрустацией, местами — золотой тонкой резьбой.

Пока с ними возились, стоял смутный звон; иногда толчок гитары о дерево возвышал это беспорядочное звенение в нежный аккорд.

Скоро появились и мандолины, также украшенные перламутром и золотом. Мандолины, распространяя острый, металлический звон, вызываемый, произвольно, движениями людей, трогавших их, заняли весь стол и все пространство под ним. Работа эта была кончена сравнительно нескоро, так что я имел время всмотреться в лица членов комиссии и уразуметь их чрезвычайно напряженное состояние.

В самом деле, происходящее начало принимать характер драматической сцены с сильным декоративным моментом. Канцелярия, каравай хлеба, гитары, херес, телефоны, апельсины, пишущие машины, шелка и ароматы, валенки и

бархатные плащи, постное масло и кораллы образовали наглядным путем странно дегустированную смесь, попирающую серый тон учреждения звоном струн и звуками иностранного языка, напоминающего о жаркой стране. Делегация вошла в КУБУ, как гребень в волосы, образовав пусть недолгий, но яркий и непривычный эксцентр, в то время как центры административный и продовольственный невольно уступали пришельцу первенство и характер жеста. Теперь хозяевами положения были эти церемонные смуглые оригиналы, и гостеприимство не позволяло даже самого умеренного намека на желательность прекращения сцены, ставшей апофеозом непосредственности, раскинувшей пестрый свой лагерь в канцелярии «общественного снабжения». Вопреки обычаю, деловой день остановился. Служащие собрались отосюдо — из лавок, присутственных мест, агентур, кладовых, топливного отдела, из бани, парикмахерской, прачечной, из буфета и дежурных комнат, из библиотеки и санитарии, и если пришли не все, то без тех, кто не пришел, не могла двинуться ни одна бумага. Пайщики, пришедшие за пайком, отложили получение продуктов своих, не желая предпочесть то, что видели каждый день, редкому инциденту. Несколько скоро поспевающих, все и везде пронюхивающих шмыгальцев уже побежали в отдели хлопотать о выдаче им шоколада и хереса, чтобы, получив, таким образом, талоны, избежать грядущих очередей.

Хотя я проницал настроение членов комиссии, но должен был также принять в соображение, что теперь только один тюк — самый длинный, тщательнее всех иных заштукатуренный, остался нетронутым. Шел четвертый час дня, так что более получаса депутация в этом зале пробыть не могла. Зал, естественно, должен был затем быть заперт для учета и уборки разбросанного товара, а испанцы — перейти в комнату заседаний для делового окончания своего посещения КУБУ. По всему этому я уверился, что неприятностей не случится.

Испанцы ухватились за длинный тюк и поставили его вертикально. Ножи оттянули веревки тупым углом, и они, надрезанные, лопнули, упав вокруг тюка змеей. Тюк был зашит в несколько слоев полотна. Развертывая его, набросали кучу белых полос. Тогда, расцвечиваясь и золотясь, вышел из саженного кокона огромный свиток шелка, шириной футов пятнадцать и длиной почти во весь зал. Трепая

и распушивая его, испанцы разошлись среди расступившейся толпы в противоположные углы помещения, причем один из них, согнувшись, раскатывал сверток, а два других на вытягивающихся все выше руках донесли конец к стене и там, вскочив на стулья, прикрепили его гвоздями под потолок. Таким образом, наклонно спускаясь из отдаления, лег на весь беспорядок товарных груд замечательно искусный узор, вышитый по золотистому шелку карминными перьями фламинго и перьями белой цапли — драгоценными перьями Южной Америки. Жемчуг, серебряные и золотые блески, розовый и темно-зеленый стеклярус в соединении с другим материалом являли дикую и яркую красоту, овеянную нежностью композиции, основной мотив которой, быть может, был заимствован от рисунка кружев.

Шумя, ахая, множа шум шумом и в шуме становясь шумливыми еще больше, зрители смешались с комиссией, подступив к сверкающему изделию. Возник беспорядок удовольствия — истинный порядок естества нашего. И покрывало заколыхалось в десятках рук, трогавших его с разных сторон. Я выдержал атаку энтузиастов, требующих немедленно запросить Бам-Грана, кто и где смастерил такую редкую роскошь.

Смотря на меня, Бам-Гран медленно и внушительно произнес:

— Вот работа девушек острова Кубы. Ее сделали двенадцать самых прекрасных девушек города. Полгода вышивали они этот узор. Вы правы, смотря на него с заслуженным снисхождением. Прочтите имена рукодельниц!

Он поднял край шелка, чтобы все могли видеть небольшой венок, вышитый латинскими литерами, и я перевел вышитое: «Лаура, Мерседес, Нина, Пепита, Конхита, Паула, Винсента, Кармен, Инеса, Долорес, Анна и Клара».

— Вот что они просили передать вам, — громко продолжал я, беря поданный мне испанским профессором лист бумаги: «Далеким сестры! Мы, двенадцать девушек-испанок, обнимаем вас издалека и крепко прижимаем к своему сердцу! Нами вышито покрывало, которое пусть будет повешено вами на своей холодной стене. Вы на него смотрите, вспоминая нашу страну. Пусть будут у вас заботливые женщины, верные мужья и дорогие друзья, среди которых — все мы! Еще мы желаем вам счастья, счастья и счастья! Вот все. Простите нас, неученых, диких испанских девушек, расступших на берегах Кубы!»

Я кончил переводить, и некоторое время стояла полная тишина. Такая тишина бывает, когда внутри нас ищет выхода не переводимая ни на какие языки речь. Молча течет она...

«Далекие сестры...» Была в этих словах грациозная чистота смуглых девичьих пальцев, прокалывающих иглой шелк ради неизвестных им северянок, чтобы в снежной стране усталые глаза улыбнулись фантастической и пылкой вышивке. Двенадцать пар черных глаз склонились издалика над Розовым Залом. Юг, смеясь, кивнул Северу. Он дотянулся своей жаркой рукой до отмороженных пальцев. Эта рука, пахнувшая розой и ванильным стручком,— легкая рука нервного, как коза, создания, носящего двенадцать имен, внесла в повесть о картофеле и холодных квартирах наивный рисунок, подобный тому, что делает на полях своих книг Сетон Томпсон: арабеск из лепестков и лучей.

IX

На острие этого впечатления послышался у дверей шум,— настойчивые слова неизвестного человека, желавшего выбраться к середине зала.

— Позвольте пройти!— говорил человек этот сумрачно и многозначительно.

Я еще не видел его. Он восклицал громко, повышая свой режущий ухо голос, если его задерживали:

— Я говорю вам,— пропустите! Гражданин! Вы разве не слышите? Гражданка, позвольте пройти! Второй раз говорю вам, а вы делаете вид, что к вам не относится. Позвольте пройти! Позво...— но уже зрители расступились поспешно, как привыкли они расступаться перед всяким сердитым увальнем, имеющим высокое о себе мнение.

Тогда в двух шагах от меня просунулся локоть, отталкивающий последнего, заслоняющего дорогу профессора, и на самый край драгоценного покрывала ступил человек неопределенного возраста, с толстыми губами и вздернутой щеткой рыжих усов. Был он мал ростом и как бы надут— очень прямо держал он короткий свой стан; одет был в полушубок, валенки и котелок. Он стал, выпятив грудь, откинув голову, расставив руки и ноги. Очки его отважно блестели; под локтем торчал портфель.

Казалось, в лице этого человека вошло то невыразимое бабье начало, какому, обыкновенно, сопутствует истерика. Его нос напоминал треновый туз, выраженный тремя измерениями, дутые щеки стягивались к ноздрям, взгляд блеснул таинственно и зыскомерно.

— Так вот,— сказал он тем же тоном, каким горячился, протискиваясь,— вы должны знать, кто я. Я — статистик Ершов! Я все слышал и видел! Это какое-то обалдение! Чужь, чепуха, возмутительное явление! Этого быть не может! Я не... верю, не верю ничему! Ничего этого нет, и ничего не было! Это фантомы, фантомы! — прокричал он. — Мы одержимы галлюцинацией или угорели от жаркой железной печки! Нет этих испанцев! Нет покрывала! Нет плащей и горностаев! Нет ничего, никаких фиговых-лиглей! Вижу, но отрицаю! Слышу, но отвергаю! Опомнитесь! Ущипните себя, граждане! Я сам ущипнулся! Все равно, можете меня выгнать, проклинать, бить, задавить или повесить, — я говорю: ничего нет! Не реально! Не достоверно! Дым!

Члены комиссии повскакали и выбежали из-за стола. Испанцы переглянулись. Бам-Гран тоже встал. Закинув голову, высоко подняв брови и подбоченясь, он грозно улыбнулся, и улыбка эта была замысловата, как ребус. Статистик Ершов дышал тяжело, словно в беспамятстве, и вызывающе прямо глядел всем в глаза.

— В чем дело? Что с ним? Кто это?! — слышались босклидания.

Бегун, секретарь КУБУ, положил руку на плечо Ершова.

— Вы с ума сошли! — сказал он. — Опомнитесь и объясните, что значит ваш крик?!

— Он значит, что я более не могу! — закричал ему в лицо статистик, покрываясь красными пятнами. — Я в истерике, я вопию и скандалю, потому что дошел! Вскипел! Покрывало! На кой мне черт покрывало, да и существует ли оно в действительности?! Я говорю: это психоз, видение, черт побери, а не испанцы! Я, я — испанец, в таком случае!

Я переводил, как мог, быстро и точно, став ближе к Бам-Грану.

— Да, этот человек — не дитя, — насмешливо сказал Бам-Гран. Он заговорил медленно, чтобы я поспевал переводить, с несколько злой улыбкой, обнажившей его бе-

лые зубы.— Я спрашиваю кабалерро Ершова, что имеет он против меня?

— Что я имею?— вскричал Ершов.— А вот что: я прихожу домой в шесть часов вечера. Я ломаю шкаф, чтобы немного согреть свою конуру. Я пеку в буржуйке картошку, мою посуду и стираю белье! Прислуги у меня нет. Жена умерла. Дети заиндевели от грязи. Они ревут. Масла мало, мяса нет,— вой! А вы мне говорите, что я должен получить раковину из океана и глазеть на испанские вышивки! Я в океан ваш плюю! Я из розы папироску сверну! Я вашим шелком законопачу оконные рамы! Я гитару продам, сапоги куплю! Я вас, заморские птицы, на вертел насажу и, не ощипав, испеку! Я... эх! Вас нет, так как я не позволю! Скройся, видение, и, аминь, рассыпся!

Он разошелся, загремел, стал топтать ногами. Еще с минуту длилось оцепенение, и затем, вздохнув, Бам-Гран выпрямился, тихо качая головой.

— Безумный!— сказал он.— Безумный! Так будет тебе то, чем взорвано твое сердце: дрова и картофель, масло и мясо, белье и жена, но более — ничего! Дело сделано. Оскорбление нанесено, и мы уходим, уходим, кабалерро Ершов, в страну, где вы не будете никогда! Вы же, сеньор Каур, в любой день, как пожелаете, явитесь ко мне, и я заплачу вам за ваш труд переводчика всем, что вы пожелаете! Спросите цыган, и вам каждый из них скажет, как найти Бам-Грана, которому нет причин больше скрывать себя. Прощай, ученый мир, и да здравствует голубое море!

Так сказав, причем едва ли успел я произнести десять слов перевода,— он нагнулся и взял гитару; его спутники сделали то же самое. Тихо и высокомерно смеясь, они отошли к стене, став рядом, отставив ногу и подняв лица. Их руки коснулись струн... Похолодев, услышал я быстрые, глухие аккорды, резкий удар так хорошо знакомой мелодии: зазвенело «Фанданго». Грянули, как поцелуй в сердце, крепкие струны, и в этот набегающий темп вошло сухое щелканье кастаньет. Вдруг электричество погасло. Сильный толчок в плечо заставил меня потерять равновесие. Я упал, вскрикнув от резкой боли в виске, и среди гула, криков, беснования тьмы, сверкающей громом гитар, лишился сознания.

Я очнулся тяжело, как прикованный. Я лежал на спине. С потолка светила под зеленым абажуром электрическая лампа.

В голове, около правого виска, стояло неприятное онемение. Когда я повернул голову, онемение перешло в тупую боль.

Я стал осматриваться. Узкая, вся белая комната с покрытым белой клеенкой полом была, по-видимому, амбулаторией. Стоял здесь узкий стеклянный шкаф с инструментами и лекарствами, два табурета и белый пустой стол.

Я не был раздет, заключив поэтому, что ничего опасного не произошло. Моя фуражка лежала на табурете. В комнате никого не было. Ощупав голову, я нашел, что она забинтована, следовательно, я рассек кожу об угол стола или о другой твердый предмет. Я снял повязку. За ухом горел сильный, постреливающий ушиб.

На круглых стенных часах стрелки указывали полчаса пятого. Итак, я провел в этой комнате минут десять, пятнадцать.

Меня положили, перевязали, затем оставили одного. Вероятно, это была случайность, и я не сетовал на нее, так как мог немедленно удалиться. Я торопился. Припомнив все, я испытал томительное острое беспокойство и неуверенный порыв к движению. Но я был еще слаб, в чем убедился, привстав и застегивая пальто. Однако медицина и помощь неразделимы. Ключи висели в скважине стеклянного шкафа, и, быстро разыскав спирт, я налил полную большую мензурку, выпив ее с облегчением и великим удовольствием, так как в те времена водка была редкостью.

Я скрыл следы самоуправства, затем вышел по узкому коридору, достиг пустого буфета и спустился по лестнице. Проходя мимо двери Розовой Залы, я потянул ее, но дверь была заперта.

Я постоял, прислушался. Служащие уже покинули учреждение. Ни одна душа не попалась мне, пока я шел к выходной двери; лишь в вестибюле сторож подметал сор. Я поостерегся спросить его об испанцах, так как не знал в точности, чем закончилось дело, но сторож дал сам повод для разговора.

— Которые выходят в дверь,— сказал он,— это правильно. Не как духи или нечистая сила!

— В дверь или в окно, — ответил я, — какая разница?!

— В окно... — сказал сторож, задумавшись. — В окно, скажу вам, особь статья, если оно открыто. А испанцы после скандала вышли поперек стены. Так, говорят, прямо на Неву, и в том месте, слышь, где опустились, будто лед лопнул. Побежали смотреть.

— Как же это понять? — сказал я, надеясь что-нибудь разузнать дальше.

— Там разберут! — Сторож поплевал на ладони и стал мести. — Чудасня!

Покинув его одолевать непонятное, я вышел во двор. Сторож у ворот, в огромной шубе, не торопясь, поднялся со скамейки с ключами в руке и, всматриваясь в меня, пошел открывать калитку.

— Чего смотришь? — крикнул я, видя, что он назойливо следит за мной.

— Такая моя должность, — заявил он, — смотрю, как приказано не выпускать подозрительных. Слышали ведь?!

— Да, — сказал я, и калитка с треском захлопнулась.

Я остановился, соображая, как и где разыскать цыган. Я хотел видеть Бам-Грана. Это было страстное и безысходное чувство, понятие о котором могут получить игроки, тщетно разыскивающие шляпу, спрятанную женой.

О моя голова! Ей была задана работа в неподходящих условиях улицы, мороза и пустоты, пересекаемой огнями автомобилей. Озадаченный, я должен был бы сесть у камина в глубокое и покойное кресло, способствующее течению мыслей. Я должен был отдаться тихим шагам наития и, прихлебывая столетнее вино вишневого цвета, слушать медленный бой часов, рассматривая золотые углы. Пока я шел, образовался осадок, в котором нельзя уже было откинуть возникающие вопросы. Кто был человек в бархатном плаще, с золотой цепью? Почему он сказал мне стихотворение, вложив в тон своего шепота особый смысл? Наконец, «Фанданго», разыгранное ученой депутацией в разгаре скандала, внезапная тьма и исчезновение, и я, кем-то перенесенный на койку амбулатории, — какое объяснение могло утолить жажду рассудка, в то время как сверхрассудочное беспечно поглощало обильную алмазную влагу, не давая себе труда внушить мыслительному аппарату хотя бы слабое представление об удовольствии, которое оно испытывает беззаконно и абсолютно, — удовольствие той самой бессвязности и необъяснимости, какие со-

ставляют горшю муку каждого Ершова, и, как в каждом сидит Ершов, хотя бы и цыкнутый, я был в этом смысле настроен весьма пытливо.

Я остановился, стараясь определить, где нахожусь теперь, после полубеспамятного устремления вперед и без мысли о направлении. По некоторым домам я сообразил, что иду недалеко от вокзала. Я запустил руку в карман, чтобы закурить, и коснулся неведомого твердого предмета, вытащив который разглядел при свете одного из немногих озаренных окон желтый кожаный мешочек, очень туго завязанный. Он весил не менее как два фунта, и лишь горячностью своей я объясняю то обстоятельство, что не заметил ранее этой оттягивающей карман тяжести. Нажав его, я прошупал сквозь кожу ребра монет. «Теряясь в догадках...» — говорили ранее при таких случаях. Не помню, терялся ли я в догадках тогда. Я думаю, что мое настроение было как нельзя более склонно ожидать необъяснимых вещей, и я поспешил развязать мешочек, думая больше о его содержимом, чем о причинах его появления. Однако было опасно располагаться на улице, как у себя дома. Я присмотрел в стороне развалины и направился к их снежным проломам по холму из сугробов и щебня. Внутри этого хаоса вело в разные стороны множество грязных следов. Здесь валялись тряпки, замерзшие нечистоты; просветы чередовались с простенками и рухнувшими балками. Свет луны сплетал ямы и тени в один мрачный узор. Забравшись поглубже, я сел на кирпичи и, развязав желтый мешок, вытряхнул на ладонь часть монет, тотчас признав в них золотые пиастры. Сосчитав и пересчитав, я определил все количество в двести штук, ни больше, ни меньше, и, несколько ослабев, задумался.

Монеты лежали у меня между колен, на поле пальто, и я шевелил их, прислушиваясь к отчетливому прозрачному стуку металла, который звенит только в воображении или когда две монеты лежат на концах пальцев и вы соприкасаете их краями. Итак, в моем беспомоществе меня отыскала чья-то доброжелательная рука, вложив в карман этот небольшой капитал. Еще я не был в состоянии производить мысленные покупки. Я просто смотрел на деньги, пользуясь, может быть, бессознательно наставлением одного замечательного человека, который учил меня искусству смотреть. По его мнению, постичь душу предмета можно лишь, когда взгляд лишен нетерпения и усилия,

когда он, спокойно соединясь с вещью, постепенно проникается сложностью и характером, скрытыми в кажущейся простоте общего.

Я так углубился в свое занятие,— смотреть и перебирать золотые монеты,— что очень не скоро начал чувствовать помеху, присутствие посторонней силы, тонкой и точной, как если бы с одной стороны происходило легчайшее давление ветра. Я поднял голову, воображая, что бы это могло быть и не следит ли за моей спиной бродяга или бандит, невольно передавая мне свое алчное напряжение? Слева направо я медленным взглядом обвел развалины и не открыл ничего подозрительного, но хотя было тихо, а хрупко застоявшаяся тишина была бы резко нарушена малейшим скрипом снега или шорохом щебня,— я не осмеливался обернуться так долго, что наконец возмущился против себя. Я обернулся в д р у г. Стук крови отдался в сердце и голове. Я вскочил, рассыпав монеты, но уже был готов защищать их и схватил камень...

Шагах в десяти, среди смешанной и неверной тени, стоял длинный, худой человек, без шапки, с худым улыбающимся лицом. Он нагнул голову и, опустив руки, молча рассматривал меня. Его зубы блестели. Взгляд был направлен поверх моей головы с таким видом, когда придумывают, что сказать в затруднительном положении. Из-за его затылка шла вверх черная прямая черта, конец ее был скрыт от меня верхним краем амбразуры, через которую я смотрел. Обратный толчок крови, вновь хлынувшей к сердцу, возобновил дыхание, и я, шагнув ближе, рассмотрел труп. Было трудно решить, что это — самоубийство или убийство. Умерший был одет в черную сатиновую рубашку, довольно хорошее пальто, новые штиблеты, неподалеку валялась кожаная фуражка. Ему было лет тридцать. Ноги не достигли земли на фут, а веревка была обвязана вокруг потолочной балки. То, что он не был раздет, а также некая обстоятельность в прикреплении веревки к балке и — особенно — мелкие бесхарактерные черты лица, обведенного по провалам щек русой бородкой, склоняло определить самоубийство.

Прежде всего я подобрал деньги, утрамбовал их в мешочек и спрятал во внутренний карман пиджака; затем задал несколько вопросов пустоте и молчанию, окружавшим меня в глухом углу города. Кто был этот безрадостный и беспечальный свидетель моего счета с необъясни-

мым? Укололся ли он о шип, пытаясь сорвать розу? Или это — отчаявшийся дезертир? Кто знает, что иногда приводит человека в развалины с веревкой в кармане? Быть может, передо мной висел неудачный администратор, отступник, разочарованный, торговец, потерявший четыре вагона сахара, или изобретатель «перепетуум-мобиля», случайно взглянувший в зеркало на свое лицо, когда проверял механизм? Или хищник, которого родственники усердно трясли за бороду, приговаривая: «Вот тебе, коршун, награда за жизнь воровскую твою!» — а он не снес и уничтожил себя?

И это и все другое могло быть, но мне было уже нестерпимо сидеть здесь, и я, миновав всего лишь один квартал, увидел как раз то, что разыскивал, — уединенную чайную.

На подвальном этаже старого и мрачного дома желтела вывеска, часть тротуара была освещена снизу заплывшими сыростью окнами. Я спустился по крутым и узким ступеням, войдя в относительно тепло просторного помещения. Посреди комнаты жарко трещала кирпичная печь с железной трубой, уходящей под потолком в полутемные недра, а свет шел от потускневших электрических ламп; они горели в сыром воздухе тускло и красновато. У печки дремала, зевая и почесывая под мышкой, простоволосая женщина в валенках, а буфетчик, сидя за стойкой, читал затрепанную книгу. На кухне бросали дрова. Почти никого не было, лишь во втором помещении, где столы были без скатертей, сидело в углу человек пять плохо одетых людей дорожного вида; у ног их и под столом лежали мешки. Эти люди ели и разговаривали, держа лица в пару блюдец с горячим цикорием.

Буфетчик был молодой парень нового типа, с солдатским худощавым лицом и толковым взглядом. Он посмотрел на меня, лизнул палец, переворачивая страницу, а другой рукой вырвал из зеленой книжки чайный талон и загремел в жестяном ящике с конфетами, сразу выкинув мне талон и конфету.

— Садитесь, подадут, — сказал он, вновь увлекаясь чтением.

Тем временем женщина, вздохнув и собрав за ухо волосы, пошла в кухню за кипятком.

— Что вы читаете? — спросил я буфетчика, так как увидел на странице слова: «принцессу мою светлоокою...»

— Хе-хе! — сказал он. — Так себе, театральная пьеса.

«Принцесса Греза». Сочинение Ростанова. Хотите посмотреть?

— Нет, не хочу. Я читал. Вы довольны?

— Да,— сказал он нерешительно, как будто конфузясь своего впечатления,— так, фантазия... О любви. Садитесь,— прибавил он,— сейчас подадут.

Но я не отходил от стойки, заговорив теперь о другом.

— Ходят ли к вам цыгане? — спросил я.

— Цыгане? — переспросил буфетчик. Ему был, видимо, странный резкий переход к обычному от необычной для него книги.— Ходят.— Он механически обратил взгляд на мою руку, и я угадал следующие его слова:

— Это погадать, что ли? Или зачем?

— Хочу сделать рисунок для журнала.

— Понимаю, иллюстрацию. Так вы, гражданин,— художник? Очень приятно!

Но я все же мешал ему, и он, улыбнувшись, как мог широко, прибавил:

— Ходят их тут две шайки, одна почему-то еще не была этот день, должно быть, скоро придет... Вам подано! — и он указал пальцем стол за печкой, где женщина расставляла посуду.

Один золотой был зажат у меня в руке, и я освободил его скрытую мощь.

— Гражданин,— сказал я таинственно, как требовали обстоятельства,— я хочу несколько оживиться, поесть и выпить. Возьмите этот кружок, из которого не сделаешь даже пуговицы, так как в нем нет отверстий, и возместите мой ничтожный убыток бутылкой настоящего спирта. К нему что-либо мясное или же рыбное. Приличное количество хлеба, соленых огурцов, ветчины или холодного мяса с уксусом и горчицей.

Буфетчик оставил книгу, встал, потянулся и разобрал меня на составные части острым, как пила, взглядом.

— Хм...— сказал он.— Чего захотели!.. А что, это какая монета?

— Эта монета испанская, золотой пиастр,— объяснил я.— Ее привез мой дед (здесь я солгал ровно наполовину, так как дед мой, по матери, жил и умер в Толедо), но вы знаете, теперь не такое время, чтобы дорожить этими безделушками.

— Вот это правильно,— согласился буфетчик.— Обождите, я схожу в одно место.

Он ушел и вернулся через две-три минуты с прояснившимся лицом.

— Пожалуйте сюда,— объявил буфетчик, заводя меня за перегородку, отделяющую буфет от первого помещения,— вот сидите здесь, сейчас все будет.

Пока я рассматривал клетушку, в которую он меня привел — узкую комнату с желто-розовыми обоями, табуретками и столом со скатертью в жирных пятнах,— буфетчик явился, прикрыв ногой дверь, с подносом из лакированного железа, украшенным посередине букетом фантастических цветов. На подносе стоял большой трактирный чайник, синий с золотыми разводами, и такие же чашка с блюдцем. Особо появилась тарелка с хлебом, огурцами, солью и большим куском мяса, обложенным картофелем. Как я догадался, в чайнике был спирт. Я налил и выпил.

— Сдачи не будет,— сказал буфетчик,— и, пожалуйста, чтоб тихо и благородно.

— Тихо, благородно,— подтвердил я, наливая вторую порцию.

В это время, проскрипев, хлопнула наружная дверь, и низкий, гортанный голос странно прозвучал среди подвальной тишины русской чайной. Стукнули каблуки, открывшая снег; несколько человек заговорили сразу громко, быстро и непонятно.

— Явилось, фараоново племя,— сказал буфетчик,— хотите, посмотрите, какие они, может, и не годятся!

Я вышел. Посреди залы, оглядываясь, куда присесть или с чего начать, стояла та компания цыган из пяти человек, которых я видел утром. Заметив, что я пристально рассматриваю их, молодая цыганка быстро пошла ко мне, смотря беззастенчиво и прямо, как кошка, почуявшая рыбный запах.

— Дай погадаю,— сказала она низким, твердым голосом,— счастье тебе будет, что хочешь, скажу, мысли узнаешь, хорошо жить будешь!

Насколько раньше я быстро прекращал этот банальный речитатив, выставив левой рукой так называемую «джеттатуру» — условный знак, изображающий рога улитки двумя пальцами, указательным и мизинцем,— настолько же теперь, поспешно и охотно, ответил:

— Гадать? Ты хочешь гадать? — сказал я. — Но сколько тебе нужно заплатить за это?

В то время как цыгане-мужчины, сверкая чернейшими глазами, уселись вокруг стола в ожидании чая, к нам подошел буфетчик и старуха-цыганка.

— Заплатить,— сказала старуха,— заплатить, гражданин, можешь, сколько твое сердце захочет. Мало дашь — хорошо, много дашь — спасибо скажу!

— Что же, погадай,— сказал я,— впрочем, я вперед сам погадаю тебе. Иди сюда!

Я взял молодую цыганку за — о боги! — маленькую, но такую грязную руку, что с нее можно было снять копию, приложив к чистой бумаге, и потащил в свою конуру. Она шла охотно, смеясь и говоря что-то по-цыгански старухе, видимо, чувствующей поживу. Войдя, они быстро огляделись, и я усадил их.

— Дай корочку хлеба,— тотчас заговорила моя смуглая пифия и, не дожидаясь ответа, ловко схватила кусок хлеба, оторвав тут же половину огурца; затем принялась есть с характерным и естественным бесстыдством дикой степной природы. Она жевала, а старуха равномерно твердила:

— Положи на ручку, тебе счастье будет! — и, вытащив колоду черных от грязи карт, обслюнула большой палец.

Буфетчик заглянул в дверь, но, увидев карты, махнул рукой и исчез.

— Цыганки! — сказал я.— Гадать вы будете после меня. Первый гадаю я.

Я взял руку молодой цыганки и стал притворно всматриваться в линии смуглой ладони.

— Вот что скажу тебе: ты увидела меня, но не знаешь, что тебе придется сделать в самое ближайшее время.

— Ну, скажи, будешь цыган! — захохотала она.

Я продолжал:

— Ты скажешь мне...— и тихо прибавил,— как найти человека, которого зовут Бам-Гран.

Я не ожидал, что это имя подействует с такой силой. Вдруг изменились лица цыганок. Старуха, сдернув платок, накрыва лицо, по которому судорогой рванулся страх, и, согнувшись, хотела, казалось, провалиться сквозь землю. Молодая цыганка сильно выдернула из моей руки свою и приложила ее к щеке, смотря прямо и дико. Лицо ее побелело. Она вскрикнула, вскочив, оттолкнула стул, затем, быстро шепнув старухе, поспешно увела ее, оглядываясь, как будто я мог погнаться. Видя, что я улыбаюсь, она

опомнилась и, уже на пороге, кивнув мне, тяжело и порывисто дыша, сказала изменившимся голосом:

— Молчи! Все скажу, ожидай здесь; тебя не знаем, толковать будем!

Не знаю, струсил ли я, когда таким внезапным и резким образом подтвердилась сила странного имени, но мысли мои «захолонуло», как будто в ночи над ухом, чутким к молчанию, прозвучала труба. Нервно пожимаясь, выпил я еще чашку специи, основательно закусив мясом, но рассеянно, не чувствуя голода сквозь туман чувств, кипящих беззвучно. Тревожась от неизвестности, я повернул голову к перегородке, слушая загадочный тембр цыганского разговора. Они совещались долго, споря, иногда крича или понижая голос до едва слышного шепота. Это продолжалось немалое время, и я успел несколько поостыть, как вошли трое, обе цыганки и старик-цыган, кинувший мне еще через порог двусмысленный, резкий взгляд. Уже никто не садился. Говорили все стоя, с волнением, вогнавшим их в пот; его капли блестели на лбу старика и висках цыганок и, вздохнув, вытерли они его концом бахромчатого платка. Лишь старик, не обращая на них внимания, рассматривал меня в упор, молча, словно хотел изучить сразу, наспех, что скажет мое лицо.

— Зачем такое слово имеешь? — произнес он. — Что знаешь? Расскажи, брат, не бойся, свои люди. Расскажешь, мы сами скажем; не расскажешь, верить не можем!

Допуская, что это входит почему-либо в план обращения со мной, я, как мог толково и просто, рассказал об истории с испанским профессором, упустив многое, но назвав место и перечислив аксессуары. При каждом странном упоминании цыгане взглядывали друг на друга, говоря несколько слов и кивая, причем, увлекшись, на меня тогда не обращали внимания, но, кончив говорить между собой, все разом вцепились в мое лицо тревожными взглядами.

— Все верно говоришь, — сказала мне старуха, — истинную правду сказал. Слушай меня, что я тебе говорю. Мы, цыгане, его знаем, только идти не можем. Сам ступай, а как — скоро скажу. По картам тебе будет и что надо делать, — увидишь. Говорить по-русски плохо умею; не все сказать можно; дочка моя тебе объяснять будет!

Она вытаскивала карты и, потасовав их, пристально взглянула мне в глаза; затем положила четыре ряда карт,

один на другой, снова смешала и дала мне снять левой рукой. После этого вытащила она семь карт, расположив их неправильно, и повела пальцем, толкая по-цыгански молодой женщине.

Та, кашлянув, с чрезвычайно серьезным лицом нагнулась к столу, слушая, что твердит ей старуха.

— Вот,— сказала она, подняв палец и, видимо, затрудняясь в выборе выражений,— одно место, где был сегодня, туда снова иди, оттуда к нему пойдешь. Какое место, не знаю, только там твое сердце тронут. Сердце разгорелось твое,— повторила она,— что там увидел, тебе знать. Деньги обещал, снова прийти хотел. Как придешь, один будь, никого не пускай. Верно говорю? Сам знаешь, что верно. Теперь думай, что от меня слышал, чего видел.

Естественно, я мог только признать в этих указаниях Брока с его картиной солнечной комнаты и, соглашаясь, кивнул.

— Это правда,— сказал я,— сегодня случилось то, что ты рассказываешь. Теперь говори дальше.

— Туда придешь...— она выслушала старуху и стала размышлять, вытерев нос рукой.— Не просто можно прийти. Кого увидишь, ни с кем не говори, пока дело сделаешь. Что увидишь, ничего не пугайся, что услышишь, молчи, будто и нет тебя. Войдешь,— огонь потуши, и какое тебе средство дадим, разверни и в сторону положи, а двери запри, чтобы никто не вошел. Что сделается, что будет, сам поймешь и дорогу найдешь. Теперь денег дай, на карты положи, дай бедной цыганке, не жалея, брат, тебе счастье будет.

Старуха тоже начала попрошайничать.

— Сколько же тебе дать? — сказал я, не от колебания, а чтобы испытать эту силу привычки, не изменяющую им ни в каких случаях.

— Мало дашь — хорошо, много дашь — спасибо скажу! — повторили цыганки с напряжением и настойчивостью.

Запустив руку в карман, я взял в горсть восемь или десять пиастров, сколько захватил сразу.

— Ну, держи,— сказал я красавице.

Взглянув подобиоострастно и жадно, схватила она монеты. Одна упала, и ее проворно поймал старик; старуха рванулась с места, суя мне согбенную горсть.

— Положи, положи на ручку, не жалей бедной цыганке! — завопила она, пересыпая русские слова восклицаниями на цыганском языке. Все трое дрожали, то рассматривая монеты, то снова протягивая ко мне руки.

— Больше не дам, — сказал я, однако прибавил к даянию своему еще пять штук. — Замолчите или я скажу Бам-Грану!

Казалось, это слово имеет универсальное действие. Азарт смолк; лишь старуха вздохнула тяжело, как будто у нее умер ребенок. Поспешно спрятав монеты в тайниках своих шалей, молодая цыганка протянула старику руку ладонью вверх, чего-то требуя. Он начал спорить, но старуха прикрикнула, и, медленно расстегнув жилет, старик вытащил небольшой острый конус из белого металла, по которому, когда он блеснул при свете, мелькнула внутренняя зеленая черта. Тотчас цыган завернул конус в синий платок и подал мне.

— Не раскрывай на воздухе, — сказал цыган, — раскрой, как придешь, положи на стол. будешь уходить, снова заверни, а с собой не бери. Все равно у меня будет, место себе найдет. Ну, будь здоров, брат, чего не так сказали, — не сердись.

Он отступил к двери, делая цыганкам знак выйти.

— Скажи мне еще, кто такой Бам-Гран? — спросил я, но он только махнул рукой.

— У него спроси, — сказала старуха, — больше мы ничего не скажем.

Цыгане вышли, говоря друг с другом тихо, взволнованно и опасливо. Их поразил я. Я видел, что их изумление огромно, ошеломленность и поспешность угодить смешаны со страхом, что в их жизни произошло событие. Я сам волновался так сильно, что спирт не действовал. Я вышел и столкнулся с буфетчиком, который неоднократно заглядывал уже в дверь, однако не мешал нам, и я был ему за это крайне признателен. Цыганки обыкновенно уведят выгодного клиента за дверь или в другой укромный уголок, где заставляют его смотреть в воду, а также повторять какое-нибудь нехитрое заклинание, поэтому буфетчик мог думать, что, отложив рисование, поддался я соблазну узнать будущее.

— Убежали, фараоново племя! — сказал он, смотря на меня с мрачным интересом. — Чай им подали, они не стали пить, погорланили и ушли. Испугались они вас или как?

Я поддержал эту догадку, сообщив, что цыгане очень суеверны и их трудно уговорить позволить нарисовать себя незнакомому человеку. На том мы расстались, и я вышел на улицу, выдвинутую из тьмы строем теней. Луны не было видно, но светлый туман одевал небо, сообщая перспективе сонную белизну, переходящую в мрак.

Я отошел подальше, остановился и вытаскивал из внутреннего кармана пальто синий платок. В нем прошупывался конус. Я должен был узнать, почему цыгане запрещают обнажать эту вещь прежде, чем приду на место, то есть к Брокку, так как указание не поддавалось никакому другому толкованию. Говоря «должен», я подразумеваю долю скептицизма, которая еще осталась во мне вопреки странностям этого дня. К тому же разительная неожиданность, являющаяся, опрокинув сомнение, всегда слаще голой уверенности. Это я знал твердо. Но я не знал, что произойдет, иначе потерпел бы еще не один час.

Остановясь на углу, я развернул платок и увидел, что сверкание зеленой черты в конусе имеет странную форму приближающегося издалека света — точно так, как если бы конус был отверстием, в которое я наблюдаю приближение фонаря. Черта скрывалась, оставляя светлое пятно, или выступала на самой поверхности, разгораясь так ярко, что я видел собственные пальцы, как при свете зеленого угля. Конус был довольно тяжел, высотой дюйма четыре и с основанием в разрез яблока, совершенно гладкий и правильный. Его цвет старого серебра с оливковой тенью был замечателен тем, что при усилении зеленоватого света казался темно-лиловым.

Увлеченный и очарованный, я смотрел на конус, замечая, что вокруг зеленоватого сияния образуется смутный рисунок, движение частей и теней, подобных черному бумажному пеплу, колеблемому в печи при свете углей. Внутри конуса наметилась глубина, мрак, в котором отчетливо двигался ручной фонарь с зеленым огнем. Казалось, он выходит из третьего измерения, приближаясь к поверхности. Его движения были прихотливы и магнетичны; он как бы разыскивал скрытый выход, светя сам себе вверху и внизу. Наконец фонарь стал решительно увеличиваться, устремляясь вперед, и, как это бывает на кинематографическом экране, его контур, выросши, пропал за пределами конуса; резко, прямо мне в глаза сверкнул дивный зеленый луч. Фонарь исчез. Весь конус озарился сильнейшим бле-

ском, и не прошло секунды, как ужасное, зеленое зарево, хлынув из моих пальцев, разлилось над крышами города, превратив ночь в ослепительный блеск стен, снега и воздуха — возник зеленоватый день, в свете которого не было ни одной тени.

Этот безмолвный удар длился одно мгновение, равное судорожному сжатию пальцев, которыми я скрыл поверхность изумительного предмета. И, однако, это мгновение было чревато событиями.

Еще дрожал в моих пораженных глазах всеразрывающий блеск, полный слепых пятен, но, как гигантская стена, рухнул наконец мрак, такой мрак, благодаря мгновенному переходу от пределов сияния к густой тьме, что я, потеряв равновесие, едва не упал. Я шатался, но устоял. Весь трясась, я завернул конус в платок с чувством человека, только что швырнувшего бомбу и успевшего повернуть за угол. Едва я совершил это немеющими руками, как в разных местах города поднялся шум тревоги. Надо думать, что все, кто был в этот час на улицах, вскрикнули, так как со всех сторон донеслось далекое «а-а-а», затем послышался отскакивающий звук выстрелов. Лай собак, ранее редкий, возвысился до остервенения, как будто все собаки, соединясь, гнали одинокого и редкого зверя, соскучившегося в тесных трущобах. Мимо меня пробежали испуганные прохожие, оглашая улицу неистовыми и жалкими воплями. Нервно вспотев, я кое-как шел вперед. Во тьме сверкнул красный огонь; грохот и звон выскочили из-за угла, и дорогу пересек пожарный обоз, мчась, видимо, наудачу, куда придется. От факелов летел с дымом и искрами волнующий блеск пожара, отражаясь в блестящих касках адским трепетом. Колокольцы дуг били резкий набат, повозки гремели, лошади мчались, и все проскакало, исчезнув, как стремительная атака.

Что произошло еще в этот вечер с перепуганным населением, — я не узнал, так как подходил к дому, где жил Брок. Я поднялся по лестнице с тяжким сердцебиением, лишь крайним напряжением воли заставляя слушаться ноги. Наконец я достиг площадки и отдышался. В полной темноте я нащупал дверь, постучал и вошел, но ничего не сказал открывшему. Это был один из жильцов, знавший меня ранее, когда я жил в этой квартире.

— Вам Брок? — сказал он. — Его, кажется, нет. Он был недавно и ждал вас.

Я молчал, боясь произнести хотя одно слово, так как уже не знал, что за этим последует. Разумная мысль пришла мне: приложив руку к щеке, я стал ворочать языком и мычать.

— Ах, эта зубная боль! — сказал жилец. — Я сам хожу с дурной пломбой и часто лезу на стенку. Может быть, вы будете его ждать?

Я кивнул, разрешив, таким образом, затруднение, которое, хотя было пустячным, могло пресечь все мои дальнейшие действия. Брок никогда не запирал комнату, потому что при множестве коммерческих дел интересовался оставляемыми на столе записками. Таким образом, ничто не мешало мне, но если бы я застал Брока дома, на этот случай был мной уже придуман хороший выход: дать ему, ни слова не говоря, золотую монету и показать знаками, что хорошо бы достать вина.

Схватясь за щеку, я вошел в комнату, благодаря впустившего меня кивком и кислой улыбкой, как надлежит человеку, помраченному болью, и тщательно прикрыл дверь. Когда в коридоре затихли шаги, я повернул ключ, чтобы мне никто не мешал. Осветив жилье Брока, я убедился, что картина солнечной комнаты стоит на полу, между двумя стульями, у простенка, за которым лежала ночная улица. Эта подробность имеет безусловное значение.

Подступив к картине, я всмотрелся в нее, стараясь понять связь этого предмета с посещением мною Бам-Грана. Как ни был силен толчок мыслям, произведенный ужасным опытом на улице, даже вдвое более раскаленный мозг не привел бы сколько-нибудь сносной догадки. Еще раз подивился я великой и легкой живости прекрасной картины. Она была полна летним воздухом, распространяющим изящную полуденную дремоту вещей, ее мелочи, недопустимые строгим мастерством, особенно бросались теперь в глаза. Так, на одном из подоконников лежала снятая женская перчатка, — не на виду, как поместил бы такую вещь искатель легких эффектов, но за деревом открытой оконной рамы; сквозь стекло я видел ее, снятую, маленькую, существующую о с о б о, как существовал особо каждый предмет на этом дикийном полотне. Более того, следя взглядом возле окна с перчаткой, я заметил медный шарнир, каким укрепляются рамы на своем месте, и шляпки винтов шарнира, причем было заметно, что поперечное углубление шляпок замазано

высохшей белой краской. Отчетливость всего изображения была не меньше, чем те цветные отражения зеркальных шаров, какие ставят в садах. Уже начал я размышлять об этой отчетливости и подозревать, не расстроено ли собственное мое зрение, но, спохватясь, извлек из платка конус и стал, оцепенев, всматриваться в его поверхность.

Зеленая черта едва блистала теперь, как бы подстерегая момент снова ослепить меня изумрудным блеском, с силой и красотой которого я не сравню даже молнию. Черта разгорелась, и из тьмы конуса выбежал зеленый фонарь. Тогда, положась на судьбу, я утвердил конус посередине стола и сел в ожидании.

Прошло немного времени, как от конуса начал исходить свет, возрастая с силой и быстротой направляемого в лицо рефлектора. Я находился как бы внутри зеленого фонаря. Все, за исключением электрической лампы, казалось зеленым. В окнах до отдаленнейших крыш протянулись яркие зеленые коридоры. Это было озарением такой силы, что, казалось, развалится и сгорит дом. Странное дело! Вокруг электрической лампы начала сгущаться желтая масса, дымящаяся золотым паром; она, казалось, проникает в стекло, крутясь там, как кипящее масло. Уже не было видно проволочной раскаленной петли, вся лампочка была подобна пылающей золотой груше. Вдруг она треснула звуком выстрела; осколки стекла разлетелись вокруг, причем один из них попал в мои волосы, и на пол пролились пламенные желтые сгустки, как будто сбросили со сковороды кипящие яичные желтки. Они мгновенно потухли, и один зеленый свет, едва дрогнув при этом, стал теперь вокруг меня как потоп.

Излишне говорить, что мои мысли и чувства лишь отдаленно напоминали обычное человеческое сознание. Любое, самое причудливое сравнение даст понятие лишь об усилиях моих сравнить, но ничего — по существу. Надо пережить самому такие минуты, чтобы иметь право говорить о никогда не испытанном. Но, может быть, вы оцените мое напряженное, все отмечающее смятение, если я сообщу, что, задев случайно рукой о стул, я не почувствовал прикосновения так, как если бы был бестелесен. Следовательно, нервная система моя была поражена до физического бесчувствия. Поэтому здесь предел памяти о том, что было испытано мной душой, с чем согласится всякий, участвовавший хотя бы в штыковом бою: о себе не помнят,

действуя тем не менее точно так, как следует действовать в опасной борьбе.

То, что произошло затем, я приведу в моей последовательности, не ручаясь за достоверность.

— Откройте! — кричал голос из непонятного мира и как бы по телефону, издалека.

Но это ломились в дверь. Я узнал голос Брока. Последовал стук кулаком. Я не двигался. Рассмотрев дверь, я не узнал этой части стены. Она поднялась выше, имея вид арки с запертыми железными воротами, сквозь верхний ажур которых я видел глубокий свод. Больше я не слышал ни стука, ни голоса. Теперь, куда я ни оглядывался, везде наметились разительные перемены. С потолка спускалась бронзовая массивная люстра. Часть стены, выходящей на улицу, была как бы уничтожена светом, и я видел в открывшемся пространстве перспективу высоких деревьев, за которыми сиял морской залив. Направо от меня возник мраморный балкон с цветами вокруг решетки; из-под него вышел матадор с обнаженной шпагой и бросился сквозь пол, вниз, за убегающим быком. Вокруг люстры сверкала живопись. Это смешение несоединимых явлений образовало подобие набросков, оставляемых ленью или задумчивостью на бумаге, где профили, пейзажи и арабески смешаны в условном порядке минутного настроения. То, что оставалось от комнаты, было едва видимо и с изменившимся существом. Так, например, часть картин, висевших на правой от входа стене, осыпалась изображениями фигур; из рам вывалились подобия кукол, предметов, образовав глубокую пустоту. Я запустил руку в картину Горшкова, имевшую внутри форму чайного цыбика, и убедился, что ели картины вставлены в деревянную основу с помощью столярного клея. Я без труда отломил их, разрушив по пути избу с огоньком в окне, оказавшимся просто красной бумагой. Снег был обыкновенной ватой, посыпанной нафталином, и на ней торчали две засохшие мухи, которых раньше я принимал за классическую «пару ворон». В самой глубине ящика валялась жестянка из-под ваксы и горсть ореховой скорлупы.

Я повернулся, не зная, что предстоит сделать, так как, согласно указаниям, мое положение было лишь выжидательным.

Вокруг сверкал движущийся световой хаос. Под роялем стояли дикий камень и лесной пенёк, обросший травой. Все колебалось, являлось, меняло форму. По каменистой тро-

пе мимо меня пробежал осел, нагруженный мехами с вином; его погонщик бежал сзади, загорелый босой детина с повязкой на голове из красной бумажной материи. Против меня открылось внутрь комнаты окно с железной решеткой, и женская рука выплеснула с тарелки помои. В воздухе, под углом, горизонтально, вертикально, против меня и из-за моих плеч проходили, исчезая в пропастях зеленого блеска, неизвестные люди южного типа; все это было отчетливо, но прозрачно, как окрашенное стекло. Ни звука: движение и молчание. Среди этого зрелища едва заметной чертой лежал угол стола с блистающим конусом. Находя, что потрудился довольно, и опасаясь также за целостность рассудка, я бросил на конус свой карманный платок. Но не наступил мрак, как я ожидал, лишь пропал разом зеленый блеск и окружающее восстало вновь в прежнем виде. Картина солнечной комнаты, приняв несравненно большие размеры, напоминала теперь открытую дверь. Из нее шел ясный дневной свет, в то время как окна брокковского жилища были по-ночному черны.

Я говорю: «Свет шел из нее», потому что он, действительно, шел с этой стороны, от открытых внутри картины высоких окон. Там был день, и этот день сообщал свое ясное озарение моей территории. Казалось, это и есть путь. Я взял монету и бросил ее в задний план того, что продолжал называть картиной; и я видел, как монета покати-лась через весь пол к полуоткрытой в конце помещения стеклянной двери. Мне оставалось только поднять ее. Я перашагнул раму с чувством сопротивления встречных вихрей, бесшумно ошеломивших меня, когда я находился в плоскостях рамы; затем все стало, как по ту сторону дня. Я стоял на твердом полу и машинально взял с круглого лакированного стола несколько лепестков, ощутив их шелковистую влажность. Здесь мной овладело изнеможение. Я сел на плюшевый стул, смотря в ту сторону, откуда пришел. Там была обыкновенная глухая стена, обтянутая обоями с лиловой полоской, и на ней, в черной узкой раме, висела небольшая картина, имевшая, бессознательно для меня, отношение к моим чувствам, так как, совладав с слабостью, естественной для всякого в моем положении, я поспешно встал и рассмотрел, что было изображено на картине. Я увидел изображение, сделанное превосходно: вид плохой, плохо обставленной комнаты, погруженной в едва прорезанные лучом топящейся печи сумерки; и это

была железная печь в той комнате, из которой я перешел сюда.

Я принадлежу к числу людей, которых загадочное не поражает, не вызывает дикого оживления и расстроенных жестов, перемешанных с криками. Уже было довольно загадочного в этот зимний день с воткнутым в самое его горло льдистым ножом мороза, но ничто не было так красноречиво загадочно, как это явление скрытой без следа комнаты, отраженной изображением. Я кончил тем, что завязал в памяти узелок: спокойно я подошел к окну и твердой рукой отвел раму, чтобы разглядеть город. Каково было мое спокойствие, если теперь, только вспоминая о нем, я волнуясь неимоверно, нетрудно представить. Но тогда это было спокойствие — состояние, в каком я мог двигаться и смотреть.

Как можно понять уже из прежних описаний моих, помещение, залитое резким золотым светом, было широкой галереей с большими окнами по одной стороне, обращенной к постройкам. Я дышал веселым воздухом юга. Было тепло, как в полдень в июне. Молчание прекратилось. Я слышал звуки, городской шум. За уступами крыш, разбросанных ниже этого дома, до судовых мачт и моря, блестящего чеканной синевой волн, стучали колеса, пели петухи, нестройно голосили прохожие.

Ниже галереи, выступая из-под нее, лежала терраса, окруженная садом, вершины которого зеленели наравне с окнами. Я был в подлинно живом, но неизвестном месте и в такое время года или под такой широтой, где в январе палят зной.

Стая голубей перелетела с крыши на крышу. Пальнула пушка, и медленный удар колокола возвестил двенадцать часов.

Тогда я все понял. Мое понимание не было ни расчетом, ни доказательством, и мозг в нем не участвовал. Оно явилось подобно горячему рукопожатию и потрясло меня не меньше, чем прежнее изумление. Это понимание охватывало такую сложную сущность, что могло быть ясным только одно мгновение, как чувство гармонии, предшествующее эпилептическому припадку. В то время я мог бы рассказать о своем состоянии лишь сбитые и косноязычные вещи. Но само по себе, внутри, понимание возникло без недочетов, в резких и ярких линиях, характером невиданного узора.

Затем оно стало уходить вниз, кивая и улыбаясь, как женщина, посылающая со скрывающих ее ступеней лестницы прощальный привет.

Я был снова в границе обычных чувств. Они вернулись из огненной сферы опаленные, но собранные твердо и точно. Мое состояние мало отличалось теперь от обычного состояния сдержанности при любом разительном эпизоде.

Я прошел в дверь и пересек сумерки помещения, которое не успел рассмотреть. Ступени, покрытые ковром, вели вниз. Я спустился в большую комнату с низким потолком, очень светлую, заставленную красивой мебелью, с диванами и цветами. Ее стены были обиты пестрым шелком. На полпути я был остановлен взглядом Бам-Грана, сидевшего на диване с тростью и шляпой в руке; он дразнил куском печенья фокстерьера, скакавшего с забавным лаем, в восторге и от неудач и от ожидания.

Бам-Гран был в костюме цвета морской воды. Его взгляд напоминал конец бича, мелькающий в воздухе.

— Я знал, что увижу вас,— сказал он,— и, хотя собрался гулять, предоставляю себя в ваше полное распоряжение. Если хотите, я назову город. Это — Зурбаган, Зурбаган в мае, в цвету апельсиновых деревьев, хороший Зурбаган шутников, подобных мне!

Говоря так, он расстался с печеньем и, встав, пожал мою руку.

— Вы смелы, дон Каур,— воскликнул он,— и это мне нравится, как все значительное. Что чувствуете вы, одолев тысячи миль?

— Жажду,— сказал я.— Воздушное давление изменилось, а волнение было велико!

— Я понимаю.

Он сжал мордочку фокса своими тонкими пальцами и, заглядывая с улыбкой в его восторженные глаза, приказал:

— Ступай, скажи Ремму, что у нас гость. Пусть даст вина и льду.

Собака, твякнув, унеслась прочь.

— Нет, нет,— сказал Бам-Гран, заметив мое невольное движение,— это лишь отличная дрессировка. Слово «Ремм» значит — бежать к Ремму, а Ремм знает сам, что сделать, завидев Пли-Пли. Между тем дорожите временем, сеньор Каур,— вы можете пробыть здесь только тридцать минут. Я не хотел бы, чтобы вы жалели об этом. Во всяком слу-

чае, мы успеем выпить по стакану вина. Ремм, как умильтельна твоя быстрота!

Вошел слуга. Он был в белой пижаме, с бритой головой. Поставив на стол поднос с кувшином из цветного стекла, в котором было вино, графин с гранатовым соком и лед в серебряной вазе, обложенный соломинками, он отступил и посмотрел на Бам-Грана взглядом обожания.

— Лед весь вышел, сеньор!

— Возьми в Норвежском фиорде или у Сибирской реки!

— Я взял Ремма с Тристан д'Акунья,— сказал Бам-Гран, когда тот ушел,— я взял его из страшной тайны зеркального стекла, куда он засмотрелся в особую для себя минуту. Выпьем!

Он погрузил соломинку в смесь льда с вином и задумчиво пососал ее, но я, измученный жаждой, просто опрокинул бокал в рот.

— Итак,— сказал он,— «Фанданго»! Это прекрасная музыка, и мы сейчас услышим ее в исполнении барселонского оркестра Ван-Герда.

Я взглянул с изумлением, так как действительно думал в этот момент о гитарах, грянувших замечательный танец, когда скрывался Бам-Гран. И я мысленно напевал его.

— Барселона не Зурбаган,— сказал я,— а потому не знаю, каким рад и о вы дадите этот оркестр!

— О простота! — заметил Бам-Гран, вставая с несколько заносчивым видом.— Ван-Герд, сыграйте нам «Фанданго» в переложении Вальтера.

Густой бас вежливо и коротко ответил из пустоты:

— Очень хорошо! Сейчас.

Я услышал кашель, шум, шорох нот, стук инструментов. Бам-Гран, закусив губу, прислушивался. Писк скрипичной струны оборвался при сухом стуке дирижерского жезла, и я посмотрел кругом, стараясь угадать шутку, но, вспомнив все, откинулся и стал ждать.

Тогда, как если бы оркестр был действительно здесь, хлынуло наконец полной мерой единственное «Фанданго», о котором я мог сказать, что слышал его при необычайном возбуждении чувств, и тем не менее оно еще подняло их до высоты, с которой едва заметна земля. Чрезвычайная чистота и пластичность этой музыки в соединении с совершенной оркестровкой заставила онеметь ноги. Я сам звучал, как зазвеневшее от грома стекло. С трудом понимал

я, что говорит рядом Бам-Гран, и бессмысленно посмотрел на него, кружась в стремительных кругообразных наплывах блестящего ритма. «Все уносит,— сказал тот, кто вел меня в этот час, подобно твердой руке, врезающей алмазом в стекло прихотливую и чудесную линию,— уносит, разбирает и разрывает,— говорит он,— гонит ветер и внушает любовь. Бьет по крепчайшим скрепам. Держит на горячей руке сердце и целует его. Не зовет, но сзывает вокруг тебя вихри золотых дисков, вращая их среди безумных цветов. Да здравствует ослепительное «Фанданго»!»

Оркестр замедлил и отпустил глухую паузу последнего перехода. Она перевернулась в сотрясающем нервы взрыве последнего ликования. Музыка взяла обаятельный верх, перенеслась там из вышины в вышину и трогательно, гордо сошла вниз, сдерживая экспрессию. Наступила тишина поезда, остановившегося у станции; тишина, резко обрывающая мелодию, напеваемую под стук бегущих колес.

Я очнулся, как приведенный в негодность часовой механизм, если ему качнуть маятник.

— Вы видите,— сказал Бам-Гран,— что у Ван-Герда действительно лучший оркестр в мире, и он для нас постарался. Теперь выйдем, так как время уходит, и если вы пробудете здесь еще десять минут, то, может быть, пожалееете о гостеприимстве Бам-Грана!

Он встал, я тоже поднялся с дымом в голове, все еще полный быстрым, как полет, ритмом фантастического оркестра. Мы прошли в дверь с синим стеклом и очутились на площадке каменной лестницы довольно грязного вида.

— Теперь мне не следует оставаться здесь,— сказал Бам-Гран, отходя в тень, где стал рисунком обвалившейся на стене известки, рисунком, имеющим, правда, отдаленное сходство с его острой фигурой.— Прощайте!

Голос прозвучал не то со двора, не то из хлопнувшей снизу двери, и я был снова один...

Лестница шла вниз узким семиэтажным пролетом.

В открытое окно площадки сиял летний голубой воздух. Внизу лежал очень знакомый двор — двор дома, в котором я жил.

Я осмотрел три двери, выходящие на площадку. На одной из них, под № 7, была медная доска с фамилией моей квартирной хозяйки: «Марья Степановна Кузнецова».

Под этой доской висела моя визитная карточка, кото-

рую я прикрепил кнопки. Карточка была на своем месте, но сама она изменилась.

Я прочел: «Александр Каур» и «и», выведенное чернилами «и». Оно было между верхней и нижней строкой. Нижняя строка, соединенная в смысле своем с верхней строкой этим с о ю з о м, была тоже прописана чернилами. Она гласила: «и Елизавета Антоновна Каур». Так! Я был у двери, за которой в отдаленной небольшой комнате меня ждала жена Лиза. Я вспомнил это, получив как бы сильный удар в лоб. Но я не очнулся, ибо последовательность только что окончивших владеть мною событий ярко текла взад. Я упал в этот момент, как спрыгнул бы в темноте на живое, закричавшее существо. Я ожил исчезнувшей без следа жизнью, с ужасом изнемогающего рассудка. Силы оставили меня; между тем два вышедших из пустоты года рванулись в сознание, как вода в лопнувшую плотину. Я грянул по двери кулаками и продолжал стучать, пока быстрые шаги Лизы и звук ключа не подтвердили законность неистовства моего перед лицом собственной жизни.

Я вскочил внутрь и обнял жену.

— Это ты?— сказал я.— Это ты, это ты?

Я сжимал ее, повторяя:

— Ты, ты, ты?..

— Что с тобой?— сказала она, освобождаясь, с пораженным, бледным лицом.— Ты не в себе? Почему так скоро вернулся?

— Скоро?!

— Пойдем.— Она сказала это с решительностью внезапного и крайнего возбуждения, вызванного испугом.

В дверях показались лица любопытных жильцов. Обычное возвращало утраченную власть; я прошел в комнату и сел на кровать.

Я сидел, не двигаясь. Лиза взяла с моей головы фуражку и повертела ее в руках.

— Слушай, что произошло?— сказала она глухо, в разрастающемся испуге.— На голове присохли волосы. Тебе больно? Обо что ты ударился?

— Лиза, скажи мне,— заговорил я, взяв ее за руку,— и не пугайся вопросов: когда я вышел из дома?

Она побледнела, но тотчас подчинилась таинственной внутренней передаче моего состояния. Ее голос был естественно звонок; не отрываясь, она смотрела в мои глаза. Слова были покорны и быстры.

— Ты вышел в почтовое отделение минут двадцать назад, может быть, полчаса.

— Я сказал что-нибудь, уходя?

— Я не помню. Ты слегка хлопнул дверью, и я слышала, как ты, уходя, насмивываешь «Фанданго».

Память сделала поворот, и я вспомнил, что пошел сдать заказное письмо.

— Какой теперь год?

— Двадцать третий год,— сказала она, заплакав, но не утирая слез и, вероятно, не замечая, что плачет.

Необычным было напряжение ее взгляда.

— Месяц?

— Май.

— Число?

— 23-е мая 1923 года. Я схожу в аптеку.

Она встала и быстро надела шляпу. Затем взяла со стола мелкие деньги. Я не мешал. Особенно взглянув на меня, жена вышла, и я услышал ее быстрые шаги к выходной двери.

Пока ее не было, я восстановил прошлое, не удивляясь ему, так как это было мое прошлое, и я отлично видел все его мельчайшие части, составившие эту минуту. Однако мне предстояла задача уложить в прошлое некую параллель. Физическое существо параллели выражалось желтым кожаным мешочком, который весил на моей руке те же два фунта, как и какое-то время тому назад. Затем я осмотрел комнату с полной связью между отдельными моментами мелькнувших двух лет и историей каждого предмета, как она ввязывает свою петлю в кружево бытия. И я устал, потому что снова пережил прожитое, как бы небывшее.

— Саша!— Лиза стояла передо мной, протягивая пухляк.— Это капли, прими двадцать пять капель. Прими...

Но следовало, наконец, дать движение и выход всему. Я посадил ее рядом с собой, сказав:

— Слушай и думай. Я вышел сегодня утром не из этой комнаты. Я вышел из той комнаты, в которой жил до встречи с тобой в январе 1921 года.

Сказав так, я взял желтый мешочек и высыпал на колени жены сверкающие пиастры.

Изобразить наш разговор и наше волнение после такого доказательства истины может только повторение этого

разговора при тех же условиях. Мы садились, вставали, садились опять и перебивали друг друга, пока я не рассказал случившегося со мной с начала до конца. Жена несколько раз вскрикивала:

— Ты бредишь! Ты пугаешь меня! И ты хочешь, чтобы я поверила?

Тогда я указывал ей на золотые монеты.

— Да, правда,— говорила она, закруженная безвыходным положением рассудка так, что могла только сказать:— Фу! Если я ничего не пойму, я умру!

Наконец она стала спрашивать и переспрашивать в глубоком утомлении, почти механически, то смеясь, то падая головой на руки и обливаясь слезами. Я был спокойнее. Мое спокойствие постепенно передавалось ей. Уже стало темнеть, когда она подняла голову с расстроенным и значительным видом, озаренным улыбкой.

— Ну, я просто дура!— сказала она, прерывисто вздыхая и начиная поправлять волосы,— признак конца душевной бури.— Очень понятно! Все перевернулось и в перевернутии оказалось на своем месте!

Я подивился женской способности определять положение двумя словами и должен был согласиться, что точность ее определения не оставляет желать ничего лучшего.

После этого она снова заплакала, и я спросил — почему?

— Но ведь тебя не было два года!— проговорила она с ужасом, сердито вертя пуговицу моего жилета.

— Ты сама знаешь, что я не был дома тридцать минут.

— А все-таки...

С этим я согласился, и, еще немного поговорив, Лиза, как сраженная, уснула крепчайшим сном. Я вышел быстро и тихо,— стремясь по следам жизни или видения? На это, ощупывая в жилетном кармане золотые кружки, я не мог и не могу дать положительного ответа.

Я достиг «Мадрида» почти бегом. В полупустом зале расхаживал Терпугов; увидев меня, он бросился ко мне, трясая мою руку с живостью хозяйственной и сердечной встречи.

— Вот и вы,— сказал он.— Присядьте, сейчас подадут. Ваня! Ихнего леща! Поди, спроси у Нефедина, готов ли?

Мы сели, стали говорить о разных вещах, и я сделал вид, что объяснять нечего. Все было просто, как в обык-

новенный день. Официант принес кушанье, открыл бутылку мадеры. На тарелке шипел поджаренный лещ, и я убедился, что это та самая рыба, которую я дал Терпугову, так как запомнил сломанную поперек жабру.

— Итак,— сказал я, не утерпев,— вы сдержали, Терпугов, свое слово, которое дали мне два года назад!

Он хитро посмотрел на меня.

— Хе-хе!— сказал бывший повар.— О чем вспомнили! Мы с вами вчера встретились, и леща вы несли с рынка, а я был выпивши и пристал к вам, ну, скажу прямо, чтобы вас затащить!

Он был прав. Я вспомнил это теперь с досадной неуязвимостью факта. Но я был тоже прав, и о правоте своей, склоняясь к уху Терпугова, шепнул:

«В равнине над морем зыбучим,
Снегом и зноем полна,
Во сне и в движенье текущем
Склоняется пальма-сосна».

— Хе-хе!— сказал он, наливая в стакан мадеру,— шутить извольте!

Был вечер. Моросил дождь.

БРАК АВГУСТА ЭСБОРНА

Посвящаю Нине Н. Грин

I

В 1903-м году, в Лондоне, женился Август Эсборн, человек двадцати девяти лет, красивый и состоятельный (он был пайщик судостроительной верфи), на молодой девушке, Алисе Безант, сироте, бывшей моложе его на девять лет. Эсборн недолго ухаживал за Алисой: ее зависимое положение в качестве гувернантки и способность Эсборна нравиться скоро определили желанный ответ.

Когда молодые приехали из церкви и вошли в квартиру Эсборна, всем было ясно, что гости и родственники Эсборна присутствуют при начале одного из самых счастливых совместных путей, начинаемых мужчиной и женщиной. Богатая квартира Эсборна утопала в цветах и огнях, стол сверкал пышной сервировкой, и музыканты встретили мужа и жену оглушительным тушем. Повеяло той наивной и эгоистической сердечностью, какая присуща счастливым. Выражение лица Алисы Эсборн и ее мужа определило настроение всех — это были две пары блаженных глаз с неудержимой улыбкой своего внутреннего мира.

Все между тем обратили внимание на то, что после первого тоста, сказанного полковником Рипсом, Эсборн, склонив лицо к руке, которой вертел цветок, о чем-то задумался. Когда он поднял голову, в его глазах мелькнула упор-

ная рассеянность, но это скоро прошло, и он стал шутить по-прежнему.

Когда ужин кончился и гости разъехались, Эсборн подошел к жене, посмотрел ей в глаза и, поцеловав руку, сказал, что выйдет из дома минут на десять для того, чтобы свежий воздух прогнал легкую головную боль. Закруженная всем этим днем, полным волнения и усталости счастья, Алиса неумело поцеловала Эсборна в склоненную голову и пошла к себе ожидать возвращения своего мужа.

Задумавшись, она сидела перед зеркалом, перебирая распущенные волосы и смотря в глубину стекла, где отражались ее широко раскрытые глаза. Здесь с ней произошла та ясная игра представлений, какая при воспоминании о ней подобна самой действительности. Алисе казалось, что ее жених-муж стоит сзади за стулом, но не отражается почему-то в зеркале. Такое чувство обеспокоило наконец молодую женщину; она встряхнула блестящими черными волосами и обернулась, хотя знала, что никого не увидит; и в тот момент часы на камине пробили полночь. Это значило, что прошел час, как вышел Эсборн,— час, исчезнувший в смуте и быстроте сменяющих одним другое напряженных чувств перемены судьбы.

Не зная, что думать, обеспокоенная женщина позвала слугу, попросила его обойти квартал и ближайший сквер, и когда слуга вернулся ни с чем, прошло еще полчаса. Между тем Алиса не могла найти места от тревоги. У нее было чувство, как если бы зимой открыли настежь все двери и окна в уютной квартире, впустив холод и тлен. Она позвонила в полицию уже около пяти часов утра, когда еле держалась на ногах. В полиции записали приметы исчезнувшего Эсборна и в быстром деловом темпе обещали принять «все меры».

В эту ужасную ночь Алиса похоронила свои мечты, мужа и свежесть ожидания счастливой душевной теплоты. Ее мозг получил сильное сотрясение. Еще два дня она ждала Эсборна, но утром третьего дня в ней как бы оборвался с страшной высоты последний камень, держась за который и изнемогая висела она над внезапной пустотой всего и во всем.

Она заболела, и ее, согласно ее желанию, перевезли в ее прежнюю комнату, в тот дом, где она служила гувернанткой. Хозяева приняли в ее судьбе исключительное участие. Когда она выздоровела, от брачной ночи у ослабевшей де-

вухи остался испуг — боязнь звонка и стука в дверь. Ей казалось, что войдет он, уже немыслимый и отвергнутый... Что бы с ним ни случилось, Алиса не могла бы теперь простить Эсборну, что он покинул ее среди ее первых доверчивых минут, пусть это было предположено им даже на одну минуту.

Прошел год, другой. С ней встретился человек, которого тронула ее история, полюбил ее и стал ее мужем.

II

Когда Август Эсборн вышел на улицу, то он вышел по подмигивающему веселому приказанию беса невинной мистификации. Он был охвачен счастьем и жадно дышал воздухом счастья. Его голова на самом деле не болела, и он вышел лишь оттого, что во время речи полковника, пожелевавшего новобрачным «провести всю жизнь рука об руку, не расставаясь никогда», представил со свойственной ему остротой воображения сильную радость встречи после разлуки. Он не был ни жестоким, ни грубым человеком, но случалось, что им овладевала сила, которой он не мог противиться, отчего объяснял ее как причуду. Это была несознанная жажда страдания и раскаяния. Эсборн вспомнил, как, еще мальчиком, любил прятаться в темный шкаф и выскакивал оттуда, лишь когда тревога в доме достигала крайних пределов, когда слуги сбивались с ног, разыскивая его. Сам радуясь и терзаясь, с плачем кидался он к матери весь в слезах, как бы в предчувствии горя, какое было ему суждено пережить гораздо позднее.

Отойдя к скверу, Эсборн подумал, как обрадуется после короткого испуга Алиса, когда он вернется. Он намеревался побродить час, но, думая быстро обо всем этом, а потому и быстро идя, он с удивлением услышал, что пробило уже час ночи и на улицах становится все меньше народа. Он повернул и тотчас хотел вернуться, когда встретил это невидимое и неясное противодействие. Оно было в его душе. Это было то самое, на что, делая сами себе явный вред, женщины, не уступая доводам рассудка, говорят с тоской: «Ах, я ничего, ничего не знаю!» — а мужчины испытывают приближение рока, заключенного в их противоречивых поступках. Он был испуган, расстроен своим состоянием, и

ему пришло на мысль, что лучше явиться домой утром, чтобы избежать расстройств и тяготы всей остальной ночи, тем более, что утром он надеялся представить жене все как нелепую, случайно затянувшуюся выходку. Вначале принять такое решение было дико и нестерпимо, но выхода не было. Эсборн завернул в гостиницу, взял номер и, сказав вымышленную фамилию, вошел, как был, — во фраке, в белом галстуке, с цветком, — в холодный мрачный номер.

Слуги подумали, что это гость из ресторана. Разрываемый мыслями о доме и своем положении, Эсборн оглушил себя бутылкой чистого виски и уснул среди кошмаров. Все время было при нем, с ним это тоскливое, мучительное противодействие — непокорная черная игла, направленная к его рвущемуся домой сердцу. Он забылся наконец сном и проснулся в одиннадцать. Тогда перед ним встал вопрос: «Что теперь делать?»

III

Он видел, что все погибло, погибает, и что если принять меры, то надо сделать это немедленно. Вчерашнее решение прийти сейчас, утром, оказывалось едва ли возможным. Девушка, проведшая ночь в слезах, страхе и стыде, если бы и поняла его крайним, самоотверженным усилием, то все же не совместила бы такого поступка с любовью и уважением к ней. Сбитый в мыслях, он возмутился против себя и против нее, все время повинуюсь этой достигшей теперь болезненной остроты тайной центробежной силе, отдалявшей какое-либо нормальное решение. Он захотел написать письмо, но слова не повиновались так, как он хотел, и великое утомление напало на него при первом серьезном усилии. Эсборн был теперь, как перегоревший шлак, — так много он пережил за эти часы.

Эсборн провел рукой по глазам. Внезапно вспомнив, что должны думать о нем, он послал за газетой и, развернув ее, отыскал с злым изумлением заметку о загадочном исчезновении А. Эсборна при обстоятельствах, которые знал сам, но, читая, готов был усумниться, что Эсборн — это и есть он, читающий о себе.

Зло было сделано, непоправимое зло, и его любящей рукой был нанесен тяжкий удар невесте-жене. Он не мог бы

теперь вернуться уже потому, что в Алисе навсегда остался бы страх перед его душой, о которой и сам он знал очень немного. И он не чувствовал себя способным солгать так, чтобы ложь имела плоть и кровь живой жизни.

Но, как это ни странно, мысли о невозможности возвращения несколько облегчили его. Он страдал больше, чем это можно представить, но имел мужество взглянуть в лицо новой своей судьбе. Постепенно его мысли пришли в порядок, в равновесие избитого тела, полубесчувственно распростертого среди темной ночной дороги.

Он переменял имя, открыл, что произошло, своему другу, взяв с него клятву молчать, и получил свои деньги из банка по векселям, выданным этому другу на его имя задним числом. Затем переехал в отдаленную часть города и занялся другим делом, пошедшим успешно. Эсборн стал «пропавшим без вести». Джон Тернер, заменивший его, вошел в жизнь и жил, как все. На память о происшествии ему остались рано поседевшие волосы и одна неизменная, причудливая мысль, связанная с Алисой — теперь Алисой Ренгольд.

IV

Он не мог думать о ней, как о чужой, и время от времени наводил справки о ее жизни, узнавая через частный сыск все главное. Он узнал о ее болезни, о потрясении, о выходе замуж. Причудливой мыслью Эсборна-Тернера являлось неотгоняемое представление, что он всегда с ней, в лице этого Ренгольда, служащего торговой конторы. Он был, про себя, ее настоящим мужем на расстоянии, невидимый и даже несуществующий для нее. По грубой канве сведений, доставляемых сыском, Эсборн создал картину ежедневного семейного быта Алисы, ее забот, чаяний. Он узнавал о рождении ее детей, волновался и радовался, когда жизнь текла спокойно в доме Ренгольдов, огорчался и беспокоился, если болели дети или наступали материальные затруднения. Это были не то мечты о доме, что могло и должно было совершиться в собственной его жизни,— не то непрерывное мысленное присутствие. Иногда он воображал, что получится, если он придет и скажет: «Вот я», но сделать это, казалось, было так же невозможно, как стать действительно Джоном Тернером.

Так шло и прошло одиннадцать лет. На двенадцатом году безвестия Эсборн узнал, что Ренгольд уехал на шесть месяцев в Индию, и у него противу всех душевных запретов стало нарастать желание увидеть Алису. И в один день, в жаркий, изнемогающий от жары и неподвижности воздуха день, он поехал, как на казнь, к дому, где жила Алиса Ренгольд.

По мере того, как автомобиль мчал несчастного человека к невозможному, останавливающему мысли свиданию, ему казалось, что он мчится в глубь прошедших годов и что время — не более, как мучение. Жизнь переворачивалась обратным концом. Его душа трепетала в возвращающейся новизне прошлого. Тяжелый автоматизм чувств мешал думать. Весь вдруг ослабев, он поднялся по ступеням к двери и нажал кнопку звонка.

Он переходил от сна к сну, весь содрогаясь и горя, мучаясь и не созная, как, кто проводит его к раскрытой двери гостиной. И он перешагнул на ковер, в свете комнаты, где увидел подходившую к нему постаревшую, красивую женщину в серо-голубом платье. Сначала он не узнал ее, затем узнал так, как будто видел вчера.

Она побледнела и вскрикнула таким криком, в котором сказано все. Шатаясь, Эсборн упал на колени и, протянув руки, схватил похолодевшую руку женщины.

— Прости! — сказал он, сам ужасаясь этому слову.

— Я рада, что вы живы, Эсборн, — сказала, наконец, Алиса Ренгольд издалека, голосом, который был мучительно знаком Эсборну. — Благодарю вас, что вы пришли. Все эти годы... — упав в кресло, она быстро, навзрыд заплакала и договорила: — все годы я думала о самом ужасном. Но не сейчас. Уйдите и напишите, — о! мне так тяжело, Август!

— Я уйду, — сказал Эсборн. — Там, в моем дневнике... Я писал каждый день... Может быть, вы поймете...

Его сердце не выдержало этой страшной минуты. Он с воплем охватил ноги невесты-жены и умер, потому что умер уже давно.

НЯНЬКА ГЛЕНАУ

Рулевой Спринг заканчивал свою береговую отлучку в Коломахе, куда приехал из Покета по железной дороге. Там стояла его «Морская карета» — парусное судно в семьсот тонн, пришедшее с Филиппинских островов.

Спринг был родом из Коломахи. Здесь он провел свои молодые годы. Теперь ему было пятьдесят лет. Как большинство моряков, он остался холостяком.

Спринг пропил или проиграл жалование за два месяца, посетил некоторых и теперь, накануне отъезда в Покет, размышлял: «зачем ему понадобилась Коломаха?»

Кабаки Коломахи ничем не уступали таким же заведениям Покета, а знакомств в Покете у него было даже больше, чем здесь.

Обратясь к честной стороне памяти, он неохотно признал, что ему хотелось повидаться с конопатчиком Дезлем Гленау, от которого он года два назад получил письмо, извещающее о рождении у Гленау девочки.

«Надо было зайти, поздравить», — думал Спринг каждый день, но за множеством приглашений и угощений откладывал это дело на завтра, а «завтра» тоже было некогда.

Однажды выдалась свободная половина дня, то есть Спринг оказался трезвым случайно; но, сообразив положение, пошел и хватил бутылку.

«Нехорошо явиться нетрезвым, — думал он, — а завтра я воздержусь и непременно пойду».

Наконец он набрался решимости и отправился к конопатчику.

Это был дом в две комнаты с кухней; все помещения вытянулись по прямой линии, так что пройти в последнюю комнату надо было через кухню и первую комнату.

Спринг зашел в кухню. Ставни были закрыты по случаю палящего зноя. Двигаясь в полутьме, едва рассеиваемой тонким лучом в щель ставни, Спринг кашлянул и сказал:

— Встречайте Спринга. Кто дома? Я хочу видеть Гленау или его жену. Вы что, спите, что ли?

Постояв и передохнув, он прошел в первую комнату, где повторил свои возгласы с тем же успехом, как первый раз.

Ему стало неловко и скучно. Однако желая убедиться окончательно, Спринг прошел в последнюю комнату.

Здесь была такая же дневная тьма, как в остальных помещениях. Среди душной тишины тикал невидимый будильник, гудели потревоженные мухи.

Спринг подошел к смутно белевшему возвышению и с достоинством вгляделся в него, но не рассмотрел подробностей. Однако перед ним был действительно кисейный полог детской кровати; он свешивался с потолка и охватывал, как палатка, маленькое ложе с бортами, подвешенное между двух стоек. Кровать нервно качнулась.

«Отец и мать ушли,— подумал Спринг,— они ненадолго вышли, потому что здесь ребенок».

Он подвинул табурет и сел ждать.

За пологом не было ничего видно, но Спрингу казалось, что он различает рыжие волосы на маленькой голове.

— Ты спи, а я посижу,— сказал Спринг, опасливо косясь на таинственное сооружение.— Ссориться не будем, нет; драться тоже.

Внезапно кровать качнулась сильнее и заходила, как под раздраженной материнской рукой. Раздался ноющий звук, от которого у рулевого выступил пот.

— Спи, спи,— поспешно сказал гость,— акула далеко, в море, она не придет. Она ест тюленя. Ам, ам! вот и слопала. Так что не надо кричать.

Кровать перестала было качаться, но при последних словах Спринга понеслась быстрыми размахами взад и вперед, и плаксивый, безутешный писк послышался из-за полога. Струсив, что младенец разбушует и тем поставит его в замысловатое положение, так как у него не было опыта в деле образумления разогорченных детей, Спринг протянул руку под полог и начал тихо качать девочку, говоря:

— Ты не будешь есть тюленей. Нет. А только один шоколад. Го-го! Мы уж поедим шоколаду! Вот идет большой пароход,— двадцать тысяч тонн шоколаду. И все — тебе!

Так как он не мог представить ничего ослепительнее флотилии с шоколадом, то начал развивать эту тему, прислушиваясь к слезливым звукам, грозящим перейти в рев.

— И еще идет маленький пароход с шоколадом,— говорил Спринг,— а за ним большая шхуна. Вот там самый лучший шоколад. Мы все съедим. Давай нам еще! Все съели, больше нет. Везите нам из Бразилии, из Мексики. Шоколаду, черти такие-сякие! Да побольше! Этот нехорош—давай другого. Вот этот хорош. А акуле не дадим, пошла прочь!

Кровать сильно закачалась, и из-под нее вылез Дезль Гленау, заливаясь хохотом, от которого Спринг почувствовал себя так, как будто упал с табурета.

— Ну, здорово же ты меня кормил своим шоколадом!— вскричал Гленау, открывая ставни и хлопая затем Спринга по широким плечам.— Здорóво! Слышал, что ты в Коломахе. А я лег, видишь, поспать, залез под полог, чтоб мухи не ели. Мать ушла с Полли к соседям. Я лежу там, пишу нарочно, а ты стараешься! У меня даже бока смокли, так я удерживался от смеха. Отчего ты не женился? Хорошая вышла бы из тебя нянька!

— Я однажды чуть не женился,— сказал Спринг,— и женился бы, только я знаю, что это дело сложное.

— Врешь! — сказал Гленау.

Это был рыжий человек с веселым лицом, худощавый и гибкий.

Разговор шел уже за столом в кухне перед бутылкой. Приятели сидели и выпивали.

— Лучше бы я соврал,— сказал Спринг, задумчиво смотря на Гленау,—...только я говорю правду. Здесь, в Коломахе, жила девушка; очень нуждалась. Лет пять назад. Я посватался. Она согласилась, и я пошел в море — скопить на хозяйство. На Борнео вышел скандал с малайцами, и один задел мне крисом¹ по глазу, и он вытек. Пропадал глаз. Я вернулся и говорю ей: «Хочешь меня такого, как я есть?» — Она была деликатна. Я спорил. Тогда она призналась, что ей по душе один человек. Я, конечно, мешать не стал, так как это дело на всю жизнь, ну и... я, правда говоря, для нее стар.

¹ Малайский изогнутый нож. (Прим. автора.)

— Экий ты дурак, Спринг,— заметил Гленау.

— Я и говорю, что дурак,— ответил рулевой очень серьезно.— Мне уж многие это же говорили.

Вошла жена Гленау, ведя девочку. Молодая женщина сделала большие глаза, потом весело улыбнулась и подала гостью руку.

— Вот дядя Спринг, Полли,— сказал Гленау дочери, которая уставилась на нового человека голубыми глазами отца,— он шоколадный король. У него целый склад шоколада!

В глазах Полли явно наметилось ожидание.

— Даже и купить забыл,— смущенно сказал Спринг, вспотев от досады на свою рассеянность.— Ты не подумай, Гленау...

— Ну что там! — сказал муж.

— Разве это так важно? — подхватила жена.

— Важно,— настаивал Спринг.— Потом я пришло, не забуду.

Он погладил девочку по голове и стал прощаться. Гленау долго пытался удержать приятеля, но Спринг не остался, сославшись на то, что может опоздать к поезду. Жена Гленау, утомленная жарой, молчала, сдерживая зевоту.

— Хорошо, что зашел, не забыл,— сказал Гленау.— Увидимся еще в другой раз.

Он уже рассказал жене, как Спринг укачивал пустую кровать, и это вызвало общий смех, после которого наступило молчание.

— Прощайте,— сказал Спринг.

— Женись, непременно женись! — говорил Гленау, прощая товарища.— Он мне рассказал, Бетси, как...

Тут жена Гленау вспомнила, что со двора могут украсть пеленки, и вышла взглянуть на них, поэтому Гленау обратился к Спрингу.

— Кто же она? Я ведь знаю здесь всех. Или — секрет?

У Спринга чуть не сорвалось с языка: «Она пошла за пеленками»,— но, смолчав об этом, он сказал:

— Ее теперь нет в Коломахе,— она куда-то уехала.

Потом он еще раз попрощался с хозяевами, поцеловал девочку и ушел.

«Зачем же я заходил? — подумал Спринг.— А ведь как тянуло пойти!»

Все же он был доволен, что зашел трезвый.

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

I

Старик умирал. Он был почти слеп; к своему положению он относился с несколько смешной гордостью человека, долго и досыта дышавшего жарким огнем жизни. Поэтому Маурей уважал его.

Дом, где они жили, стоял на границе двух пустынь — степи и леса. До ближайшего поселения вниз по реке было два дня пути. В этом поселении находился второй, еще более важный, чем свой — для Маурей, — дом с белыми занавесками. Там жила особа в заплатанных платьях, но, по мнению Маурей, достойная носить костюм из звездных лучей, — Катерина Логар.

Маурей кормился ружьем. Но этого было недостаточно, чтобы с рук его невесты сошли грубые, болезненные трещины и чтобы напряженное, заботливое выражение ее глаз стало спокойным. Поэтому он сделал вдвое больше ловушек для куниц и бобров, чем в прошлом году. Шкуры, добытые им, висели в кладовой, устроенной на высоком дереве. Месяц назад неизвестный вор, проходя этими местами в отсутствие Маурей, залез на дерево, взял шкуры и исчез, а Маурей после того просидел целый день, опустив в руки лицо.

Кто был старик, умиравший в его хижине, — охотник не знал. Его свезли на берег плотовщики; он выпросился плыть с ними, но заболел по дороге, введя тем веселых парней в мрачное настроение. Рассудив, что дела старика все

равно плохи, они попросили его сесть в лодку и дожидаться смерти на твердой земле.

— Я плыл в Аламбо, к родственникам,— сказал он Маурею утром,— у всякого человека должны быть родственники. Кое-кого я надеялся разыскать там.

Вечером он сказал:

— Подойдите и слушайте.

Маурей набил две трубки, но умирающий отказался курить.

— Сегодня я стану неподвижен,— продолжал старик,— не огорчайтесь этим, так как в свое время вы тоже станете неподвижным. Вы давали мне пить и есть в тяжелую для себя минуту. Я хочу вас поблагодарить.

— Напрасно,— возразил Маурей.

— Исполнение последней воли обязательно, поэтому спорить вам не приходится. В Аламбо живет известный миллионер Гордон.

— Я слышал о нем.

— Да. Когда он был беден, я дал ему взаймы, без векселя, тысячу золотых.

— Это хорошо.

— Затем он разбогател.

— На ваши деньги?

— Конечно. Это плут и делец. Затем я стал беден.

— Это плохо,— сказал Маурей.

— Пожалуй,— согласился старик.— И я потребовал вернуть мне деньги. С того дня, как я потребовал их, до сего дня прошло десять лет. Он не дал мне ни копейки.

— Почему?

— Этого я тоже не понимаю. Это какой-то психологический заскок, свойственный богатым, даже очень богатым.

— Что же теперь делать?

Старик вытащил карандаш, клочок бумаги и написал: «Тысячу золотых, взятых тобою, Гордон, когда тебе нечего было есть, отдай Маурею. Когда-то «твой» Робертсон».

— Вот, получите,— сказал он,— деньги ваши. Он должен отдать.

— Но у вас, вероятно, есть наследники? — спросил Маурей.

— О нет! — Старик сделал попытку рассмеяться.— Нет, никого нет.

Маурей протестовал. Старик стоял на своем. Согласие было обеспечено сущностью положения.

— Хорошо,— сказал, наконец, охотник.— Что же передать еще Гордону?

— Что он подлец,— сказал умирающий, поворачиваясь к стене лицом; он заснул и более не просыпался.

II

Утром Маурей опустил его в землю, прикрыл могилу травой и, посидев несколько минут с клочком бумаги в руках, нашел, что ради Катерины Логар стоит проехать в Аламбо. Так как дело не расходилось у него с мыслью, он, взяв в мешок все ценное, то есть остаток шкур, нож и белье, сел вечером того же дня в лодку, а через четыре дня видел уже вертикальную сеть мачт, реявших вокруг белых с зеленым уступов города, спускавшегося к воде ясным амфитеатром.

Маурей привязал лодку к купальне, заплатил сторожу и поднялся в сверкающие асфальтовые ущелья города. По улицам переливалось экипажное и человеческое движение с той ошеломляющей, бархатистой напряженностью делового дня, которая мгновенно делает одиноким пришельца, доселе ждавшего, быть может, немедленного, приятного общения. Спросив раз десять, как пройти к Гордону, Маурей получил несколько противоположных указаний, следуя которым каждый раз попадал к затейливым огромным домам,— и все это были дома Гордона, но во всех этих домах его не было. Он был в каком-то еще одном, своем доме.

Наконец, исколесив половину города, Маурей нашел дом и в нем — Гордона. Он прошел железные кружевные ворота, аллею с огненными цветами и попал к раскинутому мостом подъезду, середина которого сверкала ярким небом зеркальных стекол.

Не видя никого, в то время как около дома вились эхом женские и мужские голоса, Маурей громко сказал:

— Эй! Есть ли кто живой здесь?

Молчание. Мимо его лица пролетела бабочка; деревья зеленели, цвели цветы, и не было никого. Маурей три раза повторил окрик, затем выстрелил в щебень дорожки. Камешки брызнули, как вода.

Тогда он увидел, что в глубине зеркальных выпуклостей подъезда мелькает, пропадая и торопясь, человеческая фигура.

Испуганный швейцар выбежал, хлопнул дверью иступил к Маурею.

— Это вы выстрелили? — вскричал он, косясь и оглядывая с ног до головы смельчака. — Кто выстрелил? Что произошло здесь?

— Случайно зацепился курок, — сказал Маурей, кладя револьвер обратно. — Это вы — Гордон?

— Что?! Я Гордон?! Эй, любезный!..

— Простое, очень простое дело, — остановил его Маурей. — Нам нет причин ссориться. Если вы не Гордон, то проводите меня к Гордону.

— А вам зачем? Что у вас за дела с ним? Ступайте!

— Если у меня и есть дела, — сказал, начиная сердиться, Маурей, — то я скажу ему о том сам. А, вижу, вы — слуга. Только так бесится слуга, когда ему нечего сказать против законного желания. Я желаю видеть вашего господина.

— Милейший, — возразил швейцар, засовывая руки в карманы и показывая на лице глубочайшее оскорбление, — видеть Гордона — не совсем то, что поздороваться с пастухом. Гордон занят. Гордон никого не принимает. Гордон не примет даже второго Гордона, если такой объявится. Но если вы желаете увидеть Гордона — только увидеть, — то вы можете подежурить несколько у ворот. Через несколько минут Гордон выедет в свое загородное имение. Что же касается помощи, если о том речь, — то по это...

Единый удар массивной руки Маурея придал окончанию этого слова характер второго выстрела. Без звука, без сотрясения оглушенный швейцар пал. Маурей, вытирая о штаны руки, огляделся и, не видя никого, прошел в кусты. Здесь было так тревожно, прекрасно и тихо, как это бывает при сердцебиении ранним утром. Мгновенно оценив план, вызванный очевидностью положения и возникший непосредственно за ударом по швейцарской щеке, Маурей снова вышел, перенес бесчувственное тело заслуженно пострадавшего в свое цветущее убежище и заткнул ему платком рот, руки же и ноги перевязал обрывком ремня.

Эти приемы, свидетельствовавшие об опытности и хладнокровии человека, применившего их, казались сущими пустяками для Маурея, так как жизнь в лесах развивает предприимчивость и точность движений. Затем он стал ожидать так неподвижно, как если бы охотился на бобра.

Немного погодя, из глубины заднего плана, эластически шелестя, скользнул к подъезду кабриолет; черная лошадь стала, картинно опустив морду к груди, а кучер в цилиндре с плюмажем увидел неизвестного человека, дружески кладущего ему на колено руку.

— С швейцаром плохо,— сказал Маурей,— помогите поднять.

— Тропке!..— вскричал кучер.— А что? Где?

— Он здесь за деревьями. Его хватил солнечный удар,— взволнованно проговорил Маурей.

Кучер слез и пробежал в тень лучистой листвы; Маурей бежал рядом. Едва блеснул затылок лежащего ничком швейцара, как кучеру показалось, что он видит сон, где все качается и исчезает из глаз: сбив кучера с ног, Маурей быстро завязал ему рот шарфом и опутал тело лианой. Плотнее забив рот, чтобы не проскочило ни одного звука, он выдрал сквозь петли лиан весь выездной костюм, приговаривая, где надо, чтобы дело шло быстрее, мертвящие мозг слова. Как бы то ни было, когда он вышел и сел с хлыстом в руке, обтянутой лопнувшей перчаткой, на передок кабриолета, ничто не могло обнаружить какой-либо перемены.

Беглый взгляд Гордона, вышедшего к великому своему изумлению без швейцара, заметил, как всегда, только плюмаж и хлыст. Лиц слуг он не помнил. Но он стал замечать после некоторых сосредоточенных размышлений делового характера, что экипаж мчится уже в парке, далеко оставив за собой некстати и в стороне единственное шоссе Аламбо, по которому лежит недавно купленное имение.

— Кой черт! — сказал Гордон, притоптывая в кабриолете маленькой жирной ногой.— Почему вы сюда заехали?

Он оглянулся. Маурей стремительно искал глухого угла. Наконец, свернув с аллеи в поросший густой травой просьвет, он разом остановил лошадь и обернулся к полуобморочному Гордону.

— Вот записка,— сказал он, тыча в ословевшее багровое лицо клочок бумаги.— От Робертсона. Уплатить! Живо!

— Я...— начал Гордон.

Черный револьвер и белая бумага ставили ему выбор. Совсем близко от дула он нагнулся и прочел резкое завещание.

— Чек или деньги! — сказал Маурей. — Начало всему положил ваш швейцар. Он думал, что я нищий. Потом перестал спорить. Затем наступила моя очередь думать. Уже запахло вами, а я — охотник.

Наступила очередь третьего человека как бы видеть сон в залитой солнцем листве: что он, лижа сухим, горячим языком чернильный карандаш, выписывает чек; затем, вспомнив, что деньги в кармане, комкает, отсчитывает билеты.

— Что-нибудь... что-нибудь... этот славный... этот великолепный, чудеснейший... передать мне?! — пролепетал Гордон.

— Да, — спокойно сказал Маурей. — Что вы — подлец. Затем стало тихо вокруг Гордона. Как бы проснувшись, он никого не увидел. Далеко, в дальних просветах аллеи двигались малые фигуры людей, а лошадь как лошадь — спокойно общипывала листву.

«Наследники Неда Гарлана», как прозвали их в шутку знакомые, были семеро молодых людей, студентов и студенток, владевшие сообща моторной лодкой, которой наградил их Гарлан, скончавшийся от чахотки в Швейцарии.

В середине июля состоялась первая поездка «наследников». Они направились на берег озера Снарка «вести дикую жизнь».

Восьмым был приглашен Кольбер, несчастная любовь которого к одной из трех пустившихся в путешествие — Джой Тевис — стала очень популярной в университете еще год назад и часто служила материалом для комментариев.

Джой Тевис с шестнадцати лет по сей день наносила рану за раной, и, так как она не умела или не хотела их лечить, они без врача заживали довольно быстро. Кольбер был ранен серьезнее других и не скрывал этого.

Он делал Джой предложение три раза, вызвав сначала смех, потом желание «остаться друзьями» и наконец нескрываемую досаду. Он ей не нравился. Она боялась серьезных длинных людей, смотрящих в упор и делающихся печальными от любви. При одной мысли, что такой подчеркнуто сдержанный человек сделается ее мужем, ею овладевали запальчивость, мстительный гнев, обращенный к невидимому насилию.

Однако Кольбер не был навязчив, и она не избегала его, предварительно взяв с него слово, что он не будет более делать ей предложений. Он послушался и стал держать

себя так, как будто никогда не волновал ее этими простыми словами: «Будьте моей женой, Джой!»

На третий день «дикой жизни» Джой захотелось пойти в лес, и она пригласила Кольбера ее провожать, смутно надеясь, что его каменное обещание «не делать более предложений» встретит повод растаять. Уже три месяца ей никто не говорил о любви. Она хотела какой-нибудь небольшой сцены, вызывающей мимолетное, вполне безопасное настроение, напоминающее любовь. Когда Кольбер шел сзади, она испытывала чувство, словно за ней движется боязливо жаждущая упасть стена. Надо было угадать момент — отойти в сторону, чтобы стена хлопнулась на пустое место.

Прогулка в лесу изображала следующее: впереди шла девушка-брюнетка небольшого роста, с красивым, немного ленивым лицом, напоминающим улыбку сквозь пальцы; а за ней, неуклюже поводя плечами и сдвинув брови, шел рослый детина, тщательно рассматривая дорогу и заботливо предупреждая о всех препятствиях. Со стороны каждый подумал бы, что Кольбер невозмутимо скучает, но он шел в счастливом, приподнятом настроении и мог бы идти так несколько тысяч лет. Он видел Джой, она была с ним; этого Кольберу было совершенно достаточно.

Они вышли на поляну с высокой травой, усеянную камнями, и сели на камни, думая каждый о своем.

Кольбер заметил, что, отдохнув, следует возвратиться.

— Вы рады, что наши отношения стали простыми? — сказала, помолчав, Джой.

— Этот вопрос исчерпан, я полагаю, — осторожно ответил Кольбер, не без основания предполагая ловушку. — Я дал слово. Впрочем, если...

— Нет, — перебила Джой, — я уже запретила вам, а вы дали слово. Неужели вы хотите нарушить обещание?

— Скорее я умру, — серьезно возразил Кольбер, — чем нарушу обещание, которое я дал вам. Вы можете быть спокойны.

Джой с досадой взглянула на него; он сидел, улыбаясь так покорно и печально, что ее досада перешла в возмущение. Ее затея не удалась.

Идти дальше — значило самой попасть в глупое положение. Некоторое время она еще надеялась, что Кольбер не выдержит и заговорит, но тот лишь задумчиво катал меж ладоней стебель травы. Джой вдруг почувствовала,

что этот человек всем своим видом, преданностью и твердостью дает ей урок, и ее охватила такая сильная неприязнь к нему, что она не удержалась от колкости:

— Вы дали слово из трусости. Безопаснее сидеть молча, не так ли?

— Джой,— сказал встревоженный Кольбер,— на вас действует жара. Идемте обратно, там вы будете в тени!

Джой встала. Ей захотелось вцепиться в густые рыжеватые волосы и долго трясти эту тяжелую голову, не понижающую смысла игры. Он не захотел ответить ее прихотливому настроению. Обидчиво и тяжело взволнованная девушка пристально смотрела себе под ноги, покусывая губу. Ее внимание привлекло нечто, блеснувшее в заспущавшей траве.

— Смотрите, ящерица!

Толчок Кольбера едва не опрокинул ее. Она закачалась и с трудом устояла на ногах. Кольбер, махая руками, топтал что-то в траве, затем присел на корточки и осторожно поднял за середину туловища маленькую змею, повисшую двумя концами: головой и хвостом.

— Видали вы это? — возбужденно заговорил он, смотря в гневное лицо Джой.— Простите, если я вас сильно толкнул. Бронзовая змея! Одна из самых опасных! Женщины почти всегда принимают змей за ящериц. Укушенный бронзовой змеей умирает в течение трех минут.

Джой подошла ближе.

— Она мертва?

— Мертва,— ответил Кольбер, сбрасывая змею и снова поднимая ее.

По мнению Джой, было храбро брать мертвую змею в руки, и она не захотела дать в этом перевес Кольберу. Взяв у него змею, она обвила ею свою левую руку, отчего получилось подобие браслета. Змейка, смятая в нескольких местах каблуком Кольбера, отливала по смуглой коже Джой цветом старого золота.

— Бросьте, бросьте! — вдруг закричал Кольбер.

Он не успел сказать, что по безжизненному телу прошла едва заметная спазма. Змея ожила на мгновение, только затем, чтобы, почувствовав враждебное тепло человеческой руки, открыть рот и ущемить руку Джой. Это усилие совершенно умертвило ее. Кольбер схватил змею у головы и так сдавил, что она порвалась, потом сбросил

с руки Джой остаток туловища и увидел две капли крови, смысл которых был ему понятен, как крик.

— Не теряйся! — сказал он. — Помните, что смерть — здесь!

Его тело разрывалось от дрожи, которую он сдерживал. Джой беспомощно смотрела на свою укушенную руку. Она испытала гадливую боль, но ее воображение не действовало так быстро, как у Кольбера, и сознание конца не оглушило еще ее. Но резкость и приказания Кольбера вооружили всю ее самостоятельность, очутившуюся в опасности от той крупной услуги, которую собрался оказать Кольбер.

— Пустите, — сказала она, бурно дыша. — Я сама. Дайте мне нож.

В такой момент время дороже жизни. Раскрыв нож, Кольбер старался повалить девушку, чтобы совершить операцию. В то же время он быстро обвел языком десны и небо, чтобы установить, нет ли у него царапин во рту.

— Высосать яд! — кричал он. — Больше ничего не может! Джой, не спорьте!

Молча, стиснув зубы, она боролась с ним, в странной запальчивости своей предпочитая умереть, чем принять жизнь из его рук. Она отлично знала, чем это должно кончиться. У Кольбера был теперь шанс стать ее мужем — и, без слов, без мыслей, заключив все это в одном инстинкте своем, она отчаянно билась в его руках. Вне себя Кольбер подтащил ее к дереву с раздвоенным стволом и, протиснув в это раздвоение ее руку, причем ободрал кожу, зашел сам с другой стороны. Здесь он схватил Джой за кисть. Теперь ее рука была как в тисках.

Крепко сдавив эту ненавидящую его руку у локтя, причем его огромная сила заставила посинеть ногти Джой, Кольбер глубоко просек тело в месте укуса и, припав к ране, наполнил рот кровью. Сплюнув ее, он сделал это еще раз и, отдышавшись, в третий раз отсосал кровь любимой девушки, которая, дернув руку раза два, наконец, затихла. Она стояла с другой стороны, прислонясь к дереву. Страх, унижение и гнев покрыли ее лицо злыми слезами. Она твердила:

— Кольбер, я все равно никогда не буду вашей женой. Пустите меня!

Кольбер молчал. Отпустив наконец ее руку, он понял, что она говорила, и ответил:

— Вы будете чьей-нибудь женой, а это главное. Чтоб быть женой, надо жить.

Его усы и подбородок были в крови, и он вытер их такой же красной от крови рукой.

Джой, мрачно протянув ободранную и израненную руку, прижимала к ране платок. Оба дышали, как после долгого бега. Наконец, разорвав платок, Джой перевязала руку. Кольбер смотрел на часы.

— Кажется, прошло пять минут. Теперь я спокоен.

Джой не ответила, стоя к нему спиной. Когда она обернулась, его не было на поляне.

Удивленная девушка позвала: «Кольбер!» Ничего не прощая ему, все еще во власти внутреннего насилия, которым Кольбер окончательно одержал верх, девушка направилась по следу смятой травы и, заглянув в кусты, оставилась.

Кольбер лежал навзничь с черным и распухшим лицом. Это был совсем другой человек. Глаза его заплаыли, усы и рот, вымазанные спасительной кровью, открыли весь ужас, от которого он избавил свою возлюбленную. Это отвратительное, отравленное лицо заставило наконец Джой испугаться, так как она увидела свой предотвращенный конец во всем его незабываемом ужасе, и она бросилась бежать, крича: «Спасите, я умираю!»

Но было уже поздно, так как она была спасена.

ДВА ОБЕЩАНИЯ

I

Всю ночь берега Покета рвал шторм. Ветер ударял с моря. Были сломаны кукурузные посевы, изгороди; толевые и железные крыши местами отвернулись, как поля шляп.

В саду Гаррисона, начальника каторжной тюрьмы, стоявшей в полумиле от Покета, повалились два дерева. Они загромождали аллею. Гаррисон приказал убрать их; к десяти часам партия арестантов отправилась из тюрьмы в сад. Они обрубали сучья и стали распиливать стволы.

Отправляясь в канцелярию, Гаррисон задержался около работающих и стал смотреть. Работа пошла так быстро, как движение на экране при ускоренном пропуске ленты.

Его дочь, одиннадцатилетняя Джесси, росшая свободно, как мальчик, и ни в чем не знающая запретов, была с ним. Оставив отца, она заметила, что нижняя ветка одного из свалившихся стволов прилегает к стволу старого дуба так удобно, как лестница.

Джесси умела лазать по деревьям с наглостью и хладнокровием существа, уверенного в своей безнаказанности. Ей пришлось в голову закричать с вершины: «Папа, тебя требуют к телефону».

Обдумав это, она стала влезать, переходить с сука на сук, как по вертикальной винтовой лестнице, и скоро была на высоте двух третей ствола, волнуясь при мысли, что отец заметит ее отсутствие раньше, чем она сообщит ему о своей проделке.

Вскоре расположение ветвей заставило девочку искать такую ветку, ухватясь за которую она могла бы ступить на ту сторону ствола, с какой виден Гаррисон.

Она вытянулась, схватилась за тонкий сук левой рукой и, передав ему свою тяжесть, отпустила правую руку. Сук, росший из более толстого ответвления ствола, треснул в месте сращения. Вцепясь в него обеими руками, Джесси потеряла точку опоры и повисла. Обида, испуг и самолюбие заставили ее крикнуть те самые слова, которые она повторяла себе, взбираясь на дерево:

— Папа, тебя требуют...

Затем она закричала и заплакала.

Гаррисон взглянул вверх и помертвел. Джесси висела высоко над ним, подобрав ноги и стиснув коленками вертикально натянутую ветку, основание которой медленно, но неуклонно отдиралось под ее тяжестью.

Гаррисон растерялся, потом поднял вверх руки. Его резко оттолкнул арестант № 332; он, расставив ноги и протянув руки, как Гаррисон, но не вверх, а на уровне лица, принял на себя удар тела с воплем мелькнувшей вниз девочки.

В момент толчка он присел. Руки его временно отнялись. Он опустил сильно встряхнутую, потерявшую сознание Джесси на траву и, вытирая пошедшую носом кровь, сел с закружившейся головой.

Повелительное и тяжелое лицо начальника каторжной тюрьмы исчезло. Вышло его настоящее лицо, по которому текли слезы. Он поднял Джесси и унес в дом.

Послышался шум. Некоторые арестанты, а также конвойные хлопнули № 332 по плечу, принесли воды, и он выпил полную кружку, стуча зубами о край.

— Полсрока отработал, Эдвей,— сказал один из конвойных.

Эдвей встал, помахал руками, потряс головой. Она все еще туманилась и гудела. В это время прибежал помощник Гаррисона и приказал Эдвею немедленно идти к начальнику.

II

Эдвей никогда не был в квартире начальника тюрьмы. Он прошел ряд светлых, красивых комнат с иллюзией вращения в мир, покинутый пять лет назад.

Гаррисон отослал конвойного, который сопровождал Эдveja, и сам ввел арестанта в свой кабинет; его окна, выходя на тюремный двор, были заделаны решеткой.

— Ваш номер? — спросил он, давая знак, что Эдвей может сесть.

— 332.

— Ваше имя?

— Томас Эдвей.

Официальный тон не помог Гаррисону овладеть волнением, и он оставил его.

— Послушайте, Эдвей, — сказал начальник после короткого молчания, — вы можете требовать, что хотите, за то, что вы сделали. Кроме невозможного. Я обязан вам больше, чем жизнью, и вы это понимаете.

— Конечно, я понимаю. — Эдвей задумался. — Мне не хочется огорчать вас, но я думаю, что если вы не сделаете, о чем я буду просить, все же кричать на меня не будете.

Гаррисон посмотрел на Эдveja с беспокойством.

— Говорите, что там у вас? Неделя отдыха? Похлопотать о сокращении срока? Или что?

— И больше и меньше, — сказал Эдвей. — Как взглянуть. Я прошу вас снабдить меня городским платьем, выдать мне заработанные деньги за полгода — это составит, приблизительно, полтора фунта — и отпустить меня на свободу до половины шестого следующего утра. В шесть происходит поверка. К назначенному сроку я буду здесь.

Гаррисон засопел, взял сигару резким движением и нервно захлопнул ящик.

— В другое время, — сказал он со вздохом, — выслушав такую просьбу, я, конечно, приказал бы дать вам дюжину другую плетей. Теперь дело иное. О том, что вы говорите, я читал в романах. Не знаю, чем это кончалось в действительности. Ну, что даст вам один день? Зачем это?

— Будь вы на моем месте, вы прекрасно понимали бы, что такое свободный день.

— Каждый из нас на своем месте, — сказал Гаррисон. — Что привело вас сюда?

— Мои страсти.

— В образе?..

— Трех векселей. Я отбыл пять лет, осталось три года.

— Сдержите ли вы слово? Или я заранее должен приготовить прошение об отставке?

— Я совершил подлог, но не потерял чести,— возразил Эдвей.— Разговор становится тяжел для меня. Решите — «да» или «нет».

— Ужасный день! — сказал Гаррисон.— Что я могу? Останьтесь здесь и ждите.

Он вышел и возвратился через несколько минут, хмурым, утомленный собственным решением, которое, подобно трещине, зияло на эмали его характера нервной, острой чертой. В его руках были башмаки, шляпа, костюм, и он подал это Эдвею. Оба они смутились. Заметив, что арестант смотрит на него с изумлением и восторгом, Гаррисон нахмурился, махнул рукой и вышел опять, плотно прикрыв дверь.

III

«Невозможно, ослепительно!» — думал Эдвей. Он хватался за одну вещь, за другую, оставлял их и снова хватал. Сознание совершившегося, причем так неожиданно, и забегающая вперед мечта о свободной городской улице мешали ему сообразить, что должен он сделать с брюками или жилетом. Когда он снимал арестантское платье, его руки тряслись. Чтобы вызвать сосредоточенность, Эдвей стиснул зубы. Вещи плясали в его руках. Порыв, падение девочки, адская боль в плечах, взволнованный Гаррисон, просьба о невозможном, чего хотел он, как сдавленная грудь хочет полного воздуха, неловкое и высокое решение Гаррисона — он обо всем думал зараз, с трудом находя среди неожиданностей дня место своему нетерпению. Он отвык застегивать воротник, завязывать галстук. Он одевался со стыдом, непонятным, но важным и неизбежным, как всякий хороший стыд.

Покончив с переодеванием, Эдвей подошел к стеклу книжного шкапа. Там, сливаясь с переплетами книг, стоял в темной воде высокий мускулистый человек статной осанки — тот самый, каким был Эдвей несколько лет назад.

— Это сон о свободе,— сказал он.— И я, конечно, вернусь.

— Покончим с этим неприятным делом,— сказал, входя, Гаррисон.— Идите за мной.

Говоря так, он протянул ему два фунта и пошел впереди Эдвея по глаголю коридора. Все двери были закрыты. В конце прохода был выход на шоссе, ведущее к городу.

Гаррисон выпустил арестанта и крепко повернул ключ. На душе у него было неверно и смутно. Он отлично сознавал значение своего поступка. С этого дня меж ним и № 332 образовалась неестественная связь, полная благодарности, о которой хотелось не думать. Однако он не мог быть так крупно обязан Эдвею и кому бы то ни было, не заплатив полной мерой. Уже готов был он пожелать никогда не видеть его более, но сообразил, что это — дрянная трусость.

Он вернулся в кабинет и увидел свою жену. Она, сохраняя в лице спасительное насмешливое выражение, свертывала арестантскую одежду Эдвея.

— Оставь это здесь, Эми,— сказал Гаррисон.— Как ты узнала?

— Но... я видела в окно, как он ушел.

— Меня всегда удивляло, что женщины всегда все узнают,— сказал Гаррисон, очень недовольный собой. Наконец он решил, что пора улыбнуться.— Ну, он меня поддел! Это произошло врасплох. Я не мог быть меньше его, но я надеюсь, что он не явится. До половины шестого утра завтра. Как он обещал.

— Он явится,— сказала Эми, засовывая сверток за шкаф.— Можешь быть в этом уверен.

— Что ты говоришь?!

— Но ты и сам отлично это знаешь.

— Я?

— Ты и я,— мы оба это знаем.

— Эми, он не придет.

— Зачем ты говоришь против себя?

Помолчав, Гаррисон позвонил в канцелярию:

— Латрап? № 332, который спас Джесси, разбит. Этот день он проведет в постели, в моей квартире. Что? Да, я рад, что вы понимаете. Поместите его в больничный список, утром переведем в лазарет. Что? Да, пусть отдохнет. Более ничего.

IV

Весь день Гаррисон думал о происшедшем и заснул поздно, одетый, у себя в кабинете. Когда рассвело, он проснулся, положил на стол часы и стал ходить, взглядывая на циферблат. Чем ближе стрелка подвигалась к половине шестого, тем быстрее менялись его желания. Сложным, не-

привычным для него путем он наконец пришел к заключению, что желать обмана — невеликодушно, и приготовился услышать звонок.

Когда он прозвучал — и это было идеально точно, как раз на половине шестого, — Гаррисон от этой драматической точности испытал большее удовольствие, чем при мысли, что не надо теперь придумывать для округа историю несуществующего побега. Он пошел к выходу и открыл дверь. В сумерках рассвета стоял перед ним Эдвей, с слегка вольно надетой шляпой. От него пахло вином; он был сдержан и утомлен.

— Молчите, — сказал Гаррисон, заметив в его лице искреннее движение. — Я не хочу говорить более обо всем этом. Ступайте, переоденьтесь и отправляйтесь в лазарет к дежурному. Вот записка.

Раскаиваясь в своей мрачности, он прибавил:

— Благодарю вас.

Снова стесняясь и избегая смотреть в глаза, они прошли тихо, как воры или дети, в кабинет Гаррисона, где Эдвей принял свой прежний вид. Затем Гаррисон вывел его другим ходом в дверь тюрьмы, запер дверь и облегченно вздохнул. Его кошмар кончился, а трещина осталась и расцвела.

Через день после этой истории, рано утром, помощник Гаррисона Латрап быстро вошел в кабинет начальника, протянув письмо.

— Вот все, что осталось от № 332, — сказал он. — Эдвей бежал ночью, распилив решетку. Он оставил под подушкой это письмо, которое адресовано вам.

Гаррисон закаменел и прочел:

«Я видел сон, что я на свободе, что шторм, опрокинувший деревья в саду, загнал в бухту Покета яхту моего старого приятеля. Приснилось мне, что я встретился с ним, рассказал ему свою горькую, но правдивую весть и дал ему честное слово, что буду на палубе его судна не позднее трех часов этой ночи. И я должен был сдержать обещание».

— Тонкой стальной пилой, — сказал Латрап.

Гаррисон стоял неподвижно. В нем возникло несколько одновременных бессмысленных движений, но ни одно не родилось. Он был связан извне и внутри.

— Дайте знать в город, по округу, — сказал Гаррисон.

— Немедленно? — спросил, обгрызая нготь, Латрап.

- Немедленно! Что вы хотите сказать?
- Ваше распоряжение...
- Ну?
- Ясно оно или нет?
- Никто не знает, что ясно, а что неясно! — ответил с сердцем Гаррисон, выходя и оставляя Латрапа в психологическом затруднении. Здесь он увидел Джесси и рассердился.
- Ты довольна? Твой спаситель удрал.
- Куда? — осведомилась Джесси, подбегая к нему.
- Как я могу знать, куда?
- Но ты сам сказал... Ты начал первый.
- Я думаю, что первая начала ты, — ответил Гаррисон. — Впрочем, извини меня, я устал.

СЛАБОСТЬ ДАНИЭЛЯ ХОРТОНА

I

Судьба оригинально улыбнулась одному погибшему человеку, известному под именем «Георг Избалованный».

Его настоящее имя было Георг Истлей. Он сумел убедить равнодушного прохожего человека с золотыми зубами, что всего три фунта поставят его на ноги, при этом был он так остроумен и красноречив, что прохожий увлеченно пожелал Истлею «полной удачи, твердости и энергии».

Оба расстались взволнованные. В тот же вечер Истлей Избалованный засел в пустом складе доков и проиграл свои три фунта одной теплой компании, вплоть до последнего шиллинга. К утру явился лодочник Сайлас Гарт, у которого не было денег, но была охота играть. Он заложил в банк свою лодку; к полудню следующего дня, начав действовать последним шиллингом, Истлей выиграл у него лодку, весла и пустился вниз по реке, сам не зная зачем.

Это было не совсем то, на что рассчитывал прохожий с золотыми зубами, тронутый, может быть, первый и единственный раз в жизни жаром, какой вложил в исповедь свою Истлей Избалованный, — но после кабаков, притонов, панели светлая вода реки так воодушевила Истлея, что еще хмельной, ничего не теряя и ни о чем не жалея, он решил

плыть вниз по течению до Сан-Риоля. Надо сказать, что в мечтах начать «новую» жизнь человек этот провел сорок два года и так привык начинать, что кончить уже не мог. Все-таки он хотел воспользоваться счастливым толчком мысли, переменить если не жизнь, то ее сорт.

На дорогу он купил большой хлеб, табаку и питался одним хлебом, к чему, впрочем, привык.

Наступил вечер, и опустился холодный туман. Мечтая о теплом ночлеге, Истлей пристал к берегу на огонек одинокого окна. Он привязал лодку и взобрался на холм. Запинаясь в тьме о валявшиеся бревна и пни, он пришел к бревенчатому дому, толкнул огромную дверь и очутился перед человеком, сидевшим на кожаном табурете. Уставив приклад ружья в край стола, а дуло держа направленным против сердца, человек этот пытался дотянуться правой рукой до спуска.

— Не надо! — вскричал Истлей, с ужасом бросаясь к нему. — Не надо! Она придет!

От неожиданности самоубийца уронил карабин и обратил бородатое лицо к Истлею; с этого лица медленно сходила смертная тень.

Он глубоко вздохнул, отшвырнул карабин ногой, встал, засунул руки в карманы и подошел к гостю.

— Она придет? — сказал человек, всматриваясь в Истлея.

— Вы можете быть совершенно уверены в этом, — ответил Истлей. — Я приехал в лодке, чтобы сообщить вам эту радостную весть. Так что — стреляться глупо. Все будет очень хорошо, поверьте мне, и не хватайтесь за орудие смерти.

Человек схватил Истлея за ворот, поднял его, как кошку, потряс и бросил на кучу шкур.

— А теперь, — сказал он, — ты мне объяснишь, кто эта «она» и что значит твое вторжение!

Истлей задумчиво потер шею и взглянул на спасенного. Его сильное, страстное лицо с по-детски нахмуренными бровями ему нравилось. Он не был испуган и без запинки ответил:

— Это объяснить трудно. Я крикнул первое, что мне пришло в голову: «Она». Позвольте подумать. «Она» — это может быть прежде всего, конечно, та женщина, которой вы пленились так давно, что у вас успела вырасти борода. Быть может также, «она» — бутылка виски или

сбежавшая лошадь. Если же вы лишились уверенности, то знайте, что это и есть самая главная «она». Обычно с ней приходят все другие «они». Уверяю вас, «она» отлучилась на минуту, вероятно, чтобы принести вам что-нибудь закусить, а вы сгоряча обиделись.

Самоубийца расхохотался и пожал руку Истлея.

— Благодарю,— сердечно сказал он,— ты меня спас. Это была минутная слабость. Садись, поужинаем, и я тебе расскажу.

Спустя час, после солонины и выпивки, Истлей знал всю историю Даниэля Хортонa. Рассказана она была нескладно и иначе, чем здесь, но суть такова: Хортон преследовал идею победы над одиночеством. Он был голяк, сирота, без единой близкой души и без всякого имущества, кроме своих мощных рук. Скопив немного денег работой по сплавке леса, Хортон сел на дикий участок и задался целью обратить его в цветущую ферму. Разговорившись, изложил он все свои мечты: он видел в будущем целый поселок; себя, вспоминающего, с трубкой в зубах, то время, когда еще он корчевал пни и пугал бродячих медведей; с ним будут жена, дети... «Короче говоря,— сделаю жизнь!» Так он выразился, стукнув кулаком по столу, и Истлей понял, что перед ним истинный пионер.

Как сильно он переживал эти пламенные видения, так же сильно поразила его сегодня внезапная, никогда не посещавшая мысль: «А что, если ничего не выйдет?» Как известно, в таких случаях вариации бесконечны. Ночь оказалась безотрадной, вечер — ужасным, молчание и тишина леса — зловещими. Вероятно, он переутомился. Он впал в отчаяние, поверил, что «ничего», и, не желая более в мучениях коротать дикую ночь, схватил ружье.

— Это была реакция,— заметил Истлей.— Я появился совершенно своевременно, в конце четвертого акта.

— Живи со мной,— сказал Хортон, прямо не говоря, что рассчитывает на кое-какую помощь Истлея, но уверенный, что тот сам станет работать.— Здесь пока грязно и дико, но ты увидишь, как я все переверну.

— По-моему,— проговорил Истлей, взбираясь с ногами на скамью и сибаритствуя с трубкой в зубах,— это помещение очаровательно. Обратите внимание на эффект света очага среди свежесрубленных стен. Это грандиозно! Свежий, наивный романтизм Купера и Фанкенгорста! Запах шкур! Слушай, друг Хортон, ты счастливый человек,

и, будь я художником, я немедленно нарисовал бы тебя во всем очаровании твоей обстановки. Она напоминает рисунок углем на штукатурке старой стены, среди роз и пчел. Хочешь, я расскажу тебе историю Нетти Бемпо, знаменитого «Зверобоя»?

В четвертом часу ночи приятели мирно храпели на куче сухой травы. Хортон вдруг проснулся, схватил лежащее возле него ружье и закричал:

— Берегись, гуроны заходят в тыл! Болтун! — сказал он, опомнясь и посмотрев на спящего Истлея. — Занятный болтун.

II

Совместное жительство двух столь разных натур скоро обнаружило их вкусы и методы. Едва светало, Хортон ухаживал пахоть расчищенный участок земли, готовил для продажи плоты, рубил дрова, пек лепешки, варил, мыл, стирал. Он был самолюбив и ничего прямо не говорил Истлею, но часто раздражение охватывало его, когда, войдя домой поесть, он заставал Избалованного, который, прикидывая глазом, ставил в разбитый горшок прекрасные лесные цветы, приговаривая: «Они лучше всего на фоне медвежьей шкуры, которую ты растянул на стене», или возился с пойманным молодым дроздом, кормя его с пальца кашей.

Истлей старался днем не попадаться на глаза своему суровому и усталому хозяину; он обыкновенно мечтал, лежа в лесной тени, или удил рыбу, но к вечеру он появлялся с уверенным и развязным видом, отлично зная, что Хортон ценит его общество и скучает без него вечером. Действительно, злобствуя на лентяя днем, к вечеру Хортон начинал ощущать странный голод: он ждал рассказов Истлея, его метких замечаний, его анекдотов, воспоминаний; не было такой вещи или явления, о которых Истлей не знал чего-то особенного. Он рассказывал, из чего состоит порох, как лепят посуду, штампуют пуговицы, печатают ассигнации; залпом читал стихи; запас его историй о подвигах, похищениях и кладах был бесконечен. Не раз, сидя перед освещенной дверью, он говорил Хортону о действительности и тишине, отражениях в воде, привычках зверей и уме пчел, и все это знал так, как будто сам был всем живым и неживым. что видят глаза.

Днем Хортон сердился на Истлея, а вечером с нетерпением ожидал, какое настроение будет у Избалованного — разговорчивое или замкнутое. В последнем случае он приносил из своего скудного запаса кружку водки; тогда, поставив локти на стол, дымя трубками и блестя глазами, оба погружались в рассуждения и фантазии.

Однажды случилось, что Хортон свихнул ногу и угрюмо сидел дома три дня. С бесконечным раздражением смотрел он, как, мучаясь, полный отвращения и тоски, Истлей рубит дрова, носит воду, стараясь не утруждать себя никаким лишним движением; как крепко он скребет в затылке прежде, чем оторваться от трубки и посолить варено, и раз, выведенный из себя отказом Истлея пойти подпереть изгородь (Истлей сказал: «Я вышел из темпа, погоди, я поймаю внутренний такт»), заявил ему:

— Экий ты бесстыжий, бродяга!

Ничего не сказал на это Истлей, только пристально посмотрел на Хортона. И тот увидел в его глазах отброшенное ружье. Устыдясь, Хортон проворчал:

— Ноге, кажется, лучше; через день буду ходить.

Когда он выздоровел, Истлей принес ему десять корзин, искусно сплетенных из белого лозняка. Они были с крышками, выплетены затейливо и узорно.

— Вот, — сказал он, — за эту неделю я сделал десяток, следовательно, через месяц будет их пятьдесят штук. На рынке в Покете ты продашь их по доллару штука. Я выучился этому давно, в приюте для безработных... Не расстраивайся, Хортон.

Сдавленным, совершенно ненатуральным голосом Хортон поинтересовался, почему Истлей облюбовал такое занятие.

— Случайно, — сказал Истлей. — Я увидел старика с прутьями на коленях, на фоне груды корзин, среди других живописных вещей, куч свеклы, корзин с рыбой, цветов и фруктов на рынке; это было прекрасно, как тонкая акварель. Пальцы старика двигались с быстротой пианиста. Ну-с... что еще? Я бросил переплетать книги и выучился плести корзинки...

Несколько дней спустя, утром, приятели сидели на берегу реки. Ближе от них прошел пароход; на палубе стояли мужчины и женщины, любуясь зелеными берегами. Ясно можно было разглядеть лица. Высокая, здоровая девушка взглянула на двух сильных, загорелых людей,

взиравших, оскалась, на пароход, вернее — на нее, и безотчетно улыбнулась.

Пароход скрылся за поворотом.

— Быть может, это она и была,— заметил Истлей,— так как все бывает на свете...

— Что ты хочешь сказать?

— Я говорю, что, может быть, она придет... Эта самая... Помнишь, что я сказал, когда ты... С ружьем?!

— Кто знает! — сказал Хортон и расхохотался.

— Никто не знает,— подтвердил Истлей.

Хортон, в значительной мере усвоивший от Истлея манеру видеть и выражаться, глубокомысленно произнес:

— Обрати внимание, как прозрачны тени! Как будто по зеленому бархату раскинуты голубые платки. И — это живописное дряхлое дерево! Красивые места, черт возьми!

— Согласен,— сказал Истлей.

ЧУЖАЯ ВИНА

I

Лесная дорога, соединяющая берег реки Руанты с группой озер между Конкаибом и Ахуан-Скапом, проложенная усилиями одного поколения, была, как все такие дороги, скупа на прямые перспективы и удобна более для птиц, чем для людей, однако по ней ездили, хоть и не так часто. Еще утром этой дорогой скакал почтальон, крепко сложенный, женатый человек тридцати пяти лет, но встретил неожиданное препятствие.

Его оседланная лошадь спокойно бродила по озаренной солнцем дороге, обрывая губами листья дикой акации. Хвост животного мерно перелетал с бедра на бедро, гоня мух, которые, прекрасно изучив ритм этих конвульсий, взлетали и садились, не рискуя ничем.

В чаще залегло солнце. Стояла знойная тишина опущенной в дневной зной неподвижной листвы.

На дороге, лицом вниз, словно рассматривая из-под локтя лесную жизнь, лежал труп человека с едва заметно разорванным на спине сукном куртки. Из разжатых пальцев правой руки вывалился револьвер. Плоская фуражка с прямым клеенчатым козырьком лежала впереди головы, пустотой вверх, и через нее переползал жук.

Над трупом кружилось облако мух, привлеченных запахом сырого мяса, шедшим из-под этого плотного, тяжелого тела, где земля была еще липко влажная.

У седла лошади при каждом шаге вздрагивала откину-

тая крышка сумки, откуда, скользя друг по другу и перевертываясь на краю кожного борта, сваливались запечатанные конверты. Копыта время от времени наступали на них, превращая в уродливые розетки.

Обрывая ветки, лошадь подвигалась к трупу все ближе и ближе. Заметив лежащего, она, казалось, припомнила недавнюю суматоху и коротко проржала; затем попятилась, неуверенно ставя задние ноги и взмахивая головой, как будто перед ее глазами стоял кулак. Сильный грудной храп вылетел из ноздрей. Она скакнула на месте, потом замерла, настороженно опустив голову; левый глаз дико косил.

В это время из леса, раздвинув ветви прямым, сильным движением обеих рук, вышел и ступил на дорогу человек в меховой бараньей жилетке, надетой кожей вверх на пеструю сатиновую рубашку, в серой шляпе, высоких горных сапогах. Он был небрит, с быстрым взглядом и худощавым, равнодушным лицом. Увидев, что находится перед ним, он повернулся и исчез, как пружинный, с быстротой появления.

Некоторое время его неподвижно белеющее лицо смотрело из сумерек чащи. Он всматривался и ждал.

Затем снова протянулась рука, расталкивая зеленый плетень, и человек вышел вторично, бросая вокруг внимательные взгляды. Ничто не угрожало ему. Лошадь, отойдя, продолжала обрывать листья.

Еще два письма выпали из седельной сумки.

На затылке трупа стояло солнечное пятно.

II

Неизвестный подошел к мертвому и, присев на корточки, уперся тылом ладони в его лоб, осматривая лицо.

— Вот почему стреляли в этой стороне,— сказал он, вставая.— Гениссер больше не будет возить почту. Стало быть, вез деньги и не давался живой. Несчастная твоя жена, Гениссер!

Он покачал головой, вздохнул и навел беглое следствие, как сделал бы это всякий случайный прохожий: обошел труп, поднял револьвер и удостоверился, что в одном гнезде нет пули. Всего один раз успел выстрелить почтальон.

Уважение к смерти вызвало в неизвестном минуту задумчивости. Он потускнел, щелкнул пальцами, затем стал подбирать письма, набрав их полную руку.

Время от времени он вертел какой-нибудь конверт, прочитывая незнакомые и знакомые имена с интересом человека, имеющего свободное время.

Он поднял еще одно письмо, внезапно отступил, продолжая держать его перед глазами, затем бросил все собранные письма, кроме последнего, и, поискав взглядом в воздухе решительного указания как поступить в этом непредвиденном случае, стал очень нервен. Тяжелая, пристальная озабоченность не сходила с его лица. Тонкое лезвие стыда болезненно рвалось в нем навстречу другому чувству, бывшему сильнее всех, какие когда-либо посещали его.

Обстоятельства этого случая могли ввести в грех даже менее импульсивную натуру. Инстинкт требовал вскрыть письмо. Неизвестный был человек инстинкта. После короткой борьбы он уступил неимоверному искушению и разорвал конверт неверным движением первого воровства.

Прочтя лист, исписанный торопливым мужским почерком, он аккуратно вложил письмо в конверт, сунул в карман и хлопнул по карману рукой, как бы утверждая и замыкая этим движением факт во всей его железной отчетливости. Очнувшись, он приметил камень и сел на него.

— Так, — шумно сказал он, начиная обдумывать.

Опустив голову, он сцепил пальцами руки, локти положил на расставленные колени. В таком положении просидел он некоторое время, иногда встряхивая сжатые руки и повторяя свое «так...» все тише, задумчивее, пока весь ход мыслей и представлений не выразился отчетливой потребностью в действии.

Еще раз тряхнув руками, слегка потянувшись, человек поднял лицо и встал. Казалось, он пережил что-то приятное, так как вышел на дорогу с улыбкой. Это была улыбка бессознательная и странная. Продолжая хранить ее, он стал ловить лошадь, бросая ей на голову свою просторную меховую жилетку. После некоторых неудачных попыток он схватил наконец повод, взлетел на седло и обратил голову артачащегося животного в сторону Конкайба.

Лошадь попятилась, потом подалась вперед. Удар в бок окончательно вывел ее из равновесия, и, яростно мотнув гривой, она стала выделять стремительное «та-ра-па-та», «та-ра-па-та» вдоль летящих в глаза ветвей.

Всадник не нашел удовлетворения даже в таком карьере, хотя дышал острым ветром хлещущего пространства. Он оскорбил лошадь резкими замечаниями и стал выжимать всю быстроту, на какую способна здоровая трехлетка хорошей крови.

III

Так он скакал час и два, иногда приходя в ярость, отчего лошадь, начиная уже тяжело одолевать подъемы, с хрипом взлетала на них, из последних сил натягиваясь в струну. При спусках всадник и лошадь составляли одно сумасшедшее живое существо, несшееся с быстротой падения. Худые мостики, перекинутые кое-где над трещинами и потоками, подсакивали и изгибались, как будто копыта били в живое тело. Иногда, отразив подкову, камень отлетал сам. Когда кончился лесной склон, начались луга с более мягким грунтом; лошадь пошла тяжелее, но ударами ног и страстным напряжением всех человеческих сил ей приказано было от испуга перейти к подвигу. Она сделала это. В ее глазах отражался пар сгорающих легких. Шея была вытянута безумным усилием. Вид старой крыши среди тростников поманил ее ложной целью, она пробежала шагов сто и перешла в рысь, потом, затрепетав, как от пулевой раны, грохнулась, вся в мыле, издыхая и колотя копытами воздух.

Ездок даже на мгновение не склонился над ней.

Он соскочил с нее, как с пошатнувшегося бревна, и так уверенно быстро, как будто все было предусмотрено, а потому не могло вызвать задержек и колебания, побежал к впадине берега, над линией которого двигалась, скрываясь и появляясь, рыжая меховая шапка. Там, стоя в лодке, загорелый старик вбивал кол в речное дно; он, подняв голову, увидел человека, стоящего на обрыве с поднесенным к виску револьвером.

Эта сцена произошла как видение.

Рука с револьвером дрогнула коротким толчком, звук выстрела осадил фигуру стреляющего, он склонил голову и упал навзничь.

Заостренно прищурясь, старик бросил деревянный молот и с криком, означающим внезапный перерыв мыслей, тремя взмахами достиг берега.

Хватаясь руками за земляные глыбы обрыва, взобрался он наверх быстро, как белка, и был уже близко от трупа, как самоубийца, воспряв, неожиданно кинулся вниз, завладел лодкой и отплыл в тот момент, когда пальцы старика, менее проворного, чем судорожная работа веслом, на дюйм лишь не достигнув борта, остались протянутыми к убегающей лодке.

— Орт Ганувер! — сказал старик, стоя по колени в воде. — Я тебя узнал. Тебя все равно поймают. Поймают! — повторил он и, неторопливо выйдя на берег, услышал хмурый ответ.

— Лодка была нужна.

IV

Старик ничего не ответил и, топнув ногой, побежал к дому. Решась наказать похитителя, он взял ружье и поднялся на крышу дома по приставной лестнице.

Ганувер плыл с гоночной быстротой вниз по течению. Лодка, раскачиваясь, как скорлупа, отскакивала при гибком упоре весел мерными размашистыми движениями, и, когда гребец обогнул поворот, его кивающая фигура выказалась на блестящей воде.

Рядом со стариком стоял мальчик лет восьми, хмурый, белоголовый, деловито выглядывая из-под руки. Он вскарабкался на крышу с куском хлеба в зубах.

— Клади его на месте! — посоветовало отцу дитя ртом, полным пищи.

На линии выстрела гребец поднял весло, прикрыв его лопастью голову, и невольно нагнулся, когда, дернув весло, пуля унеслась в тростник. Тотчас стал он грести еще поспешнее, почти выйдя уже из угрожающего пространства к защите левого берега, но стукнул второй выстрел; лягнув по уключине, пуля снесла мизинец.

Не чувствуя сгоряча боли, гребец тупо смотрел на искаленную левую руку, от которой стекала по веслу тонкая струя крови, капающая в воду. На отдалении, миновав другой поворот, он наспех перевязал руку платком и посмотрел на солнце.

Солнце показывало пятый час на исходе.

— Еще мила, — сказал он, снова начав грести с прежней неустойчивостью и трясая головой, чтобы удалить зали-

вающий глаза пот. Платок на его руке покрылся черными пятнами; там билась острая боль, властная, как ожог.

— Стоит ли возвращать лодку,— пробормотал он, все чаще поглядывая на солнце,— мизинец мне не купить даже и за сто таких лодок.

Наконец показались темные сараи, сады, лесопильная, мельница, площадь и вывески. Орт Ганувер выехал под свои мостки, выбросился из лодки на песчаный откос и, более не заботясь о лодке, поспешил к противоположной стороне города.

V

Все эти две сотни крыш можно было оглянуть с высоты барочной мачты одним взмахом ресниц; не хуже любого жителя края Ганувер мог вперед сказать, какое зрелище представится ему за любым углом любой улицы. Но он был в том особом положении, когда знакомое населенное место измеряется лишь масштабом стиснутого опасностью пульса, когда вся внешняя известность этого места ничто пред неизвестностью — какой характер примет первая случайная встреча. Тем не менее Орт Ганувер взялся за дело, требующее забыть о себе. Увидя распахнутые двери гостиницы, он не стал выискивать окольных путей, так как дорожил каждой минутой. Пробегая мимо гостиницы, он заметил несколько человек, стоявших тут, и по тому выражению внезапной мысли, с каким кое-кто из людей этих передвинул сигару в другой угол рта, рассматривая его открыто, в упор, он понял, что его узнали. Если бы Ганувер обернулся, он увидел бы сквозь пыль и лучи, как все взгляды направились ему вслед; впрочем, он знал это, не оборачиваясь.

Он был разгорячен, заверчен своим бешеным путешествием, а потому думал о неизбежном преследовании лишь сквозь видение дома, дверь которого торопился открыть еще больше, чем полчаса назад, так как слышал первый гудок парохода. Когда он наконец открыл дверь, навстречу ему вышла суровая старуха и, наклонив голову, взглянула поверх стекол.

Она узнала его. Всякое ненавистное явление наполняло ее строгим молчанием. Ее лицо приняло категорическое выражение всяческого замка, а желтая рука нервно указала

дверь комнаты, где женский голос напевал песенку о весенних цветах.

Собравшись с духом, пряча за спину раненую руку, Ганувер предстал перед молодой девушкой, посмотревшей на него взглядом великого изумления. В ее лице проступил внезапный румянец, но без улыбки, без живости: сухой румянец досады.

По-видимому, она укладывалась, только что кончив собирать мелочи. Раскрытый большой чемодан стоял на полу.

Ганувер сказал только:

— Не бойтесь, Фен, это я.

Его глаза искали в ее лице мнение о себе, но не нашли. Молча он протянул письмо.

Наградой за это был долгий взгляд, пытливый и немилостивый. Она резко взяла письмо, прочла и вышла из равновесия. Вся, всем существом восстала она против удара, еще не зная, что сказать, как и куда двинуться, но Орт, видя теперь ее лицо, сам взволновался и отступил, готовя множество слов, которым в смятении не суждено было быть сказанными.

Девушка села, прикрыв глаза маленькой, крепкой рукой, но, вздохнув, тотчас увела слезы обратно.

— Лучше бы вы убили меня, Орт! — сказала она. — И вы еще читали это письмо... Как назвать вас?!

— Но иначе я не был бы здесь, — поспешно возразил Ганувер. — Выслушайте меня, Фен. Я не знал, кланусь вам, какое место в вашей жизни занимает этот Фицрой. Знай я, — я, может быть, простил бы ему добрую половину того, что он наговорил мне. Дело прошлое: оба мы были пьяны, и вся эта история произошла под вывеской «Трех медведей». Слово за слово. Последним его словом было, что я негодяй, последним движением — бросить в меня стакан. И тут я спустил курок, что сделали бы и вы на моем месте. Правда, из-за таких же историй я должен был отсюда бежать, но разве помнишь это, когда кипит кровь? Как видите, Фицрой ранен, и жив, и зовет вас. Надо было торопиться, пока вы не сели на пароход. Что вы сегодня должны поехать, узнал я из этого же письма. Я не терял времени. Пусть весь стыд останется мне, но я рад, что вы узнали обо всем вовремя.

— Скажете ли вы, наконец, как попало к вам это письмо?

— Скажу. Я поднял его на дороге. Я переходил дорогу.

Я не знаю, кто отдела́л Гениссера, но вся его контора была рассыпана на пространстве двадцати— тридцати шагов. Гениссер был мертв. Грязное дело, и я не знаю, кто ограбил его. Когда я собирал письма, то увидел ваше имя... При других обстоятельствах я не... не читал бы письмо. Но тогда...

Он хотел сказать, что поддался внушению совпадений,— странности случая, вырезанного ужасным ударом,— но не нашел для этого слов, умолк и прислонился к стене, смотря на девушку с раскаянием и тревогой.

— Вскрыть письмо! — сказала она, ударяя ладонью по столу.— О, черт возьми! Я еще не знала вас хорошо, Орт!

— Палка о двух концах,— возразил он, слегка обозясь.— В противном случае вы бы не знали о положении дел.

— Да, но это сделали вы!

— Увы, я! И вот сплелся круг; как хотите, так и судите.

— Однако вам попадет за Гениссера,— сказала, помолчав, Фен.— И за все вообще.

— Не я убил Гениссера,— отвечал Ганувер,— я уже сказал вам.

Он нахмурился и прислонился к стене, толкнув нечаянно спрятанную за спиной руку. Он побледнел, согнулся от боли.

— А это что? — подозрительно сказала она, указывая на бинт.

— Ничего,— ответил Ганувер, стягивая зубами и правой рукой разматывавшуюся повязку.— Прощайте, Фен. Скажите... Скажите Фицрою, что я очень жалею... Я...

Он застенчиво посмотрел на нее и, махая шляпой, направился к выходу.

— Зачем вы сделали это? — услышал он на пороге. Голос прозвучал, как мог, сухо.

— Я уже объяснил,— сказал Ганувер, оборачиваясь с болезненным чувством,— что эти оскорбления...

— Не валяйте дурака, Орт. Я спрашиваю о другом.

— Н-ну,— сказал он, пожимая плечами и запинаясь,— потому, что я вас люблю, Фен, о чем вы хорошо знаете. Не стоило спрашивать.

— Не стоило...— повторила она в раздумье.— Видел вас кто-нибудь?

— Должно быть.

— На всякий случай я выпущу вас другим ходом, а там — что будет.

Он прошел за ней по короткому коридору к раме раскрытых дверей с вставленной в нее картиной цветника и собаки, смотревшей, натянув цепь, кровавыми загорающими-ся глазами на человека в меховом жилете. Он знал, что за дверью открылась не жизнь, а картина жизни, которую он может вызвать в памяти перед тем, как его повесят. Чувство опасности остро разлилось в нем.

Выходя, он обернулся и увидел, как женская рука плотно прикрыла дверь.

Орт Ганувер направился было к воротам, но, раздумав, повернул в противоположную сторону, перескочил невысокую каменную ограду и прошел углом соседнего огорода к выходу на другую улицу. Он был теперь ненормально спокоен и вял, хотя еще полчаса назад рвался повернуть и отстранить все, мешающее вручить письмо. Реакция была так же сильна, как было строго и беспощадно напряжение встречи. Он чувствовал, что теряет способность соображать.

Постояв в нерешительности, хотя сознавал, что медлить опасно, он наконец тронулся с места, перешел улицу и стал пробираться к реке.

VI

Вечером следующего дня редактор «Южного Курьера» взял у метранпажа стопу гранок и перебрал их, бормоча сам с собой: «Землетрясение в Зурбагане», «Спектакли цирковой труппы Вакельберга», «Очередной биржевой коктейль», «Арест Ганувера»...

Отложив эту заметку, он взял карандаш и прочел:

«Сегодня вечером арестован на улице города Кнай Орт Ганувер, дела которого, надо сказать прямо, не блестящи. Он обвиняется в убийстве и ограблении почтальона. Кроме того, старые грехи этого молодца, обладающего горячим характером, образуют величественную картину разнузданности и дикости, а потому...»

Остальное было в этом роде, и, молча прочтя конец, редактор подписал сверху гранки:

«Арест Ганувера».

«Грабитель почты понесет заслуженное наказание».

«Мрачный, но необходимый пример получают все, ставшие врагами общества и порядка».

— Вот так,— сказал он, передавая корректуру сотруднику.— Остальное тоже пустить в машину.

Сотрудник, разобрав материал, подошел к редакторскому столу.

— Которая заметка пойдет? — сказал он.— У меня две заметки о Ганувере.

— Например?..

— Вот та; а вот вторая, о которой я говорю.

Эта вторая заметка была составлена так:

«Арест О. Ганувера вызвал в нашем городе много толков и пересудов. Его обвиняют в убийстве и ограблении почтальона. Между тем установлено путем предъявления следствию бесспорных доказательств, что О. Ганувер явился в Кнай передать одному лицу найденное на дороге письмо. Мы не знаем, как отзовется это обстоятельство на приговоре суда, но считаем делом справедливости печатно установить непричастность Ганувера к ужасному и печальному делу».

— Кто отдал это в набор? — спросил редактор.— Должно быть, вы, Цикус?

— Да. Потому что вас не было.

— Кем подписан оригинал?

— Он подписан...

Говоря это, молодой, рыжий, как морковь, человек разыскал на столе и подал листочек, подписанный: «Ф. О'Терон».

— Звучит несколько интимно, несколько легкомысленно,— сказал редактор, ни к кому не обращаясь и взглядывая поочередно на обе заметки.— Суд есть суд. Газета есть газета. И я думаю, что первая заметка выигрышнее. Поэтому пустите ее, а что касается письма Ф. О'Терон, редакция ответит ей в частном порядке.

ОГНЕННАЯ ВОДА

I

К главному подъезду замка Пелегрин, описав решительный полукруг, прибыл автомобиль жемчужного цвета — ландо.

В левом его углу с подчеркнутой скромностью человека, добровольно ставящего себя в зависимое положение, сидела молодая женщина с серьезным, мелких черт, лицом и тем оттенком улыбки, какой свойствен сдержанной душе при интересном эксперименте.

Она была не одна. Господин с лысиной, выходящей из-под цилиндра к затылку половиной тарелки, с завитыми вверх, лирой, усами и тройным подбородком, уронив, как слезу, в руку монокль, оступился и, подхваченный швейцаром, вновь вскинул стекло в глазную орбиту, чопорно оглядываясь.

Швейцар звонком вызвал лакея, презрительно поджав нижнюю губу, что, впрочем, относилось не к посетителю.

— Нижайшее почтение господину нотариусу, — сказал он почтительным, но несколько фамильярным тоном сообщника. — Все в порядке.

— В порядке, — повторил нотариус Эспер Ван-Тегиус. — Шутки долой. Пока не пришел кто-нибудь из этой банды, говорите, как дела.

— Во-первых, идут какие-то проделки и стоит кавардак. Во-вторых, совещание докторов окончилось ничем. Я подслушивал у дверей с негром Амброзио. Смысл решения такой, что «нет никаких оснований».

— А... Это печально,— сказал Ван-Тегиус.— Профессор Дюфорс еще меня не известил обо всем этом.— Удар! Последнее средство...— Он обернулся и кивнул даме в автомобиле, махнувшей ему ответно концом вуали.— Ну, что еще? Настроение? Факты?

В дальях заднего плана раскатисто заскакало эхо ружейного выстрела, сопровождаемого резким криком.

— Факты? — сказал, вздрогнув, швейцар, и его гладстоновское лицо передернулось, как кисель.— Вот и факты. Утром он убил восемь павлинов, это девятый.

— Но что же...

— Тс-с...

Где-то вверх лестницы уставился в ухо нотариуса пронзительный свисток, ему ответил второй, и по лестнице, припрыгивая и катясь ладонью по гладким мраморным перилам, спустился бритый человек с лицом тигра; его кожаная куртка и полосатая рубаша были расстегнуты; широкие штаны болтались вокруг огромных ботов с подошвой в три пальца. Копна полуседых, черных волос была стянута малинового цвета платком. Дым шел одновременно из трубки и рта, так что человек спустился как бы на облаке.

Невольнo Ван-Тегиус увидел за его спиной призрак подобострастного маркиза в шелковых чулках и красной ливрее, но лакеев этого типа не найти было более в Пелегрине.

— Что здесь происходит? — спросил страшный слуга.

— Нет ни абордажа, ни драки дубовыми скамейками,— с ненавистью ответил швейцар,— просто посетитель, ничего более. Да. Может быть, вы взберетесь по вантам доложить о его прибытии? Нотариус Ван-Тегиус.

Страшилище почесало затылок.

— Я хочу видеть по делу владельца, Эвереста Монкальма,— заявил нотариус, намеренно избегая титула.

— Пойду скажу,— задумчиво ответил матрос,— не знаю, что будет.

Он исчез, шагая по три ступеньки; тем временем швейцар сообщил еще кое-что интересное: уволено тридцать слуг, взамен их Монкальм выписал откуда-то человек двадцать матросов, которые и делают, что хотят. Этикет уничтожен; исчезло малейшее подобие знатности и величия. Недавно едва не затравили собаками директора кинематографической фирмы, приехавшего со свитой и актерами просить разрешения снять в древнем гнезде маленькую комедию. Жена Монкальма, эта «темная особа низкого происхо-

ждения», как выразился швейцар, вчера самолично руководила на кухне приготовлением кушанья, изобретенного ее мужем. Сам не терпит никаких возражений и указаний. Звонки заменены свистками и трубными сигналами. Все это хлынуло дождем безобразия за три недели, как только изгнанный пятнадцать лет назад за многочисленные художества Эверест по непонятному капризу его дяди стал полным и единственным наследником.

— Гм... гм... — сказал Ван-Тегиус, затем вышел к автомобилю, пошептался с дамой и вернулся в момент, когда ему сверху махнули рукой идти.

II

Он все-таки ожидал еще по старой привычке, так как не раз бывал здесь, что с блаженным и торжественным чувством погрузится в бездны темной стенной резьбы, простора внушительных и величественных предметов с гулким эхом шагов. Отчасти это и было так, с той поразительной и все-му придавшей иной вид разницей, что во всех помещениях стоял яркий, дневной свет. С удалением темных цветных стекол и заменой их прозрачными залы, казалось, сверкали вихрем желтых и голубых перьев. Чинно выступая вслед развалистой походке морского бродяги, Ван-Тегиус, несколько струсив, прошел сквозь строй коек, составленных пирамидой ружей, и матросов, игравших в карты, прихлебывая вино, — это была охрана Монкальма. Вдали, на коротком просвете анфилады, промчалась горничная с паническим лицом. В одной гостиной стояла огромная палатка, внутри ее виднелась походная меблировка пустыни; пальмы в кадках, сдвинутые вокруг, являли вид комнатных тропиков.

Следующая комната, путь к которой шел по небольшой лестнице, показала наконец Ван-Тегиусу более кроткое зрелище. Здесь, полулежа на ковре, подпирая маленькой смуглой рукой голову, расположилась пышно-непричесанная, но в бальном платье, шлейф которого был занят двумя книгами, женщина или, вернее, девочка, ставшая женщиной на семнадцатом году жизни. Все шкафы здесь были открыты, и их музейное содержание — фарфоровые фигурки зверей и людей — образовало перед лицом странной особы маленькую цветную толпу, которую она заботливо группировала в

какие-то сцены, по-видимому, придавая этому большое значение. Увидев Ван-Тегиуса, она сердито смутилась и грациозно приподнялась, затем встала, сложив руки назад.

— Это пленник? — сказала она серьезно. — Что он сделал?

— Ничего, идет себе, — ответил матрос, — только это не пленник.

Нервно смеясь, угадывая, что видит жену Монкальма, нотариус отвесил театральный поклон и хотел назвать себя, но женщина, покраснев, махнула рукой.

— Идите, идите, я потом приду, — заявила она и отвернулась, очаровательно заалев.

Путь среди этих чудес был пыткой. Наконец она кончилась. Ван-Тегиус, расстроенный, но крепко решившийся, вошел в колоссальную библиотеку, где у раскрытого окна с винтовкой в руках стоял сам Эверест Монкальм, нелюбимый и изгнанный сын Монкальма, одного из трех великих дюжин страны.

III

Он был в турецком костюме, чалме и низких сафьяновых сапогах. Его широкое нервное лицо с прищуренным, как на солнце, взглядом отражало весь его беспокойный, неукротимый характер; сложенный красиво и сильно, он двигался, как порыв ветра, говорил громко и медленно.

— Ван-Тегиус! — сказал он, вывихивая рукопожатием плечо нотариуса. — Надоели павлины. Их крик ужасен. Что скажете?

Они сели, причем Монкальм уронил свою винтовку, но не поднял; стук, заставив нотариуса вздрогнуть, помог ему начать в темп встречи, — и сразу.

— Эверест, — сказал он, — я знал вас ребенком. Не будем говорить о печальных обстоятельствах...

— Что же печального? — перебил Монкальм. — Обыкновенный блудный сын. Деликатное изгнание с пенсией. Нежелание обручиться с девой, безрадостной, но богатой...

— Молодость Генриха четвертого, — разрешил себе обобщить Ван-Тегиус, — побеги на рыболовных судах...

— Я откровенно скажу, — снова перебил Монкальм, — пятнадцать лет сделали меня таким, каков я теперь. Со

мной Арита. Это моя жена. Я нашел ее в темном углу с пыльным золотым светом. Больше мне ничего не надо. Кстати,— сказал он таинственно,— заметили палатку?

— О, да.

— И военный постой?

— Хм... конечно.

— Ну, так это она. Ей хочется, чтобы все было «как на корабле». Вахта. И пустыня, где она не бывала; поэтому соорудили палатку. Не стоит мешать ей.

— Я удостоился,— с улыбкой сказал Ван-Тегиус,— удостоился вопроса,— «не пленник ли я?»

— Ну да,— ответил, быстро подумав, Эверест.— Это замочек. У нее все спуталось в голове. Она, может быть, ждет драконов,— почему я знаю? Вы знаете,— просто сообщил он,— что здесь все смеются над нами. Однажды меня не было. Ей подали обед в парадном порядке, но с издевательствами. От поклонов, услуг и титулования она не могла есть; она сидела и плакала, так как растерялась. Узнав это, я выгнал всех хамов и заменил их старыми своими знакомыми. Вас привел Билль. Он был, правда, пиратом, но мимо спальни проходит на цыпочках.

— К сожалению,— сказал нотариус,— ваш образ жизни, бесцеремонный уход с праздника у сестры вашей, герцогини Эльтрат, в сопровождении забулдыг, ваше нежелание посетить влиятельных лиц и многое другое — отвратило от вас много дружественных душ.

— О,— сказал Монкальм и наивно прибавил,— правда. Невероятно скучны эти кисляи. Я делаю, что хочу. Хотите, мы вам сейчас споем хором «Песню о Бобидоне, морском еже»?

— Нет,— вздохнул Ван-Тегиус.— Я уже стар. Монкальм, я приехал с кузиной вашей, Дорой дель-Орнадо. Она в автомобиле, так как боится войти.

Взгляд, подобный пощечине, и срыв Монкальма в хлопнувшую, как стрела, дверь был ответом. Ван-Тегиус пробыл один около десяти минут, пока Эверест вернулся в сопровождении легко и мило выступающей женщины, видимо, взволнованной тем, что предстояло сказать.

— Меня не надо бояться,— сказал Монкальм, двигая ударом ноги кресло для посетительницы.

Затем нотариус приступил к делу и рассказал, что, умирая, дядя Эвереста в виду невозможности быстро переделывать завещание, сделанное в пользу племянника,—призвал

его, Ван-Тегиуса, и ее, Дору дель-Орнадо, и заставил поклясться, что устное его пожелание будет передано племяннику.

IV

Оказалось, что игра вышла наверняка. Молодая женщина успела только сказать:

— Дорогой Эверест, мое положение тяжело. Я не посягаю на все и не имею права, но я прошу вас сделать, что можно.

В этот момент вошла Арита, робко потянув дверь. Эверест удержал ее рукой за плечо. Она прошла вперед, упираясь головой в подмышку гиганта, с застенчивым и прелестным лицом, полным неловкости.

— Душа моя,— сказал Монкальм, подмигивая нотариусу и кузине,— мы завтра уезжаем с тобой в Гедарк, в новое путешествие.

— При полном ветре,— сказала она.— И вы с нами?

Смех, короткое представление, два-три ненужных слова, и посетители удалились.

— Ваш расчет верен,— сказала нотариусу Дора с чувством, смотря на его деловитое, улыбающееся лицо, когда автомобиль тронулся.— Нас даже не провожали, однако.

— Как? Разве вы не видели? Впрочем, я понимаю ваше волнение. За нами шел Билль, этот мрак в образе человека.

— Итак, вы...

Она обернулась на Пелегрин с выражением охотника, повадившего тигра.

— Так просто,— сказал Ван-Тегиус.— Ох, уж эти романтики...

ЛЕГЕНДА О ФЕРГЮСОНЕ

Настоящий рассказ есть суровое изложение того, как Эбергард Фергюсон потерял в мнении людей благодаря свидетельскому показанию человека, которому он, когда тот был ребенком, дал пряник. Из дальнейшего читатель убедится, что пряник был дан неблагодарному существу и что репутация Фергюсона нашла неожиданную защиту в лице девушки, до тех пор не обнаруживавшей себя ровно ничем.

Мы все, по крайней мере те из нас, кто побывал в долине Поющих Деревьев, слышали, что Фергюсон отличался необычайной силой и один победил шайку в сорок восемь бандитов, опрокинув на их гнездо с отвеса Таулокской горы огромную качающуюся скалу весом в двадцать тысяч пудов.

Эту скалу можно видеть и теперь: раздробив барак Утлемана, предводителя шайки, она скатилась по склону в лес и там, никогда более не качаясь, обросла кустами.

Лет пять назад низменный берег моря между Покетом и Болотистым Бродом был затоплен долгими ливнями. Прилив более сильный, чем обыкновенно, благодаря урагану, помог делу разрушения насыпи. Поезд, шедший из Гель-Гью в Доччер, высадил пассажиров на станции Лим, и все стали ждать прибытия рабочих команд.

Часть пассажиров вернулась в Гель-Гью, а часть осталась.

В деревянной гостинице «Зимородок» поселились Джон и Сесиль Мастакары, братья-агенты целлулоидной фирмы; доктор Фаурфдоль, получивший службу в Доччере и не то-

ропившийся никуда; пьяный джентльмен с испуганными глазами и нервным лицом; самостоятельная девица плоских форм, смотревшая на все твердо и свысока; и инженер Маненгейм с дочерью шестнадцати лет, молчаливой и большеглазой. Ее звали Рой.

Лим — место, где из центра во все стороны можно видеть за домами бурое поле и лес на горизонте, а за ним — горные голубые намеки, почти растворенные атмосферой, а потому на третий день вынужденного покоя начался сплин.

Было слышно, как сверху ходит по своему номеру пьяный джентльмен, напевая: «Я люблю безумно танцы...» Доктор сидел на террасе, рассматривая местных пиявок. Братья Мастакары играли в шестьдесят шесть, сидя в тени пробкового дерева, у входа в гостиницу. Инженер забрался на кухню, где начал терпеливо учить кота подавать лапку, а его дочь стояла, прислонясь к садовой стене, и грызла орехи, которыми были всегда набиты карманы ее платья. Она думала: «Что будет, если я закрою глаза и вдруг открою? Может быть, я окажусь в Африке?!»

Никто не подозревал, что к гостинице приближается алчная и беспокойная личность, заранее рассматривающая пленников Лима как отпетых дураков. Это был Горький Сироп, имя и фамилия которого бесследно пропали.

Сварливый взгляд и длинный, угреватый нос Горького Сиропа увидели первыми братья Мастакары. Горький Сироп дернул за козырек кепи и сказал:

— Джентльмены желают развлечься. Они могут посмотреть местные достопримечательности.

Джон Мастакар сосчитал: «пятьдесят один» и прибавил: «уйдите». Но Горький Сироп подошел ближе.

— Во-первых,— сказал он,— столб, на котором линчевали трех негров в 1909 году.

У окна показался пьяный джентльмен. Он был-таки пьян и смеялся.

— Во-вторых,— продолжал бродяга,— вывеска, написанная масляными красками над булочной О'Коннэля. Если всмотреться, явственно различаешь среди булок и кренделей фигуру знаменитого полководца Наполеона.

— Ха-ха! — сказал пьяный джентльмен.— Выпей на доллар и увидишь зеленых слонов.

Вышел инженер с дочерью. Рой молчаливо грызла орехи.

Увидев ее, Горький Сироп преобразился.

— В-третьих,— сказал он совсем громко,— на дереве близ мастерских ласточка свила гнездо в туфле приезжей артистки Молли Фленаган, которая бросила ее туда после того, как выпила из этой туфли целую бутылку шампанского.

Раскрылось второе окно и показался раздраженный бюст самостоятельной девицы средних лет; она твердо сказала:

— Вы должны найти работу, Дачежин! Все должны работать, а не попрошайничать!

С террасы приплелся доктор.

— Нет ли еще чего-нибудь?— спросил он, зевая.

— Едва ли вы назовете «чем-нибудь» скалу в двадцать тысяч пудов, сброшенную Фергюсоном,— с достоинством произнес Горький Сироп,— редкую качающуюся скалу, которую он обрушил на притон бандитов Утлемана! Она в двух милях отсюда. След могучих рук Фергюсона навеки врезался в камень. Можно различить снимок его пальцев.

— Папа, я хочу видеть скалу,— заявила Рой.

— Вы выразили разумное желание, мисс,— сказал Горький Сироп.— Внушительное, незабываемое зрелище!

Инженер не противоречил девушке. Достаточно, что она хотела видеть скалу.

Погода стояла отличная. Уговорили ехать Мастакаров, доктора; пьяный джентльмен пришел сам. Самостоятельная девица резко отошла от окна и больше не показывалась. Хозяин гостиницы доставил поместительный старый автомобиль, куда все и уселись. Горький Сироп, сдвинув колени, чтобы не задеть кого-нибудь и тем не уменьшить свой гонорар, рассказывал, прикладывая руку к груди:

— Фергюсон был таинственная и благородная личность. Ростом семь футов, красивый, как Юпитер, с глазами, обжигавшими каждого, кто приближался к нему. Его голос звучал, как корнет-а-пистон. Его черные усы и такая же борода вились, как шелк. Его лицо было бело, как мрамор. Он жил в лесу, за Таулокской горой. Никто не знал, что он делает. Говорили, что он был несчастен в своей великой любви к дочери одного... гм... инженера. Каждый день он ходил на Таулокскую гору и слегка поддавал скалу, утоляя свое неутешное сердце ее неистовыми раскачиваниями. И вот он узнал, что Утлеман собирается ограбить и убить переселенцев. Тогда герой взмог на гору и ночью, когда бандиты спали в своем лесном доме, послал им вечную пе-

чать молчания. Сто двадцать человек было убито, а пятеро сошли с ума, и их поймали.

Доктор лениво улыбался, инженер хохотал, братья Мастакары слушали и соображали, не предложить ли целлюлоидной фирме изобразить на гребенках Фергюсона, толкающего скалу.

Наконец приехали к месту, где лежала скала, и вылезли из автомобиля. Пройдя немного пешком, путешественники увидели огромный камень неправильной ромбической формы, лежавший среди деревьев, как серый дом без окон и дверей.

— Не поздоровится от такой штуки,— сказал Джон Мастакар.

— Покажите отпечатки пальцев! — потребовала Рой у Горького Сиропа.

— Они с нижней стороны, так что их не видать,— заявил прохвост.

Доктор лениво созерцал скалу, соображая, сколько ампутаций мог бы он произвести у ста двадцати человек. В это время подошел маленький спокойный старик, очень дряхлый, но с пронизательными живыми глазами.

— Толкуете о Фергюсоне? — обратился он к компании.— Что-то вам Сироп врет. Дело в том, что я знал этого Фергюсона, но, хоть убей, это делу не помогает. Даже обидно. Я его знал, когда мне было одиннадцать лет. Впрочем, если...

— Отчего же, скажите...— протянул пьяный джентльмен.

— Я стоял у лавки,— продолжал старик,— а он вышел оттуда и сказал: «Хочешь пряник?» Я сказал: «Да». Взял пряник и съел. Ну, он жил около болота, этот ваш Фергюсон, и промышлял тем, что хлопотал в суде о земельных участках. Разбойники, действительно, были, только дальше отсюда, у Котомахи. Фергюсон был заика, болезненный человек, малого роста. Я ему полюбился, и он брал меня с собой на прогулки: бывало, мы с ним качали эту скалу. Но ее качнуть не труднее было, чем большую лодку. Вот он мне и говорит как-то: «Надоела дурацкая скала!» В ту же ночь ее штормом ударило об откос — верхним краем, должно быть,— основание сползло, и устойчивое равновесие нарушилось. Она, конечно, упала и раздавила двух коров, которые там внизу задумались,— знаете, эти, которые... стоят и жуют. Теперь мне даже смешно, как все это переиначили.

Через два дня Рой Маненгейм приехала в Дочер и стала рассказывать своей тете о путешествии, грызая, как всегда, орехи. Ее задумчивые большие глаза рассматривали белое ядро ореха, когда она вдруг прибавила ко всему прочему:

— Еще видели мы с отцом скалу, весом тридцать тысяч пудов, которую Фергюсон бросил на гнездо бандитов. С ужасной высоты!

Подумав, она вытащила из кармана новую горсть орехов и, трудясь над ними, закончила:

— Он был красивый, с черной бородой, сильный и храбрый. Так нам сказал какой-то старик. Он говорил—как пел. Все боялись его, а он — никого. И когда он сбросил на разбойников эту большую скалу, он дал какому-то мальчику пряник, потому что был очень прост и доступен... Он любил одну девушку, и они женились.

Еще подумав, Рой прибавила:

— Они женились раньше, чем он сбросил скалу.

АКВАРЕЛЬ

Клиссон проснулся не в духе.

Вчера вечером Бетси жестоко упрекала его за то, что он сидит на ее шее, в то время как Вильсон поступил на речной пароход «Деннем».

Должность кочегара предназначалась Клиссону, но он с намерением опоздал к поезду, чтобы «Деннем» ушел в рейс. Прачка зарабатывала неплохо. Клиссон обдуманно потакал наклонности Бетси к выпивке. Охмелевшая женщина давала ему деньги довольно кротко. Она считалась хорошей прачкой, поэтому у нее всегда было много работы.

Лежа на кровати с тяжелой головой, с жжением в груди, Клиссон курил папироску и размышлял: каким образом получить крону? День был праздничный; вчера кочегар условился с приятелями, что встретит их в кабаке Фукса.

Веселое зеленое утро шевелило за рамой окна листья плюща. Благоухали кусты, росшие под стеной дома. Клиссон, смотря на желтые и белые цветы, представлял, что это — серебряные и золотые монеты. Он насчитал сорок штук и вздохнул.

Бетси внесла железный чайник. Зевая, стала она накрывать на стол.

В комнате не было другой мебели, кроме табуретов, двух кроватей и старого плетеного кресла. За дверью, в углу, целую неделю копился сор. На подоконнике лежали объедки; пол был усеян огуречной и яблочной кожурой. У стены огромные корзины с грязным бельем распространяли запах тлена и сырости.

Двигаясь около стола, прачка задела ногой пустую бутылку, она выразительно откатилась, напомнив Клиссону, что надо опохмелиться.

Хмурый вид Бетси не вызывал в нем особых надежд. Жалея, что вчера забыл выпросить у нее денег, Клиссон понуро оделся; опасаясь повторения вчерашних нападков, он не торопился вступать в разговор.

Они стали молча пить чай. По тому, как Бетси вырвала из руки кочегара нож, которым тот резал хлеб, Клиссон мрачно убедился, что прачка не забыла «Деннем». Терять было нечего. Клиссон сказал:

— Опоздал на поезд. Разве я хотел опоздать? Случай, больше ничего. Не дашь ли ты мне шиллинг?

— А будь я проклята, если дам,— спокойно ответила Бетси.— Я пять домов перестирала за эту неделю. Брошу работать; начну пить, как ты.

Они поругались, потом затихли. Клиссон с отвращением проглотил кружку чая, завидуя Бетси, у которой никогда не болела голова. Чтобы отомстить, он сказал:

— Ты сама пьешь. Вчера напилась, стала петь. Наде-ла рубашку чужую, с кружевами, и хвасталась!

— Так ты мне не давал бы пить. Я столько не пила прежде. Теперь пью и буду пить, а денег не дам.

Едва не загорелась драка, но тут прачку через окно окликнула соседка, и Бетси вышла, бросив взгляд на угол корзины с бельем. Едва жена скрылась, Клиссон подскочил к корзине и разрыл белье в том месте, куда посмотрела Бетси. В коробке от папирос лежали деньги. Клиссон взял крону и быстро привел белье в порядок, сев затем снова к столу.

Почти тотчас вернувшаяся Бетси с сомнением установилась на Клиссона, но не догадалась о краже. Вздыхнув, она стала вытряхивать за окно одеяло, а Клиссон спрятал кепи во внутренний карман пиджака и через пустые комнаты, тщетно ожидавшие жильцов, прошел к раскрытому окну; он выпрыгнул из него и обогнул сарай, где Бетси летом стирала. Тогда он надел кепи и, убедясь, что прачка не преследует его, поспешил к станции трамвая.

В переполненном вагоне Клиссон окончательно успокоился.

Приехав через полчаса в город, Клиссон полюбовался своей кроной и направился в трактир Фукса. Переходя с тротуара на тротуар, кочегар посмотрел вокруг и вздрог-

нул: Бетси быстро шла прямо к нему, не сводя глаз, и значительно кивнула, когда он, невольно остановясь, вытянул голову в плечи.

Предстоящее объяснение так тяжело сжало сердце Клиссону, что у него не хватило мужества встретить грозу. Вид черной юбки и клетчатого платка, приближающихся с неумолимой быстротой, расталкивая и обегая прохожих, вынудил его к бегству, и Клиссон устремился прочь, разглядывая все двери и входы с мечтой найти спасительную лазейку. Услышав за спиной крик: «Не уйдешь, подлец!» — Клиссон пустился бежать и свернул за угол. Там был глубокий стильный вход с вращающимися дверьми. Со всей быстротой соображения, вызванной ужасом, Клиссон прочел надпись овального щита: «Весенняя выставка акварелистов» — и вбежал по солнечной лестнице к входу в зал, где его остановила девица решительного вида, заставив купить билет. Меняя крону, он испытывал некоторое удовольствие при мысли, что часть денег все-таки им истрачена и что Бетси потеряла из вида его убегающую спину.

Клиссон прошел в зал, где с высоких стен глянуло на него множество лиц. В его планы не входило критиковать Смайльса и Дежруа; он хотел лишь побыть и уйти. Он видел задумчивых посетителей, обменивающихся тихими замечаниями, и затем... явственно признал Бетси: она, холодно улыбаясь, приближалась к нему. Ее глаза были прищурены, и она не видела ничего и никого, кроме Клиссона, взявшего ее крону.

— Не ушел? — сказала Бетси ледяным тоном. — Пойдем-ка поговорим.

— Только не здесь, — взмолился Клиссон, устремляясь вперед. — Здесь выставка... Я поехал на выставку... Где же ты была? Не видел тебя в трамвае...

— В следующем вагоне. Ответь: долго будет так? Подлец!

— Я не на привязи у тебя, — огрызнулся Клиссон, шагая все быстрее среди толпы.

Стараясь говорить тихо, они бранились, осыпали друг друга проклятиями, и Бетси заплакала. Вороватая душевная тяжесть Клиссона достигла предела. Он видел, что посетители обращают внимание на него и на прачку, подметил вопросительные взгляды, улыбки. Не зная, что делать, Клиссон поворачивал из одной двери в другую, а Бетси следовала за ним, как проникающее в дерево сверло,

и Клиссон начал останавливаться возле картин,— хотя ему было не до картин,— выбирая такие места, где толпилось больше публики. В таких случаях Бетси молчала, но стояло ему отойти, как он слышал сдавленный шепот: «Бездельник! Лицемер! Пьяница!» — или: «Немедленно уходи отсюда! Отдай деньги!»

— Замолчи! — сказал Клиссон так громко, что, боясь скандала, женщина утихла. Следом за ним она подошла к картине, на которую Клиссон уставился исподлобья, как на улыбающегося врага. Человек десять рассматривали картину. Дорожка с полосами света, проникающего сквозь листву и падающего на заросшую плющом стену кирпичного дома с крыльцом, возле которого на деревянной скамейке валялась пустая клетка, показалась Клиссону знакомой.

— Похоже, что это наш дом,— произнес он тоном мольбы, надеясь прекратить казнь.

— Сбрендил ты, что ли?

Но чем больше прачка всматривалась в картину, тем понятнее становилось ей, что это точно тот дом, откуда исчезла злополучная крона. Она узнала окна, скамейку; узнала ветви клена и дуба, между которых протягивала веревки. Яма среди кустов, поворот за угол, наклон крыши, даже выброшенная банка из-под консервов — все это не оставляло сомнений. Глаза и память указывали, что Бетси и Клиссон смотрят на собственное жилье. Восхищенные, испуганные, перебивая друг друга подробными замечаниями, они немедленно доказали сами себе, что ошибки нет.

— За крыльцом помойное ведро; его не видно! — радостно заявила Бетси.

— Да-а... а внутри-то?! Хоть бы ты подмела,— с горечью отзывался Клиссон.

Они отошли в угол; там, шепчась между собой, старались они понять, как попало сюда изображение дома. Клиссон высказал догадку, не есть ли картина раскрашенная фотография. Но Бетси вспомнила человека, который месяца полтора назад шел с ящиком и складным стулом.

— Я тогда же подумала,— сказала она,— идет и ни на что не обращает внимания. Я хотела вернуться, было мне странно его там встретить,— ни на кого не похож! А ты пропадал три дня. Два дня я тебя искала.

Они наговорились и вернулись к картине, так необыч-

но уничтожившей их враждебное настроение. Перед картиной стояло несколько человек. Видеть этих людей казалось Клиссону так же странным, как если бы они пришли в дом смотреть жизнь. Дама сказала:

— Самая прекрасная вещь сезона. Как хорош свет! Посмотрите на плющ!

Услышав это, Клиссон и Бетси ободрились, подошли ближе. Их терзало опасение, что зрители увидят пустые бутылки и узлы с грязным бельем. Между тем картина начала действовать, они проникались прелестью запущенной зелени, обвивавшей кирпичный дом в то утро, когда по пересеченной светом тропе прошел человек со складным стулом.

Они оглядывались с гордым видом, страшно жалея, что никогда не решатся заявить о принадлежности этого жилья им. «Снимаем второй год», — мелькнуло у них. Клиссон выпрямился. Бетси запахнула на истощенной груди платок.

— А все-таки мне больше дают стирки, чем этой потаскухе Ребен,— сказала Бетси,— потому что я свое дело знаю. Я соды не кладу, рук не жалею. Ну... раз уж украл, так поди выпей... только не на все.

Клиссон помолчал, затем шепнул:

— Пойдем. Я выпью. Уж раз я сказал, я слово свое держу. Завтра надо поговорить с Гобсоном — Гобсон обещал мне место, если Снэк откажется.

— Будь уверен, что тебя водят за нос.

— Ну, ничего, выпьем, с Гобсоном поговорим.

Они прошли еще раз мимо картины, искоса взглянув на нее, и вышли на улицу, удивляясь, что направляются в тот самый дом, о котором неизвестные им люди говорят так нежно и хорошо.

ГНЕВ ОТЦА

Накануне возвращения Беринга из долгого путешествия его сын, маленький Том Беринг, подвергся нападению тетки Корнелии и ее мужа, дяди Карла.

Том пускал в мрачной библиотеке цветные мыльные пузыри. За ним числились преступления более значительные, например, дырка на желтой портюре, сделанная зажигательным стеклом, рассматривание картинок в «Декамероне», драка с сыном соседа,— но мыльные пузыри особенно взволновали Корнелию. Просторный чопорный дом не выносил легкомыслия, и дядя Карл торжественно отнял у мальчика блюдо с пеной, а тетя Корнелия— стеклянную трубочку.

Корнелия долго пророчила Тому страшную судьбу проказников: сделаться преступником или бродягой— и, окончив выговор, сказала:

— Страшись гнева отца! Как только приедет брат, я безжалостно расскажу ему о твоих поступках, и его гнев всей тяжестью обрушится на тебя.

Дядя Карл нагнулся, подбоченившись, и прибавил:
— Его гнев будет ужасен!

Когда они ушли, Том забился в большое кресло и попытался представить, что его ожидает. Правда, Карл и Корнелия выражались всегда высокопарно, но неоднократное упоминание о «гневе» отца сильно смущало Тома. Спросить тетку или дядю о том, что такое гнев,— значило бы показать, что он трусил. Том не хотел доставить им этого удовольствия.

Подумав, Том слез с кресла и с достоинством направился в сад, мечтая узнать кое-что от встреченных людей.

В тени дуба лежал Оскар Мунк, литератор, родственник Корнелии, читая газету.

Том приблизился к нему бесшумным индейским шагом и вскричал:

— Хуг!

Мунк отложил газету, обнял мальчика за колени и притянул к себе.

— Все спокойно на Ориноко,— сказал он.— Гуроны преступили в прерию.

Но Том опечалился и не поддался игре.

— Не знаете ли вы, кто такой гнев? — мрачно спросил он.— Никому не говорите, что я говорил с вами о гнев.

— Гнев?

— Да, гнев отца. Отец приезжает завтра. С ним придет гнев. Тетя будет сплетничать, что я пускал пузыри и прожег дырку. Дырка была маленькая, но я... не хочу, чтобы гнев узнал.

— Ах, так! — сказал Мунк с диким и непонятным для Тома хохотом, который заставил мальчика отступить на три шага.— Да, гнев твоего отца выглядит неважно. Чудовище, каких мало. У него четыре руки и четыре ноги. Здорово бегают! Глаза косые. Неприятная личность. Жуткое существо.

Том затосковал и попятился, с недоумением рассматривая Мунка, так весело описывающего страшное существо. У него пропала охота расспрашивать кого-либо еще, и он некоторое время задумчиво бродил по аллеям, пока не увидел девочку из соседнего дома, восьмилетнюю Молли; он побежал к ней, чтобы пожаловаться на свои несчастья, но Молли, увидев Тома, пустилась бегом прочь, так как ей было запрещено играть с ним после совместного пускания стрел в стекла оранжереи. Зачинщиком, как всегда в таких случаях, считался Том, хотя на этот раз сама Молли подговорила его «попробовать» попасть в раму.

Движимый чувством привязанности и благоговения к тоненькому кудрявому существу, Том бросился напрямик сквозь кусты, расцарапал лицо, но не догнал девочку и, вытерев слезы обиды, пошел домой.

Горничная, накрыв к завтраку стол, ушла. Том заметил большой графин с золотистым вином и вспомнил, что

капитан Кидд (из книги «Береговые пираты») должен был пить ром на необитаемом острове, в совершенном и отвратительном одиночестве.

Том очень любил Кидда, а потому, влезши на стол, налил стакан вина, пробормотав:

— За ваше здоровье, капитан. Я прибыл на пароходе спасти вас. Не бойтесь, мы найдем вашу дочь.

Едва Том отхлебнул из стакана, как вошла Корнелия, сняла пьяницу со стола и молча, но добросовестно шлепнула три раза по тому самому месту. Затем раздался крик взбешенной старухи, и, вырвавшись из ее рук, преступник бежал в сад, где укрылся под полом деревянной беседки.

Он сознавал, что погиб. Вся его надежда была на заступничество отца перед гневом.

О своем отце Том помнил лишь, что у него черные усы и теплая большая рука, в которой целиком скрывалось лицо Тома. Матери он не помнил.

Он сидел и вздыхал, стараясь представить, что произойдет, когда из клетки выпустят гнев.

По мнению Тома, клетка была необходима для чудовища. Он вытащил из угла лук с двумя стрелами, которые смастерил сам, но усомнился в достаточности такого оружия. Воспрянув духом, Том вылез из-под беседки и крадучись проник через террасу в кабинет дяди Карла. Там на стене висели пистолеты и ружья.

Том знал, что они не заряжены, так как говорилось об этом множество раз, но он надеялся выкрасть пороху у сына садовника. Пулей мог служить камешек. Едва Том вскарабкался на спинку дивана и начал снимать огромный пистолет с медным стволом, как вошел дядя Карл и, свистнув от удивления, ухватил мальчика жесткими пальцами за затылок. Том вырвался, упал с дивана и ушиб колено.

Он встал, прихрамывая, и, опустив голову, угрюмо уставился на огромные башмаки дяди.

— Скажи, Том,— начал дядя,— достойно ли тебя, сына Гаральда Беринга, тайком проникать в этот не знавший никогда скандалов кабинет с целью кражи? Подумал ли ты о своем поступке?

— Я думал,— сказал Том.— Мне, дядя, нужен был пистолет. Я не хочу сдаваться без боя. Ваш гнев, который

приедет с отцом, возьмет меня только мертвым. Живой я не поддамся ему.

Дядя Карл помолчал, издал звук, похожий на сдавленное мычание, и стал к окну, где начал набивать трубку. Когда он кончил это занятие и повернулся, его лицо чем-то напоминало выражение лица Мунка.

— Я тебя запру здесь и оставляю без завтрака,— сказал дядя Карл, спокойно останавливаясь в дверях кабинета.— Оставайся и слушай, как щелкнет ключ, когда я закрою дверь. Так же щелкают зубы гнева. Не смей ничего трогать.

С тем он вышел и, два раза щелкнув ключом, вынул его и положил в карман.

Тотчас Том прильнул глазами к замочной скважине. Увидев, что дядя скрылся за поворотом, Том открыл окно, вылез на крышу постройки и спрыгнул с нее на цветник, подмяв куст цинний. Им двигало холодное отчаяние погибшего существа. Он хотел пойти в лес, вырыть землянку и жить там, питаясь ягодами и цветами, пока не удастся отыскать клад с золотом и оружием.

Так размышляя, Том скользил около ограды и увидел сквозь решетку автомобиль, несущийся по шоссе к дому дяди Карла. В экипаже рядом с пожилым черноусым человеком сидела белокурая молодая женщина. За этим автомобилем мчался второй автомобиль, нагруженный ящиками и чемоданами.

Едва Том рассмотрел все это, как автомобили завернули к подъезду, и шум езды прекратился.

Смутное воспоминание о большой руке, в которой пряталось все его лицо, заставило мальчика остановиться, а затем стремглав мчаться домой. «Неужели это мой отец?» — думал он, пробегая напрямик по клумбам, забыв о бегстве из кабинета, с жаждой утешения и пощады.

С заднего входа Том пробрался через все комнаты в переднюю, и сомнения его исчезли. Корнелия, Карл, Мунк, горничная и мужская прислуга — все были здесь, все суетились вокруг высокого человека с черными усами и его спутницы.

— Да, я выехал днем раньше,— говорил Беринг,— чтобы скорее увидеть мальчика. Но где он? Не вижу его.

— Я приведу его,— сказал Карл.

— Я пришел сам,— сказал Том, протискиваясь между Корнелией и толстой служанкой.

Беринг прищурился, коротко вздохнул и, подняв сына, поцеловал его в расцарапанную щеку.

Дядя Карл вытаращил глаза.

— Но ведь ты был наказан! Был заперт!

— Сегодня он амнистирован,— заявил Беринг, подведя мальчика к молодой женщине.

«Не это ли его гнев? — подумал Том.— Едва ли. Не похоже».

— Она будет твоя мать,— сказал Беринг.— Будьте матерью этому дурачку, Кэт.

— Мы будем с тобой играть,— шепнул на ухо Тома теплый щекочущий голос.

Он ухватился за ее руку и, веря отцу, посмотрел в ее синие большие глаза. Все это никак не напоминало Карла и Корнелию. К тому же завтрак был обеспечен.

Его затормошили и повели умываться. Однако на сердце у Тома не было достаточного спокойствия потому, что он хорошо знал как Карла, так и Корнелию. Они всегда держали свои обещания и теперь, несомненно, вошли в сношения с гневом. Воспользовавшись тем, что горничная отправилась переменить полотенце, Том бросился к комнате, которая, как он знал, была приготовлена для его отца.

Том знал, что гнев там. Он заперт, сидит тихо и ждет, когда его выпустят.

Прильнув к замочной скважине, Том никого не увидел. На полу лежали связки ковров, меха, стояли закутанные в циновки ящики. Несколько сундуков — среди них два с откинутыми к стене крышками — непривычно изменяли вид большого помещения, обставленного с чопорной тяжеловесностью спокойной и неподвижной жизни.

Страшась своих дел, но изнемогая от желания снять давящую сердце тяжесть, Том потянул дверь и вошел в комнату. К его облегчению, на кровати лежал настоящий револьвер. Ничего не понимая в револьверах, зная лишь по книгам, где нужно нажать, чтобы выстрелило, Том схватил браунинг и, держа его в вытянутой руке, осмелев, подступил к раскрытому сундуку.

Тогда он увидел гнев.

Высотой четверти в две, белое четырехрукое чудовище озило на него из сундука страшные, косые глаза.

Том вскрикнул и нажал там, где нужно было нажать.

Сундук как бы взорвался. Оттуда свистнули черепки, лязгнув по окну и столам. Том сел на пол, сжимая не устающий палить револьвер, и, отшвырнув его, бросился, рыдая, к бледному, как бумага, Берингу, вбежавшему вместе с Карлом и Корнелией.

— Я убил твой гнев! — кричал он в восторге и потрясении. — Я его застрелил! Он не может теперь никогда трогать! Я ничего не сделал! Я прожег дырку, и я пил ром с Киддом, но я не хотел гнева!

— Успокойся, Том, — сказал Беринг, со вздохом облегчения сжимая трепещущее тело сына. — Я все знаю. Мой маленький Том... бедная, живая душа!

ВЕТКА ОМЕЛЫ

Н. В. Крутикову.

Многие прочтут и перечитают эти страницы, в которых описывается одна из самых ужасных битв на земле.

Речь идет о Фингасе Тергенсе, помощнике начальника конторы автобусного сообщения между Гертоном и Тахенбаком. В одно памятное утро, после безобразной бессонной ночи, горького расстройства жены и собственного не менее горького раскаянья, Тергенс дал Катрионе слово «не пить», — то есть обещание, равное для мужчины, привыкшего к возбуждению алкоголем, примерно тому, как если бы горный козел отказался перепрыгивать пропасти. Дал Тергенс такое обещание не по отношению к какому-нибудь одному виду напитка, и не на ограниченный срок — месяц, год, два года, — а на всю жизнь, обещание никогда не пить ничего спиртного, что бы оно ни представляло собой. Оценить смелое решение выполнить такой подвиг смогут только те, кто пьет, сам дает обещания и убеждается в бессилии своем сдерживать их.

За семь лет Тергенс пять раз клятвенно обещался жене бросить пить с того самого момента, когда эти пламенные обещания слетали с его уст, доставляя отчаявшейся женщине весьма краткое утешение, потому что не проходило трех дней, как Тергенс являлся подвыпившим, браня жену за жестокое отношение к «потребностям

мужчины», который, чтобы быть мужчиной вполне, должен курить, пить и играть. Все те обещания Тергенс давал наполовину искренно, наполовину с целью избежать слез и упреков. Поэтому-то он так легко их нарушал, втайне надеясь, что Катриона когда-нибудь примирится с его привычками сидеть вечером в «Ветке омелы». Наконец страстное негодование жены, собственные мысли о ней, так горячо любимой и так мало получающей действительного отдыха среди беспросветных своих забот о попивающем муже, заставило Тергенса решиться — в н у т р и с е б я — дать обещание не только вслух, но и самому себе. Его решение утвердилось в момент, когда уже под утро все время не спавшая Катриона ответила на его обещание — «не плачь, пожалуйста, я пить больше не буду» — гневным возгласом:

— Ты опять врешь! Сколько раз ты обещал?! Уж лучше молчи. Так горько, так неприятно теперь слышать мне эту твою ложь. Ты только и думаешь, что о своих удовольствиях.

— Так ли уж ты-то безгрешна? — угрюмо заметил Тергенс, сознавая, что говорит чепуху; он никогда не видел ничего худого от Катрионы. — Подумай о своих недостатках.

— У меня нет недостатков,— горько плакала молодая женщина, всхлипывая и сморкаясь; и Тергенс внимательно посмотрел на нее, тронутый этой простотой так, что улыбнулся. — Какие у меня грехи? Скажи, чем я грешна?

— Чем?! Найдется, если подумать... я не говорю что-нибудь особенное.

— Тогда говори.

— Не хочу говорить, не хочу расстраивать тебя еще больше.

— Начал, так говори! Какие у меня грехи? ну!?

— Значит, ты безгрешна?

— Безгрешна,— упрямо и жалобно повторила Катриона, рыдая в подушку. — Я ничем не грешна.

«Да, она имеет право сказать так»,—думал Тергенс, с нежностью смотря на жену и, как ни тяжело было ему, забавляясь ее ответами. Катриона всегда старалась облегчить ему жизнь, матерински заботилась о нем и делалась мрачной только, когда он пил. Если же Тергенс был трезв, Катриона веселела, оживлялась, но вечный страх

снова увидеть пьяного мужа часто заставлял ее горько задумываться.

С своей стороны, Тергенс припомнил все ссоры с женой из-за вина, подавленность и раздражительность после выпивки, напрасные траты денег и, первый раз в жизни, серьезно захотел расстаться с бутылкой. Правда, он любил возбуждение, доставляемое алкоголем, но если в молодые годы это возбуждение таило прелести страны грез, волшебного превращения будней в заманчивое странствие среди вещей и людей, с как бы заново открывающимся значением событий, то к сорока годам слиняло и возбуждение. Привычка пить приспособила его разум оценивать окружающее почти трезво даже при больших дозах водки; будучи крепко пьян, мысленно Тергенс был трезв, отчего часто скучал. Поэтому ничего, кроме вреда, болезней и разлада семейной жизни, не предстояло ему в дальнейшем; следовало ему бороться теперь уже не с психической, а с физиологической потребностью пить. Он захотел отплатить Катрионе за ее преданность так, как она больше всего желала, и дал наконец знаменитое обещание, но без клятв, без падения на колени, а зная, что решение твердо, просто повторял:

— Катриона, перестань плакать. Я пить больше не буду.

Молодая женщина немного стихла; что-то новое послышалось ей в этих сумрачных словах мужа. Подумав, она опять принялась плакать.

— Ах! Что говорить! — сказала Катриона. — Уж это который раз ты обещаешь. Ты опять врешь.

Тергенс знал, что не лжет, но его жена, искушенная горьким опытом, знать этого не могла. Все-таки на душе у него стало спокойно. Он повторил:

— Пить больше не буду. Никогда я не говорил так серьезно, как этот раз. Что тебе еще?

— Как же я могу верить?

— Поверишь. Я раньше давал тебе ненастоящие обещания. Сегодня говорю правду. Теперь не только ты хочешь, чтобы я не пил. Я сам не хочу пить. Я предпочитаю мирную, хорошую жизнь. А ты мне помоги доверием, то есть не говори, что не веришь.

Утро занялось пасмурное, с резким ветром, под стать состоянию Тергенса. Катриона оделась, начав делать свои дела с завязанной головой, — у нее всегда сильно болела

после таких историй голова,— а Тергенс, мучаясь похмельем, на службу не пошел, однако вышел проветриться и, так как трактиры были уже открыты, решил доказать сам себе твердость своего решения. Против одного маленького трактирчика с увитым зеленью входом, куда раньше заходил только случайно, Тергенс остановился и начал убеждать себя в том, что небольшой стакан водки бесценно изменить его решение; такая доза была бы действительно полезна ему теперь, пока его организм так беспокойно, тяжело боролся с отравленностью. Однако он знал коварную силу «старых дрожжей» и боялся вновь охмелеть. Пока Тергенс размышлял, кто-то хлопнул его по плечу.

Оглянувшись, он увидел своего приятеля Стива Говарда, счетовода железнодорожного управления.

— Войдем,— сказал Говард.— Вид у вас совершенно больной. Я тоже хочу принять капли. Вчера пересидел у Фальберга, а может быть, перепил. А вы где хватили?

— Случайно я попал в «Ветку омелы»,— ответил Тергенс.— Да у вас рука дрожит.

— У вас тоже трясется.

— Я не пью,— сказал Тергенс с неловким чувством выходки, рассчитанной на простофилю.

— Чего не пьете?

— Ничего. Сегодня я дал жене слово не пить.

— Хе-хе!.. Бедняга. Я тоже дал вчера слово не пить. Не только жене, но сестре, теще и дочери. Иначе эту публику невозможно успокоить. Они нас понять не могут.

— Это дело другого рода, Говард,— вздохнул Тергенс, вспоминая, как плакала Катриона.— Я решил не пить и обещал совершенно серьезно никогда не брать в рот проклятого виски.

— Да? Так не одно виски может утешить вас. Выпейте грог.

— Я сказал, что не буду пить ничего.

— Да ну?! Как же вы это так... неосторожно?!

— Что делать? Пришла, видно, пора кончить с бутылкой. Но и то сказать, выпито было за всю жизнь слишком достаточно. Надо наконец подумать о ней.

Говард недоверчиво всматривался в приятеля и по задумчивости его, которая передавала без слов что-то

действительно важное, увидел свою ошибку. Тергенс не шутил.

— Однако...— сказал Говард.— Ну, если так, я рад. А я выпью. Тут дают копченый язык с горчичным соусом. Зачем вы тут стоите в таком случае? Прощальное платоническое свидание?

— Я хотел пропустить стаканчик,— произнес Тергенс.— Хотел и не хотел; пока что мне трудно понять себя. Я даже хотел зайти. Я найду,— вдруг решил он,— и посижу с вами, но пить не буду.

Говард сострадательно усмехнулся, думая, что наступил естественный конец обетам приятеля; он не стал его раздражать соответствующими шутками, говоря себе: «Как сядет, так нальет. Как нальет, так выпьет. А когда выпьет, мы с ним переберемся в «Ветку омелы».

Говард был страшно удивлен, когда Тергенс, заказав малый стакан виски, вылил водку себе на руки, вымыл их драгоценной специей, вытер платком и с довольным видом заплатил озадаченному слуге.

Такое действие «вокруг водки» отчасти заменило ему лечение. Оставив Говарда размышлять над своим поступком, Тергенс дошел до конца улицы, где на склоне холма находилось Гертонское кладбище. Одна историческая могила притягивала его расстроенную душу. Тергенс остановился у старого камня, глубоко вросанного землей; сама могила от древности превратилась в грубый бугор, но гертонцы берегли ее, не давая перекопать, так как гений своего рода истлел под этим памятником. Лет сорок назад высеченная надпись гласила:

«Здесь лежит Гаральд О'Коннор. Он прожил 135 лет и всю жизнь пил. Он пил весной и летом, осенью и зимой, каждый день, и в пьяном виде был так страшен, что сама смерть боялась его. Однажды, по ошибке, он был трезв; тогда смерть осмелилась и умчала О'Коннора».

«Однажды по ошибке был трезв,— думал Тергенс, разглядывая эту смешную и ужасную надпись, говорящую о неимоверном количестве литров виски, рома и пива.— Не по ошибке ли трезв сегодня и я? Да... но О'Коннор не хотел бросать пить. Он ошибся. А я ошибся бы, если бы выпил опять. Тут разница».

Солнце разогнало облака, и ветка старого клена, под тенью которого лежал камень, бросала на его по-

верхность чистую тень листьев, не знающую смут и страстей. У подножия памятника рос дикий розмарин; летали мухи и пчелы. Тергенс посмотрел на свои руки, покрытые налившимися, вздутыми венами, ушел домой, съел две тарелки горячего супа и лег спать.

Следующие семь дней прошли спокойно. Пока алкоголь еще не окончательно испарился из тела Тергенса, он сдерживал свое обещание без труда, доставляя этим бесконечную радость начавшей отдыхать жене; но как только последний атом спирта оставил Тергенса,—очищенные, обозлившиеся нервы потребовали привычного возбуждения. Напрасно он сосал какие-то лекарственные лепешки, утешался крепким чаем и кофе,—нервы твердили одно: «По-давай виски!» Особенно остро злостная потребность в вине сказывалась, когда он хотел есть; тогда, казалось, дух захватило бы от блаженства глотнуть персиковой или перцовки. В таких случаях Тергенс старался скорее наестся и непременно вначале крепким, горячим супом, который обладал свойством временно обмануть нервы, делая в желудке горячо, как от водки. Вообще заметил он, что при всяком сильном желании выпить немедленная еда устраняет это желание, и приучил себя есть как можно больше, чтобы желудок никогда не оставался пустым.

Иногда, проходя мимо «Ветки омелы», Тергенс испытывал мучительно вкусное сосание во внутренностях, особенно если из раскрытых дверей доносились звуки стекла, но, вздохнув, начинал думать о горе и слезах женщины, которая глубоко поверила наконец его обещанию.

Через месяц Тергенс уже перестал думать о выпивке. Это произошло оттого, что он физически забыл услады страсти к питью. Однажды осенью, поздно вечером, вернулся он домой, страшно уставший после сдачи годового отчета; вошел в столовую и с удивлением увидел тщательно накрытый стол, коробку рыбных консервов, копченый язык, прибор и стакан голубого стекла, боясь верить, что последний, самый главный, предмет сервировки есть бутылка виски, уже откупоренная. Катриона радушно поцеловала Тергенса, говоря:

— Ты, должно быть, очень устал, милый. В таких случаях можно немного выпить. Рюмка не беда. Не сердись. Пусть это будет последний раз.

Как в памятную ночь обещания Катриона почувствовала, что Тергенс не лжет, так Тергенс теперь чувствовал, что Катриона решительно и мужественно испытывает его. Стало ему забавно и хорошо.

— Да, я выпью, пожалуй,— рассеянно сказал Тергенс.— Это ты хорошо придумала.

Твердой рукой налил он полный стакан, взглянув на начинающую бледнеть Катриону, поднес стакан к губам и, засмеявшись, бросил его в угол, облив водкой рукав пиджака.

— Теперь уже нет соблазна,— сказал Тергенс.— Нет, честное слово, нет. Пусть будет иногда скучно, вяло; даже пусть будет трудно жить и работать; пусть хочется подчас трактирной романтики,— но пусть будет ч и с т о. Я видел на кладбище ветку клена над могилой дедушки О'Коннора. Наступил ее черед расти.

12 апреля 1929 г. Москва

Приложение

ВСТРЕЧИ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

В апреле 1927 года в Феодосию пришел парусник капитана Дюка — «Марианна», и я уже уговорился с ним о поездке на этом судне до Мессины, откуда имел уже телеграмму от капитана Грея, сообщавшую, что его судно «Секрет» будет ожидать меня для выполнения нашей общей затеи: посещения Зурбагана, Лисса, Сан-Риоля, Покета и иных мест, где произошли события, описанные мною в книгах «Алые паруса», «Золотая цепь», «Блестающий мир» и проч.

Я прибыл на «Марианне» в Мессину 16 мая. Со мной ехали Томас Гарвей и его жена Дези, история которых описана мною в еще не вышедшем романе «Бегущая по волнам»¹. Я снова увидел Ассоль; ничто не изменилось в ней, кроме возраста, но об этих вещах говорить печатно, вне форм литературного произведения, недопустимо. Я ограничусь кратким отчетом.

Прощаясь с Дюком, я взял от него обещание, что в следующий его рейс на Черное море он съездит со мной в Москву. Прибыв в Лисс, мы застали честно дождавшихся нас Санди Прюзеля, Дюрока и Молли. Тогда же я послал телеграмму Друду в Тух, близ Покета, получив краткий ответ от его жены Тави: «Здравствуйте и прощайте». Ничего более не было сообщено нам, причем несколько позже Гарвей получил известие от доктора Филатра, гласившее, что Друд отсутствовал и вернется в Тух не раньше июня.

2 июня «Секрет» прибыл в Каперну, селение, так взбудораженное несколько лет назад явлением «Алых парусов». Ассоль не захотел сойти на берег, так же поступил и Грей. Мы ограничились тем, что послали гонца и шлюпку за Летикой, уже давно жившим в Каперне, женатым и по-прежнему говорящим стихами; как умею, перевожу его новости: «Там, где домик был уютный, бедный, дикий и про-

¹ Настоящие имена всех моих друзей и знакомых не могут быть упомянуты по вполне понятным причинам.— А. С. Г.

стой, поселился дачник мутный, домик снес, построил свой. Вас. Ассоль, с волнением вижу; помнить горд и видеть рад; вас ничем я не обижу, потому, что я — камрад. Видеть Грея, капитана, с вами — для меня равно, что из прошлого тумана выдвигается звено. Будьте счастливы и верьте, что единственный наш путь — помнить о друзьях до смерти, любящих — не обмануть».

Его взяли с собой, и дальше мы следовали в дружном обществе в Зурбаган. Уже я знал о гибели Хоггея, крупного миллионера, бесчеловечные опыты которого с живыми людьми (см. «Пропавшее солнце») возбудили наконец судебный процесс. Хоггей застрелился, приказав, чтобы его сердце было помещено в вырезанный из целого хрусталя сосуд с надписью: «Оно не боялось ни зла, ни добра». Там же, тщательно разыскивая адреса, я нашел Режи, «королеву ресниц». Ее материальное положение было ужасно, и мы сделали для нее, что могли.

Самое сильное впечатление произвело на меня посещение Лисса, а в частности дворца Ганувера на мысе Гардена, и его могилы, носящей следы тщательной заботы Дюрока и Молли. Вся могила была в цветах: в желтых розах, символах золота и любви.

Самый дворец, отошедший по сложному иску к сомнительному наследнику Ганувера, который даже не жил в нем, стал нам доступен лишь после особой любезности управляющего, Генри Симпсона, которому, как и всем, помогавшим мне, считаю обязанностью выразить живейшую благодарность.

Мы посетили залу с падающими стенами, но ток был закрыт, и Дези тщетно ощупывала чешуйчатые колонны, добиваясь того эффекта, какой описан в «Золотой цепи». Во всяком случае, она с удовольствием осмотрела дом. Молли ушла; ее воспоминания были еще тяжелы и сильны. Смотря на большую дверь, я снова представил, как она стремительно появилась тогда, сказав в особой тишине полного гостями зала: «Я пришла, как обещала. Не печальтесь теперь».

Санди Прюэль — теперь здоровый 28-летний лейтенант флота — сказал мне, что осенью состоится его брак с другой Молли — дочерью бывшего слуги Ганувера — Паркера.

В Лиссе мы начали разъезжаться. Ассоль и Грей отправились домой на своем «Секрете»; Молли и Дюрок выехали поездом в Сан-Риоль. Дези и Гарвей остались со мной. Летика проигрался в каком-то притоне, и ему пришлось дать денег на возвращение.

Самые глубокие впечатления остались у меня от этой поездки, которые я надеюсь переработать в небольшую книгу. Я лично возвратился пароходом в Суэц, откуда меня доставил в Одессу «Теодор Нетте», и, вместе с паломниками, я благополучно достиг порта. В Феодосии я был уже 3 сентября 1927 г. Некоторые подробности будут сообщены позднее, чтобы они были, как сказала однажды Дези Гарвей о сухарях, «приятно спечены».

ПРИМЕЧАНИЯ

БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ. (Роман.) Впервые — в издательстве «ЭиФ», М.-Л., 1928. В этом же году до выхода книги отрывок из романа под названием «Покинутый в океане» был опубликован в альманахе «Писатели — Крыму», М., 1928.

Грин приступил к работе над романом после переезда в Крым в 1924 году. Писатель долго не мог найти нужный тон повествования. Сохранилось шесть вариантов начала, а всего их было свыше сорока.

Мерлан — рыба из семейства тресковых.

Рибо, Теодюль (1839—1916) — известный французский философ и психолог.

Бишер. — По-видимому, Грин имеет в виду выдающегося французского анатома и физиолога Мари Франсуа Ксавье Биша (1771—1802), который считал, что некоторые органы человека отдыхают во время его сна, а другие продолжают работать.

Бегущий такелаж — подвижные снасти на парусном корабле.

Стоячий такелаж — неподвижные снасти на парусном корабле, служащие для укрепления рангоута — круглых деревянных или стальных брусьев, несущих парусное вооружение судов.

Фал — трос, при помощи которого поднимают на судах паруса, реи, флаги и т. д.

Брас — снасть, прикрепленная к реям для вращения их в горизонтальной плоскости.

Акведук — надземное сооружение для подведения воды.

Таль — грузоподъемный механизм.

Штирборт — правый по движению судна борт.

Фок — нижний прямой парус на первой от носа мачте.

Грот — нижний прямой парус на второй от носа мачте.

Петарда — здесь бумажный снаряд, начиненный порохом; применяется для фейерверка.

Матинэ — женская утренняя домашняя одежда в виде широкой и длинной кофты из легкой ткани.

Ватто, Жан Антуан (1684—1721) — французский художник.

Калло, Жак (1594—1635) — французский гравер и живописец.

Фрагонар, Жан Оноре (1732—1806) — французский художник и гравёр.

Бердслэй, Обри Винсент (1872—1898) — английский художник-график.

РАССКАЗЫ 1923—1929

СЕРЫЙ АВТОМОБИЛЬ. Вошел в сборник рассказов «На об-
лачном берегу», М. Л., ГИЗ, 1925.

Печатается по тексту сборника.

ГОЛОС И ГЛАЗ. Впервые — в журнале «Огонек» № 25, 1923.

ИВА. Впервые — в журнале «Петроград» № 11, 1923.

КАК БЫ ТАМ НИ БЫЛО. Впервые — в журнале «Огонек»
№ 31, 1923.

БЕЛЫЙ ШАР. Впервые — в журнале «Товарищ Терентий»
(Свердловск) № 8, 1924.

Печатается по журнальной публикации.

В книге К. Фламмарiona «Атмосфера», которую читал А. С. Грин, описан случай, возможно положенный в основу рассказа «Белый шар»: «9 октября 1885 года, в восемь часов двадцать минут вечера, при сильной грозе, в Константинополе, в одном доме, занимаемом семьей, кото-
рая обедала в нижнем этаже, вдруг появился огненный шар величиною с яблоко, проникший сквозь открытое окно. Этот шар коснулся газо-
вого рожка, затем подлетел к столу, прошел между двумя сидевшими
за ним лицами, поднялся к центральной лампе, обошел вокруг нее
и, наконец стремительно выбросился опять в окно, на улицу, где и
треснул со страшным шумом, ничему и никому никакого вреда не при-
чинив и ни малейшего запаха не оставив. Недалеко от дома, в котором
все это произошло, стояло здание, снабженное несколькими громоот-
водами».

БЕЗНОГИЙ. Впервые — в журнале «Огонек» № 7 (46), 1924.

Гнездииковский небоскреб — один из самых высоких домов Моск-
вы того времени, находится в Б. Гнездииковском переулке.

ВЕСЕЛЫЙ ПОПУТЧИК. Впервые — в журнале «Ленинград»
№ 4, 1924.

Вода Сирано де Бержерака — т. е. вино. Сирано де Бержерак
(1619—1655) — французский писатель, известен как гуляка.

ЗАКОЛОЧЕННЫЙ ДОМ. Впервые — в журнале «Экран»
№ 23 (35), 1924.

Бирхалле — пивная (нем.).

Афронт — отпор (франц.).

НА ОБЛАЧНОМ БЕРЕГУ. Впервые — в журнале «Красная нива» № 28, 1924.

Печатается по сб. «На облачном берегу», М., 1929 (Библиотека «Огонек» № 473).

Масса — хозяин, господин (испорченное англ. master).

ВОЗВРАЩЕНИЕ. Впервые — в журнале «Красная нива» № 49, 1924.

ГАТТ, ВИГТ И РЕДОТТ. Впервые — в «Альманахе для детей и юношества» (прилож. к журналу «Красная нива»), М., 1924.

Печатается по сб. «По закону», М., «Молодая гвардия», 1927.

Штейгер — горный мастер, ведающий рудными работами.

ПОБЕДИТЕЛЬ. Впервые — в журнале «Красная нива» № 13, 1925.

Печатается по сб. «Брак Августа Эсборна», Л., «Прибой», 1927.

«Скульптор, не мни покорной»... — строки из стихотворения Т. Готье «Искусство», перевод Н. Гумилева; в тексте перевода не «вязкой», а «мягкой».

Юнона — древнеримская богиня неба и земли.

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ФУТОВ. Впервые — под названием «Четырнадцать фут» в журнале «Красная нива» № 24, 1925.

ШЕСТЬ СПИЧЕК. Впервые — в журнале «Красная нива» № 45, 1925.

РЕНЕ. Вошел в сборник рассказов «На облачном берегу», М.-Л, ГИЗ, 1925.

Латюд, Жан-Анри (1725—1805) — французский авантюрист, просидевший в тюрьмах 35 лет.

Железная маска — таинственный узник, умерший в Бастилии в 1703 году. В тюрьме он никогда не снимал маски, и имя его осталось неизвестным; предполагают, что это брат французского короля Людовика XIV.

Челлини, Бенвенуто (1500—1571) — знаменитый итальянский скульптор, ювелир и писатель, прожил жизнь, полную приключений, и описал ее в автобиографической книге.

Рокамболь — авантюрист, герой серии детективных романов французского писателя Понсон дю Террайля «Похождения Рокамболя» и «Воскресший Рокамболь».

Веселая вдова — ироническое название гильотины.

Червонный валет — название молодых богатых бездельников.

БРОДЯГА И НАЧАЛЬНИК ТЮРЬМЫ. Вошел в сборник «Сердце пустыни», М.-Л., «ЗиФ», 1928.

Равашоль, Леон — французский анархист и террорист, взорвавший 11 и 23 марта 1892 года в Париже бомбы в квартирах судебных чиновников, участвовавших в процессах над анархистами.

Джек-Потрошитель — прозвище человека, оставшегося неизвестным, который в 1888—1889 годах совершил в Лондоне ряд жестоких убийств.

Картуш, Луи-Доминик (1693—1721) — главарь шайки разбойников в Париже.

Ринальдо Ринальдини — разбойник, герой романа немецкого писателя Х. А. Вульпиуса «Ринальдо Ринальдини» (1797).

Нат Пинкертон — американский сыщик, герой написанной неизвестными авторами огромной серии детективных рассказов, очень популярных в начале XX века.

ФАНДАНГО. Впервые — в альманахе «Война золотом. Альманах приключений», М., 1927. Издание это изобилует опечатками, обесмысливающими текст.

Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

Фанданго — испанский народный танец.

«*Осенние скрипки*» — вальс, музыка В. А. Присовского.

«*Пожалей ты меня, дорогая*» — романс, слова и музыка Н. Р. Бакалейникова.

«*Что тебе надо? Ничего не надо*» — слова из популярной в 20-х годах танцевальной песенки «Девочка Надя».

Кот Киплинга — персонаж сказки Р. Киплинга «Кошка, гулявшая сама по себе» (в первых русских переводах — «кот»).

Дом ученых — общественно-культурное учреждение, открытое в 1921 году в Петрограде при Центральной комиссии по улучшению быта ученых.

Эманация — здесь: видоизменение.

«*На севере диком*»... — очень вольный перевод 33-го стихотворения Г. Гейне из цикла «Лирическое интермеццо», сделанный, по-видимому, самим А. Грином.

Сетон Томпсон (1860—1946) — канадский писатель, автор популярных рассказов о животных.

Арабеск — штриховой набросок, орнамент.

«*Вот тебе, коршун, награда*...» — строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Секрет».

«*Принцесса Греза*». Сочинение Ростанова. — Имеется в виду драма в стихах французского писателя Эдмона Ростана.

БРАК АВГУСТА ЭСБОРНА. Впервые — в журнале «Красная нива» № 13, 1926.

НЯНЬКА ГЛЕНАУ. Впервые — в журнале «Смена» № 17, 1926.

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ. Впервые — в журнале «Смена» № 20, 1926.

ЗМЕЯ. Впервые — в журнале «Красная нива» № 42, 1926.
Печатается по сб. «По закону», М., «Молодая гвардия», 1927.

ДВА ОБЕЩАНИЯ. Впервые — в журнале «Красная нива» № 17, 1927.

Печатается по сб. «Огонь и вода», М., «Федерация», 1930.

Глаголь коридора — коридор в виде буквы «Г».

СЛАБОСТЬ ДАНИЭЛЯ ХОРТОНА. Впервые — в журнале «Красная нива» № 29, 1927.

Печатается по журнальной публикации.

Нетти Бемпо — герой серии романов Ф. Купера «Кожанный чулок»; «*Зверобой*» — один из романов этой серии.

Гуроны — племя североамериканских индейцев.

ЧУЖАЯ ВИНА. Вошел в собрание сочинений изд-ва «Мысль» (1927, т. V) под заглавием «Запутанный круг».

Печатается по сб. «По закону».

ОГНЕННАЯ ВОДА. Вошел в сборник рассказов «По закону». Печатается по тексту сборника.

ЛЕГЕНДА О ФЕРГЮСОНЕ. Впервые — в журнале «Смена» № 7, 1927.

Печатается по сб. «Огонь и вода».

АКВАРЕЛЬ. Впервые — в журнале «Красная нива» № 26, 1928.
Печатается по сб. «Огонь и вода».

ГНЕВ ОТЦА. Впервые — в журнале «Красная нива» № 41, 1928.

Печатается по сб. «Огонь и вода».

ВЕТКА ОМЕЛЫ. Впервые — в журнале «Красная нива» № 21, 1929, с посвящением Н. Крутикову.

Печатается по журнальной публикации.

Н. В. Крутиков — юрист Союза писателей.

ВСТРЕЧИ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ. Авторская прижизненная публикация не известна. Другая редакция рассказа под заглавием «Встречи и заключения» опубликована в журнале «Нева» № 8, 1960.

Печатается по машинописному тексту с правкой автора (ЦГАЛИ).

Владимир С ан д л е р

СОДЕРЖАНИЕ

БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ. *Роман* . . . 3

РАССКАЗЫ 1923—1929

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Серый автомобиль | 183 |
| Голос и глаз | 220 |
| Ива | 225 |
| Как бы там ни было | 247 |
| Белый шар | 251 |
| Безногий | 254 |
| Веселый попутчик | 258 |
| Заколоченный дом | 268 |
| На облачном берегу | 273 |
| Возвращение | 287 |
| Гатт, Витт и Редотт | 293 |
| Победитель | 303 |
| Четырнадцать футов | 308 |
| Шесть спичек | 313 |
| Рене | 321 |
| Бродяга и начальник тюрьмы | 341 |
| Фанданго | 345 |
| Брак Августа Эсборна | 399 |
| Нянька Гленау | 405 |
| Личный прием | 409 |
| Змея | 415 |
| Два обещания | 420 |
| Слабость Даниэля Хортонa | 427 |
| Чужая вина | 433 |
| Огненная вода | 443 |
| Легенда о Фергюсоне | 449 |
| Акварель | 454 |
| Гнев отца | 459 |
| Ветка омелы | 465 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

| | |
|---------------------------------|-----|
| Встречи и приключения | 472 |
| Примечания | 474 |

Индекс 70665

А. С. Грин.
Собрание сочинений в 6 томах.
Том V.

Подготовка текста
Е. Прохорова.

Оформление художника
Е. Казакова.

Технический редактор
А. Шагарина.

Подп. к печ. 26/XI 1965 г. Тираж 463 000 экз.
Изд. № 2119. Зак. 2652. Форм. бум. 84×108¹/₃₂.
Физ. печ. л. 15,0+4 вкл. иллюстраций.
Условных печ. л. 25,01. Уч.-изд. л. 26,29.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина, Москва, А-47,
ул. «Правды», 24.

